

ISSN 0130-7673

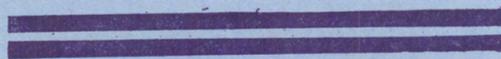
# НОВЫЙ МИР

10

НОВЫЙ МИР

1979

10



1979



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Играет оркестр, стихи	3
МИХАИЛ АНЧАРОВ — Самшитовый лес, роман. Окончание	5
ЮРИЙ РАЗУМОВСКИЙ — Новые стихи	90
ВАДИМ ШЕФНЕР — Притча о дереве, стихи	93
БОРИС ОЛЕЙНИК — Из цикла «Седое солнце мое», стихи. Перевел с украинского Лев Смирнов	96
МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА — Наш уважаемый слесарь, повесть	98
ЮРИЙ ОКУНЕВ — Теплоход «Илья Сельвинский», стихотворение	161
GERMAN KANT — Остановка в пути, роман. Продолжение. Перевели с немецкого И. Каринцева и С. Шлапоберская	162

### ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ — Диалог. Заметки о Бенджамине Споке и о современных проблемах воспитания. Окончание	228
--	-----

### В МИРЕ НАУКИ

А. МАЛИНОВ — 160 минут и... вся жизнь. Послесловие академика В. А. Амбарцумяна	239
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВА. ГУСЕВ — Преемственность. Из наблюдений над жизнью классической традиции	251
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	265
Ахмед Шамов. Личная жизнь делового человека.— Алла Марченко. Сад и дом Визмы Белшевиц.— Григорий Бакланов. Меридианы.— С. Белов. О людях и машинах, или Канарейка Курта Воннегута.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	
Владимир Ломейко. Уроки Кампучии.— Д. Билевкин. НТР, человек и мышление.	277
КОРОТКО О КНИГАХ: А. Ясенев.— Лазарь Карелин. Избранное. ✦ Г. Петрова. Драгослав Михайлович. Венок Петрии. ✦ И. Лапин.— Ким Селихов. Всегда в строю. Это случилось у моря. ✦ Ю. Рытов.— З. С. Шейнис. Солдаты революции (Девять портретов). ✦ А. Иглицкий.— Техника дезинформации и обмана. ✦ А. Майкапар.— Л. Ройзман. Орган в истории русской музыкальной культуры	283
КНИЖНЫЕ НОВИЦКИ	288

---

---

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

## ИГРАЕТ ОРКЕСТР

Кончив бравурность, он медлит устало.  
Скрипка взметнулась и вдруг зарыдала,  
не застыдилась, что это на людях,  
верит, что в зале ее не осудят.  
И оркестрантка не только рукою —  
чувствует нежно ее и щекою.

Снова обвалом оркестр. Не валторнам —  
стал барабану на время покорным,  
лязгу тарелок, что медью по меди,  
может, минуты не больше помедлив.  
Но и сквозь рокот и стук барабана  
слухом и сердцем ловлю я: с экрана  
струйка мелодии льется, чиста.  
Юноша флейту целует в уста.

## КРЫМ

Я не чураюсь острого  
и возле острых скал  
милого мне полуострова  
эти слова искал.

Их я у моря выпрашивал,  
у ливадийской сосны,  
целых полвека вынашивал,  
видел красивые сны.

Юность моя протопала  
ой как давно, давно!  
Улицам Севастополя  
многое помнить дано.

Камни их славою ратною  
все еще миру слышны,  
и за музейной оградой  
нету у них тишины.

Мечутся чайки с криками.  
Ветер. Волна высока.  
Яликами утыканы  
ялтинские берега.

Вспомнит, как будет спрошена,  
черной скалы высота  
камешек, мною брошенный  
с Ласточкина гнезда.

Строчка легла недоспелая.  
Вижу ее углы.  
Прямо из облака белого  
вырвалась кромка яйлы.

Где-то за поворотами  
вдруг погрустнеет взгляд.  
Над партизанскими тропами  
сосны под небом шумят.

Колются сосны иголками.  
И — тишина, тишина.  
Долго еще осколками  
будет ржаветь война.

Домики под черепицами.  
Множество милых примет.  
Память туманится лицами  
тех, кого уже нет,  
тех, что на фотографии  
группую вместе со мной.

Пятнышко есть в географии  
с крымской голубизной.



---

---

МИХАИЛ АНЧАРОВ

★

## САМШИТОВЫЙ ЛЕС \*

Роман

Глава 27. Фердишюкс

**Б**ыла в свое время знаменита фраза одного искусствоведа, который объяснил, как обезьяны стали прямоходящими: «В этот момент руки обезьян потеряли почву под их ногами».

Нечто подобное, в переносном смысле, конечно, произошло с Викой, когда она встретила на своем пути Сапожников. Ей показалось, что горизонт от нее малость отдалился. Это первый признак того, что человек, как говорится, растет над собой.

Как ни странно, Вика была чем-то похожа на Ньюру. И еще, представьте себе, на Рамону. Но как бы на Рамону в переложении для электрогитары.

Чем похожа? Сразу и не скажешь. Какими-то исходными данными, породой, что ли. Ну а дальше все другое. Дальше воспитание, индивидуальное развитие, эпоха — в общем, на какой грядке выросла.

Перед тем как на ее пути споткнулся и упал Сапожников, в ее жизни тоже наступил стоп.

Она, в общем-то, знала, что хороша собой, это знают с детства — в зеркало смотрятся и люди говорят. И еще она всегда помнила, что родилась в августе, да-да, в том самом августе, и что с того самого августа есть бомба, которая может однажды остановить жизнь.

Для нее эта бомба была всегда, и потому она торопилась жить, торопилась выйти замуж, развестись, торопилась получить профессию. Торопилась. А о другой жизни она знала понаслышке и не могла ее себе представить, потому что душа у нее созревала так же медленно, как у Ньюры, хотя жизнь требовала скоростей, и фантазия ее еще не проснулась и не было прозрения, а вокруг были факты, факты, вращающиеся в водоворотах, по которым представить себе будущее невозможно, если нет ощущения потока, который эти водовороты создает, сталкивает и уносит вниз по реке, и, значит, надо торопиться жить, если тебе говорят, что ты хороша и желанна, иначе ты постареешь и будешь нехороша и нежеланна, и лучше не привязываться всерьез и не прислушиваться к внутреннему голосу, который говорит, что нельзя ускорить роды, и бутон, раскрытый лапами, это еще не цветок, но уже труп, и что надо жить со скоростью травы и в ритме сердца.

...Листья были еще зеленые, когда Сапожников ее встретил и с трудом узнал по медленной Ньюриной улыбке, и у него стало холод-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

но в сердце, когда он понял, кого он пропустил в жизни и от кого унесло его время на двадцать лет вперед, в прошлое от ее теперешних двадцати пяти. Сорок пять лет ему было, Сапожникову, и ни секундой меньше.

— Двугривенный меня смущает,— сказал Сапожников.— И ничего больше. Двадцать лет разницы. Ты подумала об этом?

— Я люблю тебя,— сказала Вика.

— Ты представь себе... через пять лет тебе тридцать, а мне пятьдесят. Ты однажды просыпаешься и видишь, что мои жубы в штакане лежат,— прошамкал Сапожников.

— Я люблю тебя,— сказала Вика.

— Вика... Вика...— сказал Сапожников.— Ты совсем промокла... Какой дождь... какой дождь идет... а запах какой... это листья так пахнут....

— Я люблю тебя,— сказала Вика.

И Сапожников ловил ее дыхание, когда она закрывала глаза.

А Вика? Что Вика?

Странное это дело. Многими замечено и в быту и, наверно, в изящной словесности, что ежели двоих тянет друг к другу, то они все время случайно встречаются хоть у метро, хоть на ярмарке, хоть где. А не тянет, то и не встречаются. Объясните это как хотите, а мы не решаемся.

У Сапожникова было детское впечатление, которое так и жило в нем все годы, и он никому об этом не рассказывал, потому что не мог понять, в чем его суть. Слушайте внимательно. Когда он подходил к морю, или реке, или пруду, где у берега качалась привязанная лодка, его самого начинало качать, и сердце бухало от тайны и предвкушения. Он садился в лодку и чуть отталкивался рукой от берега. Гремела цепь и уключины, и все звуки были громкими и секретными, как шепот на ухо, который гремит для тебя одного и не слышен другим. И Сапожников отплывал на привязанной лодке, и это были самые лучшие секунды. А потом он отвязывался от берега и выгребал на вольную воду пруда, или реки, или моря и греб, греб, и ему становилось скучно, и он не видел, какой в этом толк, и не понимал, в чем тут дело. Он тогда еще не понимал, что когда он садился в привязанную лодку, он собирался отплыть в другую жизнь, а когда отвязывался, выходило, что плывешь в другое место. Та же самая жизнь, только тесно и много воды. Земная программа и космическая. В земную грядку сажают семя моркови — и вырастает морковка. От земной грядки зависит, какая будет морковка — хилая или цветущая, но превратить морковку в другой овощ она не может. Это может сделать только вся вселенная, а Земля — лишь малая ее часть. Иначе почему человек от века вглядывается в звезды и чувствует их некое значение для себя и ищет влияние? Он только не может догадаться, какое оно. И в любви так. Начинается как предчувствие другой программы жизни, продолжается однообразием пути и заканчивается усталостью — лучше бы уж и не отплывал. И человек смотрит на звезды, и тоскует, и спрашивает себя, в какой неуследимый момент он потерял вселенскую программу пути и стал болтать веслами в соленой или пресной воде, и ждет ответа. Но тоска сильнее недоумения, и каждый раз, когда возникает предчувствие, человек снова идет к берегу, будто хочет что-то вспомнить, и все пруды для него чистые, даже если они совсем маленькие и на них плавают прошлогодние листья и обертки от карамелек, а мимо них лязгают трамваи, и весенние форточки хлопают в окрестных домах, потому что для космической дороги жизни всего-то и нужно — пара деревьев на бе-

регу да качающаяся лодка на воде. И еще нужно замереть, как замер Сапожников, который вылез из Глебовой машины, прошел пешком пол-Москвы, добрал до прудов и увидел, как Вика садится в лодку. Как в лодку садится любимая женщина. И непонятная судьба людей, которых тянет друг к другу, позволила ему подглядеть, как Вика перешагивала с берега на качающуюся лодку и села на сырую доску. Боже мой! Он потом гнал от себя это видение, а оно не уходило.

А она поболтала рукой в мокрой воде, потом провела по щеке — не то остудила лицо, не то согрела ладошку, — а потом взялась руками за борта и так сидела, раскинув руки, будто ждала кого-то. А Сапожников смотрел и не подходил. Долго смотрел. Потом мысленно подал ей руку и помог снова перейти на берег. Он это сделал, потому что хотел еще раз увидеть, как она перешагивает. Она наедине с собой была совсем другая и нежная. А на берегу поправила юбку и выпрямилась.

Кто из женщин не разглядывал себя в зеркале? Вика не разглядывала. Девочке, жившей в ней, чтобы хорошо выглядеть, надо было захотеть хорошо выглядеть, и Вика смеялась не зажимываясь. Когда она проходила мимо вас, казалось, ее сопровождает беззвучный топот скакуна. Она оборачивалась на зов, будто она амазонка и на скаку натягивает лук. Казалось, еще секунда — и они вместе с конем ринутся в пропасть.

Вольная воля в ней была. И ошибка.

...А часы тикали — недели, месяцы, годы. Вика была в расцвете и уходила все дальше от того, что было положено ей природой. Скорей, скорей! Выявить себя, реализовать себя, пусть уйти в сторону от своего пути, но освободиться горделиво, до конца. Никто не видел, не знал еще, но назревала трагедия амазонки.

И не у нее одной.

Ведь вместо того чтобы искать связи, они искали разрыва.

Дунаевы принимали гостей.

Так уж давно пошло. Если у Сапожникова гостей больше, чем один, он бежал к Нюре:

— Нюра... понимаешь...

— Значит, так — смотаться на рынок, возьмешь там... (Ну, и дальше, что взять и почему — по сезону.) А гостей сколько?

В этот раз гостей было не так чтоб много, но порядочно, два стула заняли в квартире напротив, у Александры Львовны из бухгалтерии. И гости важные, трое — профессор с заместителем и физик молоденький, звать Толя, но в очках, — и со службы сапожниковской двое, ну, этих Нюра знала, такие же командировочные-транзитники, как Сапожников, — Фролов Генка и Виктор Амазаспович Вартанов, армянин, но говорит чисто, как русский, да еще женщина молодая, не поймешь с кем.

— Вика, — сказала женщина.

— Вижу, — сказала Нюра. — Точно... вика...

— Это растение такое, — пояснил Дунаев на тот случай, если б Вика обиделась. — Из семейства мотыльковых. Имеет пятизубчатую чашечку. Корни сильно развиваются в глубь почвы... Очень полезная.

— Интересно, — вежливо улыбнулась Вика.

— Это последнее, что я у сапожниковского дядьки изучал, — добавил Дунаев. — Сапожников, принимай.

Вика улыбнулась медленно и прошла в комнату, вздернув подбородок. Сапожников встал со стула, снова сел. Толя поднялся с соседнего стула и усадил Вику. Сапожников притих.

— Ну все,— сказала Нюра, глядя из прихожей.— Сейчас Сапожников спорить будет.

— Почему? — спросил Дунаев.— Может, еще обойдется..

— Девка больно хороша.

«Фердипюкс» — это слово в стихийном порыве родилось во время великого спора Сапожникова с Фроловым. Хотя все понимали, что причина спора Глеб и Вика. А профессор тут судья со свистком.

Глеб пришел потому, что Филюдоров пришел; Филюдоров пришел потому, что Толя пришел; Толя пришел потому, что Вика попросила, Вика — журналистка, которой нужно взять интервью у ученых. И Глеб чувствовал себя репкой, которую в конечном счете вытащила из грядки эта красивая мышь. Первый раз Глеб сидел в компании, которая собралась не ради него... Он курил трубку «пунте оро», набивал в нее «кепстен» из жестяной банки и чувствовал себя на сквозняке — без свиты, которая обычно делала за него черновую работу. А Вика эту свиту как бы отсекла. И приходилось самому доказывать, что король не голый. Но не в этой же компании!

Вика тоже чем-то задевал Глеб. Только она не могла понять чем. Чужой, в общем, человек высокий красивый Глеб. Когда она на него смотрела, ей казалось, что, проходя на ахалтекинце коротким галопом по вольному шоссе, она заглянула в пролетающую «Волгу» сквозь ветровое стекло. Пролетели навстречу друг другу с удвоенной скоростью — и разнесло их в разные стороны.

Вика и Глеб холодно переглядывались поверх головы Сапожникова, и все понимали, что, как это ни смешно, между этими двумя идет борьба за душу Сапожникова.

Глеб разглядывал ногти, как отрицательный герой в детективе. И поддакивал Фролову. А Фролова эта поддержка унижала, как похлопывание по плечу. Вика записывала высказывания Сапожникова и не записывала Глебовых. Филюдоров с Варгановым с высоко поднятыми бровями сидели на разных концах дивана, каждый у своего валика. А Толя улыбался и вертел головой — то на Сапожникова, то на Филюдорова поглядит,— как при помолвке. Нюра входила и выходила и говорила что-нибудь мимо смысла, и голоса у мужчин становились низкими. Вика тогда бросала писать и старалась понять, как у Нюры это получается. А Дунаев посмеивался.

Вот такая психология.

Сейчас есть инженерная психология, и социальная психология, и еще разные отростки этой науки. А какая здесь была психология, когда на одном конце цепочки расположилась Вика, а на другом проживала Нюра, а все остальные только перегруппировались?

Мы пока еще сознательно не говорили о психологии Сапожникова, потому что нам стыдно.

Вместо того чтобы думать о двигателе, он страдал оттого, что через часок-другой Вика уйдет. Когда он думал об этом, в спине у него начиналась боль, а когда не думал — боль начиналась снова. И тогда Сапожников видел, как Вика переходит в качающуюся лодку.

Глебу была неприятна возня вокруг Сапожникова, которую явно пыталась устроить Вика. Он спервоначала было решил — начинается, пресса, дебаты о том, мученик Сапожников или нет, бороться ли обществу за его двигатель или сдать в архив. Это Глебу было совсем ни к чему. Изобретатели — хаотическое племя, от которого у порядочного исследователя тошнота. Но дело повернуло совсем в другую сторону.

Один из болельщиков понахрапистей — некий Фролов, бывший

токарь,— явно обиженный разговором, который, по мнению Глеба, был выше его понимания, вдруг перевел дискуссию в общую плоскость, где буйствует хаос амбиций и теряется всякая конкретность. Генку задело, что вроде бы получалось — есть обычные люди и есть особенные. И он, Генка, и Вартанов, и хозяева дома Дунаевы — обычные, а залетные профессора с секундантами — особенные. Вика не в счет, так, неандерталочка.

— Творчество, творчество... Творчество — это работать без халтуры,— сказал Генка.— Работай на совесть — вот и будет творчество. Совесть — вот и все творчество.

— Верно,— сказал Глеб.

И Генка осекся. Он животом, кожей, раньше говорили — фибрами души чувствовал, что поддержка с этой стороны полностью корежит то, что он хотел сказать.

Совесть — великое слово, совесть по отношению к делу, может быть, великое вдвойне. Вся штука в том, что считать делом. Генка не мог объяснить, почему ему нельзя объединиться с Глебом, но знал твердо — нельзя. И кроме того, он не знал, куда девать Сапожникова по этой раскладке.

— Гена,— сказал Сапожников,— ты на чем сидишь?

— Ну?

— На стуле сидишь?

— Ну, сижу.

— А кто изготовил?

— Мебельная фабрика. Мастер. Ну и что?

— Изготовил,— сказал Сапожников.— А придумал кто?

— А это одно и то же,— ощерился Генка.— А по-твоему, стул — дело нетворческое? Так, что ли?

— Я работаю на стекольном заводе и выпускаю стакан. И делаю это хорошо. Это ремесло, понял? — сказал Сапожников.— Или так: беру каплю расплава и начинаю выдувать пузырь и по дороге сообщать, что из него можно сделать. Это творчество, понял? Стакан я планирую, заранее знаю, а насчет капли догадываюсь по дороге, понял? Прежде чертежа нужна догадка.

«Фердипюкс» — это слово такое, которое в стихийном озарении родилось во время великого спора Сапожникова и Фролова.

Глеб слушал напряженно, и все понимали, что он наконец дождался и нарвался, и теперь его медленно раздевали.

И ничего Глебу поделать было нельзя. Ни уйти — потому что всем ясно было бы, почему он это сделал, ни вступить в спор — потому что не хотел он поставить себя с Генкой на одну доску, ни приказать замолчать — потому что в этом споре начальников не было. И оставалось ему только ждать, когда Сапожников с его тупой основательностью либо поскользнется на натертом полу расхожей публицистики, и тогда можно ему будет припаять образ мыслей, опасный для общества, либо вызовет стихийную социальную ярость Фролова.

Но покамест ничего этого не происходило, и Сапожников не давал спору возвыситься до уровня «а ты кто такой?» и «наши не хуже ваших».

«Фердипюкс» — это слово такое. Им Сапожников предложил заменить слово «творчество». Поскольку слово «творчество» помаленьку начинает терять всякий смысл и ощущается только престижем и похвалой. И сказать про какое-нибудь дело, что оно не творческое, значит оскорбить всех, в этом деле участвующих, и отвлечь к нему стремящихся.

Вот Сапожников и предложил заменить слово «творчество» словом «фердипюкс» ввиду его явной противности. Чтобы тот, кто не умеет или не хочет делать кое-что без предварительного чертежа, не стремился бы к этому занятию только из-за клички «творец». Это же ясно! Одно дело сказать про человека, что он на творческой работе, а другое объявить во всеуслышание, что он занимается фердипюксом. Кому это приятно? Фролову это было неприятно, и он как-то сразу скис.

Но Сапожников, который всю жизнь ехал куда-то и никак не мог доехать, обижаться ему не велел и заявил, что лично его вполне устраивает, если все будут знать, что он занимается фердипюксом, лишь бы езду в незнаемое не путали с ездой по адресу. И что обществу нужны и ремесленники и фердипюксы, и если Фролова оскорбляет когда-то великое, а ныне затрепанное и уничижительное слово «ремесленник», то есть человек, знающий свое дело до тонкости и умеющий сделать нужную вещь, то Сапожников со своей стороны добровольно отказывается от престижной клички человека творчества, то есть человека, имеющего не чертеж впереди, а убегающий горизонт, и согласен быть фердипюксом, раз слово «творчество», бывает, приманивает бездельников на нужную обществу работу.

— Так против чего же ты все-таки выступаешь, Сапожников? — спросил Глеб и стал ждать ответа.

— Я не против. Я за,— сказал Сапожников.— Я за ремесло и за фердипюкс.

— Ремесло — это стандарт. Стандарт противен,— сказал Глеб.— И мы со стандартом боремся.

— Это ужасно,— сказал Сапожников.— Ужасно, если вы победите. Но я думаю все же, что вы не победите. Стандарт — это великое достижение в технологии. Я хочу позвонить по телефону, чтобы мне на дом привезли телевизор «Электрон», а я бы его только включил и смотрел бокс, где Кассиус Клей делает что хочет с Фрезером, потому что Кассиус Клей фердипюкс, а Фрезер выполняет программу и каждый раз ошибается, а не хватать за локоть молодого продавца и жарким шепотом просить его подобрать за дополнительную плату телевизор «Электрон», но не жирный, а попустней и с мозговой косточкой.

— А если токарю надоест крутить гайку по чертежу? — спросил Глеб, ища союзника в Генке.— Тогда как? То есть ему надоест работать руками и он захочет работать головой? Тогда как?

— Во-первых, нет такого ремесленника, который бы не работал головой. Ты просто не пробовал, Глеб. Не путай стандарт и однообразие. А если ему надоест однообразие, он должен придумать, как сделать две гайки вместо одной, или придумать автомат для нарезки гаек, или придумать элемент, заменяющий гайку вообще. То есть перейти в фердипюксы.

— Я не хочу переходить в фердипюксы,— сказал Фролов.— Я хочу резать свою гайку. Я люблю однообразие. Оно успокаивает.

— Тогда о чем спор? — спросил Сапожников.— Я же знал, Гена, что ты не захочешь перейти в фердипюксы. Но ты, как и Глеб, почему-то считаешь, что в науке и в искусстве...

— Ничего я не считаю...— вызывающе сказал Фролов.— Почему ты объединяешь меня с Глебом? Я говорил о совести.

Так. Слово было сказано. Хотя и не Сапожниковым, но было сказано — объединяешь.

Глеб поднялся, подошел к Сапожникову и стал смотреть ему в глаза.

— Ты сумасшедший, Сапожников,— сказал Глеб.

— Это я уже слышал,— сказал Сапожников.— Я алжирский бей, и у меня под самым носом шишка.

— Почему ты людей обижаешь?

— Ничего ты не понял, Глеб,— сказал Фролов.— Мы об него сами обижаемся, как о булыжник... Все важно — и ремесло и ферди-пюкс. Не надо только перепутывать. А то одна показуха получается. Сапожников — фердипюкс, это ясно. Верно я говорю, Сапожников?

— Не подсказывай мне ответ, Гена,— сказал Сапожников.

Потом он засмеялся, сделал танцевальное па в центре комнаты, закрыл глаза и повалился на пол.

— Неожиданности хороши в меру,— сказал Глеб.

Фролов кинулся поднимать, но Глеб остановил его.

— Нельзя...— сказал Глеб.— «Скорую помощь»... Быстро... Инфаркт, наверно.

Палец Вартанова не попадал в единицу на диске и все промахивался мимо.

— Допрыгался, фердипюкс...— сказал Филидоров, который во время дебатов не произнес ни слова и настолько затих в своем углу, что о нем постепенно забыли, хотя вначале явно старались показать себя и понравиться ему.

— Эх вы! — наконец крикнула Нюра.— Ему же людей жалко! Понятно вам? — И снова крикнула: — Сапожников!

## Глава 28. Багульник

Как на самом деле было, никто не знает, но рассказывают вот что: шел по улице человек, шел и шел, а потом вдруг упал. Подбежали к нему, смотрят, а он не тот. Какой он прежде был, никто, конечно, не знал. Шел себе по улице и шел, а когда упал, смотрят, он совсем не тот. Ну конечно, тут шуры-муры, туда-сюда, то-се, подбежал второй, поднял человека, пустил его по улице — идет. Как колесо, покатылся. Опять стал тот самый. Никакого интереса.

Вика сказала Сапожникову:

— Ну что ты мне всякую чушь рассказываешь... Ну а кто он, тот человек?

— Кто?

— Который упал?

— А-а.

— Нет, правда, кто?

— Это был я.

— А второй, который его поднял?

— Это был тоже я,— сказал Сапожников.— Однажды раненый бык упал на льду и разбил лицо. Это был тоже я. А однажды я замахал крыльями, взлетел на забор и закукарекал. Это был тоже я.

— Ты очень чувствительный.

— Нет,— не согласился Сапожников.— Я задумчивый.

— Ничего, все еще наладится,— сказала Вика.— Ты еще выпутаешься.

На подоконнике стояла хрустальная ваза колокольчиком. Вика воткнула в нее какие-то прутья и налила воды. Два дня они стояли веником, а на третий брызнули розовыми цветами.

Сапожников только хотел было сказать ей, что вот, мол, сухие прутья, если их поставить в вазу да налить воды, и другое в этом роде,— только рот раскрыл, а она тут же все сообразила.

— Ты мыслишь образами,— сказала Вика,— не инженер, а прямо какой-то Белинский.

— Я сломанный придорожный цветок татарник,— сказал Сапожников.— Я Хаджи Мурат. Меня теперь только в хрустальную вазу ставить... Ничего нельзя, двигаться нельзя, пить нельзя, курить нельзя...

— Только без пошлостей.

— Я ни слова не сказал о женщинах. Что ты взвилась?

— Я тебя знаю.

— Вот-вот, курить нельзя, пошлости говорить нельзя... Слушай,— сказал Сапожников,— мне сегодня улица снилась. Лето, а по асфальту идут глазастые девчонки в мини-юбках, с вытарашенными коленками...

— Противно,— сказала Вика.

— Ты же сама такая.

— Я бы их из пулемета расстреляла.

— А не жалко?

— Жалко,— сказала она.

А Сапожников вдруг откинул одеяло и выскочил на холодный пол. Ничего. Жив.

Вика крикнула:

— Ты что?!

Сапожников стоял на паркете на дрожащих ногах.

— Совсем с ума сошел,— сказала Вика,— совсем...

Сапожников похлопал себя ладонью по ноге.

— Волосики...— сказал он.

Вика вылетела из комнаты.

— Не сердись! — крикнул Сапожников.— Пошлости тоже зачем-то нужны.

Хлопнула входная дверь.

— Тишина, ты лучшее из того, что я слышал,— сказал Сапожников и, держась за стенки, выбрался в коридор, где у него возле холодильника имелась гиря.— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях,— сказал Сапожников и нагнулся за гирей.

Тут на него упала щетка, потом рулон чертежей. Они показались ему очень тяжелыми. Он запихнул их в угол. Отдохнул немножко. Потом рывком поднял гирю, подержал ее над головой и осторожно опустил на пол.

Ничего не случилось.

— А ну,— сказал Сапожников сам себе и поднял еще раз.

Потом он доплелся до кровати и сел на краешек. В груди булькал, толкался и бил крыльями недорезанный петух.

— Болит,— жалобно сказал Сапожников, но никто не услышал.— Ну и хрен с ним. А раньше, что ли, не болело? Уж лучше от гири.

Тогда он встал, повторил все сначала, и пот заливал ему лицо, и слезы заливали ему лицо, а на улице нерешительно брэнчали первые гитары, ничего, они разойдутся еще. Скоро лето. И тогда он обнаружил, что стоит на коленях перед гирей.

— Нет...— сказал Сапожников сам себе.— Зачем же умирать стоя? Лучше все-таки жить стоя, чем умирать на коленях. Если сейчас не умру — буду жить, а как же!

Потом дополз до постели, улегся и дышал.

— Курить бы надо бросить,— сказал он.

И тут чмокнул замок и вошла Вика.

— Отдышалась? — участливо спросил Сапожников.

— У меня голова болит от тебя.

— Я одинокий,— сказал Сапожников.

— Ну уж нет,— ответила она.— Прежде чем помереть, мы с тобой еще поживем, Сапожников.

Он и раньше замечал, что им разом приходят одни и те же идеи, но не знал, что это бывает на расстоянии.

— А то еще был такой случай,— сказал Сапожников. У него этих случаев было сколько хочешь.

Вика перебила:

— Они мне сообщили, что у тебя инфаркт был из-за меня.

— Они романтики.

Она усмехнулась пренебрежительно, а Сапожников, чтобы ее утешить и выделить из общей массы людей, сказал:

— Им непременно надо, чтобы из-за любви был инфаркт, а еще лучше — помереть. Тогда будет о чем рассказывать и бегать из дома в дом высунув язык.

— А может быть, ты циник? — спросила она.

— Нет,— сказал Сапожников.— Я механик.

— Ты всем голову морочишь.

— Что правда, то правда.

— Слушай, а из-за чего у тебя был инфаркт?

— Ну-у, товарищи! — сказал Сапожников.— Медицина этого не знает, а ты хочешь, чтобы я знал! А был ли инфаркт? Может, инфаркта-то и не было?

— У тебя ужасное отношение к женщине.

— Да,— подтвердил Сапожников,— что правда, то правда. Хотя скорее всего нет.

— А зачем ты мне тогда в любви объяснялся? Откуда я знаю, может быть, ты каждый вечер объясняешься?

— Господи,— удивился Сапожников,— если б я мог каждый вечер объясняться, я бы объяснялся! Нет, каждый вечер я не могу. Я бы тогда был не Сапожников, а господь бог.

Вика поплакала немножко, а потом сказала:

— Я тебе прощаю.

Тут пришла Нюра, и Вика распорядилась:

— Все-таки нужно, чтобы он жил.

— Ладно,— сказала Нюра.— Будет сделано.

— Я так думаю, вы с ним еще хлебнете горя.

— Сапожников,— сказала Нюра,— ты почему девушку обидел?

— Это я его обидела.

— Вы не огорчайтесь,— утешила Нюра.— Кому он в любви объяснялся, потом удачно замуж выходит.

— Вот это самое ужасное,— сказала Вика.— Ну, я пойду. У вас грузовой лифт работает? Я люблю на грузовом.

— Вика, а почему на грузовом? — спросил Сапожников.— Разве ты шкаф?

— Он автоматический,— сказала Вика.— В нем двери сами открываются.

— Все это любят,— сказала Нюра и пошла ее провожать.

Потом загудел лифт, и Нюра вернулась.

— Вот почитай литературу.

Сапожников почитал.

Хватит про осень и зиму. Наступило лето.

Горожанин днем обливался потом, а после захода солнца глубоко дышал ночным бензином. Горожанин работал на славу и из-за денег, курил и перевыполнял планы, ссорился с начальством и до-

машинными, глож от шума машин и собственного темперамента, ходил в кино и орал: «Гол! Гол!» — на стадионе и перед телевизором, разводил цветы на балконе и хомяков в банке, покупал свечи и керамику, эстампы и старую мебель, французские туфли и японские купальники, подыскивал комнату для любовных упражнений и боялся любви больше голода. Рождаемость падала — перенаселение возрастало. Одни глядели на восток, другие — на запад, воздевали очи горе и зрели в корень. Добро и зло поменялись обличьем, и за мир кое-где дрались оружием, а война лезла в души писком транзисторов. Складывалась какая-то новая эпоха, и ее старались угадать по случайным приметам.

Наверное, и во все времена было так, что от великого до смешного один шаг, но Сапожников в другие времена не жил, и старушечий лозунг «раньше было лучше» действовал на него как предложение о капитуляции, и он вовсе не считал, что дорога через хаос должна быть усыпана выигрышными билетами.

Через два месяца Сапожников уехал в Ялту.

На берегу, скрестив руки, стояли старики в футбольных трусах и жокейских кепочках. Девочка-балерина, опираясь на ржавые перила, делала батманы. Другая некрасивая девочка прижималась к некрасивой матери и твердила: я тоже хочу так... О, ей предстояла трудная жизнь. По пляжу ходил человек в белой кепке, заломленной набок, из-под которой выглядывали седеющие кудри. Он поводил плечами и все время как бы собирался сделать что-то вызывающе спортивное. Но не делал. Эта выставка искореженного комнатной жизнью тела была чудовищна. На каменной набережной бушевал голый старик. Он бегал, приседал, размахивал руками, прыгал, как обезьяна, и вздымал руки к солнцу. На топчане сидела, расставив ноги, огромная старуха. Другая, в очках, приветствовала подружку воинственным жестом. Все это живо напоминало сумасшедший дом.

— Ксс-ксс,— слышался сзади голос нянечки, которая общалась с котенком.— Ешь, ешь... да пей молоко, чертеноч.... Ну на тебе с пальца... Надо его в столовую отнести... Да где же его мамаша, черт ее побори?..

— Она боится нас,— сказал Сапожников, содрогаясь от своего сходства с купальщиками, и ушел с пляжа.

Ночью был дождь с градом. Под крыльцом пищал мокрый котенок. А утром на пляж море выкинуло мертвого дельфина. Плавник его костяно смотрел в солнечное небо, на боку была кровавая рана, глазки его были закрыты, и он был тяжелый. Большую муху сносило ветром, и она никак не могла сесть к нему на смеющуюся губу.

На завтрак давали сосиски с картофельным пюре, манную кашу и тертую морковь. Вечером будет кинофильм. Индийская картина «Материнская любовь» в двух сериях. Сапожников знал этот фильм. Там поют.

По террасе все время ходил артист балета в кровавом кимоно с двумя белыми иероглифами — на груди и на спине. Кипарисы, кипарисы. Море было лазурное и, как писала чеховская девочка в диктанте, море было большое. Оно действительно было большое, но утыкалось в низкий горизонт. В низкий горизонт теперешнего Сапожникова, человека без перспектив.

— По-моему, критик — это человек, у которого не хватает смелости попробовать свои рекомендации на собственной шкуре,— сказал Сапожников.

— Так бы сразу и говорил,— сказала Неля.— А то — деушка-деушка, который час?

— Который час? Восемь пятнадцать. Сейчас кино начнется. «Материнская любовь» в двух сериях.

— Учти, я не с каждым в кино хожу.

— Слушай, мартышка,— сказал Сапожников,— Ты какая-то чересчур умная. Тебе не трудно?

— Между прочим, я не глупей тебя.

— Это уж точно,— сказал Сапожников.— Глупей меня еще поискать. Давай разговаривать на близкие нам темы, а то мы запутаемся. Вот скажи, может пьеса состоять не из героев, а из прохожих?

— Легче надо жить, легче,— сказала Неля.

— Я знаю,— сказал Сапожников.— А как это сделать?

— Ха-ха,— сказала Неля.— Надо б лампочку повесить, денег все не соберем.

— Пошли купим завтра белые кепки,— сказал Сапожников.— А то у нас мозги расплавятся.

— Я стройненькая,— сказала она.— Мне кепка пойдет. Ты знаешь, у меня такое состояние, мне музыку нужно.

За их спиной хихикнули. Сапожников обернулся и встретил взгляд мужчины с хамоватым лицом курортного чтеца. Есть такие чтецы с сытыми многозначительными лицами. Особенно они любят читать Превера. «Луч солнца упал на подоконник, и я вспомнил тебя, Мари». В этом роде. И пожилые дамы чувствуют себя вознесенными... А чтец тут же им читает Пастернака, а потом Аверченко. О дураках.

— Они считают, что я чокнутая, а я не чокнутая.

А Сапожников взял ее за руку и сказал погромче:

— Идем, мартышка... им до тебя еще расти и расти. Они всего лишь слегка начитанные... А ты дикий зверек. Они живут чужим умом, а ты своим. Ты необработанный алмаз. А они обкатанные, как гольши на берегу. Из них только узоры на стадионе делать.

После этого часть людей стала относиться к Сапожникову плохо, а часть хорошо. И, естественно, ему нравилась эта вторая часть. Особенно Сапожникову понравилась спина одного дядьки, потому что хотя тот и стоял к нему спиной, но с явным одобрением прислушивался к его тираде.

Дядька обернулся и оказался профессором Филидоровым.

## Глава 29. Глиняный кот

Профессор Филидоров не любил проводить отпуск в доме отдыха. Там расписание, четыре раза в день столовая, и в одно и то же время. А потом вокруг клумбы ходить в компании и все время быть интересным. И рассказывать иронические байки из поездок по чужим территориям. Ну, знаете эти разговоры: «Помнится, когда я был в Пукипси... Или нет, это было в Майами-Бич... Простите, это было в Монте-Карло...» Или: «Помню один вечер в Париже... Все было очень просто — я, Пикассо, томик Гейне, легкое вино...» И еще профессор Филидоров страдал на секс-фильмах. Из-за голых актрис. И думал про их мужей. А Венера Милосская нравилась ему, потому что была толстая. А как признаешься?

И еще сувениры. Никто из его коллег не купил бы на рынке глиняного кота. Разве что под пыткой. Бесформенный серый кот с розовым носом и щелью на спине. Это низкий вкус. Другое дело глиняный кот с мексиканского рынка. Это высокий вкус. А так как иностранный коллега не покупал котов у себя на рынке, а гонялся за

ними в Москве, то высота вкуса была прямо пропорциональна расстоянию до рынка. Вкус шел на километры. Ну и так и далее, как говорил Сапожников.

Но отпуск есть отпуск. А на даче жена, дочь, гости жены, гости дочери, гости гостей и другие гости. Поэтому профессор Филюдоров снимал частным образом комнату в курортном месте, сговаривался с хозяйкой о еде и считал дикарями тех, кто так не поступал. А как организовать орду отдыхающих, профессор Филюдоров не знал. В конце концов, каждый устраивается как может, если ищет уединения.

...Сначала на пляже он встретил физика, который вернулся из Швеции. Выпили саперави.

— Миин скооль, дин скооль, але вакра фликуш скооль,— сказал физик.

И профессору Филюдорову было стыдно. Он не знал этого тоста и за что пьют. Оказалось, что пьют за девушки. Физик сказал:

— Тут на пляже есть наши.

И опять Филюдоров не знал, кто эти наши. Он уже сам не помнил, в скольких местах он консультировал. Потом подошли трое наших с восклицаниями:

— Профессор! Отлично!

Они все были в плавках.

— Сегодня День шахтера. Надо отметить!

Ага. Это шахтеры.

— Сапожников тут... Вы знакомы?

Профессор Филюдоров дал им адрес своей хозяйки.

Он жил на втором этаже, и в три стороны было видно море. Каменная улочка вела вверх к его дому, а над ней зелень, зеленый навес листвы. Свет, тень, живое и каменное.

Профессор Филюдоров нес авоську с сухим вином и печеньем. Посидим тихонько у распахнутых окон. Будем дышать морем, пить сухое вино, глядя на луч пурпурного заката, а потом на большое лунное море.

Не постучавшись вошли два незнакомых парня с лицами гангстеров.

— Здесь День шахтера? — спросили они.

— Здесь... Но...— сказал Филюдоров.

Парни внесли ящик водки и два ящика пива, поставили у стены рядом с двумя филюдоровскими сухонькими.

— Мы за закуской,— сказали они.

И ушли.

Профессор Филюдоров похолодел. Он выглянул в окно. Много людей поднималось вверх по улице. Они размахивали руками и показывали на профессора. Они шли к нему.

Потом, перекрывая пение Нели, рев голосов и вой магнитофона, шахтер с лицом артиста Бориса Андреева и фигурой Ильи Муромца воскликнул:

— Надо выпить за самого старшего среди нас шахтера! Профессора Филюдорова!

— Я не шахтер...— стеснительно сказал Филюдоров.

— Не верьте ему,— сказал Сапожников.— Он шутит.

— Ура! — крикнули все.

Кроме Сапожникова — абсолютно незнакомые лица. Ни «швед», ни трое «наших» в плавках так и не появились.

Со двора два гангстера подносили шашлык, дым поднимался, как при казни еретика Джордано Бруно, и профессор Филидоров уже не боялся хозяйки, он боялся дружинников. И жителей города.

— Ты хороший человек,— говорил ему Илья Муромец.

А Добрыня Никитич доливал ему в бокал пиво:

— Запей... Хорошо будет.

— Я не пью,— говорил Филидоров.

— Только один шахтер не пьет,— говорил Алеша Попович.— Памятник на министерстве.

— Я не шахтер,— все более весело говорил Филидоров.

— Он шутит,— говорил Сапожников.

И профессор Филидоров уже ничего не боялся.

Только раз он испытал чувство ужаса и паники. Это когда все, и он с ними, оглашая ночь песнями, спускались вниз, к морю, и в нижнем конце улицы увидели слепящую фару и услышали треск милицейской коляски. Пропало все. Доброе имя, уважение общест-венности.

Гости окружили патруль. Профессор отчаянно и благородно вы-ступил вперед.

— Я профессор Филидоров...— сказал он.— А это мои ученики...

— Потихе, граждане,— сказал милиционер.— Поздно уже.

С песней «А кто твой муж, гуцулочка? Карпа-аты!..» гости дви-нулись в дом отдыха. А профессор Филидоров, Сапожников и тихий человек, которого все шахтеры называли Аркадием Максимовичем, сели возле тихого моря на теплую гальку. Последней подошла Неля.

— Стыд духа,— сказала Неля.— Ну, прямо стыд духа.

Она сегодня шепелявила, у нее губа треснула. И еще она боялась летать на самолете, а ей улетать послезавтра.

— А почему боишься? Тошнит?

— Да сто ты? Мозно аэрон принять. Я на самолете не боюсь... Просто если он навернется, сто тогда будет?.. Смотри, губа тресну-ла... Слушай, а это не рак?

— Не надо на ветру целоваться,— сказал Сапожников.

— Да ты сто? Откуда целоваться? У меня жених в Донецке... Ви-дись, ессе треснула? Это не рак?

— Рак,— сказал Сапожников.— Ну что ты пристала?

— А мне серт с ним, сто рак,— сказала она.— Мне главное дело с родителями попросяться... Ах, заль, сто не в Донецке заболела, не успею с родителями попросяться...

— Не рак у тебя, не рак, успокойся,— сказал Сапожников.

— Сестно?

— Честно тебе говорю. Я знаю. Иди.

И Неля тоже ушла.

— Странно...— сказал профессор Филидоров.— Все это чудовищ-ная дикость, варварство. Водка эта и пиво... Но я никогда не прово-дил такого чудесного вечера... Все так непривычно. Вот вы шахтер, Аркадий Максимович, объясните мне...

— Я не шахтер,— сказал Аркадий Максимович.— Я археолог.

Он увидел светлячка и нагнулся, Сапожников увидел светлячка и нагнулся, и они стукнулись лбами.

Так Сапожников познакомился с Аркадием Максимовичем.

Так в эту ночь возник, быть может, главный для Сапожникова поворот на его жизненной дороге проб и ошибок. Но он этого, ко-нечно, не знал тогда и тем более не знал, к каким это его приведет выводам.

Аркадий Максимович перебирал камешки на берегу теплого моря и вдруг сказал, что в сборнике фантастики он читал сапожниковский рассказ о Скурлатии Магоме, нерадивом ученике будущего, и что его как археолога привлекла там одна мысль.

— Какая? — спросил Сапожников.

Оказалось, мысль о том, что если машина времени возможна, то она уже изобретена в будущем, и в этом случае поездки в прошлое наших потомков неизбежны, а также неизбежны их скрещивания с нашими предками, и этим объясняется разнообразие рас. Это очень простое объяснение и очень смешное.

— Из-за того, что смешно, — сказал Сапожников, — редактор и не хотел печатать. Солидности ему в рассказе не хватало... А без солидности какая наука?

— При чем здесь наука? — сказал Филидоров. — Это же фантастика. А фантастика для возбуждения фантазии.

Аркадий Максимович засмеялся и стал вспоминать сапожниковский рассказ. А Филидоров засмеялся и сказал, что это, конечно, не литература и не наука, а черт те что, но читать можно.

«Он только уснул, как вдруг услышал:

— ...И выходит, что интуиция, то есть предчувствие, — это момент восприятия информации из будущего, момент стыковки прошлого с будущим через настоящее, — сказал Скурлатий.

— Но если время движется вперед, почему оно вдруг с нами стыкнется? — спросил Сапожников.

— А потому что оно движется не только вперед, но и вихрем по спирали, и потому оно набегаёт сзади и проскакивает мимо нас, — сказал Скурлатий.

— И снова набегаёт сзади?

— Да... Но оно уже не то самое, что было... То есть мы то горимся за прошлым, то отстаем от будущего и только моментами движемся с временем наравне. Мы не можем двигаться быстрее времени, но можем перескакивать на виток, бегущий обратно, или на виток большего диаметра и, значит, летящий быстрее... У нас поэтому и логика совершенно другая. У вас линейная...

— А у вас нелинейная, — сказал Сапожников. — Я давно об этом догадался.

— А если это мы догадались?

— Нет... Я сам до всего дошел, — сказал Сапожников.

— Почему ты так решил?

— А потому что если в моей природе нет способности воспринимать будущее, то никакие сигналы не помогут, это раз. А во-вторых, если у меня нет хотя бы зародыша этой способности, то и у вас бы ее не было... Вы мои потомки, а не я ваш. И выходит, что передача от меня к вам важнее, чем от вас ко мне, — сказал Сапожников. И вдруг сообразил: — Но ведь тогда совсем по-другому объясняется такая вещь, как расы и прочая этнография... Вы прилетали уже изменившиеся во времени и плодились здесь, скрещивались и выводили новую породу.

— И не один раз, — сказал Скурлатий. — Саморазвитие — медленная штука. А так — мы вас развивали, а вы нас... Жизнь-то колесом катится, а не копьём летит.

— А что вам-то предстоит?

— Ну, судя по тому, что мы есть, наше будущее нас не угробило.

— И то хлеб... — сказал Сапожников. — Интересно... Выходит, возникновение новых рас — это скрещивание с будущим... Будущее влия-

ет на нас сознательно и бессознательно, а вовсе не только прошлое, как мы предполагали. То есть причины наших поступков лежат и после нас, а не только до нас... Но почему вы считаете, что если переменить причину, то изменятся и последствия?

— Как же иначе?

— Господи, уткнулись носом... Дескать, вот пара: молоток — гвоздь... Молоток ударил, гвоздь вошел в стену. А это все ерунда. Главная причина — твое желание вбить гвоздь. А бить можно и не молотком, а микроскопом. А можно вообще не бить. Поставь с другой стороны магнит — гвоздь сам влезет.... Каждое явление есть следствие бесчисленных причин, а не одной...

— Вот ты как... Это надо запомнить,— сказал Скурлатий.— Вообще мы тебя у нас в школах проходили... Ты у нас считаешься основоположником.

— А тебе сколько за меня поставили?

— Пару.

— Малограмотный, черт. Никакого от тебя толку... Хотя к двоичникам я почему-то испытываю слабость. А почему — непонятно.

— Понятно,— сказал Магома.— Мы развиваемся по неизвестной программе, а отличники по известной.

— А почему бы вам просто не улучшить нашу жизнь! Ну, сделать ее хотя бы похожей на вашу... А мы бы тем самым еще более улучшили бы вашу жизнь...

— А почему именно вашу жизнь улучшать? — спросил Магома Скурлатий.— А до вас что? Не люди жили?

— Тоже верно... Значит...

— Ага,— сказал Магома,— мы этим и занимаемся... Мы ищем, как запустить в оборот такой главный фактор, который бы выстроил и выправил всю человеческую историю заново и сделал бы ее счастливою.

— Ну? И нашли такой фактор?

— Нет. Ты должен найти этот фактор.

— Я?!

— Ты.

— Ну почему я?! Почему опять я?! — завопил и занял Сапожников и проснулся».

В черном небе стояли неподвижные звезды. Аркадий Максимович и Филидоров смеялись, когда вспоминали сапожниковский рассказ и его нелинейную логику.

— Хотя в этом что-то есть,— сказал Филидоров.— В нелинейной логике...

Пахло олеандрами и прочими магнолиями, и посторонний мужчина в шляпе и белой майке скрипел галькой, укладываясь спать у тихого моря на надувном матрасе.

— Слава богу, машина времени принципиально невозможна,— сказал Филидоров.— Иначе пришлось бы допустить, что время — это материя.

— Я допускаю,— сказал Сапожников.

— Ну, это понятно...

— Нет, я серьезно!

— Ага,— сказал Филидоров,— это я понял... Все сверхъестественное вам по душе.

— Кстати, о сверхъестественном,— сказал Сапожников.— Если завтра кто-то пройдет пешком по воде — это тут же перестанет быть сверхъестественным... Доказать, что такого не может быть ни при каких условиях, тоже невозможно. Если захотеть, можно придум-

мать, как это сделать.... Можно только сомневаться, так ли это было, как рассказано в мифе... Да и в мифе, я думаю, фантастичны не факты, а их объяснение.

— Вы это к чему? — спросил Аркадий Максимович и напрягся.

— Возьмите Посейдона, — сказал Сапожников. — Что в древние времена мог подумать человек, впервые увидевший колесницу, которая летит по морю-окияну, а перед ней мчатся дельфины? Он решил бы, что колесницу везут дельфины... А что подумали бы мы, впервые увидев это? Мы бы начали искать скрытый мотор. Чье же объяснение фантастичней, если факт относится к прошлому? Конечно, наше. Потому что дрессировать дельфинов можно было и тогда, а для мотора нужна технология... А что это значит еще?

— Что?

— Что люди уже знали колесницу и могли ее отличить от лодки.

— Колесница Посейдона — это просто метафора, — сказал Филидоров. — Это метафора.

— Пусть метафора. Но за метафорой лежит нечто реальное и привычное, иначе не поймешь, что с чем сравнивается, что на что похоже... За мифом всегда почва... Если завтра окажется, что гравитации нет вовсе, то ньютоновское притяжение окажется мифом и от него откажутся. Но это не будет означать, что яблоки перестанут падать на землю.

— Значит, вы считаете, что был некто реальный, кто мчался по морю на чем-то, похожем на колесницу? — спросил Филидоров.

— Я пока ничего не считаю, — сказал Сапожников. — Я думаю... А вообще нужна сравнительная мифология... Есть такая наука?

— Нет пока, — сказал Аркадий Максимович.

И вдруг занервничал так очевидно, будто пытался заглушить некое соображение, которое явно просилось наружу.

— Что с вами? — не выдержал Сапожников.

— Значит, вы считаете, что в мифе фантастичны не факты, а их объяснения? — спросил Аркадий Максимович.

— Ну?

— Я с этим согласен... И я считаю, что была цивилизация в Атлантике...

— Атлантида? — обрадовался легкомысленный Сапожников.

— Ну, пусть Атлантида, — сказал Аркадий Максимович. — Я горю от себя эту идею... и не могу прогнать.

— Ха-ха-ха... — сказал Филидоров. — Я вас вполне понимаю...

Еще бы не понимал! У него самого сапожниковский абсолютный двигатель не шел из ума.

Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и негодованием. И даже самый интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности.

— Ну почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович? — спросил Сапожников. — Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь?

— Так-то так... — ответил Аркадий Максимович.

— Ведь ничего из ничего не рождается, закон сохранения энергии не велит. Вот спросите у профессора. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, — сказал Сапожников. — Значит, были у вас причины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гуляющая девка, а вы неустойчивый монашек?

— Так-то оно так, — сказал Аркадий Максимович. — Но вокруг

проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел.

Филидоров засмеялся.

— Ну и что особенного? — сказал Сапожников. — Я вечный двигатель изобрел.

— То есть как? — спросил Аркадий Максимович. — Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего?

— А зачем ее брать из ничего? — спросил Сапожников. — Надо ее брать из чего-нибудь.

А Филидоров только крякнул.

— Но тогда это не будет вечный двигатель.

— Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество.

Аркадий Максимович догадался сам про себя, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.

— Однако вернемся на землю, — сказал Филидоров и посмотрел на часы. — Ну, что у нас на земле?

Часы на земле показывали без десяти полночь.

— Пора... В дом отдыха не пустят, — сказал Аркадий Максимович. — На земле у меня трудности... Я не выдержал нервного напряжения, и мне достали путевку. — И заторопился: — И жена от меня, кажется, сбежала и вообще!..

— Что вообще? — спросил Сапожников.

И Филидоров тоже поднял голову от своего светящегося циферблата. Потому что слово «вообще» Аркадий Максимович выкрикнул.

И тут Аркадий Максимович заговорил медленно и наизусть:

— Я, Приск... Сын Приска...

«...Я, Приск, сын Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем которых я был, чтобы не угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями.

Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поместья и сказал:

— Приск, запиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов, я буду прятать в тайники самое ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно, а что нет, когда люди сошли с ума и царства колеблются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал, и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце, который употребляют живописцы из Александрии. И зароем в землю в неприметном месте, чтобы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно было продать твое повествование новому властителю. Потому что опыт жизни показывает, что...»

...Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняного старинного горшка, лежавшие на вывороченной им куче земли, и немножко подумал, стоит ли связываться. И так уже план дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось десять дней. Но потом все же заглушил мотор и сказал Мишке Греку, неутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Максимовича. Дескать, опять выворотили горшок целый, но разбитый, а он над каждым черепком трясется.

Аркадий Максимович пришел и долго кудахтал и причитал, зачем Чоботов собрал черепки с кучи, а не позвал его сразу сфотографировать, как они лежали все врозь и все такое.

Чоботов стал есть ставриду, потому что он любил есть ставриду,

а Аркадий Максимович начал по-собачьи рыться в развороченной земле и махать своими кисточками, и стало ясно, что дорогу они продолжат примерно лет через двадцать, аккуратно ко второму кварталу 2000 года.

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Максимович сидит на земле, вытянув вперед ноги, держит в руках коричневые бумаги и плачет.

Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако.

...И Аркадий Максимович рассказал про бульдозериста Чоботова и про древнюю рукопись, выкопанную в районе Керчи во время земляных работ... в районе города Пантикапея, столицы великого Боспорского царства, которое тыщу лет как стинуло и теперь его только раскапывать, и что это было не где-то в греческих или римских краях, а тут, под боком, на нашей территории, и туда ходит транспорт и можно купить билет.

— Море было спокойное в тот вечер,— сказал Аркадий Максимович.— И над горой Митридат стояло розовое облако.

Сапожников с Филидоровым просидели всю ночь, разговаривая о том о сем, и оба не могли остановиться. Разговоры мы пока опустим. Скажем только, что, когда профессор ушел, Сапожников пролежал до рассвета на теплой траве, что росла на берегу там, где кончалась галька, а потом пошел искать Аркадия Максимовича.

Когда он припелся к дверям его номера, оттуда вышла женщина и остановилась на пороге.

Солнце просвечивало ее всю, и Сапожников понял, что это не женщина, а блюдо. Лучшие кулинары всего света потрудились, чтобы у каждого при взгляде на нее возникал волчий аппетит. Сервировка ее дышала духами и туманами, и было показано все, что нужно показать, и было прикрыто все, что нужно прикрыть. Сапожников сообразил, что это и есть жена Аркадия Максимовича, только когда услышал его голос.

— Я не лакство,— говорил Аркадий Максимович.— И не котлетка, понятно? Я человек и к тебе отношусь как к человеку... Если ты станешь некрасивой или больной, это я как-нибудь переживу... А вот если ты обезьяной станешь — тут все... конец...

— Я тебя так любила! — сказала жена.— Так любила... А ты убил мою любовь.

Из комнаты раздался собачий лай.

Женщина закрыла дверь. Погасла. И тяжелыми шагами ушла по коридору.

Когда Сапожников вошел, Аркадий Максимович стоял на четвереньках, задница его была отклячена, а пластиковый передник свисал с шеи строго вертикально. Он черпал антикварной ложкой суп из миски, облизывал сам и протягивал трехногой собачке.

— Ешь, ешь... — говорил он.— Делай вот так, ешь...

У Сапожникова сердце заныло.

Аркадий Максимович поднял голову и слепо посмотрел на Сапожникова.

— Извините,— сказал Сапожников.— Я не вовремя.

Трехногая собачка выскочила из-за миски и загородила Аркадия Максимовича. Она смотрела на Сапожникова отчаянно и свирепо, и в глазах у нее было — ну, признай нас, признай немедленно, иначе я тебе враг. Видно было, что она за этого балду на крест пойдет.

«Все...— понял Сапожников.— От этого не отделаешься... Конец... До конца дней буду защищать эту пару».

Аркадий Максимович поднялся с колен, взял на руки собачку и стыдливо прикрыл передником покалеченную собачью ногу.

— Она непородистая,— сказал Аркадий Максимович.— Но ужасно талантливая. Конечно, медали ей не дадут, но это не важно, правда?

— Перестаньте,— сказал Сапожников.— Я сам чистокровная дворняжка... Как ее зовут?

— Атлантида,— сказал Аркадий Максимович.— Вы знаете, существует неверное отношение к помесям, а ведь это приток свежей крови и обновление генетического фонда.

— Кто ей лапку отключил?— спросил Сапожников.

— Что вы? Это не я...— испугался Аркадий Максимович.— Она уже была такая, когда я с ней познакомился... Врач сказал, что это, видимо, транспортная травма... Может быть, электричка...

Атлантида залаяла.

Так они и познакомились — Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь.

Потом в коридоре раздался топот, и в комнату заглянул давешний Илья Муромец, совершенно умытый и ни в одном глазу.

— Здесь они, здесь,— сказал он.

Пропустил Филюдорова, прижимавшего к груди три бутылки кефира, и ушел.

— Надо немедленно ехать в Пантикапей,— сказал Филюдоров.— Простите, в Керчь... Немедленно!

— Вот это по-шахтерски,— улыбнулся Сапожников.

— Перестаньте... Гостиницы все забиты...— сказал Аркадий Максимович.

— Ничего, надо будет позвонить властям. Меня там знают. Я в этом городе консультировал,— возразил Филюдоров.

Так совершился главный поворот в сапожниковской жизни, в которой, как ему казалось, каждый поворот был главный и их у него тоже было сколько хочешь.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КРИК ПЕТУХА

...Зачем мы так подробно излагаем все эти его соображения? Ведь нормально для художества рассказывать о страстях и вытекающем из них нравственном пути персонажа, полезном для читателя,— не так ли? Но дело в том, что Сапожников родился в XX веке, а не в каком-нибудь другом, а именно в этом веке было постановлено, что наука должна разобратся, почему человек никак не поумнеет и по-прежнему воюет с собой, с другими такими же образованными, как он, и со средой, в которой он живет и которую частично создал сам.

### Глава 30. Георгин

Они все-таки приехали в Пантикапей, они все-таки приехали.

Сказано — сделано. Такая на них напала жажда, такое нетерпение. Видимо, пришла пора, когда душе требуется голос прошлого и ничем его не заменишь... «Я, Приск, сын Приска...»

...Я, Приск, сын Приска, родился в год, когда Антиох из Сиракуз утонул в порту вместе со своей триерой, напоровшись левым бортом на поваленную в море статую бога Гермеса, не замеченную им во время шторма. Потом статую увезли римляне, а триеру разметали волны. Это мне рассказывал мой отец, а сам я еще не мог видеть. А в остальном этот год был тихий, обильный вином и хлебом, и ничто не предвещало появления Ксенофонта.

Потом, правда, вспомнили, что когда он первый раз вышел на берег и, стоя спиной к морю, долго смотрел на прекрасный наш город Пантикапей, раскинувшийся по склону горы, то рыба перестала брать приманку и легла на дно. Но это вспомнили много позднее досужие люди. А тогда странное это дело отнесли к рыбам, а не к нему.

— Приск,— однажды сказал мне отец, когда мне было уже шесть лет,— посмотри на того человека с короткой тенью и большой головой... вон на того, который идет посередине дороги, там, где самая мягкая пыль... Посмотри на него, Приск, и скажи, нравится ли он тебе?

Я посмотрел на того человека, и он мне понравился.

— Да, отец,— сказал я.— Он мне нравится.

— Городу будет большая беда,— сказал отец.

Я тогда ничего не понял, мне было шесть лет, как сказано. Но и многие мудрые ничего не поняли. А когда поняли, кто такой Ксенофонт, было уже поздно. А дальше, когда он был убит рассердившимся фракийцем, который долго не размышлял, а отсек ему голову коротким мечом, уже ничего нельзя было поделать. Сам Ксенофонт как пришел, так и ушел в мир теней, но искра, которую он заронил, обернулась пожаром, в котором сторели все мы, и души наши сторели еще при жизни, и город наш, прекрасный Пантикапей, стал таким, какой он сейчас, а не как прежде, когда не было ему равных на всем берегу Понта Эвксинского.

И я, Приск, сын Приска, сижу на ступенях дома своего и думаю: почему боги не дали нам способности знать, что выйдет из наших намерений, даже самых лучших из них? Но тщетно. Ответа на этот вопрос я не знаю, и я не слышал о ком-либо, кто бы знал ответ. Разве что рыбы, которые не взяли приманку и легли на дно, когда Ксенофонт щурился на город Пантикапей и тень Ксенофонта была короче вечерних теней других людей. Но рыбы молчаливы...»

Травяной аэродром. Прохладный каменный зал ожидания. Небо солнечно-белое. Машина, которую они ожидали, конечно, не пришла.

Посоветавшись, взяли левака-частника. «Бьюик» тридцатых годов. Приборная панель светлая, деревянная, с большими часами. Рваная обивка, но — лимузин. Просторный. Честь по чести.

Белые домики с древней черепицей. Воздух, воздух. Весь серебрится от близости моря и степи.

Въехали в город Керчь. И он такой же — невысокий, заваленный близким простором. Афиши — Тимошенко и Березин, портрет красивой певицы. Книжные магазины, универмаги, открытые закусовые на углах.

— Надо будет в парикмахерскую зайти,— сказал Сапожников.

— Во-он там Тамань... Представляете — лермонтовская Тамань,— сказал Аркадий Максимович.— Я в войну там служил. В воздушной армии. Вершинин командовал. А вон там катакомбы. Ну, это не расскажешь... Вошла дивизия, а вышло несколько человек. Жгли автопокрышки для освещения. Лечить нечем, хоронить негде, пить нечего. Ноздреватый камень сырой. Группы специальные высасывали во-

ду из камня и поили раненых прямо изо рта. Не расскажешь... А вон гора Митридат.

— Так и называется? По имени царя Митридата? — спросил Сапожников.

— Да, — сказал Аркадий Максимович. — Две тысячи лет так и называется. Там он отбивался и погиб на вершине. И настала Римская империя, которая думала, что будет существовать тысячелетия, а продержалась еще пару сот лет.

Ветер и солнце выворачивали наизнанку верхушки деревьев.

— Как ни странно, об этих катакомбах знают меньше, чем об одесских, — сказал Филидоров.

— Чересчур страшно все... В местном музее есть материалы. Зайдете — увидите.

— Нет, — сказал Сапожников. — Не зайду.

— Мне надо, — сказал Аркадий Максимович. — К сотрудникам.

Навстречу шли старшеклассницы и преувеличенно ахали, потому что ветер заворачивал им подошвы.

— Зачем носить короткие платья, если ветер в городе всегда? — удивился Филидоров.

— Для этого, — объяснил Сапожников. — Чтобы пиццать и ахать. В продуктовом магазине продавалось много копченых рыб.

— Нужна сравнительная мифология, — сказал Сапожников. — Никуда без нее не денешься — такая наука нужна.

— А зачем она? — поинтересовался Филидоров.

— Ну вот сопоставлять с археологией и историей... с установленными данными.

— Опять лезете не в свое дело? — сказал Филидоров.

— Нет, — сказал Сапожников. — Только готовлюсь. Насчет Посейдона пока дело темное... Но вот такая эмблема — конь топчет змею. А всем известно, что коня обожествляли и змею обожествляли. Вот и выходит, что новая религия топчет предыдущую. А не просто лошадь с гадюкой подрались... Что Зевс был критянин, то есть фактически финикийнин, и что сын его Аполлон, игравший на лире, наказал Пана за игру на свирели, то есть за свист...

— Куда вы клоните? — спросил Аркадий Максимович.

— Еще не знаю, — сказал Сапожников. — Я еще пока вспоминаю... А замечал ли кто-нибудь, что в Библии в описании Моисеева похода из Египта, который длился почему-то сорок лет, хотя там ходьбы как от Москвы до Ленинграда, ну это ладно... а вот другое... Там нет ни одного упоминания африканской фауны — фауна не африканская.

— А откуда вы это знаете?

— Я внимательный, — сказал Сапожников. — Не упомянуты ни слоны, ни жирафы, ни носороги, ни бегемоты, ни страусы, ни обезьяны...

— Ну и что из этого вытекает?

— Похоже, что поход-то был откуда-то из другого места и занял сорок лет... а приптели его к бегству из Египта потом. Для солидности. Потому и написали, что Моисей умер перед концом похода. А в страну вступил Иисус Навин, исторический уже... Ясно только одно — до сих пор делали упор на фантастическое отображение действительности в религиях и мифах и только сейчас помаленьку заинтересовываются самой действительностью, которая в них отражалась. Сравнительная мифология нужна. Фактов разбросано много... сопоставлять их надо научиться.

— Прелестный разговор,— сказал Филидоров.— Обожаю светские разговоры... На все темы... И все верхушечно...

Гостиницы в Керчи действительно были переполнены. И даже Филидорову не удалось достать номер, где бы их приняли с трехногой собачкой Атлантидой, и потому они сняли комнату частным порядком.

— Где-то я читал, в какой-то книжке,— бормотал Сапожников,— кажется, называлась «Открытие Америки»... там еще была карта Америки, сделанная Леонардо да Винчи, и материк был назван Америкой до путешествия Америго Веспуччи... Полная каша в голове.

— Вот именно,— подтвердил Филидоров.

— Что вы плетете? Ничего понять нельзя,— рассердился Аркадий Максимович.

— Это я так... Погодите,— сказал Сапожников.— По-моему, именно в этой книжке я прочел в одном месте слово «атл», а в другом слово «ант», и автор эти два слова почему-то не связывал. А между тем на каких-то индейских языках одно из них означало «человек», а другое — «море». И получалось, что вместе они означают не то «морской человек», не то «человек моря», не помню... «Атлант» получалось... а «ида» — это просто греческое окончание. Эней — Энеида и так и далее... Известно у вас такое в вашей науке?

— Мне неизвестно,— сухо сказал Аркадий Максимович.

— Ну тогда и хрен с ним, с этим вопросом,— сказал Сапожников.— Я думал, может, вам пригодится.

Филидоров и Аркадий Максимович раскладывали чемоданы. Сапожников, как всегда, сидел на подоконнике.

— Я вот чего не пойму,— сказал Сапожников.— Если на Чукотке останкам человека двадцать тысяч лет, а на Аляске в Америке — тридцать тысяч лет, то почему же говорят, что человек пришел в Америку с Чукотки, а не наоборот?

— А откуда он тогда взялся на Аляске? — спросил Аркадий Максимович.— Придется предположить с другой стороны Америки какую-то сушу в Атлантике. Мифическую Атлантиду? А это для всех нож вострый.

— А почему?

— Никаких прямых доказательств.

— Что значит прямых? — спросил Сапожников.— Материальных, что ли?

— Да.

— А косвенные?

— В основном мифы, сопоставления культур по обе стороны Атлантического океана, некоторые геологические данные... В общем, мифы.

— Интересное дело,— сказал Сапожников.— С каких пор на следствии разбирают одну версию?

— Ну, это в кино проверяют все версии,— сказал Аркадий Максимович.— В науке все тоньше. Темпераменты. Авторитеты.

— Ладно. Об этом потом,— сказал Сапожников.— Значит, доказательства надежны только материальные?

— Они неопровержимы.

— Ну да? А шведская спичка? — сказал Сапожников.— Рассказ Чехова. По спичке искали убийцу, а нашли прохиндея, которого любовница в бане заперла. И потом — почему мифы после Шлимана, который Троию откопал, считаются ненадежным источником?

— Этого никто не знает,— сказал Аркадий Максимович.— Религия все-таки.

— Так как же насчет «атланта»? — спросил Сапожников.

— Не ваше дело, — сказал Аркадий Максимович.

И он был прав. Какое дело было Сапожникову до атлантов? Но вот до Аркадия Максимовича ему было дело. Страшно ему было видеть, как ученый человек не то что от споров — от собственных мыслей убежал. А ведь его только затем и держали в ученых, чтоб мыслил.

— Я боюсь не споров, — сказал Аркадий Максимович. — Я боюсь профессора Мамаева. Не знаете? Ничего. Я вас с ним познакомлю...

Но уже наступили времена, когда всем до всего было дело.

«...Потом, когда мне было уже четырнадцать лет, мой отец подыскал мне невесту хорошего рода, чтобы, если боги благословят, сочетаться браком, когда нам минет шестнадцать. В этот год было явление. Над горизонтом стояла звезда с хвостом, подобным сирийскому мечу, потом пропала. Пришел скиф, имени его я тогда не знал, друг одного вольноотпущенника из гавани, владевшего хлебными складами. Он сказал, что понтийский царь разбил войско скифов. Знал ли я, что судьба сведет меня с царем Митридатом и начиная с того давнего дня, когда пришел этот пегобородый скиф, и до сегодняшнего судьба моя будет судьбою щепки, попавшей в водоворот? Будь проклят тот день моей жизни, когда я вмешался в разговор старших и сказал пегобородому, что слышал, будто не сам царь Митридат разбил скифов, а Диофант, его полководец. Будь проклят тот день, когда пегобородый скиф, про которого иные говорили, что он фракиец, посмотрел на меня и спросил вольноотпущенника: кто этот юноша? И вольноотпущенник ответил: «Это Приск, сын Приска. Он разумен, знает меру, и счет, и письмо и тверд в слове. Ты можешь положиться на него, Савмак».

У нас в Пантикапее в тот год правил царь Перисад, слабый человек...»

— Боже мой! — сказал Аркадий Максимович. — Боже мой!.. Все сходится... Я так и думал... Это Савмак...

— Аркадий Максимович, очень трудно работать, — сказал реставратор. — Вы все время дышите мне в шею.

— Вы не представляете, — сказал Аркадий Максимович. — Это Савмак...

Много людей примчалось в Пантикапей в то лето буйного ветра. И Аркадия Максимовича совсем оттеснили, так казалось. Но Сапожников заметил, что Аркадий Максимович сам тушует и уходит в тень, когда вся археология допрашивала бульдозериста Чоботова — да что, да как, да где лежали черепки от того греческого горшка, да кто первый увидал те черепки. Чоботов или, может быть, Мишка Грек, непутевый мужчина?

А Мишке Греку попервоначально понравилось, что вокруг него такой шумер, но потом и он сник.

— Аркаша! — кричал он Аркадию Максимовичу поверх лысых и кудрявых голов. — Чего они хотят от меня?! Я уже раскололся давно! Гражданин доктор наук, не тискайте меня. Не брал я те черепки, их Вася Чоботов выколупал своим могучим бульдозером из глубин земли, а я в другую сторону глядел! Товарищ участковый, подтвердите, что я уже полтора года правдивый.

— Не хулигань, Миша, не хулигань, — говорил начальник. — Я тебя вот как знаю.

— Аркаша! — кричал Миша Грек. — Выручай! Прошу как специалист специалиста!

Но Аркадий Максимович уходил в тень и вел себя странно.

— Что с вами, Аркадий Максимович? — спросил его Сапожников. — Почему вам не нравится вся эта история?

— А вы не допускаете, что это подделка? — спросил Аркадий Максимович.

И посмотрел на Сапожникова неподвижными глазами.

Вот так номер...

— Я не археолог, — сказал Сапожников. — А вы допускаете?

Аркадий Максимович не ответил, а все только смотрел.

— Я разговаривал с реставраторами, — сказал Сапожников, — их пока ничего не смущает.

— Не смущает, не смущает... Не смущает, — бормотал Аркадий Максимович и смотрел неподвижно, невыразительно, как в зеркало.

Сапожников не торопил его. Захочет — скажет.

И правда сказал:

— Я в девятом фрагменте разобрал имя... — и задохся, — разобрал имя Спартак.

— Савмак, — сказал Сапожников, который уже был в курсе, что нашли документ очевидца первого народного восстания на территории нашей родины — Савмака...

— Нет... Спартак, — сказал Аркадий Максимович, — Есть сведения, что Савмак был фракиец и Спартак был фракиец царского рода.

— Ну и что?

— А первого боспорского царя звали Спарток. И еще были цари с таким именем. Вся династия называлась Спартокиды. Это все здесь было, в Керчи, где мы сейчас с вами на асфальте стоим... Пойдемте на уголок по рюмочке выпьем.

— По рюмочке мне мало. И потом, я пью только вечером, — сказал Сапожников. — Вы что же, предполагаете, что Савмак и Спартак — одно лицо?

— Я вижу, вас ничем не удивишь, — сказал Аркадий Максимович. — Нет, не одно лицо, года не сходятся... Восстание Спартака было на тридцать лет позже восстания Савмака... Савмак Спартаку в отцы годится... Что?

— Вы сказали, что Савмак Спартаку в отцы годится.

— Не морочьте мне голову, слышите? — бледно улыбнулся Аркадий Максимович. — Не морочьте мне голову.

— А чего вы, собственно, испугались? — спросил Сапожников. — Либо Спартак сын Савмака, либо нет. Что-нибудь одно подтвердится.

— Чудовищно, — сказал Аркадий Максимович. — Чудовищно.

— Не понимаю вас, — сказал Сапожников.

— Невозмутимость ваша чудовищна! — сказал Аркадий Максимович. — Ну, если вы такой невозмутимый, то я вам скажу, какое слово я прочел в тринадцатом фрагменте... Поклянитесь мне, что до конца реставрации вы никому об этом не скажете.

— Да не мучайте вы себя. Говорите, — сказал Сапожников. — А то вас разнесет.

— Да... разнесет, — сказал Аркадий Максимович и улыбнулся светло и отрешенно, как будто вышел ранним утром на загородное шоссе и с обочины до него долетел запах земляники. — В тринадцатом фрагменте я прочел слово... я несколько раз проверил себя, и это был не сон и не описка. Я прочел слово «Атлантида».

— Забавно, — сказал Сапожников.

В летней столовой за обедом, где из керченских жителей были только сотрудники музея, Сапожников встретил московскую свиту Глеба, уже второе или третье ее поколение.

Годы шли, а свита не уменьшалась, и все так же начинающие стали произносить слова небрежно и чуть врасстяжку и все так же не понимали, какая роль отведена Сапожникову в Глебовой табели о рангах.

Много спорили, Сапожников высказывался, и, естественно, по всем вопросам.

Гомон стоял в гулкой столовой, отделанной светлым деревом и трепещущими от ветра занавесками.

Потом, естественно, перешли в гостиницу, где свита занимала три многоместных номера. И там Сапожников узнал, что четвертый номер пустует и дожидается Глеба.

Считалось, что он и вся его свита подтянулись в Керчь, потому что здесь профессор Филюдоров, который должен вот-вот возглавить проблемное учреждение широкого профиля. Но какая-то недоговоренность витала в воздухе и раздражающая неопределенность, так несвойственная отчетливым Глебовым людям. Складывалось впечатление, что они готовились к поразительной перемене стиля и что в этом деле, как ни странно, должен помочь Сапожников.

Возможно, Глеб намекнул им, что в новой проблемной лаборатории, которую, конечно, будет курировать Глеб, фактический заместитель Филюдорова на любом посту, потребуются люди с новой хваткой и новым стилем мышления, и они нащупывали этот стиль в спорах с Сапожниковым, которого обычным дилетантом в науке не назовешь, но и ученым обозвать тоже язык не поворачивался.

Как-то все вдруг перемешалось в это лето буйного ветра — археология, термодинамика, жизнь прошлая и жизнь настоящая, интересы переплелись, как у гриба и водоросли в странном полусущество лишайнике, и спокойствие во всех перепалках сохранял один Сапожников, для которого состояние неотчетливости и несистемности было привычным, как для младенца в кунсткамере.

Свита у Глеба была сметливая, и если нынче почему-то нужна широта и вольное общение с проблематикой, то умные люди ориентируются быстро и успеют занять ключевые посты, пока узколобые мухмухают. В общем, картину они себе представляли довольно правильно, если не считать малости — они путали талантливость с хлестаковщиной.

Это и пытался объяснить им Сапожников, успевший и тут вызвать раздражение, их раздражало то, что он не имел права на мысли, которые высказывал. Потому что для носителя истины он выглядел до безобразия несерьезно.

Он привык к этому и уже почти не обижался. Серьезность нужна, респектабельность и, главное, нужно твердо знать, откуда почерпнуты эти идеи, из какого авторитетного источника. Иначе не может быть. Не может быть — и точка. Это главный признак. Не может быть, чтобы крестьянская девка в средние века спасла Францию, не может быть, чтобы полуграмотный актер написал «Короля Лира», не может быть, чтобы на Карпатах полудикий певец написал поэму о пограничной стычке давно забытого князя, в которой заключены идеи мировой истории следующей тысячи лет и мировой литературы.

И все-таки его не гнали, потому что всегда хотели куда-нибудь приспособить.

И даже посылали встретить Глеба, мягкого человека, которого все любили, он был свой и определенный. Глеб приезжал скоро.

«...Ксенофонт был в то время уже другом одного человека из племени Танаитов, который был сыном управляющего рынком, где продавали рабов. И потому Ксенофонт носил хорошие одежды. Но

он все так же любил снимать сандалии и ступать по мягкой пыли посредине дороги. И сердца людей холодели от бессильной ненависти, когда люди видели, как при каждом шаге пыль поднималась фонтанчиками между пальцами его коротких ног. Потому что много людей уже делали то, чего хотел он. Хотя каждый из них думал, что делает нечто против его желания.

— Отец, почему, ответь, все идет на пользу этому пришельцу? — спросил я однажды своего отца.

— Потому что он умеет вызывать ненависть к себе, — ответил отец. — Мы ненавидим его и хотим поступить наперекор его желаниям. А когда поступаем так — оказывается, что он именно этого и добивался.

— В таком случае надо поступать так, как он хочет...

— Он всегда хочет того, что нам во вред. А кто же решится поступить себе во вред?

— Но ведь когда мы идем наперекор его желаниям, вред для нас еще больший? — сказал я.

— Слепленные ненавистью, мы не видим этого своего будущего.

— Значит, он знает наше будущее? — спросил я.

— Он знает нас».

Все устали до чертиков и поэтому встречать Глеба посылали Сапожникова. Но потом доктор Шура тоже решил пойти, и остальные вдруг сразу согласились, что это правильно. И Сапожников понял — мало чести Глебу, если его будет встречать Сапожников. А потом еще кто-то потянулся, но третьего Сапожников не запомнил. Получилась некая процессия. Вот мера отношения к Глебу — три человека его должны встречать, меньше нельзя, больше — демонстрация пылких чувств, а все очень боялись преувеличений и любили достоверность.

Ай-яй-яй, какие красивые цветы купил доктор Шура на горке у кафе для встречи Глеба, а Сапожников чуть было не испортил все дело, когда хотел добавить еще большой георгин.

— Ни к чему, — решил доктор Шура.

Но потом сонно прищурился и купил георгин, но уж всю дорогу разговаривал только с третьим, которого Сапожников не запомнил.

Глеб вышел из автобуса загорелый и усталый, расцеловался с доктором Шурой и стал платком вытирать шею под расстегнутым воротничком.

— Ну здравствуй, — сказал он Сапожникову.

Сапожников заулыбался, и пожал ему руку, и понял, что от него все чего-то ждут. Если уж он здесь, то должен оправдать свое присутствие.

— Глеб, этот георгин Сапожников купил, — сказал доктор Шура.

— Не купил, — сказал Сапожников, — предложил купить.

Чужая слава ему была ни к чему.

Он весь похолодел и изготвился. Печальная практика его жизни подсказывала: когда ему начинали воздавать должное и хвалить за пустяки, это означало, что он должен будет породить некий важный для них безымянный ответ, который они авторски унесут в клюве.

Что и воспоследовало.

— Тебя очень хвалил Филидоров, — сказал Глеб. — Говорят, ты опять до чего-то додумался?

И в первый раз Сапожников не разозлился, не отчаялся, а просто не захотел ответить. Не захотел, и все. Надоело быть кормушкой. Чересчур дорого ему достались эти идеи. Щедрость — это, конечно, хорошо, но зачем же плодить паразитов?

— Не скажу,— подумав, ответил он.  
 — То есть как?.. Почему не скажешь?  
 — Не хочу,— сказал Сапожников и почувствовал, как светлеет у него на душе, как занимается веселая озорная заря простых ответов, какая легкость и как пахнет травой.

— Не хочешь?..

Сапожников сказал:

— Отдайте мой георгин.

Он отнял у них огромный цветок вишневого цвета, но без запаха и, стало быть, без воспоминаний, красивый сам по себе, а не потому, что торчит в ихнем букете, и пошел по улице. А через семнадцать шагов его догнал третий.

— Они спрашивают, что же все-таки произошло? — сказал третий.

Это был Толя, физик, он любил таких людей, как Сапожников. И это ему зачтется.

— Я хочу сам быть автором своих идей,— сказал Сапожников.— Я устал от паразитов. Они затронули главный фактор.

— Так и передать?

— Так и передай.

— Ну, я думаю, они и сами догадаются,— сказал Толя, глядя в землю.— А тебе спасибо.

И Толя не стал возвращаться, а двинулся куда-то в сторону, и Сапожников пожалел, что так и не успел его разглядеть и запомнить. Но разве всех разглядишь в такой суматохе на площади.

«...Я в то время был уже крепкий, и отец дал деньги одной вдове, чтобы она меня обучила, как быть с женщиной. Тело мое проснулось, и я стал как безумный. Лето было жаркое в тот год, и пшеница опять поднялась в цене, царю Перисаду привезли коней из Бактрии, но не самых лучших. Рабы стали дешевы. В храме Сераписа нашли мертвую змею больших размеров. Жену мою звали Кайя. Ей было столько лет, сколько мне. Голос ее был подобен голосу четырехлетнего ребенка, а тело как у взрослой женщины, но светлее, чем у тех, кого я знал до нее.

...— Спой мне песню, жена моя,— сказал я жене на третью ночь после брачного пира.

Она спела мне на незнакомом языке. Я запомнил слова, не понимая смысла. Через много лет, когда я узнал этот язык и много языков, на которых говорят народы, я вспомнил эту песню и переложил ее на язык эллинов.

С деревьев солнечного бога  
 Срываю ветвь себе на опухало.  
 Лицом я обернулась к роще  
 И в сторону святилища гляжу.  
 Отяжелив густым бальзамом кудри,  
 Наполнив руки ветками персеи,  
 Себе кажусь владычицей Египта.  
 Когда сжимаешь ты меня в объятьях...

Имя Кайя — египетское имя. Я спросил, откуда она знает язык этого народа, она не ответила. Она была очень молчалива.

А потом все поггло.

### Глава 31. Сошествие профана

Может быть, все и прошло бы тихо и академически и тексты, опубликованные бульдозером, тщательно изучили бы подходящие специалисты, но словечко «Атлантида» выпорхнуло, спутало все карты и стало творить чудеса.

— Надо позвать Сапожникова на диспут,— сказал Глеб Мамаеву и Филидорову. Филидоров тихонько собирался уходить, стараясь не разбудить Сапожникова, а Аркадий Максимович кормил Атлантиду.— Все, что Сапожников утверждает, вроде часть какой-то огромной картины мира. Вам не кажется?

Профессор Мамаев начал зеленеть, а Филидоров ответил:

— Кажется... Но это какая-то не наша картина.

— Вот именно! — шепотом воскликнул Мамаев.

Но Филидоров отверг подсказку и разбудил Сапожникова.

— Скажите, Сапожников, а вы, случайно, не марсианин? — Он толкнул его и разбудил совсем.— А?

— Я бы сам хотел знать,— сказал Сапожников.

Потонувшая Атлантида — проблема одиозная. Имеет бешеных противников, а также сторонников со страдальческими лицами.

Противники стоят твердо — цивилизация возникла среди кроманьонцев тысяч девять лет назад, раньше этого никаких следов. Это правда. Они только не могут объяснить, откуда взялся у кроманьонца современный мозг, когда в нем еще не было нужды. Приходилось либо допустить, что мозг возник по своей собственной программе, независимо от работы, чур меня, чур, либо отнести цивилизацию туда, где не было никаких следов. Да и потом — откуда взялся сам кроманьонец, поскольку из неандертальцев и питекантропов он явно не произошел — переходных звеньев не найдено, да и времени маловато? Неувязочка.

Этой неувязочкой пользуются наглые атлантологи. Они упорно тычут перстами в научные язвы противников и говорят, что должна была существовать где-то цивилизация, от которой не найдено следов, но во время которой сформировался кроманьонец, одичавший потом до полной забывчивости. Однако когда противники спрашивают, куда же это девались материальные следы этой цивилизации, то сторонники, кроме Платонова описания Атлантиды, ничего реального предьявить не могут.

И выходило, что в руках противников факты археологии и истории, а у сторонников — логика и домыслы специалистов пестрых научных профессий. И казалось, что хуже Атлантиды для диспута ничего не придумаешь.

Но случай, бог-изобретатель, как сказал Пушкин, тут как тут и шварк на стол козырную карту из рукава судьбы — пресловутые камни Йкки. Несколько тысяч черных камней, твердых, с процарапанными рисунками, да такими, что дух захватывало: хирургические операции и человеки на ящерах катаются. Запахло такой древностью, что и атлантологи скисли. Хотя все роли теперь вроде бы переменялись — противники стали греметь логикой, а атлантологи из смельчаков новыми фактами.

На этот диспут пришли все.

Это был диспут о чем-то более важном, чем проблемы ушедших веков, и о чем-то большем, чем склока между специалистами.

Если храмы науки превратятся в обыкновенные церкви, куда мирян приглашают благоговеть, послушать пение жрецов и разглядывать ризы, то это конец всему, и прежде всего науке. И тогда по прошествии времени снова ереси, а потом снова учить азам и писать мелом на стене — мы не рабы, рабы не мы. Не чересчур ли высокая плата для науки за фанаберию ее служителей?

Мамаев свое войско привел, Глеб — свое.

И странно распределились силы в их войсках. Все категории перепутались, и за них было не спрятаться.

Никакое деление не проходило по привычной шкале примет. Не отцы и дети, не физики и лирики, не естественники и гуманитарии, не специалисты и дилетанты и так далее—как ни раскладывай, а все получалось это «не—не» и ни одной внешней приметы не угадывалось. Каждый лагерь имел непонятно смешанный состав, и все же два лагеря стояли друг против друга перед закрытой дверью.

Мамаев свое войско привел. Глеб — свое.

Сначала отстаивали протокольные права — кто имеет право что-то утверждать, а кто не имеет — и махали дипломами.

— Ну хорошо... плевать мне, было государство Атлантида или нет. Оставим! Меня интересует, соединял сухопутный мост Европу с Америкой или нет? — Это из лагеря Глеба.

— Нет!

— Докажите!

— Докажите обратное!

— А почему именно он должен это доказывать?

— То есть?

— Он утверждает — Атлантида была, вы его за это обвиняете... Вот и докажите свое обвинение... Как в суде.

— Здесь не суд! — Это уже опять из мамаевского лагеря.

— Это не суд, но это дуэль аргументов. А дуэль вещь непочтительная. Нельзя, чтобы один был в латах, а другой был голый.

— Никто этого не требует!

— Требуется. Давайте мы с вами напечатаем статьи под псевдонимами и без ученых званий?

— Это смешно!

— Я тоже так думаю,— сказал Глеб.— Вы не решитесь... Это касается и Мамаева.

— Профессора Мамаева! — крикнули ему.

— Мамаева,— сказал Глеб.— На равных так на равных... Каждого, кто занимается Атлантидой, обвиняют в шарлатанстве.

Потом Глеб повел атаку на систему аргументов профессора Мамаева. Глеб сказал:

— У профессора Мамаева доводы ребяческие.

— Что? — приподнялся профессор Мамаев.

— Детский лепет...— сказал Глеб.— Видите ли, как они могли рисовать динозавров, если они их не видели? Детский лепет, а не аргумент... А вы их видели, профессор? А ведь рисуете... Да и во всех музеях Георгий Победоносец динозавра бьет и прочие Персеи и Андромеды. Вы скажете, что это мифы? Ну и что? У нас, видите ли, могут быть свои мифы, а у них не было! А откуда вам это известно? Если известно — сообщите откуда? Доказывать надо. А горлом в науке не возьмешь.

— Вот именно,— сказал Мамаев.

— Что вот именно?—спросил Глеб.—А это, по-вашему, аргумент? Динозавры, видите ли, вымерли до появления человека. А кто рыбу целаканта поймал недавно? Тоже считалось, что вымерла до вашего появления. Или такой довод — у нарисованного динозавра по спине гребень, а науке такие неизвестны. А то, что этот же целакант, оказывается, не икру метал, как порядочная рыба, а яйца нес — это науке было известно, пока не увидели? Ей-богу, вы нас за дураков считаете... И действительно мы дураки... Мы пытаемся думать, сопоставлять факты, вами же добытые, а нам говорят «цыц!» и пишут статьи под названием «Дискредитация науки». Науку могут дискредитировать только статьи с таким названием...

— Ближе к делу!

— Дайте ему говорить!

— Когда выступает специалист,— продолжал Глеб,— то люди ждут, что он сообщит нечто известное только ему и тем сокрушит выдвигаемую гипотезу. И научное звание — это только аванс доверия к тому, что он скажет. Но как только он вступает в область здравого смысла, тут уж, извините, специалист тот, у кого голова на плечах. Все остальное возня самолюбий. Науку не могут оскорбить дилетанты, науку могут оскорбить только дураки.

— Вы не учитываете общественного вреда, который приносят непроверенные сведения! — одним духом выкрикнул Мамаев.

— Учитываю. Я об этом и говорю... Когда в старом философском словаре четко написано, что кибернетика и генетика — это лженауки, придуманные буржуазией для совращения трудящихся, это были непроверенные сведения, хотя писали статьи не дилетанты, а профессиональные ученые... Это не ваши статьи?

— Нет, не мои,— сказал профессор Мамаев.— Не надо заниматься демагогией.

— И я говорю, не надо,— согласился Глеб.

Шумели. Звенел карандаш о графин с водой.

Потом, когда все стихло, профессор Филидоров спросил Глеба:

— Короче... что вы утверждаете? Мы так и не поняли.

— Я хочу сказать, что в науке сам характер разговора имеет общественное значение. Я хочу сказать, что наука, если она наука, призвана заставлять людей думать, а не благоговеть. Я хочу сказать, что разговор в науке должен происходить на равных, независимо от состава участников, на равных, даже если в нем принимают участие неспециалисты, или не происходить вообще. Потому что неспециалисты в одной области могут оказаться специалистами в другой,— сказал Глеб и с некоторым испугом посмотрел на Сапожникова, как будто сам удивился своей неожиданной позиции.

Вот как Глеб заговорил! Глеб, дипломированный всеми дипломами лидер. К нему стоило прислушаться.

Сделали перерыв.

Многим поведение Глеба казалось неожиданным. Но это так казалось.

Мы упоминали о проблемной лаборатории, для которой Филидоров присматривал сотрудников и которой должен был руководить Глеб.

Новому делу нужны были люди, для которых (хотя бы в начале работы) щедрое мышление было бы привычным. Потом все, конечно, покатится по своим рельсам, но для затравки нужны были свежие головы и, значит, новый, раскрепощенный стиль поведения.

Глеб на этом диспуте бил двух зайцев. Во-первых, Глебу нужно было доверие Сапожникова, который конечно же был на стороне Аркадия Максимовича, и потому Глеб тоже встал на сторону археолога.

— Мамаеву кажется, что он защищает основы, а он им только вредит. В глубине души он еще надеется, что камни Икки дискредитируют науку. Надо их проклясть, и они исчезнут. Он думает, что все дело в подходящем проклятии.

Во-вторых, Глеб показывал Филидорову и своей будущей команде, как должен выглядеть молодой стиль молодой лаборатории, и лучший способ показать это было ударить по Мамаеву.

— А вам-то зачем этот Тетисов, этот Аркадий Максимович? — спросил Мамаев у Глеба.— Почему вы решили вступить за этого аутсайлера?

— Хотите откровенно?

— Да.

— Как говорил гражданин Паниковский, вы из раньшего времени. Вы мне мешаете,— ответил Глеб.

Глеб ничего не терял. Лишь авторитет его приобретал новые неожиданные оттенки.

Все было продумано и взвешено на чашах Глебовых весов, но у судьбы свои весы.

«...— Приск — имя древнего племени, сын мой.. Это имя так и означает — древние, или первые. И они жили в Италийской земле, когда еще не было Рима, и не было римлян, и не было этрусков, которые были до римлян... Мы самые древние... Приски... Человек не должен гордиться, что у него много предков... потому что у каждого человека их одинаковое число... Но человек может гордиться тем, что он их помнит и сохранил предание... Мы приски, мы гордимся тем, что мы помним...»

Аркадий Максимович присел возле Сапожникова, который дремал на вестибюльном диване и возвращаться на диспут явно не собирался.

— Все качают права? — спросил Сапожников.

— Устали.

Фамилия Аркадия Максимовича была Фетисов, но поскольку все русские слова, начинающиеся с буквы «ф», суть греческого происхождения, а в древней Греции букву «ф» прежде произносили как «т» (Фекла — Текла, Анфиса — Антиса), то Мамаев упорно называл его Тетисов, и Аркадий Максимович страдал.

Ну а диспут, как и полагается диспуту, тем временем постепенно заходил в тупик.

— Глеб,— сказал кто-то из свиты,— мы топчемся на месте. Мамаев приободрился, и Аркадий Максимович совсем скис. Нужна завиральная идея.

— Ладно...— сказал злой и веселый Глеб.— Спускайте с цепи Сапожникова.

— Может быть, не стоит?

— Стоит... Они сами напросились.

— А в чем идея его выступления, вы хотя бы знаете?

— Нет, конечно.

— А как же?

— Начнет думать вслух — к чему-нибудь приползет...

— Скажите ему, чтоб хоть повежливей.

Кто-то хохотнул.

— Сапожникова... Сапожникова найдите! — зашумели в коридоре.

— Ну зачем это, зачем! — в отчаянии зажал уши Аркадий Максимович.

— Здесь я! — раздался нереальный голос Сапожникова.

Кто-то опять нервно хохотнул.

— Поднимите ему веки,— сказал Глеб.

Сапожников почесал бровь и начал рассматривать, кто где сидит.

— Ну что там? — раздраженно спросили из заднего ряда.— Поздно уже.

Сапожников поднял глаза вверх и стал смотреть в потолок. Потом сказал:

— Дело в том, что такое доказательство, что Европа и Америка соединялись сухопутным мостом, есть...

- Ну да? Бесспорное?
- Пока не найдут опровержения.
- Ну и какое же это доказательство?
- Лошадь.
- Какая лошадь?
- Обыкновенная, с хвостом.

— В самом деле, при чем здесь лошадь? — спросил Аркадий Максимович.

— А при том, что люди в древней Америке есть, а лошади нет... Как же это? А дело простое — люди приплыли, а лошадь пешком ходит.

— К черту все! Бессмысленный разговор! — закричал Мамаев.

— Люди пришли из Азии! Через Берингов перешеек! Понятно вам? Пришли, а не приплыли!

— А почему лошадь не перешла? — спросил Сапожников.

— А почему она должна была перейти?

— Потому что мамонты перешли, бизоны перешли, а лошадь почему-то не перешла.

— Ладно, разберемся, — сказал Мамаев. — Но к Атлантиде это отношения не имеет.

— А действительно — при чем тут Атлантида? — спросил Аркадий Максимович.

— А при том... — сказал Сапожников, — что если двенадцать тысяч лет назад люди в Америке уже были, а лошадей еще не было, то это может означать только одно...

И остановился.

Потому что прислушался к себе — захватило у него дух от того, что он собирался сказать, или, быть может, нет? Нет, не захватило. Устал от идей, которые всегда сначала считались дефективными, а потом оказывалось, что они хотя и дефективные, но не совсем, а в чужих руках играли, и переливались, и приобретали утилитарную ценность, для Сапожникова недостижимую почему-то.

— Что одно? — спросил оппонент. — Ну что?

Сапожников здесь, в Керчи, много чего узнал и не заметил сам, как вовлекся в чужие древние дела. А как вовлекся, так они сразу стали современными, эти дела, и, мы бы даже сказали, в чем-то животрепещущими.

А так как голова его была устроена таким образом, что не сопоставлять новые сведения со старыми он не мог, то как возьмется сопоставлять, так его дефективное воображение начинает рисовать ему конкретные картины. И он по своему легкомыслию этому не сопротивлялся.

Вот он услышал, что монголы перешли в Америку из Азии, с Чукотки, и заполнили пустой материк.

И не поверил этому.

А откуда взялись на пустом материке крючковосые индейцы, ничего общего не имеющие с эскимосами? Для эволюции времени не хватает, а скрещиваться монголам было не с кем. Не проще ли предположить, что люди пришли на пустой континент из другого места? Сначала эскимосы, потом индейцы.

А потом он узнал, что потоп, о котором говорилось в мифах всего мира, есть не всемирный потоп, а воспоминание о местных катастрофах различных племен.

И не поверил этому.

Он подумал — все исторические народы пришлые для той местности, где их знает история. Откуда же они знают о катастрофах, кото-

рые случились до них в этой местности? Не проще ли предположить, что они принесли с собой воспоминания о своих катастрофах?

Понимаете? Если в греческих мифах есть миф о всемирном потопе, то не надо искать его рядышком, в Эгейском море, а надо искать его там, откуда они пришли.

А потом он узнал, что Платонова Атлантида — это описание идеального города, придуманного Платоном для улучшения реальных городов Греции. То есть утопия.

И не поверил этому.

Он спросил — чем же собирался соблазнить Платон греков-демократов в этой утопии? Уж не царями ли? И еще одна поразительная подробность — откуда Платон узнал планировку ацтекских городов?

А поскольку индейцы-ацтеки и слыхом не слыхали о Платоне, то не проще ли предположить, что и у ацтеков и у Платона были общие сведения?

И тогда Сапожников понял, что все вертится вокруг потопа.

Если был потоп, от которого бежали народы в разные стороны, то была Атлантида. А если потопа не было, то и Атлантиды не было.

...И закрыл тогда глаза Сапожников и еще раз проверил доводы. И увидел небывалое.

...Пыль стоит до неба от движения бесчисленных племен и кровавая пестрота...

И удивился Сапожников не тому, что в Атлантиду многие верят, а тому, что в Атлантиду многие не верят.

«Лошадка! Вывози!» — возопил Сапожников.

И, отбросив все сомнения, поскакал на неоседланной лошади фантазии и сопоставлений. Позволил своему мозгу думать так, как ему самому хочется, не ограничивая его оглядками и испугом перед чужими мнениями.

И тогда Сапожников вспомнил две научные теории, о которых он узнал в разных местах и в разное время. Он не мог вспомнить авторов этих теорий, но это теперь не имело значения. А имело значение только то, что они у него прежде в голове жили врозь, а теперь вдруг встретились.

Он вспомнил, что по одной теории ледники в горах тают и намерзают не плавно, а по ступенькам. Тысяча четыреста семьдесят пять лет, так, кажется, — одна ступенька. И что этих ступенек одиннадцать штук. Полный цикл. Сейчас как раз идет седьмая. Осталось еще четыре до полного цикла, а потом все сначала. Тысяча четыреста семьдесят пять, умноженное на семь, это приблизительно одиннадцать тысяч лет.

И еще он вспомнил по другой теории, что от теплого течения Гольфстрим тают льды в Арктике. И когда вес их становится достаточно малым, поднимается подводный порог между Гольфстримом и Ледовитым океаном и перегораживает теплое течение воды в Арктику. Тогда в Арктике снова начинает намерзать лед. И его становится столько, что Европу покрывает ледник, от которого прогибается суша. От тяжести. А когда прогибается суша, опускается и подводный порог. И тогда Гольфстрим снова прорывается в Арктику. И все начинается сначала. Начинает таять лед и так далее.

Тогда надо спрашивать не «был ли потоп?», надо спрашивать: «А могло ли его не быть?»

Ведь если вода хлынула через порог, а суша опущена, то вода неминуемо затопит Европу, а лед всплывет. Вода понесет с собой

плывущий лед. А что может устоять перед айсбергами, какая цивилизация? Это механика.

Оказывается, можно узнать и время катастрофы. Но об этом уже было сказано выше — примерно одиннадцать тысяч лет назад. То есть столько лет, сколько согласно мифам прошло с момента всемирного потопа, и столько лет, сколько прошло с момента гибели Атлантиды.

То есть потоп был на самом деле всемирный и он был на памяти людей.

Но на американском материке лошади не оказалось.

Почему же она не пришла с Чукотки, как мамонты и бизоны?

И тогда спросил Сапожников себя: а откуда известно, что мамонты и бизоны перешли на Аляску именно с Чукотки?

И тогда Сапожников понял для себя, что надо спрашивать не о том, могла ли существовать Атлантида, а о том, могла ли она не существовать.

И спросил тогда Сапожников: а откуда известно, что и человек в Америку перешел из Азии, а не из Европы? Говорят, потому, что на Чукотке и Аляске одна культура — эскимосская, монголоидная? Но ведь эскимосским останкам в Америке тридцать тысяч лет, а в Азии — двадцать тысяч. Спрашивается — кто же куда и откуда перешел?

Так почему же этого стараются не замечать? Потому что пришлось бы признать мост из Европы, то есть мифическую Атлантиду.

Ну а если на Чукотке вдруг откроют кости еще более древние, чем на Аляске? Изменится ли картина? И понял, что нет.

Все равно атлантический сухопутный мост был. И вот почему.

Люди на Аляске и люди на Чукотке были монголоиды. Спрашивается — откуда в Америке взялись индейцы? Из Азии индейцы прийти не могли — их там нет и не было. Стало быть, и индейцы могли прийти в Америку только по атлантическому мосту. Или приплыть. Но не с Чукотки.

Если был потоп, от которого бежали народы в разные стороны, то была Атлантида. А если потопа не было, то и Атлантиды не было.

Сапожников высказал все эти соображения, и тут бы ему остановиться, но он добавил:

— Я хочу сказать, что если бы родина монголов была Азия, то они бы пришли в Америку вместе с лошадью, так как сухопутный мост между Чукоткой и Аляской был. А вот мост в Атлантике, видимо, состоял из островов — люди приплыли, а лошадь нет. И выходит, что люди пришли не из Азии в Америку и не из Америки в Азию, а из Атлантиды через Америку в Азию. И получается, что Америка для атлантов была перевалочным пунктом.

— Когда неграмотный человек берется не за свое дело... — сказал Мамаев в полной тишине.

— Сначала в Америке появились монголы — это известно. А за ними индейцы — последняя волна переселенцев из Атлантики... Они перешли с атлантического моста, состоявшего из островов, который рушился постепенно. Может быть, это действительно была Атлантида... Тогда индейцы принесли, вернее, все время приносили в Америку остатки этой культуры... Потому что если Атлантиды не было, откуда Платон знал об устройстве индейских городов? Такое не вообразишь.

— Почему? А если это утопия? Проект идеального города?

— Чушь! Чем Платон мог соблазнить греков-демократов? Для них идеальный город был полис, демократия... а там цари, потомки Посейдона, кстати...

— Почему кстати?

— Об этом потом... — сказал Сапожников. — И тогда теснимые индейцами эскимосы стали переходить с Аляски на Чукотку, на но-

вый для них азиатский материк, где их раньше никогда не было, и там они встретились с лошадью в азиатских степях.

— Чушь! Все вверх тормашками.

— Стали переходить на новый для них материк, спускаться на юг и скрещиваться с местными племенами — и постепенно становились чукчами, якутами, японцами, корейцами, китайцами, монголами... Они расселялись все дальше на запад, пока не столкнулись с волной переселенцев с запада, которые уходили подальше от мест атлантической катастрофы и оседали на материке. И возникли новые цивилизации... всякие там шумеры, аккады, египтяне, иудеи, хетты и прочие... Поэтому евразийские кроманьонцы и не произошли от местных неандертальцев и питекантропов. На это переселение у них как раз времени хватило, несколько тысяч лет после ледника... А вот для появления современного мозга двенадцати тысяч лет мало.

— Какая странная идея,— сказал Аркадий Максимович.

— Это не идея... Это картина, которая может возникнуть из сегодняшних данных... Появятся другие данные — появится и другая картина, а не появятся — значит, картина верна. Рациональное зерно во всем этом одно — мир был един всегда и человек не мог остаться единым видом биологически, если бы он не был единым видом общественно... и нужно искать гипотезы, объясняющие это всемирное человеческое единство... Лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.

— Кто это вам сказал?

— Это слова Менделеева,— сказал Сапожников.

Профессор Мамаев ничего не сказал. Он сидел, стиснув зубы, и бил себя кулаком по колену.

Но тут отпуск у Сапожникова закончился и он уехал в Москву в свою шарашмонтажконтору широкого профиля, где работали такие же, как он, специалисты-наладчики всего того, что само автоматически не налаживалось.

А в Москве он пробыл недолго, так как они с Фроловым и Вартановым двинулись еще дальше, в северную сторону, в район города Риги, но Сапожников туда ехал и не волновался уже.

Там, на диспуте, Толя спросил Глеба:

— Глеб, скажите честно... какую практическую пользу вам принесет Сапожников?

— Меня к нему человечески тянет,— ответил Глеб.

Все засмеялись. И ни одна душа на свете и сам Глеб не знали, что это так и есть. А сам Глеб узнал только сейчас. Он хотел пошутить и вдруг с ужасом понял, что сказал правду.

## Глава 32. Рука

— Я хочу с тобой поговорить,— сказал Вартанов.

— Говори,— согласился Сапожников.

Это был последний вечер их пребывания в Саласпилсе.

Они опять приехали втроем, Фролов, Сапожников и Вартанов, опять были вместе. Но на этот раз Сапожников приехал в Ригу по прямой своей профессии наладчика и аварийщика и был забронирован и от воспоминаний и от потрясений души. Кроме того, с ним были еще двое со своим житейским опытом, и он мог на них рассчитывать.

Они прибыли на Балтийскую ГЭС, где строилась намывная плотина. И вчера они прощались с этим местом работы. Еще одним местом

работы в жизни Сапожникова. На этот раз работа троих приезжих прошла стандартно. Стандартно спокойно и стандартно беспокойно.

Аппаратура, которую по договору их фирма должна была наладить, была налажена. Заинтересованные люди остались с ней работать. Под конец, конечно, была гонка, как всегда. То есть все прошло более или менее благополучно. И вот в последний день они запаслись едой и минеральной и расположились на моложавой траве у каких-то давних руин. И Вартанов сказал Сапожникову, что хочет с ним поговорить.

Стояла огромная жара. Торф горел. Вдоль дорог костенели деревья, ставшие похожими на эвкалипты, с сухими листьями в трубочку. Гарь не чувствовалась только у самой земли. За год до этого была холера. Землетрясения шевелили глобус. Природа взбунтовалась и заявляла о себе. Но многим все еще казалось, что этим можно пренебречь. Наступил энергетический кризис, но богатые люди умудрились спекулировать и на этом. Вычисляли циклы природной аварийности и продолжали ее усиливать. Половина мира все еще плохо понимала, что все плывут на одной лодке и раскачивать ее — безумие.

После диспута уже в Москве произошел маленький эпизод, после которого все начало сплетаться в непонятный узор, похожий на движущийся иероглиф, и разгадать его пока было некому.

Провожали Аркадия Максимовича, который уезжал в Ленинград со своими археологами и потому оставлял на несколько дней у Сапожникова свою Атлантиду и очень боялся, как она перенесет разлуку с ним. Он все объяснял ей, что это всего ничего, всего несколько дней, и что Сапожников свой, и уговаривал ее доест колбаску.

Собрались у Сапожникова все знакомые люди. Посмеивались, вспоминали диспут и старательно обходили завиральную гипотезу Сапожникова. Но все же примолкли, когда Сапожников, ну конечно же, не угомонился и начал логически мыслить:

— Сегодня мы умные и у нас цивилизация... А у дикарей нет цивилизации, а мозги не хуже наших... Неувязочка... Но если человека сделала работа, то цивилизация есть причина сегодняшнего уровня человеческого мозга и, значит, даже у дикарей должны быть ее следы... А если таковых нет, то и дикарей нет, а есть одичавшие... Третьего не дано... Время для формирования мозга теперь есть — пять миллионов лет... А следов формирования нет. Опять неувязочка. То есть цивилизация, которая была бы до кроманьонского одичания, не найдена... А потому и Атлантида не выход — там уже дворцы, крепости, металлы и прочие цари... Значит, либо цивилизация такая была, но ищем не там... либо ищем ее совсем не в том.

— Ну и где же выход? — настороженно спросил Аркадий Максимович и тем самым спросил неосторожно.

— Может быть, надо переменить взгляд на цивилизацию, — сообщил Сапожников. — Цивилизация — это, конечно, прежде всего совершенствование орудий труда... Но где доказано, что орудия труда должны быть такими, какими мы привыкли их видеть?

— То есть? — спросил Глеб.

— А если они живые?

Ах, Глеб, Глеб! Тебе стал нужен Сапожников. Интрига твоя злая, веселая и безошибочная. Ты заступился за Аркадия Максимовича, и Сапожников снова, как в давние дни, пошел с тобой на сближение.

Но вышел казус. А казус — это почти конфуз. Это когда человек все рассчитал и стал действовать, а все и вышло наоборот.

По формуле все сходилось — Глеб берет Аркадия Максимовича под крыло и получает расположение Сапожникова. Это раз. Глеб совершает это в раскованном и свободном стиле и тем приводит в восторг Филидорова. Потому что Филидоров теперь не просто сбивает в кучу умников разных наук, а таких, которые идеи своей профессии подкидывали бы в чужую. Это два.

Один выстрел супротив двух зайцев. Полвыстрела на зайца. Все учел Глеб, от природы лидер. Не учел только одного — себя. Это бывает.

Потому что на этом диспуте Глеб испытал счастье.

Счастливым стал Глеб на этом диспуте и не мог об этом забыть. Вот какое дело.

Безоколичная манера выкладывать доводы, которую Глеб перехватил у Сапожникова, вдруг и внезапно перестала быть манерой и на короткие часы стала свободой.

Но и это еще не весь казус, а только его половина. А вторая половина была в том, что Глеб заступился для дела, а вышло, что для души. И это бывает.

Если защитишь кого-нибудь, то это безнаказанно не проходит. Привязывается душа к тому, кого защитил.

И вышло так, что это Сапожников ненароком, сам того не зная, положил двух зайцев в потемках застывшей в гордости Глебовой души.

Глеб понял это не сразу, но сразу испугался.

А как испугался, так разозлился вдвойне. И это обычно.

— Ты когда-нибудь задумывался о своей судьбе? — спросил Глеб, когда остальные разошлись, пообещав прийти прямо на вокзал.

— Сколько раз, — ответил Сапожников.

— Ведь одной сотой того, что ты выдумал, могло бы хватить...

— Отстань, — сказал Сапожников.

— А все же?

— Я предоставляю мозгу думать. Видимо, для меня надо так.

— Ты житейски дурак, — сказал Глеб. — Идеи продаются. А ты пытаешься их всучить даром... Понимаешь, ты выпал из нормы. Если ты изобрел что-то или думаешь, что изобрел, оформляй заявку и отсылай, а если ты совсем умный, то сначала проведи патентный поиск, все равно заставят, чтобы узнать, не опередил ли тебя кто... А ты придумываешь что-то и тут же выбалтываешь... Что происходит?

— А что происходит? — как эхо спросил Сапожников.

— У моего знакомого есть сука, — сказал Глеб.

— Не ругайтесь, — сказал Аркадий Максимович. — Я не люблю.

— Нет... Реальная собачка женского пола, — сказал Глеб. — Она родила щенят. Мой знакомый — интеллигентный человек, хотел раздать щенков даром. Ветеринары ему сказали: хотите, чтобы щенкам хорошо жилось у новых хозяев? Продайте их... У хозяев будет к ним са-а-авсем другое отношение.

— У меня у самого баек сколько хочешь, — перебил Сапожников.

— Ты проиграл свою жизнь, — сказал Глеб. — Никого ты не отстоял, никого не защитил... Благородные мотивы изобретательства? Пожалуйста. Только надо, чтобы все выдумки были реализованы... И реализованы тобой! Пойми ты... иначе часть их пропадет в суматохе и шутовстве, а часть разворуют паразиты... Пойми — ты возвращаешь людей. Ты плодишь паразитов.

— Это верно,— подтвердил Сапожников.— Это я понял.

— Ты пойми — ты придумал себе абстрактного человека... а человеки все разные... То, что нужно одному, для другого отравла... Ты асоциальный тип, понимаешь? Кого ты защищаешь? Кого?

— Себя... Свою натуру,— объяснил Аркадий Максимович...— У него такая натура. Он защищает право быть самим собой.

— И все?

— Не так мало,— возразил Аркадий Максимович.

— Нет,— сказал Сапожников.— Еще кое-что защищаю.

— Что именно?

— Выдумки. Саму способность и необходимость выдумывать.

— Ясно, мы ленивы и нелюбопытны,— поморщился Глеб.— Это для школьников и старо.

— Верно. Нелюбопытны,— сказал Сапожников.— И если мы хотим, чтобы мир стал миром, мы должны совершить скачок в самом способе мыслить. Я не настаиваю, но мне так кажется.

— Бытие определяет сознание, а не наоборот.

— Точно,— сказал Сапожников,— я так думаю, что мое бытие и определило мое сознание.

— Не корчи из себя праведника,— сказал Глеб.

— Я праведник? Во мне дерьма не меньше, чем в тебе. Просто я догадался, что, если мы хотим, чтобы от каждого по способности и каждому по потребностям, надо менять потребности. Иначе придет один болван и заявит, что у него потребность владеть миром. А где набрать вселенных, чтобы по штучке на рыло?

— Ты сумасшедший,— сказал Глеб,— нет, ты нормальный кретин, ты даже не Дон Кихот. Тот хотя бы был благородный сумасшедший, и принято ему сочувствовать. Лично я не сочувствую. Считаю, что его образ плодит прекрасных безумцев... Его образ плодит диссертации Мухиной, которая спит, жрет и портит бумагу, и ее вполне устраивает, что Дон Кихот бумажный. Живые Дон Кихоты ей не нужны... Ты никому не нужен, Сапожников, у Дон Кихота был хотя бы один верующий — Санчо Панса, а у тебя и его нет.

— Есть,— сказал Сапожников.

— Кто?

— Ты,— сказал Сапожников.

— Я?! — закричал Глеб.

И Сапожников первый раз в жизни услышал, как кричит Глеб. Он кричал громко.

На тебя падает камень. Это, конечно, не очень хорошо, но один раз будет правильно отскочить и даже второй. Рефлексы нужны. Рефлекс — это ответ, реакция на воздействие извне, и даже безусловные когда-то, видимо, были условными.

Но потом надо будет придумать, чтоб на тебя камни не падали. Ходить другой стороной или построить навес. То есть или бежать, или бороться. Это выход. Но выход по линейной логике. Рефлективный, реактивный — ответный. Так поступали тысячи лет — или избегали, или боролись.

Другой же способ не рефлективный, не реактивный. Он результат нелинейной логики.

Судите сами. Линейная логика — камни падают. Следовательно, надо бороться или драпать. Нелинейная логика — камни падают, надо это использовать.

Вот взять хотя бы метод дихотомии — такой способ поиска. Надо найти иголку в стоге сена. Делят его пополам. Отбрасывают ту половину, в которой заведомо нет иголки. Оставшееся сено опять

делают и отбраковывают заведомо пустую. И так и далее. Таким методом можно найти одну молекулу в космосе. Машина делает это быстро. А Сапожников с детства не верил в слово «заведомо» и считал метод очень удобным, но ограниченным и искал там, где другие отбрасывали. И чего достиг? Кустарь-одиночка без мотора. Мог бы достичь и большего.

Все это доктор Шура рассказывал Вике, когда они с Толей спешили на вокзал проводить Аркадия Максимовича, уезжавшего в Ленинград. А как вы помните, Толя любил таких людей, как Сапожников, и это ему зачтется.

— Вика! — окликнул Толя институтскую свою приятельницу. — Какими судьбами?

— Толик!

— Вика, почему, когда ветра нет, ты в штанах, а когда ветер, ты в короткой юбке?

— Прекрати...

Вика поймала свою юбку, и Толя познакомил ее с доктором Шурой.

Ну, то, се, и доктор Шура с негодованием рассказал о дихотомии и о сапожниковском к ней небрежении.

— Представляете себе?

Но Вика сказала:

— А почему только два способа искать иголку в стоге? Либо по соломинке перебирать, либо ваша дихотомия? Да и как еще узнаешь, что вместе с ненужным и нужное не выкинешь?

— Третьего не дано, — сказал доктор Шура.

— Ну да, не дано! — не согласилась Вика. — Если иголка важная — можно стог поджечь. Если нельзя поджечь — можно промыть. Если нельзя промыть — можно просеять через магнит. Я вам еще сто штук придумаю.

— Ты знаешь, — сказал Толя, — по-моему, ты Сапожникову годишься.

— Главное, чтобы он так думал, — сказала Вика.

Доктор Шура поскуучнел.

— Ну, вы идете?

— Да уж опоздали, пожалуй, — сказал Толя.

И доктор Шура пошел на вокзал один.

— Я ничего не успел для нее сделать, — сказал Аркадий Максимович, когда стоял уже на площадке, а молодая проводница плитуступеньку опускала.

— А ничего и не надо, — успокаивал его Сапожников. — Сначала Атлантиду буду кормить я. Она ко мне привыкла. А когда уеду — у моих друзей поживет, у Дунаевых. К Нюре всякая живность липнет.

— Как бы она меня не разлюбила за это время.

— Что она, человек, что ли? — сказал Сапожников. — Чересчур многого вы от нее хотите.

— Чересчур умные все стали, — сказала проводница.

Поезд тронулся. Проплыли белые вывески на вагонах — откуда идет поезд и куда. Ушел поезд, и открылась другая сторона перрона, на которой стоял запыхавшийся доктор Шура, только что вбежавший, и смотрел на Сапожникова.

— Эй, как тебя... Ботинков! — крикнул доктор Шура. — Почему нынче идеи?

— Полтора рубля ведро, — ответил Сапожников. — Слушай, отличник учебы... говорят, в Москву еще лучший профессор приехал,

чем твой... Учеников набирает для полной шлифовки... Хочешь, устрою поноску носить?

Доктор Шура оскорбительно показал ему язык и хотел уйти.

— Стой! Пивом угощу! — воскликнул Сапожников.

И доктор Шура остался.

Из этого в дальнейшем вышло много последствий.

А потом Сапожников поехал в рижскую сторону и не волновался. Там он будет занят работой.

— Рыбы там поедим, — сказал Генка Фролов.

— А зачем? — спросил Сапожников. — Ты рыбу любишь?

— Не важно, — сказал Генка. — В каждом месте надо есть то, что оно производит.

В общем-то, правильно.

— Но это не главное... Главное, там кековское пиво.

— Какое?

— Кековское... Там есть такое место Кеково, совхоз или колхоз, они пиво производят. Даже ларьки в городе есть.

— А чем оно замечательно? — спросил Вартанов.

— Говорят, с четвертого стакана ломаются. Чудо, а не пиво.

— Откуда ты все знаешь, Гена? — спросил Сапожников.

— Живу, — ответил Фролов.

«...Полак, сын Скилура, напал на Херсонес, и жители его просили помощи у царя Митридата Евпатора.

В то время Митридат владел уже югом и востоком Понта Эвксинского, а теперь он пожелал захватить наши берега.

Митридат послал Диофанта с флотом, и тот разбил скифов Полака и тавров и вернулся в Понт.

Но через год скифы снова напали на жителей Херсонеса, и Митридат снова послал Диофанта, и тот разбил скифов в Каркентиде в жестокой битве мечей и занял Скифию, города и столицу их Неаполь. Но Херсонес перестал быть свободным и подпал под силу Митридата и державу его.

И Пантикапей, город наш прекрасный, ждал, что будет, потому что с востока шли сарматы. И некоторые племена, подвластные нам, отпали от нашего царства, и царь наш Перисад посылал дары сарматскому царю.

И жители города роптали и вспоминали о вольности своей. В Феодосии и Пантикапее среди скифских и меотийских рабов было волнение».

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал Вартанов.

Это был последний день перед отъездом, и Вартанов сказал:

— Я хочу с тобой поговорить.

Они расположились на моложавой траве у каких-то давних руин. Дышали, смотрели втроем в розовое небо, в котором летали райские птички. Вартанов сказал:

— Зачем тебе все это нужно?

— Ты про что?

— Ну, ты знаешь про что... Зачем ты живешь так, как ты живешь?

— А как надо? — спросил Сапожников.

— Надо заниматься своим делом, — сказал Вартанов. — Зачем ты лезешь в те области, где ты не специалист?

— Может быть, именно поэтому, — ответил Сапожников. — Я ничего не пробиваю из своих выдумок, я высказываю соображения. На-

летай, бери. А зачем ты лез в здешние дела и махал руками? Вот и я поэтому.

— Но я же махал руками, потому что было все очевидно!

— А может быть, и мне очевидно?

— Не может этого быть,— сказал Вартанов.— Ведь я тебя знаю вот уже сколько лет. Ты теперь и в историю лезешь.

— Да,— сказал Сапожников.— Я влез в историю. Потому что без истории уже нельзя.

— Но у тебя нет достаточных знаний. Знаний. А все знать нельзя.

— Одному знать нельзя,— возразил Сапожников.— А всем вместе можно.

— Но так оно и происходит на деле. Знают все больше и больше, а разве все счастливы?..— сказал Вартанов и перебил сам себя:— Это поразительно и смешно. Сегодня Станиславского не приняли бы в театр потому, что он не кончал студию имени Станиславского... а Ван Гог и Гоген считались бы самодеятельностью. А уж о Циолковском и говорить нечего. С ним и говорить не стали бы. Он не окончил Авиационного института, не служил в НИИ и не имел звания.

— Ладно... разберемся,— сказал Сапожников.— Могу еще добавить монаха Менделя, основателя генетики, каноника Коперника, основателя нынешней астрономии, химика Пастера, основателя микробиологии. Ну, этого все знают.

— И химика Бородина тоже все знают,— резвился Фролов,— и доктора Чехова тоже все знают.

— Сухопутного офицера Льва Толстого и морского офицера Римского-Корсакова,— начал смеяться Вартанов и долго смеялся.

— Искусство не бери,— вмешался Фролов.— В искусство всегда откуда-нибудь переходят. Ты науку бери и технику.

— Кончай,— сказал Сапожников.— Кончай ржать. Заболеешь.

Вот уже больше сотни лет делают попытку подменить творчество образованием. А ведь образование — это чужой опыт творчества, и он часто глушит твой собственный.

Чужой опыт предоставляет только выбор. Не больше. А не выход.

Выход — это не поиски выбора. Выход лежит над выбором. И его надо открыть. Выход — это изобретение.

— Фактически ты занимаешься искусством, а не наукой и техникой,— говорили Сапожникову.— Тебе нужно свободное творчество, а наука и техника связаны с планом. Они чересчур дорого стоят.

— Ты дай мне план, и я придумаю, как его выполнить,— отвечал Сапожников.

— Но ты же заставишь меня потом пересматривать план? А это огромная работа.

— Я могу придумать, как облегчить и ее.

Конечно, он не имел в виду одного себя. Одному везде не поспеть. Он имел в виду таких, как он, их немало, а было бы больше, если бы поверили, что человек от природы может больше, чем он может, когда он размышляет по внутренней потребности.

И тогда он не бежит от противоречия, а открывает выход, лежащий выше противоречия. Человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв. И ему радостно. Выше этой радости нет ничего. Потому что выход — это освобождение.

— А если у тебя не получится?.. В тебе и в этом способе чересчур большая степень ненадежности,— говорили ему.

— Это надежность,— отвечал Сапожников.— Только она по-другому выглядит.

— А почему ты мемориал не смотрел? — спросил Фролов.— Пойди посмотри... Почему ты не смотрел?

— Не пошел,— сказал Сапожников.

— Я знаю, что не пошел. Я спрашиваю — почему?

— Потому.

— Ну ладно. Как хочешь,— сказал Вартанов.

И они ушли. Солнце садилось. Вартанов и Фролов уходили по вечернему шоссе.

Оставалось еще часа три до отъезда.

Вечер был прекрасно-печальный и такой тихий, что когда Сапожников кочнул крутое яйцо об камень чужих руин, а потом стал его облупливать, то хруст скорлупы, наверно, был слышен на километры. Хруст был, как будто динозавр ел динозавра.

Они ему оставили еще и банку майонеза, который по прихоти эпохи начал становиться дефицитом, в моду вошел. А чем открыть эту банку, он не мог придумать, не мог изобрести. Представляете себе — не мог!

Значит, жизнь его прошла попусту. Убедили. Ну и что хорошего?

Сапожников не пошел смотреть мемориал. Он старательно его обогнул и пошел в поле, туда, где виднелся на равнине зеленый кустарник и отдельные деревья. Почему он туда пошел, он сам не знал. Какая-то сила притягивала его к этой зелени. А над зеленью ласково вечернее небо.

Он понял, что проиграл, понял, что жизнь его была ошибкой. И что если бы можно было первую жизнь прожить начерно, то вторую он бы жил набело, по-другому... А сейчас, наверно, надо было начинать жить по тому счету, по которому жил Генка Фролов. Фролов жил по отпускам. Он знал точно, сколько ему еще отпусков осталось до пенсии.

«...И тут в городе стало известно нам, что слюнявый наш царь Перисад не может больше управлять и не может защитить нас от сарматов и что Ксенофонт уговорил царя Перисада передать власть Митридату Понтийскому.

И тут Савмак, дворцовый раб, убил Перисада, и жители восстали и овладели Феодосией и Пантикапеей и сделали Савмака царем, но Ксенофонт остался жив, и это была ошибка.

И целый год правил царь Савмак, и это были лучшие дни для людей...

«...Митридат прислал Диофанта, и тот победил Савмака. Кровь текла по улицам вниз, к порту. Камни трескались от пожара. Статуи богов катились по улицам в обнимку с трупами. И детских криков и криков женских не было слышно от грома щитов и мечей и воинского рева...»

Принято считать, что на войне взрослеют. Это ошибка. На войне стареют. А когда возвращаются — если возвращаются,— то возвращаются к той жизни, где не бомбят и не стреляют, а ходят на работу, любят и учатся. Но как раз всего этого вернувшиеся и не умеют. И потому они в мирной жизни второгодники.

Когда Сапожников вернулся с войны, к нему опять стали приходить конкретно-дефективные мысли. В войну ему тоже приходили

мысли, но мало и все не о том. В войну Сапожников понял слово «родина», потому что он увидал всю страну своими глазами, а не только свой дом и Калязин, и Москву. И все это вошло в его сердце и стало его собственной любовью, а не из книжки.

Когда началась война, Сапожников еще не понимал. А когда он принимал присягу на асфальтированной дорожке в парке Сокольники, где их учили маршрутировать среди неработающих аттракционов и заочечных киосков, тогда Сапожников вдруг понял, что у него хотят отнять все, и почувствовал тихий взрыв.

Он покосился вправо и влево вдоль шеренги на лица восемнадцатилетних, с которыми он принимал присягу, и понял, что не может отдать. Не может отдать ничего. Можно умереть, но отдать нельзя. И тогда от Сапожникова отлетели вдруг мелкие слова воспоминаний и осталось только слово «родина», которое глядело на него со всех плакатов осенней Москвы сорок первого года. И тогда впервые общее для всех слово «призыв» превратилось в его личное слово «призвание». Потому что он во время присяги догадался и открыл, что всю свою сознательную жизнь делал то самое, к чему его теперь призывали,— заступался. Заступался за что-то своим маленьким сердцем, заступался нелепым, мало кому понятным способом, когда ему приходили в голову чересчур конкретные мысли и он выдумывал всякие спасательные пояса, вакуумные кирпичи и многое другое, что потом было записано в его особенной книжке, которая называлась «Ка-ламазоо».

Заступаться, защитить, не дать пропасть, чтобы все живое могло жить, а поломанное починилось.

А теперь Сапожников шел по равнине и все каменело у него внутри. Он хотел побыть среди зелени и травы. Глеб прав, никого он счастливым не сделал. Никого не спас, никого не защитил. Только себя измучил. Крах. Это называлось крах и бессмысленность. Крах.

Светило ласковое предзакатное солнце, и в воздухе пронеслись какие-то птички. Сапожников ни черта в этом не понимал. Потому что в природе изобретать пока было нечего. Она сама себя изобретала. Сапожников чувствовал себя ящером.

Ящеры вымерли. Они не умерли, а вымерли, то есть перестали плодоносить.

Потом ему показалось, что из-за деревьев что-то виднеется.

Он подошел поближе и увидал руку.

Ему рассказывали. Но он как-то забыл об этом.

Когда-то давным-давно в стороне от концлагеря, где теперь мемориал, в начале войны было поле, обнесенное колючей проволокой. За ней держали тысяч пятьдесят советских военнопленных. Ни барakov, ни крыши над головой. Люди съели всю траву на этом полигоне смерти и пальцами пытались рыть ямки, чтобы скрыться от непогоды.

И вот теперь на этом месте прямо из земли торчала огромная человеческая рука. Кисть, выполненная из бетона. Она поднималась к небу, эта бетонная пятерня, и кричала.

Сапожников лег на землю и уткнулся лицом в траву, чтобы не видеть эту руку. Но он все равно ее видел. И понял, что будет видеть ее всегда.

Он поднялся и посмотрел на нее. Ничего не отменяется. Все начинается сначала. У него чересчур много дел на этой земле, чтобы слушать разумные советы, не подходящие его натуре.

## Глава 33. Гипотеза, повятивая ребенку

Когда Сапожников был маленький и ходил в кино или книжки читал, то казалось — там всюду рассказывался случай из жизни какого-нибудь человека и он либо хорошо кончался (человек всех победил или женился почему-то), или плохо кончался, иногда даже смертью. И всегда Сапожников думал, что раз уж рассказан этот случай, то он и был главным в жизни этого человека, иначе зачем его было рассказывать.

Сапожников тогда готовил себя к жизни и выбирал образцы поведения. И его покамест не смущало, что ни один случай из его жизни ни разу целиком не был похож на описанный — и продолжался не так и кончался не тем. Потому что он понимал — жизнь его только начинается и он еще не наловчился после правильного начала вести себя так, чтобы случай не уходил в сторону и кончался не по правилам.

Но однажды ему попали в руки мифы древней Греции.

Он хотел забыть эту книжку, но не мог. Он хотел перестать думать о том, что прочел, и не мог.

Оказалось, ничего не начинается с начала и не кончается с концом. И, родившись, ты попадаешь в приключения, которые не при тебе начинались и кончатся без тебя. Оказалось, что даже победы положительных героев выходили им боком, да не один раз, а сто — взять хоть бедного Геракла, но это относилось и к отрицательным злодеям. Разве знал Сапожников, что Медея, которая убила своих детей, чтобы отомстить неверному Ясону, и даже вызывала некоторое сочувствие к своим страданиям, — разве знал Сапожников, что и до этого случая Медея резала людей и после этого случая кого-то травила, и окружающие травили, и родственники окружающих. И дальше Сапожников прочел саги исландские и саги ирландские, и восточные эпосы и западные эпосы, все они начинались не с начала и не кончались с концом, и всюду резали, резали, и ни на кого нельзя было положиться, и это уже не в книжках, а в жизни. И это потом почему-то называли историей.

И еще увидел Сапожников в книжках, и в истории, и в жизни, когда сталкивался с причинами этой резни и травли, что за редкими исключениями полного отчаяния или необходимой защиты все остальные бесчисленные причины, чтобы кому-то резать кого-то, возникали не с голоду, а с жиру.

Вот так.

То есть девяносто девять процентов причин происходили не от реальной необходимости, а от тупости, торопливости и неизобретательности, и, поразмыслив, без резанья вполне можно было обойтись. И что если б столько таланта, ума и изобретательности, сколько тратилось на то, чтобы ловчее резать, было бы потрачено на то, чтобы не резать, то человеческий род давно бы жил в раю.

..Вот что вспомнил и о чем думал Сапожников, когда его на рынке разыскал Глеб.

Глеб позвонил по телефону и спросил Сапожникова. Откликнулся женский голос:

— А ктой-то его спрашивает?

— Друг.

— На рынок он смотался, — ответил женский голос. — Нынче у нас гости.

Глеб не выдержал.

- А ктой-то со мной говорит? — спросил он.  
— А Дунаева Ньюра, — ответил женский голос.

Глеб включил мотор прекрасной своей машины и через несколько минут был возле рынка. Пасмурный день спешил к вечеру.

К Глебу кинулся мужчина в велюровой шляпе, шерстяной кофте поверх спортивного костюма и лакированных эстрадных туфлях на босу ногу. Он держал в объятиях цветы в целлофане, баранью попку, трехлитровую банку с зелеными помидорами и рассолом, авоську со стиральным порошком и сильный транзистор. Глеб понял — вот он, хаос. Мужчина изловчился, отворил дверцу и залез на переднее сиденье.

- Ку-уда? — удивился Глеб.  
— В Бирюлево.  
— Куда лезете? Частная машина...  
— Ничего, старик, сговоримся!

Глеб надел темные очки и стал молча смотреть ему в лоб. Мужчина вылез и побежал к другой машине.

Глеб поднял стекла, запер дверцу и пошел на рынок. И на него кинулись запахи, которых он тыщу лет... Нет, этого не надо, не надо...

Как ни странно, Сапожникова он нашел сразу. Тот брел мимо прилавков, заложив руки в карманы штанов. Сейчас мало кто так ходит.

Глеб шел за Сапожниковым прямо, не сворачивая, а только оставаясь перед встречными и поперечными. Сапожникова же вертело во всех водоворотах и приносило то к одним дарам природы, то к другой лесной были. Потом Сапожникова притерло к прилавку с зеленью. Он взял с намытой горки красную редиску без листвы и стал ее жевать, глядя в застекленное рыночное небо. Он жевал задумчиво и вздыхал. И продавец и ближайшие покупатели озабоченно ждали его оценки.

«К миру никто не готов. На мир глядят еще по-прежнему. Мир — передышка между войнами. И выходит — не было бы мира, не возникли бы войны. Так, что ли? Дикая вещь получается по этой линейной логике. А если логика неверна? Когда во время войны возникает мир, это понятно. Кто-то кого-то разгромил или от усталости обоих. Но вот почему мир порождает войну? Ты меня ударил, а потом я тебя. А там кто кого, и так без конца, и так тысячи лет — линейная логика, — проворачивалось в сапожниковской голове. — Бронепоезд наш, конечно, стоит где надо, но мы мирные люди. Потому что работники. И поэтому только мы до конца понимаем, что впервые за тысячи лет возникла ситуация, когда на вопрос, кто кого, отвечать будет некому».

Сапожников оглянулся на Глеба и все жевал и жевал. Потом пожал плечами, и покупатели передвинулись к следующей редиске.

Глеб уже долго смотрел на Сапожникова и понял, что тот его просто не узнает. У Сапожникова, видимо, в голове не укладывалось — Глеб на рынке, в пестром хаосе, где все перемешано, как в кунсткамере, по каким-то странным законам. Глеб должен возвышаться у расфасованных полок с никелированной едой.

Глеб снял очки, и Сапожников его сразу узнал и заулыбался, впрочем печально.

Они отошли в сторонку, к запертой двери с надписью «Моечная».

Глебу срочно надо было поговорить с Сапожниковым, но теперь он не знал о чем.

Множество людей в утренних неприбранных одеждах двигалось по всем направлениям и с разной скоростью. Запахи духов, мяса, грибов и рассола. Запахи земли. Толстая женщина продавала пласти-

ковые крышки для немедленного консервирования и цветочные семена сорта «Глория Дэй» для будущих радостей.

— Что ты ищешь на рынке, Сапожников? — спросил Глеб.

— Я ищу редиску моего детства, Глеб, — ответил Сапожников. — Чтобы она щипала язык. А я вижу только водянистую редиску, жалобную на вкус.

— Эх, Сапожников, — сказал Глеб, — эту редиску, которую ты ищешь, можно отыскать только вместе с самим детством. Она там и осталась, Сапожников. Вместе с клубникой, от которой кружится голова. И черникой, которую покупали ведрами. В отличие от клюквы, которую покупали решетками.

— Ого, — удивился Сапожников, — тебе знакома такая черника? И такая клюква?

— Да, да, ты угадал, — подтвердил Глеб, снова надевая очки. — Я из Калязина. Я думал, ты знаешь. Только я жил по другую сторону великой реки.

— Твоя сторона города уцелела, Глеб, — сказал Сапожников. — А моя ушла под воду. Мой город под водой, Глеб, твой же возвышается.

Один гонится за счастьем, причиняет другому горе. Драка из-за пирога, из-за женщины, из-за престижа — из-за любого понятия, отысканного в словаре. Линейная, реактивная, рефлексивная логика, механическая, безвыходная. Неизобретательная, безнадежная.

И тогда Сапожникову пришло в голову: а что, если война — это не порождение мира, а всего лишь его заболевание? Война — это рак мира?

— Ты кому-нибудь рассказывал свою идею насчет рака? — спросил Глеб. — Кроме меня?

— Рассказывал, — ответил Сапожников. — Много раз.

— Ну вот... — сказал Глеб.

И было непонятно, что он имеет в виду. Но потом и это объяснилось. Все рано или поздно объясняется.

У Дунаевых пили чай.

Вразнобой гремела музыка из телевизора и транзистора где-то внизу, далеко на улице.

Вдруг открылась балконная дверь и с улицы вошла трехногая собачка. А так как балкон был на четырнадцатом этаже, то стало ясно, что вошла летающая собака.

— Это очень похоже на вас, Сапожников, — засмеялся Филidorов.

— Почему?

— Нормальный человек хотя и удивился бы, но стал бы подыскивать простое объяснение, а вы бы подумали, что собака летающая.

— Нет, — терпеливо объяснил Сапожников. — Я бы тоже сначала проверил, была ли она все время на балконе... Другое дело, если бы ее на балконе не было.

— Тогда что?

— Тогда бы я стал искать другое, просто объяснение... и если бы оказалось, что собака взлетела, я бы не удивился. Но для этого надо сначала найти антигравитацию.

— Гравитация тоже еще не найдена, — сказал Филidorов. — Она просто есть, и все.

— Найдена. Я, по крайней мере, знаю, что это такое.

— А что это такое?

— Не скажу. Глеб не велел.

— Знаете... ваше шутовство кого хочешь выведет из себя.

— Да,— сказал Сапожников.— Тут вы глубоко правы. А проблема рака вас не интересует?

— Рак всех интересует,— хмуро сказал Филидоров.— А что, у вас и про это есть соображения?

— Насчет рака — это из «Каламазоо»? — спросил Дунаев.

— Из «Каламазоо»,— ответил Сапожников.— Откуда же еще!

— Что это? — спросил Филидоров.

— Это у него книжка такая есть записная... Он туда всякий бред записывает,— пояснил Дунаев.

— Как вы назвали?

— «Каламазоо».

— А что это?

— Это название фирмы, которая железнодорожные приспособления выпускала... до революции еще.

— Действительно бред.

— Действительно бред,— подтвердил Сапожников.

Он теперь и сам так думал. И вдруг ушел спать.

Этому предшествовали следующие чрезвычайные события.

В самой краткой форме дело обстояло так, что гости Сапожникова вернулись недавно из одного города нашей страны, где международный симпозиум собирался насчет строения материи.

Как теперь уже известно широкой публике, единое представление о материи распалось. Материя отказывалась вести себя как полагается и опять вела себя кое-как. Что ни день, открывали новые частицы, и эти частицы, к примеру, то проскакивали друг сквозь друга совершенно безболезненно, а когда сталкивались, то нет чтобы разломаться на осколки, они родили другие, значительно большего размера, чем были сами. Ну и все в таком роде.

Симпозиум был огромный. Бились математикой, логикой, экспериментами, и дело дошло до того, что уже не сражались авторитетами. Так подперло, что не до того стало. И, выступая по советскому телевидению, молодой панамериканский профессор сказал, что сейчас положение в физике таково, что для того, чтобы связать концы с концами, нужна гипотеза, которая была бы понятна даже ребенку.

Так вот как раз сегодня вечером должны были показать по телевизору документальный фильм об этом симпозиуме, и молодой физик Толя, которого Филидоров очень любил, сказал Филидорову, что по совокупности обстоятельств неплохо было бы посмотреть этот фильм в присутствии Сапожникова.

Филидоров закинул голову вверх, услышав это предложение, и стал смеяться в потолок, ухая и протирая очки. Но потом, отсмеявшись, сказал, что согласен.

Созвонились с Сапожниковым и с доктором Шурой. Глеба отыскать не смогли.

Все получилось бы складненько, если бы Толя не позвал Вику. Но Толя хотел как лучше. Он любил таких людей, как Сапожников, и это ему зачтется.

Нюра стала накрывать на стол, а незапланированная Вика села к зеркалу и стала расчесывать волосы, и все стали смотреть, как она это делает.

Потом нехотя уселись перед ящиком с дыркой в чужую жизнь и молча засмотрели документальный фильм о симпозиуме, где в научно-популярной форме были показаны нелепые поступки элементарных частиц и скромное поведение участников симпозиума, среди которых были и Филидоров, и Толя, и Глеб, и доктор Шура, который

покосился на Вику в тот момент, когда должны были показывать его. Но его не показали по соображениям экранного времени, и доктор Шура оскорбился в первый раз. И все стали смотреть, как элементарные частицы, для наглядности изображенные в виде паровозиков и вагончиков, — как эти паровозики и вагончики безболезненно проходили сквозь другой состав как сквозь дым. Или еще — как два твердых шарика сталкивались друг с другом и нет чтобы развалиться на мелкие, а с жуткими искрами порождали пять шаров значительно большего размера. И все это показывали на страшном черном фоне, надо полагать, пустоты.

И вот тут-то панамериканский профессор сказал с экрана несколько слов по-иностранному и улыбнулся приветливо, а голос переводчика попросил телезрителей выдать гипотезу, которая все объяснила бы и устроила и была бы настолько проста, чтобы ее мог понять даже ребенок.

Выключили телевизор, сели за стол, и Филидоров спросил:

— Ну как?.. Что вы обо всем этом думаете? — И посмотрел на Сапожникова.

На это Нюра ответила, что картина хорошая и Филидоров хорошо играл, когда отвечал в микрофон на вопросы, а Толя играл плохо, разевал рот, таращил глаза в микрофон и даже папироску не бросил.

Филидоров опять стал ухать и смеяться в потолок, а Дунаев, который давно понял что к чему, толкнул Сапожникова в бок и сказал:

— Давай, что ли... Соври что-нибудь. Видишь, люди ждут?

И Вика с испугом посмотрела на Сапожникова.

— Может быть, не нужно? — спросила она.

Никто ей не ответил. Все смотрели на скатерть и пальцами выводили на ней узоры невидимые.

Доктор Шура только хотел было выступить, но Филидоров неожиданно властно сказал:

— Давайте никто никого не будет перебивать по пустякам...

И доктор Шура оскорбился второй раз.

Все думали, что Сапожников начнет связывать концы с концами, но он, вместо того чтобы заняться частицами, сказал:

— Наука изучает жизнь, но не создает ее... Так?

— Пока... — не выдержал доктор Шура. — Пока.

— А если не пока, а в принципе? — сказал Сапожников. — Есть вещи, которые наука не может в принципе.

— То есть? — нахмурился Филидоров.

— Наука не может создать материю или сделать энергию из ничего. Она может только их преобразовывать. То, что наука это поняла и не боится утверждать, и сделало ее наукой.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что вполне возможно, что жизнь тоже нельзя создать из ничего и даже из веществ... можно только один вид жизни преобразовать в другой. И то пока слабо получается... Ведь как считается — была бы мертвая материя, а из нее уж каким-то образом получится живая.

— Ха-ха! А вы считаете, что наоборот?

— Не знаю... Но могу допустить.

— Это каким же образом? Всегда из простого получается сложное, а не наоборот, — сказал доктор Шура.

— Всегда ли?

— Докажите обратное.

— Сколько угодно... Когда мы с вами помрем, то превратимся в вещества, из которых уже никакое вещество не получится.

— Значит, по-вашему, существо было раньше вещества? Сложная материя была раньше простой.

— Почему раньше? Что было раньше — яйцо или курица?

— Слушайте, не крутите. Говорите прямо — что вы хотите сказать? — потребовал Филидоров.

Сапожников покивал и сказал примерно следующее:

— Может быть, жизнь — это такая форма материи, которая существует вечно, как сама материя, а вовсе не произошла из неживой материи. И тогда неживая материя — это не строительный материал для живой, а в основном ее остатки, отходы. Ведь даже материи наши, даже граниты — это остатки жизни... Это выяснилось. Трудно поверить, но это так. Но тогда похоже, что каждое живое существо — это симбиоз. Сообщество клеток. Но я думаю, что и клетки — это симбиоз доклеточных структур, и я думаю, что эволюция происходит не просто из-за отбраковки и прочее, а главным образом из-за того, что один симбиоз превращается в другой симбиоз. Метаморфоза. Тогда наследственность — это наследственный симбиоз. То есть не вещества передаются по наследству — белок и прочее, — а существа... Это, может быть, не говорит еще о происхождении жизни, но это говорит о ее воспроизводстве. Если на молекулярном уровне у существ все вещества парные по законам физики, то по крайней мере на клеточном уровне имеется парность существ, то есть симбиоз, а в дальнейшем парность парностей и так далее до организмов многоклеточных. Пары существ обмениваются веществами. Отходы одних есть пища других... Вот, может быть, основной признак живого. Отсюда индивидуальная изменчивость и видовая стойкость... Поэтому, когда природа отбраковывает вид в целом, она это делает не на уровне индивидуала, отдельного существа, который вовсе и не знает, что его отбраковали, и спокойно доживает до смерти, хотя почему-то не дает потомства, а на уровне симбиоза, из которого этот вид состоит. Симбиоз распадается не погибая, а собирается в другой вид, то есть в другой симбиоз. Потому виды и нескрещиваются, так как пару, живущую дружно, не устраивают отходы, то есть пища другой пары... Потому, может, и чужие сердца не приживаются. Я думаю, что, может быть, главный фактор в эволюции — это метаморфоза... Ведь если считать, что жизнь существует не только на Земле, то почему предполагать, что на каждой планете она зарождается от нуля? Почему не представить себе, что некие ее зачатки разносятся по космосу и приживаются там, где для этого есть условия? Такое предположение существует. Панпермия. И второе — у всего живого обнаружен один набор генетических кирпичей. Но если это так, то эволюция — это не просто эволюция симбиоза, но у этой эволюции есть программа, то есть, иначе говоря, постоянное воздействие силы, энергии, нарушающей равновесие белка, но не разрушающей сам белок. Эта энергия — время. Я имею в виду время не в том смысле, сколько веков прошло или который час, а время как особый вид энергии особого вида материи... Время материально, имеет массу и энергию. Я думаю, — сказал тогда Сапожников, — что жизнь возникла не из обычных веществ, а из материи времени...

— Что он мелет?.. Что он мелет?.. — сказал доктор Шура.

Сапожников посмотрел на него и сказал:

— Я думаю, что человек произошел от обезьяны потому, что ушел от обезьяны. А ушел он от нее к морю.

— А зачем вам это все надо? — спросил Филидоров.

— Я думаю, что мозг человека развился и стал человеческим до Атлантиды, потому что кроманьонец рос вместе с каким-то напарником, которого он потерял после катастрофы, когда ушел от моря...

Я думаю, что дельфины — это его охотничьи собаки, которые до сих пор ищут своего хозяина... и свистят ему... и не понимают, что с ним и почему он не откликается...

— Какое странное предположение, — сказал Толя.

— А человек изобрел орудия, которые стали оружием, и так и далее... И потому война — это рак развития, это разъединение... а мир — это состояние здоровья, это симбиоз... И потому я думаю, что назревают две цивилизации — цивилизация рака и цивилизация симбиоза...

Все молчали, потому что видели, как бьется его душа в надежде сформулировать невероятное.

Авось кто-нибудь подхватит.

— Шура... что вы обо всем этом думаете как биолог? — спросил Толя.

— Оставьте меня в покое! — закричал доктор Шура. — Оставьте! И выскочил, хлопнув дверью.

— Вдали от тебя я тоскую, — сказала Вика. — А вблизи я заблеваю от твоих фантазий...

— Вы считаете, он на них права не имеет? — спросил Дунаев.

— Он не имеет права подчинять им свою жизнь и мою.

— А ты не подчиняйся, — сказала Нюра. — Вот бог, а вот порог. Ты ему не годишься.

— Нюра! — сказал Дунаев.

— Жизнь состоит из времени, — промямлил Сапожников.

— Опять вы за свое! — рассердился Филидоров. — Толя, налейте ему боржому.

Тогда Вика перестала расчесывать волосы и приготовилась скандалить.

Филидоров и Толя демократически ушли, а Дунаев остался. Он эти дела вот как знал. У него у самого этот симбиоз распадался тыщу раз из-за Нюриных фантазий.

— Я сейчас приберу, — сказала Вика.

— Сама приберу, — сказала Нюра.

— Ну что ж... тогда я уйду.

— Ага, ступай, — сказала Нюра.

— Ладно... — Сапожников махнул рукой. — Ладно. Иди.

— Ты меня неверно понял, — сказала Вика.

— Я тебя верно понял.

— Я уйду потому, что с тобой я становлюсь такой же сумасшедшей, как ты.

— От себя далеко не уйдешь.

— Поцелуй меня, — сказала она. — Сейчас или никогда.

— Не хочется.

— Не сдавайся, Сапожников. Я тебе не гожусь, — сказала Вика. — Ни за что не сдавайся.

И ушла.

Легко сказать, не сдавайся. Пожить бы немножко просто так, как трава растет.

— Ишь чего захотел, — сказал Дунаев.

Нелеп и смешон был Сапожников до удивления. Он был похож на человека, который удачно идет по утонувшим в воде камушкам в полной уверенности, что идет по воде и что, стало быть, вообще по воде ходить можно, и он удивляется, почему это другие люди не ходят по морю аки посуху.

Раздался звонок в дверь, и Филидоров с Толей все же вернулись. Но без доктора Шуры.

Филидоров и Толя топтались в ночном дворе, чтобы не мешать Вике скандалить с Нюрой из-за Сапожникова. Потом из подъезда пробежала Вика. Наверно, и им пора было по домам, но что-то их удержало.

Филидоров припомнил, как на диспуте Сапожников кинул цитату из Менделеева — лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.

И, вспомнив Сапожниковы бредни, Толя и Филидоров подумали — чем черт не шутит? И вернулись.

Ну а потом, как уже рассказано вначале, — сели пить чай. Вошла летающая собака. О ней высказались разноречиво, и Сапожников, грубо нарушая приличия, ушел спать.

Вечерок не получился.

— Вы с ним не так разговариваете, — сказал Дунаев. — Это все бесполезно. Когда с ним так разговаривают, он становится тупицей.

— А он и в детстве был дефективный, — сказала Нюра.

— Какой?

— Дефективный.

— А как с ним разговаривать? Как?!

— А вы его разжалобите.

— Что?

— Ну да, — сказала Нюра. — Слезу подпустите... Он жалостливый.

— Чушь какая-то, — нахмурился Толя. — При чем тут жалость? Жалости в науке не место.

— Место, место, — сказал Дунаев. — Вы ему растолкуйте, кому без этой вашей штуковины не жить. Он и раскиснет. Он вам враз все придумает.

— Детский сад!

— Это точно, — сказал Дунаев.

— Погодите, — повеселел Филидоров. — Тут что-то есть.

— Вы ешьте компот... Он пастеризованный, — убедительно сказала Нюра.

И теперь Филидоров после слов Нюры понял так, что все сапожниковские теории, потому что он ученых пожалел. Так, что ли?

Но если нужна гипотеза, которую мог бы понять и ребенок, то, может быть, ее и должен высказать ребенок, подумал Филидоров и пошел будить Сапожникова.

— Вставайте... — сказал он, — потолкуем... У меня самолет в два ноль-ноль...

Сапожников открыл глаза.

— Нужна гипотеза, которую бы понял ребенок, — сказал Филидоров.

— А что? — спросил Сапожников. — Вы бы тогда хорошо жили?

— Наверно.

— Это можно.

Филидоров подмигнул Толе.

— Что можно? — спросил Толя.

— Можно сделать, — сказал Сапожников. — Можно сделать гипотезу, которую поймет ребенок.

Филидоров засмеялся.

Тут вошел Дунаев и сказал, что звонил доктор Шура очень веселый и просил передать Сапожникову, что он знает, кто такой Сапожников.

— Ну и кто же он такой? — спросил Филидоров.

— Летающая собака.

— Оставьте меня в покое! — закричал Толя рыдающим голосом доктора Шуры. — Оставьте меня!

И они усадились потолковать.

Вот уже Нюра ушла спать, доверившись тем, кто остался додумывать тайны до конца и посильно.

Никого лишнего в квартире Дунаевых.

Остались четверо, которые не боятся, и пожилая женщина, которая знает то, чего этим четверым вовек не узнать, потому что они знают умом, даже иногда сердцем, если повезет, а она знает, потому что знает.

Есть такое знание, когда доказывать ничего не надо.

— Ну, Дунаев,— сказал Сапожников,— они хотят гипотезу, понятную ребенку... Ладно, выручай. Есть такая гипотеза. Но я ее на тебе попробую.

— Дурацкая твоя привычка лезть туда, где ты ни хрена не смыслишь,— сказал Дунаев.

— А я и не лезу. Однако есть область, где все смыслят более или менее одинаково. Кроме полных кретинов.

— Какая же это область?

— Область здравого смысла.

— Вот как раз тут у меня большие сомнения,— ухмыльнулся Филидоров.

— Скажи, Дунаев, если два авторитета утверждают противоположное, имею я право не поверить им обоим?

— Можешь. А конкретно?

— Один великий ученый сказал, что свет — это частицы, а другой великий ученый сказал, что свет — это волна.

— Я в физике ничего не смыслю.

— Да не в физике, а в здравом смысле,— сказал Сапожников.— Два авторитета не сговорились — можешь ты им не поверить обоим, обоим?

— Так и не сговорились? — спросил Дунаев.

— Фактически нет. Просто порешили считать, что у света есть признаки и волны и частицы. Порешили — и точка.

— Но ведь, наверно, это установили?

— Ага,— сказал Сапожников.— Но не объяснили, как это может быть.

— А ты объяснил?

— А я объяснил.

— Кому?

— Себе, конечно... Жить-то ведь как-то надо,— сказал Сапожников.

— Ну и как же ты объяснил? — спросил Дунаев.

— Свет не иллюзия,— сказал Сапожников.— Это штука материальная. Это установлено. Давление света и прочее. Значит, это какое-то состояние вещества. Значит, должно быть вещество, у которого возникло состояние под названием «свет». И у этого состояния две характеристики — он и на волну похож, бежит, как волна, частота колебаний и амплитуда... Слово «амплитуда» понятно?

— Слово «амплитуда» понятно,— сказал Дунаев.

— Ну вот. Он и на частицу похож, свет... бьет порциями, квантами... Слово «квант» слышал?

— Слышал.

— Ты на бильярде играешь?

— Малость.

— Если шары поставить вдоль борта и по последнему вдарить, что будет?

— Первый отлетит.

— А остальные? — спросил Сапожников.

— На месте останутся... А что?

— Ага...— сказал Сапожников.— Остальные стукнутся друг об друга и на месте останутся... По ним пробежит дрожь, то есть волна, а отлетит только последняя порция, то есть шар.

— Квант?— спросил Дунаев.

— Ага.

— Ну и что из этого вытекает?

— А то вытекает, что для того, чтобы последний шар отлетел, нужны промежуточные шары, которые вздрогнут и успокоятся... То есть, чтобы был свет, нужна среда, материя, в которой бы он распространялся... как звук в воде...

Покурили немножко. У Филадельфа и Толи были спокойные лица людей, которые видят, как человек идет по карнизу, и не знают, окликать его или нет, поскольку не решили еще, лунатик это или верхолаз. Потом Дунаев сказал:

— А кто эти великие ученые?... Ну, которые не сошлись характеристиками?

— Один Эйнштейн,— сказал Сапожников.

— Ого!.. А другой?

— А второй Бор.

— Слушай,— сказал Дунаев,— ты уж лучше помалкивай.

— Я и помалкиваю,— сказал Сапожников.— А все-таки если представить себе, что каждая элементарная частица— это вихрь более тонкой материи, ну, скажем, материи времени...

— Что?

— Не мешайте ему,— сказал Филадельф.

— Тогда ничего противоречивого нет в том, что при столкновении двух частиц рождается пять новых, размером больших, чем первые две... а вовсе не обломки двух первых.

— Чушь!— не удержался Филадельф.

— Что же тут непонятного?— продолжал гнуть свое Сапожников.— Столкновение двух частиц рождает возмущение той материи, из которых они сами состоят. Два вихря рожают пять более крупных. Что ж тут непонятного? Обыкновенная лавина... резонанс... детонация... Высвобождение скрытых запасов. Время,— сказал Сапожников.— Материя времени. Единственная материя, у которой все процессы происходят в одну сторону. Несимметричная... Но и ее несимметричность только кажущаяся. Так как она заворачивается на себя... Всякий поток— это часть витка...

Филадельф долго молчал.

— Тогда понятно и такое явление, когда одна частица проходит, так сказать, через другую,— сказал Сапожников.— Просто вы не ту модель берете... паровозики какие-то... вагончики... Вагон сквозь вагон, конечно, не пройдет, а водоворот сквозь водоворот проходит... сам наблюдал... в Калязине...

— Где?— спросил Филадельф.— Я такого института не знаю.

— Я тоже,— подтвердил Сапожников.— Вода сместилась, а воронка на месте стоит... потому что условия образования воронки не сдвинулись с места... неровности дна и прочее... а вода бежит вниз, к морю...

— Значит, вы считаете, что время— это не условное понятие, а вполне реальная материя?

— Вполне реальная,— сказал Сапожников.— Она тоже отражается в нашем сознании, а не только ее отдельные вихри, то есть тела... Таким образом, все, что мы вспоминаем, унеслось от нас не назад, как принято считать, а вперед... а мы, как воронки, на месте стоим или, как лодки, плывем медленней, чем река бежит... и тогда совсем другой метод прогноза.

Все молчали.

— Может быть, для этого я жил, чтобы открыть это,— сказал Сапожников.— Но помирать не хочется... Хочется, чтобы и мне кое-что досталось от общего пирога...

— Вам хочется, чтобы она вернулась? — спросил Толя.

— Да... — сказал Сапожников.

— Почему?

— Не знаю.

Филидоров молчал.

— Все кружится... кружится,— сказал Сапожников.— Вихри кругом.

— У меня от вас тоже голова кружится,— устало проговорил Филидоров.— Пить надо меньше.

— Да... — сказал Сапожников.— С этим надо кончать. Совсем. Душ у вас работает?

— Работает,— сказал Дунаев.— Почему бы ему не работать?

Филидоров сидел, опустив голову, и молчал.

— Вам нехорошо, Валентин Дмитриевич? — спросил Толя.

— Перестаньте,— сказал Филидоров.

— Если долго смотреть на велосипедный насос,— сказал Сапожников,— можно додуматься до чего угодно... если, конечно, хочешь, заступиться за кого-то...

Душ был сильный и мокрый, и казалось, что струи воды летят прямолинейно. Но это только казалось.

Сапожников вытер лицо и затылок сухим полотенцем и вернулся в комнату.

Филидоров уже уехал. Толя жевал холодную картофелину. На блюде лежала голова селедки с потухшей сигаретой в устах.

— Кстати, о резонансе,— сказал Сапожников.— Что, если использовать резонанс для лечения рака?

— Неужели вы не понимаете, Сапожников, что так эти дела не делаются? — мягко спросил Толя.

— Пожалели бы хоть человека,— сказал Дунаев.— А если у него сердце лопнет? Так и не узнаем.

— Не надо меня жалеть,— сказал Сапожников.— Надо бить опухоль резонансом. Каждая клетка имеет свой спектр излучения... Всякое излучение — это волны, и их можно записать... а значит, и воспроизвести. Если сделать мощный генератор, испускающий волны нужной частоты, и направить на больного, то можно избирательно уничтожать только раковые клетки, не трогая здоровые... Резонанс, понимаете?... Избирательно... Бить опухоли резонансом.

— Хватит, Павел Николаевич,— крикнул Толя,— хватит!

Засыпая, Сапожников понимал, что храпит. Этого раньше с ним не было. Он никогда не храпел, и у него никогда не потели руки, и Сапожников втайне гордился.

Однажды, когда Сапожникова спросили, что такое хорошая жизнь, он ответил: «Хорошая жизнь — это мягкий-мягкий диван... большой-большой арбуз... и «Три мушкетера», которые бы никогда не кончались».

Такое у него было представление о хорошей жизни. Ему тогда было двенадцать лет и ему нравился Атос — он был бледный и не пьянел. Теперь у него было совершенно другое представление о хорошей жизни.

Прошлое не исчезает... Оно проявляется разом, как только судьба задает вопрос. Говорят, что искусство — это зеркало или прелом-

ляющая линза. А разве мы знаем, что такое, к примеру, зеркало? Разве свет отскакивает от зеркала, как мячик? Свет отскакивает от зеркала, как обруч жонглера, пущенный вперед, но вращающийся в обратную сторону.

Когда Сапожников уже засыпал, он услышал песни, которые пели, когда он еще учился в школе. Полюшко-поле... Сердце... Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой... Мы так близки, что слов не нужно... Что наша дружба... сильнее, чем страсть и крепче, чем любовь... Вечер обещает радостную встречу, радостную встречу у окна... На Дальнем Востоке акула охотой была занята... Раз жила пингвинов пара посреди полярных вод, полярных вод... Он сказал мне «кукарача», это значит таракан... Брось сердиться, Маша, ласково взгляни...

И Сапожников вспомнил, как он был в Новом Афоне, и что у него там было, и как они с женой полезли вверх на гору от турбазы раним-рано, когда все спали, и только был слышен треск мотоцикла на дороге к Гудаутам, и пальмы стояли в росе, и они пошли по каменистому серпантину все в гору и в гору, и становилось жарко, и на середине горы была абхазская деревня, и старик в мохнатой шляпе угостил их стаканом вина, и по ее лицу скользили зеленые зайчики. А потом они дошли до развалин римской крепости и увидели внизу пеструю толпу экскурсантов в белых панاماх и слышали голоса, оскорблявшие тишину. Они полезли напрямик по откосу через заросли, и отдыхали, и снова лезли, и была жара и запах нагретого орешника, и Сапожников смотрел на капельку пота у нее на шее, и они вышли наверх, и там была Иверская часовня — одни стены без крыши, и можно было пройти из комнаты в комнату, где на каменных стенах были повешены плохие иконы в бумажных цветах, а над головой белое небо. Потом они вышли оттуда, и Сапожников пошел по гребню низкой стены среди кустов инжира, и вышел на самый мыс, и увидел немыслимый простор и синюю карту моря с нарисованным берегом, и точку парохода на горизонте, и купы деревьев, убегающих вниз. И вдруг тень птицы покатила вниз черным шаром по кронам деревьев, и Сапожников услышал возглас, и оглянулся, и увидел, что она стоит, закрыв глаза. «Мне показалось, что я падаю», — сказала она. Они прошли через каменный дворик в самое время, потому что там две бабки-монашенки ссорились из-за пятак, положенных возле икон, и уже вваливалась экскурсия с панاماми, громогласным гидом и бутербродами. Потом они спустились по дороге, перешли по бревну молчаливый ручей и оказались в странной тишине леса... Серые стволы стояли молча, почти не отличаясь от замшелых корней у их подножья... их кроны не шелестели... образовали купол храма... наверно, самые твердые деревья на свете, стоящие вечно и вечно живые... Это был самшитовый лес... и это было блаженство... И они тогда только что поженились, и Сапожников не знал, что все так ужасно кончится... Но про это Сапожников не хотел вспоминать даже во сне, не мог, не хотел выворачивать душу наизнанку... и надо бежать от воспоминаний, от их разъедающей сладости...

...Когда Сапожников открыл глаза, он увидел, что в кресле спит Вика.

Когда человек нам нравится, мы хотим, чтобы он был сориентирован к нам одной стороной своей души. Как будто он не человек, а картина в музее. И мало кому он нравится во всех своих проявлениях. А говорим — любовь, любовь...

Вот и сейчас она лежала в большом кресле, ровно сложив ноги. И так хорошо было смотреть на нее. И не поверишь, что, когда она проснется, из нее полезут все ее стержневые качества. Ведь знал Сапожников, что легла она напоказ, красиво. А потом не учла, что усталость берет свое, и уснула. Дожидалась, какой она произведет эффект на Сапожникова, и не дождалась. А Сапожникову теперь было приятно сидеть на кровати, поглядывать на нее и чувствовать, что вроде он сторожит ее сон. Хорошо бы она такая и была, когда проснется, думал Сапожников, как на картине. А ведь проснется — какая она будет?

Да и в плоской картине мы прежде всего ищем себя. Или друга себе. Или врага себе. А если этого нет, то картина нам чужая. И в другом человеке мы прежде всего ищем себя, себя, себя. Нет чтоб поинтересоваться, какой он сам-то, этот другой человек. Все хотим, чтобы он был сориентирован к нам одной стороной своей души. Единственной.

Так все и получилось. Там, в аэропорту. Когда она прилетела в Москву. Много лет назад.

А потом она открыла глаза и они с Сапожниковым стали смотреть друг на друга.

— Доктор Шура сказал, что ты летающая собака... — медленно проговорила она. — Кстати, он мне сделал предложение... Да... Я сразу побежала к тебе.

— Ты согласилась?

— Пока нет.

— Какой быстрый.

— Что ты делаешь?! — сказала она в отчаянии. — Над тобой все смеются!.. Что ты делаешь?!

— Живу.

— Опять прибежала... — сказала Нюра, открывая глаза.

Дунаев кивнул и продолжал смотреть в потолок, на котором переливалась оранжевая полоса рассвета.

— Ничего, — пригрозила Нюра. — Я ему жену найду.

— Устарел он, — сказал Дунаев.

— А это смотря какая баба. Ты-то, поди, не устарел?

Дунаев предпочел промолчать.

Нюра придвинулась к нему.

— Поспи хоть часок... Шести нет, — сказала она. — Чего он хоть им придумал-то? Ты понял?

— Много чего придумал, — сказал Дунаев, глядя в потолок. — Насчет времени... Ну, это меня не касается... А вот Шуре этому, доктору, я так понял, что будто планеты и всякое вещество — это отходы от прежней жизни...

— Вроде дерьма, что ли? — спросила Нюра.

Дунаев промолчал.

— А ты не волнуйся, — сказала Нюра, придвигаясь к нему. — Иди ко мне.

И первый раз за всю совместную жизнь их терпеливого симбиоза Дунаев не придвинулся.

Его волновали космические проблемы.

— А что? — сказала Нюра. — Может, и отходы. Любой сад на отходах стоит... Мало навозу — завянет сад, перебор — сторит на корню.

Дунаев разломил пачку «Беломора», достал папироску, зажег спичку и увидел задумчивое лицо Нюры.

— Мне одна из бухгалтерий говорила, — сказала Нюра. — На Сукином болоте научный институт стоял. Гидро... как-то еще... Все

удобства... Каңализация для отходов и этот, как его... ну, куда дерьмо собирают?

— Коллектор?

— Ага, коллектор. Крыша бетонная, как в убежище. Дерьма скопилось видимо-невидимо... Кипело оно кипело да и шарахнуло... Месяц потом этот Гидро отмывали... Всю бухгалтерию залило.

Дунаев ужаснулся. Нюра додумалась до атомной бомбы и соответствующей ей цивилизации. Критическая масса дерьма чревата взрывом...

Гипотеза, понятная даже ребенку.

#### Глава 34. Иерихонские стены

...У Нюры была одна особенность, производившая, мы бы сказали, даже некоторое неприятное впечатление.

Ну, вы читали во многих книжках и видели фильмы, в основном приключенческие, о том, как мчащаяся тройка лошадей или другое взбесившееся животное было остановлено на скаку героическим броском центрального персонажа. Ну, тут, конечно, то-се, ахи-охи, спасенные люди, самопожертвование... Так вот, что касается Нюры, она могла остановить на скаку любое взбесившееся животное. Но для этого она не кидалась наперез, не повисала на рогах или на дышле. Все происходило до отвращения прозаически.

Вот взять хотя бы быка Мирона. Это в Калязине еще. Все знали, бежит по улице — разбегайся, не то потопчет не глядя, старый или малый, или на рог возьмет. Его бы прирезать давно, такой зверюга, да уж больно производитель был хорош. Его и сохраняли, уповая на людской ум и беглую сообразительность. И только когда совсем уж невмоготу становилось, выкликали Нюру. Нюра выходила и говорила: «Ну поди сюда... поди...»

И бык Мирон кончал скоком своим колебать землю, смирял его на шаг, опускал задранный хвост и шел к Нюре. И не то чтобы хлебом приманивала или еще какими лакомствами, а просто шел, и все. И смотрел на нее. Потом Нюра шла, куда ей велели идти, а бык за ней, тоже куда она велела идти, — как привязанный. И она приводила его в стойло.

Про другого бы человека сказали — колдунья. А про Нюру кто скажет — колдунья? Смешно. Нюра, она Нюра и есть.

За дальними амбарами сука жила. Злющая. Сколько раз тоже хотели пристрелить, да исчезала она вовремя из поля зрения охотников. А на Нюрин оклик всегда приходила и вертелась вокруг нее — хвост пропеллером, уши прижаты, и морда остренькая становилась, лисья, и все в глаза ей заглядывала. Кошки за ней, подняв хвосты столбами, целыми выводками ходили.

И ведь что интересно? Ничего умильного в этом не было. Кормление голубей, порхающие птички над головой — нет, этого ничего не было. Просто вся живность тянулась к ней как магнитом. А что в ней, в этой Нюре, было? Никто толком сказать не мог. Люди хотя к ней и тянулись, но старались издали на нее смотреть, как на пожаре. Одни только Сапожниковы, мать и сын, ее не боялись. Да разве еще Дунаев. Ну, Дунаев другое дело, Дунаев умел в ее слова не вслушиваться, он умел только голос ее слушать. И голос, видимо, говорил ему такое, чего другие расслышать не могли.

И еще. Нюру все машины объезжали. В нарушение всех правил движения она переходила улицу в любом месте, где ей надо, и машины даже на пустой улице отскакивали от нее и только что в столбы

не врезались. Дунаев из штрафов не вылезал. А она идет себе и идет, как корова с водопоя. И вот Сапожников однажды вдруг поглядел на Нюру совсем другими глазами и понял: она допотопная. Она из тех, кто до потопа жил.

Однажды, вскоре после описанной выше веселой ночки фантазий и размышлений, Нюра пришла к Сапожникову без звонка, хотя Сапожников всех просил звонить предварительно. Но это для всех, не для Нюры.

— Ну здравствуй,— сказала она.

— Здравствуй, проходи.

— Рассиживаться не буду, боялась, что не застану. Ты сиди, не уходи из дому, а я тут сбегаю кой-куда.

— Куда?

— Надо мне,— сказала Нюра и ушла.

Сапожников недолго оставался один. Его посетил Глеб.

— Вы аутсайдеры,— сказал ему Глеб.— Вы сидите в кювете, а жизнь пролетает мимо вас, как новенькие машины мимо «Антилопы гну». Пока ты занимался самоусовершенствованием и усовершенствованием нашего брэнного мира, я занимался усовершенствованием своей жизни.

— И до чего ты доусовершенствовался? — спросил Сапожников.

— Ладно, только не веди со мной разговор на уровне ликбеза. Я не богомолка, а ты не батюшка, давай смотреть трезво.

— Давай.

— У меня есть все,— сказал Глеб,— все, чего можно добиться, не совершая преступления перед обществом.

— А перед собой?

— До этого никому нет дела.

— Ты ошибаешься, ты — это и есть общество!

— Допустим,— сказал Глеб.— Хотя я и не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Да нет, внешний смысл понятен. Неужели ты всерьез думаешь, что если я лично стану распрекрасным, то и общество станет распрекрасным?

— Вряд ли. Но идея заразительна.

— У меня одна жизнь. И я хочу попользоваться в жизни всем, что она предлагает на нормальных условиях. У меня полно друзей, а у тебя раз-два — и обчелся. Я объездил весь мир, а ты сидишь в своей квартире. Меня защищают звания и материальные блага, которые я заработал честно, а ты не защищен, тебя можно сощелкнуть одним щелчком, и жаловаться тебе будет некому, тебя никто не выслушает. Просто потому, что некому будет с тобой возиться.

— А почему же тогда ты пришел ко мне? — спросил Сапожников.— А не я к тебе?

После этого они долго молчали. Есть не хотелось, пить не хотелось, даже курить не хотелось.

— Ты хочешь сказать, что ты счастлив, а не я? — спросил Глеб.

— Нет,— сказал Сапожников.— Я очень несчастлив, но ты пришел ко мне, а не я к тебе.

— Дураки мы с тобой,— сказал Глеб.

— Тоже верно,— согласился Сапожников.

— А ты видал в своей жизни хоть одного счастливого человека?

— Видал.

— Кто это? Расскажи мне о нем,— настойчиво сказал Глеб,— расскажи,

- Да незачем,— сказал Сапожников.— Вот она пришла.  
И оба они услышали, как кто-то скребется о притолоку.  
— Это она сапоги снимает,— сказал Сапожников.  
Вошла Нюра.  
Молнии метались в глазах Глеба, когда он смотрел то на Нюру, то на Сапожникова. А брови были гневно сдвинуты.  
— Чтой-то вы какие? — спросила Нюра.  
— Какие? — сказал Сапожников.  
— Будто испугались, что ли, чего-то?  
— Ничего я не испугался,— успокоил Сапожников.  
— Да нет, вот он испугался.  
— Его Глеб зовут.  
— Нюра,— сказала Нюра.— Да мы же знакомы.  
Глеб пожал ей руку. Нюра вышла и начала греметь на кухне.  
— Ну знаешь,— сказал Глеб,— если так выглядит счастливый человек...  
— Не торопись,— сказал Сапожников.— Не важно, как он выглядит.  
И тут Глеб совершил ошибку. Он сказал:  
— Я еще побуду у тебя.— И остался.  
Вошла Нюра и стала накрывать на стол.  
— Мы не хотим есть,— сказал Сапожников.  
— Appetit приходит во время еды,— сказала Нюра.  
— Это верно,— подтвердил Глеб.— В здоровом теле — здоровый дух! Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес...  
Сапожников пнул его под столом.  
— Скажите, Нюра,— спросил Глеб,— вы счастливая?  
— А это как?  
Глеб облегченно засмеялся.  
— Он спрашивает, знаешь ли ты, что значит хорошо жить? — сказал Сапожников.  
— А он плохо живет? — спросила Нюра.— То-то я гляжу, боится чего-то.  
— Ничего я не боюсь.  
— А ты не бойся, живи хорошо.  
— Что значит хорошо жить? — догадался спросить Глеб, пересиливая себя.  
— Хорошо жить,— ответила Нюра, подумав,— это жить хорошо.  
Когда Нюра вышла за чайником, Глеб сказал:  
— Она полная дура... или...  
— Или,— сказал Сапожников.— Или. Не торопись.  
Глеб откинулся на стуле и, чтобы не глядеть на Сапожникова, стал смотреть в окно. Сапожников был тоже растерян.  
— Хорошо жить — это жить хорошо,— сказал Глеб.— Я жил плохо, неправильно.  
— Между прочим, это ее единственный афоризм за всю жизнь,— сказал Сапожников.  
— Она сама афоризм,— ответил Глеб.  
— Глеб, ты же талант. Что ты сделал со своим талантом?  
Что-то хлопнуло за дверью на кухне. Потом вошла Нюра и поставила на стол бутылку портвейна.  
— Я не буду пить,— сказал Глеб.  
— И мы не будем, а по рюмке выпьем,— сказала Нюра.  
Сапожников кивнул на бутылку:  
— А этому какая причина?  
— Я принесла тебе великую весть,— сказала Нюра.  
— Какую ты весть принесла мне? — сказал Сапожников.

— Принесла я тебе благую весть... что нашла я тебе жену.  
 — Ха-ха...— сказал Сапожников.— Сначала ведь говорят — невесту?

— Нет. Жену... Решайся сразу, да и дело с концом.

И Сапожников в отчетливом прозрении вдруг догадался, что это тот случай, когда не надо ни думать, ни гадать, когда чужая воля оказалась мудрей твоей собственной. Нюра его за своего посчитала.

Сапожников только хотел было пискнуть насчет того, что надо сначала познакомиться, но не стал этого делать. Догадался, что судьба сама все решила за него.

— А какая она? — спросил Сапожников, хотя уже знал ответ.

— А такая, как я.

Глеб побыл еще несколько минут и ушел. Перед уходом спросил Нюру:

— Кто она? Все-таки скажите ему, кто она.

— Сроки исполнятся — узнает.

— А как узнаю? — не удержался Сапожников.

— По голубой ленте.

Глеб был похож на большую рыбу, выкинутую на песок.

— Просто я в своей области хотел быть первым, — сказал Глеб, когда Сапожников его провожал до двери.

— Нет, ты не хотел быть первым. Ты хотел главенствовать. А область не стоит на месте. Она движется. Поэтому у тебя один выход — тормозить ее. А первому тормозить не нужно. Он сам движется вместе со своей областью... У тебя что-нибудь не в порядке, Глеб?

— Нет,— сказал Глеб.— У меня все в порядке. Я сам не в порядке... Устал.

Уходил Глеб. Уходил из жизни Сапожникова.

Этот разговор поразил Сапожникова. Но он не ощущал победы. Потому что он не ощущал радости победы. Сапожников мог ощущать радость победы, только если она была без соперничества.

Это как в настоящем искусстве — победа без соперничества. Она происходит, и точка. И встает в один ряд с другими... Вся история настоящего искусства стоит на одной полке.

Есть в искусстве понятия — драматический анекдот и композиция.

В анекдоте один влепил пощечину, другой схватился за щеку. А в композиции главное, кто ударил и кого. Потому что реакция оскорбленного непредсказуема. Может заплакать, может и захохотать, может обнять обидчика и утешить его, а может и почесаться или умереть от оскорбления.

В композиции надо разбираться, проникаясь и сопричастуя, а анекдот удобен, как кресло на колесиках. Конформиста всегда везут, а остальных зовут летать.

Анекдот исходит из заданного ограничения и раскрашивает его. Композиция не терпит ограничения, она сама его для себя вырабатывает. Композиция — золова арфа, играющая на ветру времени. Анекдот — патефон, орущий одну и ту же мелодию при любой погоде, потому что пружина заведена и давит до конца пластинки. Патефоны у любого владельца играют одну и ту же песню, а на вышеуказанной арфе надо играть самому. Анекдот можно вычислить, а для композиции нужно быть композитором. Ремесло вычисляет и композицию, но приходит настоящий и портит вычисления. Анекдот держится на логике поворотов, композиция — на смене ритмов. Анекдот игнорирует

хаос, и потому анекдот — это притворство, а композиция считает хаос суммой всех возможностей, то есть богатством, и отыскивает в ней каждый раз новую гармонию. В анекдоте интрига движет сюжетом, в композиции сюжетом движет жизнь, породившая таких героев, а не других. В анекдоте один эпизод есть причина для другого эпизода. В композиции причиной эпизодов является жизнь, их окружающая, а интрига подсобна и, как всегда, беспомощна в результате.

Герои драматического анекдота сведены искусственно и упакованы во внешние обстоятельства, как в гроб, откуда нет выхода. Герои композиции не заперты в стеклянной банке, не посажены на транспорт, с которого не соскочишь. Они сошлись вместе, потому что их свела судьба и они такие, а не какие-нибудь другие.

Никакие внешние обстоятельства не держат их вместе, и они могут разойтись в любой момент. Только для этого Ромео должен перестать любить, Отелло — ревновать, Гамлет — мстить, а Макбет пробиваться в начальство.

Герои анекдота воюют с противником, лежащим вне их. Поэтому их конфликты временны. Нет противника — нет и драмы. Герои композиции прежде всего над собой не властны. Вот суть.

Не властны бросить любить, или ненавидеть, или гоняться за деньгами. Что это за скупой рыцарь, если его скупость от расточительства сына? Гобсек не властен бросить ростовщичество, Хлестаков врать, а сестры чеховские перестать быть деликатными.

Вот в чем суть. Не властны над собой...

Филидоров рассуждал так:

«Полтора миллиона лет — человек прямоходящий, сто тысяч лет — человек думающий, двенадцать тысяч лет — кроманьонец, семь тысяч лет — история, три тысячи лет — цивилизация. Идти уже некуда. Земля заселена. Ежегодно пять миллионов тонн нефти выбрасывается в океан. Льют мышьяк, выбрасывают уран. На дне, запечатанная в баллоны, лежит ядерная смерть. Если мы сейчас не образумимся, мы обречены на самоуничтожение. Все это следствие концентрации энергии. Вернадский говорил, что ни один вид не мог жить в среде своих отбросов. Сейчас каждые двенадцать лет отбросы удваиваются. Даже производство по замкнутому циклу не выход, производство-то растет. При замкнутом цикле отбросы удваиваются за пятнадцать лет. Идеалы общества потребления — вот где опасность. Если мы не перестроим наши потребности — будет худо. Грязь не должна накапливаться. Должны эволюционировать наши идеалы. Идеалы общества созидания».

Так думали Филидоров и те, кто занялся организацией проблемной лаборатории, которую должен был возглавить Филидоров. Защита окружающей среды.

Защита.

— Глеб, поймите меня правильно... вы мне очень нужны, — сказал Филидоров. — Когда я уйду, или когда распадется мой симбиоз симбиозов и я превращусь в вещество...

— Зачем вы так?

— Я дурею от этого Сапожникова, — сказал Филидоров. — Я хочу сказать, что в любом случае вы замените меня. Вы прирожденный лидер.

— Но что «но»? — спросил Глеб после паузы. — Этого мало?

— Глеб, вы отличный специалист, — сказал Филидоров. — Но по всему миру идет научно-техническая революция... значит, нужна ее теория и нужны революционеры. Да-да представьте себе. Это всегда особый склад мышления. Вы что думаете, я не понимаю, что в принци-

пе и вы и я могли бы додуматься до видеозаписи? Все данные уже были. Сапожников не открыл факты, но понял их связь. Мы с вами могли это сделать. Однако для этого нужна определенная настройка души — у нас с вами ее не оказалось.

— Какая настройка?

— Я думаю, вы и сейчас не понимаете, что видеозапись — это такой же переворот в культуре, как прежде книгопечатание.

— Перебор... Не верю,— сказал Глеб.

— Ну вот видите,— сказал Филидоров.— Сейчас видеозапись дублирует кино. Первые печатные книги тоже подделывали под рукопись и украшали переплеты застешками. А оказалось, что главная специфика книги — тираж. Культура перестала быть достоянием одиночек. А теперь представьте себе, что лекции для школьников читают Курчатов, Ландау, Капица, Семенов, Александров — да не просто читают, а ведут урок на экране и спорят, и им задают не типовые вопросы... а потом эти лекции в каждой квартире, и их можно смотреть сколько хочешь и остановить в любой момент, как сцену на футболе, чтобы понять формулу, то есть остановить мгновение, если оно прекрасно... и вернуть назад, чтобы посмотреть, как ее, эту формулу, выкладывают у тебя на глазах... Знаете, я бы не отказался. А в искусстве авторское исполнение...

— Вы сильно увлечены Сапожниковым,— сказал Глеб.— Как же это ты проглядел? Вы мне казались устойчивой.

— Я увлечен перспективами. Если видеозапись будет так же по карману, как транзистор, это переворот. Мы с вами забраковали его абсолютный двигатель, но у меня не выходят из ума перспективы. В замысле это не только конец энергетическому кризису и загрязнению среды, это еще и автономия каждого станка, каждого жилища. Мало того что это разгрузит гигантские ГЭС, ГРЭС и прочие левиафаны,— это еще и энергетическая неуязвимость отдельного человека... Кстати, Сапожников упорно болтает о раке — что это? Не слышали?

— Не слышал,— быстро ответил Глеб.

— Там, в Керчи, мне понравилось с ним болтать. У него какая-то своя логика. Он называет ее нелинейной. Он считает, что случайность — это не просто проявление и дополнение закономерности, а проявление одной закономерности, дополняющей другую. У него куча неожиданных идей. Может быть, они завиральные, но они вызывают резонанс в моей старой башке... И если НТР действительно революция, а не просто ужасающая производительность, то потребуются люди его типа. Иначе эта производительность станет научно-технической контрреволюцией, а это, знаете ли, не для людей. Глеб, поймите меня правильно...

А Сапожников как рассуждал?

Стоп. Воздух — вот что объединяет. Хочешь не хочешь. Землю расхватили на части, и вся она кому-то принадлежит. А воздух общий. Тот самый зыблющийся, колеблющийся, завихряющийся, тот самый легкий газ жизни, за который, по мнению Сапожникова, поток реки времени раскручивает планету как за обод велосипедного колеса.

Воздух-то общий. И промышленные страны воруют воздух у непромышленных.

Другое дело огородить бы промышленные страны стеною до неба — вот тогда можно было бы поглядеть, долго бы работали жрущие воздух заводы, автомобили, реактивные двигатели, надолго бы хватило собственного воздуха или нет? А ведь хочешь не хочешь, а придется и об этом задуматься. И ни-ку-да от этого не уйдешь. Никуда!

Воздух создают растения, а жрут машины. Все ли машины? Нет.

Только машины всяческого сторания. А водяные мельницы, гидростанции и ветряки воздух не жрут. То есть вечные двигатели воздух не жрут. Стоп.

Можно ли отказаться от выплавки металла? Нет. Но его можно плавить электричеством. Можно ли отказаться от самолетов, автомобилей? Нет. Но на них можно поставить двигатели, не пережигающие воздух. И так далее.

Нельзя сжирать планету, а потом искать на стороне другую.

Пойдут люди обратно на травку, откажутся от цивилизации? Нет, конечно. Значит, нужна изобретательность.

Если какая-то область деятельности вредит человечеству, надо искать, как сделать ее безвредной, раз уж нельзя от нее отказаться. Надо искать, как прийти к тем же результатам безвредным путем.

Кстати, и сам путь может измениться, если изобретательность будет направлена на безвредность.

Как строить мир, чтобы он развивался без аварий?

Сапожникову казалось, что все дело в изобретательстве настолько массовом, чтобы оно лавиной заваливало каждую трещину в скале. Сапожников надеялся, что дело идет к автономным двигателям, поставленным на каждый станок, на каждую автомашину, в каждый ЖЭК, и уставшая от неразумия Земля отдохнет и расправит плечи. Потому что каждый человек — это автономный двигатель. В конце концов, история складывается из наших биографий. Так думал Сапожников, но, может быть, он ошибался. А может быть, и нет.

Но, повторяем, эти идеи отдавали фантастикой и потому были нереспектабельны.

И потому оставались Сапожникову только гипотезы и прогнозы насчет человека и вообще о жизни, которые в момент высказывания выглядели нелепо, потому что не соответствовали действительности. А когда они становились действительностью, то в общем шуме оценок и определений терялась тихая мелодия сапожниковского прогноза.

Потому что настоящий прогноз — это мелодия, а не вычисление.

И ее можно открыть, если хочешь заступиться за кого-то, и тогда услышишь в сердце тихий взрыв.

Вика позвонила Сапожникову на работу и объявила, что зайдет к нему сегодня, если будет время, и велела сказать, где он прячет ключ на случай, если она придет раньше него. После работы Сапожников летел домой что есть духу. Ключ оказался на месте.

Сапожников улегся на диван и смотрел в окно на закатное небо.

Потом Вика пришла. Красивая, возбужденная, победительная, нос задран, глаза круглые и несчастные.

— Ты получил письмо от доктора Шуры? — спросила она. Он писал при мне, — сказала она. — Он ставит вопрос о душе.

— Вы с ним спите уже? — поинтересовался Сапожников.

— Во-первых, это не твое дело, — ответила она. — Тебя это не касается теперь... А во-вторых, ничего подобного... Ты почитай письмо, почитай! Он тебя уничтожил... Все твои программы — это все лица!

«А что такое душа?» — подумал Сапожников.

— Да! Что такое душа? — спросила Вика. — У тебя и на это есть ответ? Может быть, ты мистик? Или ты спирит?

— Увы, — сказал Сапожников, — я материалист. Мистикам куда легче... Покрутил стол, вызвал Наполеона, получил ответ... Однако все рано или поздно объяснится — так Аграрий велел. Нужна безумная догадка, а я сейчас трезвый как мыло.

— А вот я знаю, что такое душа, — сказала Вика.

— Вполне возможно. А что?

— Это то, чего у тебя нет,— сказала Вика.

И пошел длинный-предлинный разговор, где она объясняла Сапожникову с почти открытым злорадством все недостатки Сапожникова, и тот соглашался и соглашался — да, правильно ты говоришь, все точно,— и она учила его жить, надо было делать так и надо было делать эдак, и любовная речь журчала, как ручеек-змейка, которую Сапожников отогревал за пазухой, но так за всю жизнь и не отогрел, и всю жизнь любовная речь-змейка оплетала и оплетала Сапожникова и во всем была права, но почему-то была права злобно и давала советы не тогда, когда он на ногах стоял и криком кричал, просил совета, а когда он обрушивался и ничего не просил, разве чтоб в покое оставили.

Ах, серпантина, круглые глазки, только у Гофмана она из змейки становится девушкой. В жизни чаще бывает наоборот.

И тогда Сапожников сказал:

— Ты права. Ну а дальше что? Разве кому-нибудь от этого весело? А разве тебе самой весело?

— Я не ищущу веселья,— сказала она.

— Вот потому мы и не вместе,— сказал Сапожников.— Пускай я буду не прав, но по-своему.

И тут раздался довольно сильный звонок в дверь, и Сапожников сказал:

— Вот видишь, дождались... сейчас Нюра придет.

— Чур меня, чур,— сказала Вика.

Но это оказалась не Нюра. Вика открыла дверь, и ей сказали:

— Распишитесь за телеграмму.

Телеграмма была местная и срочная.

Она вернулась и протянула серый заклеенный листок.

— Нет...— сказал Сапожников.— Прочти сама... Чем там еще меня прихлопнули?.. Я боюсь...

— Не бойся... трусишка,— сказала она и усмехнулась.

По ее лицу было видно, как Сапожников скатывался колом ей в руки. Она ошибалась, но ошибалась благородно. Она не знала, что Сапожников на последнем рубеже, но держался до конца. Совсем. Он про себя так решил, что лучше помереть стоя, чем жить на коленях. Что это за отношения, если один ползет к другому, только когда ходить не может? А как пошел, так побежал прочь. Нет, нет. Конец так конец, но по-своему. Он смотрел, как она не торопилась разрывать финишные ленточки, которыми была склеена телеграмма неизвестно откуда, и все у него холодело. Потому что он понимал — все. Получать телеграмму ему совершенно неоткуда.

Она побледнела и сказала:

— Наверно, твой проект приняли.

— Что?— сказал Сапожников.— А кому он нужен, эта мура собачья, мне во всяком случае, уже не нужен. Ну-ка прочти.

Она прочла: «Рассказал шефу вашу последнюю медицинскую байку. Он сказал — оформляйте. Вас зовут к нам. Деньги отпущены. Зав. лабораторией, извините, я. Потом переиграем. Приезжайте немедленно. Все хорошо. Толя».

Сапожников подождал немножко, потом засмеялся, посмотрел в потолок и закрыл глаза. Как это ему неоткуда телеграмму получать? Ему полсвета написать может... Потом открыл глаза и посмотрел на молчаливую змейку.

Она сидела неподвижно.

Он тихонько сказал:

— Привет...

Иерихонские стены рухнули. Резонанс все-таки.

Она поднялась и молча вышла. Только бухнула дверь.

Так Сапожников и не понял. Совпадение это или судьба наградила его за попытку устоять на стезе добродетели и стойкости. Ему хотелось верить во второй вариант.

И пришла эта страшная ночь. Ночь катарсиса. Ночь объяснения и очищения.

Сапожников вернулся домой с работы и в ящике для писем нашел письмо. Он сперва не понял, что это письмо от Глеба.

«...Пора признаваться,— писал Глеб.— Когда-то я смеялся, глядя на твою пасть, изрыгающую идеи. Но случай с видеозаписью поразил меня. Видеозапись существует. Это факт. Мне неизвестно, кто первый до нее додумался. Может быть, где-то уже шла работа. Но впервые она стала известна нам в пустом трепе с тобой. Это могло быть случайностью. Но ты похвастался, даже не похвастался, а пошутил, что ты можешь додуматься, как лечить рак, как сделать абсолютный двигатель и решить террему Ферма. Много лет спустя я услышал, что ты начал болтать о двигателе. Из компании в компанию, по цепочке мне передали его идею. Ты ни от кого не скрывал свою идею двигателя. Тогда я решил сыграть. Решил пожертвовать пешкой. И отдал тебе Барбарисова. Это я сказал ему, что в твоей идее что-то есть. И чтобы он попробовал и не терял шанса. Я тоже ничего не терял. Если бы ученые люди разгромили тебя, меня бы это не коснулось. Если бы подтвердили твоё предположение, двигатель был бы мой. Но тебя разгромил Филिдоров. И я опять стал жить хорошо, когда большая наука закрыла твою проклятую пасть, изрыгающую изобретения...»

— Безумец...— с тоской сказал Сапожников.— Глеб... ты безумец... Вот что оказалось...

«...Я тормозил тебя всю жизнь,— писал Глеб,— ты не знал об этом. Знал об этом только я. Знал о тебе все. И однажды случилось непорядочное... Я приехал в Керчь. Я приехал сказать тебе об этом непорядочном. Но не смог. Я понял, что это тебя убьет. И почему-то не смог. А когда не смог— меня потянуло к тебе. Вот что случилось. Не так давно прошел слух, что идея двигателя где-то запатентована. И будто есть сообщения в журналах, что приступили к строительству. Потому что, когда раньше уповали на атомную энергию и все в таком роде, всем казались смешными твои фреоновые керосинки. Но наступил энергетический кризис— и даже в Америке стали строить ветряки. Ты потерял этот двигатель, Сапожников. А совсем недавно я узнал, что в нескольких странах ведутся работы по проблеме рака, и похоже, что твоим способом. Делаются попытки бить его резонансом, как это ты собирался делать. Кажется, на частоте бета-частиц...»

Сапожникова начало колотить. Его начало заражать глебовское безумие. Уходили, может быть, главные его практические идеи. И никогда его имя не будет связано с ними.

Он схватил толстую тетрадь и начал лихорадочно записывать эти идеи. Ставить числа. Сегодняшние... Потом вчерашние... Потом снова сегодняшние... Пытаясь спасти остатки. Потому что он понял: если двигатель начали строить, то он будет стационарный. А Сапожников додумался до автономного, который можно будет ставить на любой станок и в любую квартиру... Его била дрожь отчаяния... Пока он не спохватился... и не стал читать дальше.

«...Ты проиграл, Сапожников,— писал Глеб.— Но ты проиграл житейски. А я окончательно и непоправимо. Потому что если такой

олух, как ты, мог в разговоре с легкостью додуматься до того, до чего не додумались люди, подобные мне, то, значит, твой способ мышления верней моего. Прости...»

— Глеб... Глеб... Что ты наделал?..— сказал Сапожников и кинулся к телефону.

Пальцы не попадали в отверстия диска. Телефон блеял, мычал или молчал. И это длилось всю ночь. Пока не кончилось разом.

— Все кончено...— сказал Сапожников.

Он не знал, что кончено. Что именно. Но что-то было кончено.

Утром позвонил Барбарисов и сообщил, что Глеб умер в больнице. Этой ночью. От какого-то страшного и непонятного желудочного заболевания. Из него разбежались все микробы, полезные для организма, которые помогают переваривать пищу. Они не захотели с ним жить.

Симбиоз распался.

Глеб. Выжженный человек. Ни разу в жизни не страдал за другого. Рак души.

Иерихонские стены рухнули.

И в душе Сапожникова наступило молчание.

### Глава 35. Добыча и жадность

Кто приходит с войны, его всегда спрашивают: ну как там? Одно дело сводки и кинохроника, другое дело — свой вернулся и рассказать, как там. Все равно не рассказать. Потому что — слова. А все слова описывают жизнь, потому что придуманы живыми. Словами можно, конечно, нагнать страху, потому что страх — это тоже жизнь. А как описать смерть? Обморок, потеря сознания и даже клиническая смерть — это еще не смерть, это потеря ощущения жизни, а все же не смерть. Потому что научно установлено, что в момент подлинной смерти организм любой, даже насекомого, дает вспышку некоего излучения, которое фиксируется приборами. Кто не верит — пусть спросит у специалистов.

Снова пришел Аркадий Максимович. Сидел, смотрел на Сапожникова и ни о чем не расспрашивал.

Трехногая собачка Атлантида то бродила ревизией по комнате, то сидела под стулом возле тощей ноги Аркадия Максимовича.

В переводе на собачий Аркадий Максимович был пудель — седые кудри и глаз обморочный, а Сапожников — московская сторожевая: наивности побольше и злости тоже.

Сапожников спросил:

— А как дела с Кайей, женой Приска-младшего?

Потому что во всех катаклизмах Сапожникова по нелепости его натуры интересовали судьбы частные и мелкие, о которых он мог бы совершенно спокойно и не узнать вовсе. Но уж если узнавал, то они прилипали к нему, и входили в его душу, и становились и его судьбой.

— Плохо дело с Кайей,— рассказал ему Аркадий Максимович, словно историю про соседнюю квартиру рассказывал.— Я так понял, что этот подонок Ксенофонт каким-то образом затащил Кайю в гарем слюнявого Перисада.

— Ужас... ужас...— сказал Сапожников.— Ну?

— А когда Савмак поднял восстание и убил Перисада, то Кайя не вернулась к Приску... Не смогла.

— Это ясно,— сказал Сапожников, глядя в окно.

Ледяная крупа летела, и кружилась, и царапала стекло.

— Странно... они чувствовали то же, что и мы...

- Было бы странно обратное,— ответил Сапожников.  
Ледяной ветер зудел в стеклах.
- Ну а дальше? — спросил Сапожников.
- А дальше восстание продолжалось год, как мы и предполагали, Савмак стал царем — это все в общих чертах известно. Конечно, множество деталей быта и культуры Пантикапея, разгром восстания и города войсками Диофанта, Митридатова полководца,— это целый клад для историков, этнографов. Но не в этом дело.
- А в чем?
- А в том, что, по утверждению Приска-младшего, после того как Савмака и других пленных увезли в Понт к Митридату...
- А Кайю?..— опять спросил Сапожников.
- Я и говорю,— сказал Аркадий Максимович,— Ксенофонт, который отсиделся в некрополе, пока была заваруха, вылез на поверхность и показал Кайю Диофанту, который немедленно забрал ее для Митридата. За это Диофант прихватил Ксенофонта с собой к Митридату... Видимо, Кайя действительно была хороша.
- А что с Приском?
- Приск плыл на одном корабле с Кайей и Ксенофонтом. Попытался убить Ксенофонта, но неудачно. Приска хотели выкинуть в море, но Кайя сказала, что изувечит себя, и Приска не тронули...
- Какой ужас...— сказал Сапожников.— Что люди делают друг с другом.

...Это растерявшиеся дети.

Каждый думал, что после войны вернется на старое место. Но старое место было занято новыми детьми, которые требовали от вернувшихся быть живым идеалом и размахивать саблями. Вычеркнули их из детства. И не дали доиграть в игрушки. И все усугублялось самолюбием, с которым младшие вымещали на них свои несостоявшиеся доблести. А те, кто вернулся, не решались сказать — пустите в детство хотя бы на годок.

— Знаете что, Сапожников,— сказал Аркадий Максимович,— не спрашивайте меня больше о Кайе и Приске. Там есть вещи и по крупнее.

— Возможно,— согласился Сапожников.— Но они дальше от меня и я не могу их охватить. Я не историк. Мое дело велосипедный насос.

— Не понимаю.

— Ну?

— А дальше рассказано вот что. По словам Приска выходит, что Спартак сын не то Савмака и Кайи, не то Митридата и Кайи. Запутанная история.

— Спартак? Ведь вы догадывались?

— Кайя была в гареме у Митридата, который потом отдал ее Савмаку. Кайя родила сына, которого назвала традиционно для боспорских царей Спартаком, поскольку сам Савмак был Спартокидом, хотя и по боковой линии, а вернее — сыном царской рабыни, а потом и сам год был царем. В общем, карусель.

Аркадий Максимович был очень задумчивый.

— Хотя с другой стороны,— сказал он,— мы как-то не очень отдаем себе отчет, что Митридастовы войны с Римом происходили одновременно с восстанием Спартака. Вряд ли Митридат этого не знал и не учитывал. Митридат пошел на Рим, который с тыла громил Спартак. И эти два события, похоже, связаны друг с другом не случайно, и гораздо более тесно, чем мы думали. В общем, если хотя бы поло-

вина из всего этого правда, то события на территории нашей страны не периферия римской истории, а, наоборот, римская история периферийная, только более известная. Я все больше думаю, что мы откопали не хронику, а какой-то эллинистический роман. А это уже забота историков литературы.

— Сквозь любой роман просвечивает хроника и наоборот.

«...Царь Митридат — Ахеменид и потомок Александра Македонского и Селевков, и слава великих предков окружала его и предшествовала его появлению... Исполинского роста он был, и огромна была сила его мышц... Непреклонно было его мужество и неукротима энергия... Глубок и коварен ум и безгранична его жестокость... По его приказу были убиты или погибли в заточении мать, брат, сестра, три сына и три дочери...

Несмотря на то, что не удалось в Риме восстание великого вождя, единственного великого из Спартокидов, царь Митридат продолжал набирать войско из свободных, а также рабов, и того не прощали ему знатные.

Он готовил множество оружия, и стрел, и военных машин и не щадил ни лесного материала, ни рабочих быков для изготовления тетив из их жил для луков своих. На своих подданных, не исключая самых бедных, он наложил подати, и сборщики его многих обижали при этом. И даже воины Фарнака, сына его, роптали, и Фарнак, сын Митридата, захотел стать царем.

Ночью Фарнак прошел в лагерь к римским перебежчикам и склонил их отпасть от отца. В ту же ночь он разослал своих лазутчиков и в другие военные лагеря.

На заре подняли воинский клич римские перебежчики, за ними его постепенно подхватили другие войска. Закричали первыми матросы, наиболее склонные к переменам, за ними и все другие.

Митридат, пробужденный этим криком, послал узнать, чего хотят кринащие. Те ответили, что хотят иметь царем его молодого сына вместо старика, убившего многих своих сыновей, военачальников и друзей. Митридат вышел, чтобы переговорить с ними, но гарнизон, охранявший акрополь, не выпустил его, так как примкнул к восставшим. Они убили лошадь Митридата, обратившегося в бегство. Митридат оказался запертым.

Стоя на вершине горы, он видел, как внизу войска венчают на царство Фарнака. Он направил своих посланцев к нему, требуя свободного пропуска, но ни один из них не возвратился. Поняв безысходность своего положения, Митридат достал яд, который он всегда носил с собой при мече.

Две его дочери, находившиеся при нем, невесты египетского и кипрского царей, не давали ему испить, пока не получили и не выпили яд первыми. На них он сразу подействовал; на Митридата же не оказал никакого действия, так как царь привык постоянно принимать яды для защиты себя от отравления.

Предпочитая смерть плену, он попросил начальника кельтов Битойта оказать ему последнюю услугу. И Битойт, тронутый обращениями к нему словами, заколол царя, выполнив его просьбу.

Так погиб Митридат — здесь, в Пантикапее, на горе, названной позднее его именем.

И я, Приск, сын Приска, был с ними, потому что там была Кайя, у которой помутился разум.

Мы Приски, мы помним события малые и для царей незначительные, потому что из малых капель беспредельный океан и царский курган насыпан безымянными многими.

Когда все было кончено на вершине горы и пресекалась жизнь царя Митридата, то начальник кельтов, оказавший последнюю услугу царю, хотел послать меня к Фарнаку с вестью о совершенном. Но я, слыша голос Кайи, которая все пела на непонятном языке возле умерших, не смог ее оставить, пока она жива. И потому я просил отпустить ее со мной. Но кельты не отпустили ее потому, что больше на горе не было женщин и некому было оплакать мертвых, а Кайя все пела. Я валялся в ногах у Битойта, но начальник кельтов молчал, а я не мог сказать ему, опасаясь за жизнь Кайи, что она поет не слова прощания с мертвыми, а супружескую песню, которую она пела мне на третью ночь после брачного пира, и вот я остался жив и не могу умереть, пока не будет дописано то, что должно, потому что мы Приски и наше дело помнить, и вот эта песня на языке эллинов:

С деревьев солнечного бога  
Срываю ветвь себе на опахало.  
Лицом я обернулась к роще  
И в сторону святилища гляжу.  
Отяжелив густым бальзамом кудри,  
Наполнив руки ветками персей,  
Себе кажусь владычицей Египта,  
Когда сжимаешь ты меня в объятьях...

И я начал спускаться с горы, слыша ее голос и обходя трупы, и так шел, пока слышал ее голос, а потом перестал слышать. И тогда я стал как безумный кельт, который идет в битву, не боясь ничего, и снова помчался вверх по горе, не слыша ее голоса. И прибежав на вершину, отстранил Битойта от тела Кайи, которая лежала возле дочерей царя, и одна из них была невестой царя Кипра, а другая — египетского царя. И Битойт, которого кельты звали Витольдом и он был потомком Словена, потомка Иафета, и этим потомкам оракулы предсказывают великую судьбу, — и этот Битойт не ударил меня мечом, когда я отстранил его от тела Кайи, жены моей и матери великого вождя, сотрясавшего Рим и погибшего в битве, потому что царь Митридат не посмел послать за ним корабли. Потому что боялся его возвращения и его величия, как боялся Савмака, потому что не мог понять, что движет этими людьми и почему рабы ближе их сердцу, чем цари. У Кайи не помутился разум, как думали кельты, и они не заметили, как она выпила яд, от которого царь Митридат не мог умереть.

Воины Фарнака и римские перебежчики начали кричать внизу горы, и Битойт поднял на копье плащ Митридата, потомка Ахеменидов, потомка Александра Великого, Македонянина.

Я спустился с горы, обходя трупы, и в развалинах дома своего еще успел увидеть живым своего отца, который умирал и потому говорил медленно. Я думал убить себя после его смерти, но он рассказал мне то, что должны знать Приски, и он умер, а я жив, чтобы не пропало знание...»

— ...Они погибли... — сказал Сапожников. — Они все погибли.

В эти последние дни Сапожников звонил по телефонам из пустой квартиры и объяснял в любви кому попало. Сначала он еще понимал кое-что. Ну, например, что он повторяется, что его длинные монологи становятся похожими друг на друга, пока не остался один монолог. Потом и это перестал понимать. Сначала он еще понимал, что на другом конце провода откликаются разные женские голоса, а потом и это перестал понимать, и остался только глуховатый женский голос, растерянно или со смешком подающий реплики. А потом и он

пропал и остались только треск телефонных разрядов, гул машин за окном и иногда вой «скорой помощи», требующей дорогу на перекрестке.

Все окурки были докурены, хлеб доеден, неделя отгремела рассветами, и на том конце провода телефон молчал или поскуливал длинными гудками. Хватит, Сапожников, хватит. Того, чего ты хочешь, все равно никто не услышит, рано еще ему, этому чувству, не пришел еще срок, а зеленые почки руками не раскрывают. Слушайте, не рожденные еще младенцы, неужели и вы не услышите? Ну вы-то ладно, у нас еще морды в грязи и земля еще залита кровью. Но вы-то, вы-то неужели не оглянетесь на звон тихого слова «нежность»?

«...Тайна эта всех тайн страшней... Был народ раньше всех народов, счастливый на берегу моря... Но исчез в памяти людской, так как не хватило у него смелости сойти с неверного пути... Мужчины его были могучи и добры, женщины спокойны и приветливы, и никто не возвышался над другими, чтобы унижать невозвысившегося. Потому что не было славы у того, кто возвысился для себя, а только у того, кто мог лечить тело и душу, кого любили звери, кто знал приход зноя или холода и не страшился своей смерти... Запомни, сын мой,— своей смерти, а не чужой... И этот народ теперь всеми забыт, и его помним только мы, Приски, а другие не помнят. Потому что это невозвратно, а он свернул со своего пути...

Они жили у моря бесчисленные времена, потому что бесчисленные времена была засуха на земле. А потом земля стала холодеть в одних своих местах и колебаться в других, и народ этот стал уходить от моря, но пищу стало добывать все трудней и легче было отнять. И тот, кто отнимал, возвысился над теми, кто добывал, и появилось оружие и жилище из камня, и цари над людьми, и проклятая Атлантида, где убивали людей в честь тех, кого не видел никто и кого называли богами. И если люди древнего народа приносили в жертву себя, спасая других, то в Атлантиде цари и сведущие люди стали приносить в жертву не себя. И стали называть богатством не то, что в сердце человека, а то, что он имеет вокруг себя, потому что так легче ленивому сердцу...

И тут совсем откололась земля с Атлантидой от остальной земли и была окружена морем и остальные несведущие люди перестали быть счастливыми, потому что хотели жить, как атланты, и звали их к себе в помощь, не ведая, что те обучают вражде и разделению, находясь сами в безопасности, окруженные морем.

И от них всюду появились цари, но Атлантида была первая и возвышалась в золоте и ярости...

Но земля стала оседать и раскалываться, и Атлантида думала, что это боги отделили ее от остальных людей для ее возвышения и безопасности...

И задумали цари ее в тщеславии своем города свои, расположенные по горам, слить в одну гору, уходящую в облака, и для этого разделили людей, чтобы один тесал камни, другой плавил медь и орихалк, третий рыл каналы. И все стали знать только слова, нужные для своей работы, и разучились понимать ненужные им для их работы... И когда стала рушиться земля атлантов, то кто успел — уходил на старую землю, чтобы пасти стада и сеять принесенные злаки.

Но уже болезнь войны, и добычи, и жадности жила в сердце человеческого, и кто пас стада, считал себя выше тех, кто сеял злаки, а кто плавил медь, считал себя выше тех, кто пас стада, а кто приносил других в жертву, был выше всех.

После великого потопа, когда прогнулась земля под великим

льдом, и великие теплые воды хлынули в Гиперборейские страны и там растопили лед, и хлынули воды на юг и затопили все, кроме стран востока и другой земли на заходе солнца, которой мы теперь не знаем, погибла великая Атлантида. И народы разбились на племена, а племена на семьи, а в семье каждый хотел возвыситься над другими, и за тысячи лет люди потеряли умение, и оно осталось лишь у немногих, а где умеют немногие, там опять они возвышаются, и так это случилось с халдеями и мидянами, от которых происходят маги.

И снова появились и падали царства и возвышаются и падают до сего дня, и каждый хочет выстроить свой дворец высоко на горе и выше других царей, и жадность его растет до облаков, и другой народ для него жертва, и тайное умение сведущих людей не идет на пользу другим людям, а только на пользу их жадности. И всему причина — Атлантида, с нее началось...

И мы, Приски, которые все помним, потому, что мы первые, несчастнее других людей. Потому что поклялись помнить и не говорить. Но царств стало слишком много, и они передают свою жадность друг другу, и молчание наше бесплодно. Но мы поклялись, потому что тот царь, или другой человек, который услышит про Атлантиду, заболевает слюнотечением и забывает про дела земли, а помнит только дела жадности...

Царь Митридат мог стать избавителем народов от римлян, но и ему Ксенофонт или подобный шепнул про Атлантиду, и Митридат заболел слюнотечением, и стал казнить народы, и погиб без пользы... Люди загадили землю жадностью своей, и цари выше всех. И умение мастеров стало царским имуществом. И песни, и музыку, и картины, и изваяния, и даже пляски свои люди стали обменивать не на любовь или свободу, а на имущество... И один другому говорит — ты мой, и сражаются, и победитель счастлив, имея раба или обменяв его на имущество, полученное по наследству и добытое рабами его отца.

... — Как это может быть, отец, — сказал я, — что в эллинских мифах не рассказано про Атлантиду?

— Мы Приски, — сказал отец, — наше дело запоминать. Все эллинские мифы недавние и эллины как дети... Человек уже никогда не вернется назад, но мы, Приски, ждем, когда пригодится наше знание.

— Какое же знание, отец? — спросил я.

— Пока у человека нет чего-нибудь, для него счастье — получить, но получив, он сыт и желает другого... Желания людей неисчислимы, и никто не может их напитать, ни он сам, ни рабы его, и счастье проходит... Но есть одно желание, которое не ждет пищи, а само себя питает. Оно редкое, потому что люди о нем забыли. Но когда оно приходит, оно убивает жадность и рождает щедрость. И когда будут пройдены все пути неразумия и выхода не останется, придем мы, Приски, и напомним о нем.

— Какое же это желание, отец?

— Мы его называем блаженством. Его часто знают дети, многие женщины и всякий другой, который кормит незнакомца, или зверя, или птицу.

И мой отец умер. Я же записал плача...»

Аркадий Максимович перестал читать тусклые машинописные листки перевода.

Из прихожей вошла Атлантида и оглядела людей темными глазами, блестящими, как вишни после дождика. И залаяла. Аркадий Максимович стал ее кормить калорийной едой, и Сапожников не стеснясь заплакал.

Сапожников не стесняясь заплакал, потому что услышал тихий взрыв.

Война холодная, война горячая, война наступательная, война оборонительная — сколько названий у войны. А у мира — никаких. Мир, и все. Война превентивная, война захватническая, война освободительная... Стоп!.. Если напали, надо защищаться, это же ясно! Хорошо бы, чтобы войны не было? Хорошо. Война — кровавый абсурд? Абсурд. Так давайте не будем воевать? Давайте. Как это сделать? Абсурд — это «аб сурдус» по-латыни, то есть ответ глухого. Ты ему одно, а он невпопад отвечает. Война — кровавый абсурд, но у нее есть причины. Эти причины тихие, ползучие, логичные — бездарные. Броня и копьё, стена и пушка, и все время кто кого. Себя огорожу идиотской стеной, а против тебя такое придумаю, что ахнешь. Но ведь и другой этим же занимается. Вот и ахают последние пять тысяч лет. Абсурд. Кровавый ответ оглохших людей.

Мир нужно изучать. Нужна теория мира. Многое надо пересматривать в себе, если мир возможен. Мир — это не отсутствие войны. Мир — самостоятельная стихия и проблема. И хотя война зарождается в дни мира, она не есть его порождение, она отдельная стихия, гнездящаяся в щелях мирной жизни и паразитирующая на ней.

А ведь есть один подсобный военный способ, который только по недоразумению считается подсобным. Разминирование. Не победил и не дал себя победить, а разминировал и противнику дал время опомниться от абсурда. По прихоти никто никого победить не может. Победить может только идея жизни. Чья идея порождена жизнью, та и берет верх. И тогда никакие пушки завоевателя не спасают. Тут он сталкивается с силой, которую орудием не победить. Эта сила называется жизнь, и она говорит — надоело! Пора разминировать и переходить к симбиозу, а не к паразитированию и вражде.

И тогда Сапожников вспомнил страшную ночь и вспомнил Глеба, вспомнил отца, и мать, и жену, и Рамону, и Ваню Боброва, и Цыгана, и Танкиста, и вспомнил безымянного младенца и Агрария, который говорил, что все рано или поздно объяснится, и вспомнил бабушку, и собачку Мушку вспомнил.

Потому что Сапожников вспомнил Приска и Кайю и вспомнил о войне. И судьба давних Приска и Кайи стала ему важнее его собственной судьбы.

И тогда время, с которым человек борется в неразумии своем, даровало ему спасение. Раздался крик петуха — и вся нечисть растаяла.

И впервые за эти страшные дни и страшные ночи Сапожников, которому уже нечего было терять, услышал тихий взрыв и перестал бороться с непонятно откуда взявшейся радостью и впервые подумал.

Он подумал: а что, если радость отдельного человека может повлиять на общий ход событий? Тогда — утопия, подумал Сапожников и продолжал радоваться. Потому что он все потерял и мог с чистой совестью начать радоваться не за чем-то, а почему-то, он радовался, потому что испытывал немотивированную радость.

Теперь главное было — кто с тобой рядом.

### Глава 36. Крик петуха

Когда народ узнает, что он гений, начнется жизнь, которую стоит называть жизнью.

Домой, домой. Все кричит — домой!

Работники всемирной великой армии труда имеют право владеть

землей. Всё остальное — паразиты. Работников ничто не разделяет — ни континенты, ни расы, еще великий казак Нагульнов мечтал, что наступит объединение, когда переженятся все и не будет ни черных, ни белых, а будут все приятно смуглявые. Объединение работников, великое объединение работников, которых ничто не разделяет, когда они прислушиваются к себе и возвращаются в свой природный дом всемирной армии труда.

Домой, домой...

Сказано — возлюби ближнего, как самого себя. А разве мы себя любим? Хуже врагов у нас нет, чем мы сами.

Дом — это общеземной дом, а не только общечеловеческий. Человечек не выживет, если будет воевать с природой, — он сам природа. Воюя с природой, он воюет с самим собой. Все начинается с нас, и, значит, надо замириться с собой. Утопия? А что значит утопия? Утопия — это то, чего нам на самом деле хочется, если мы работники. Каждый работник утопист, а не только Томас Мор или Томазо Кампанелла. Только грамотность в те поры была не у работника, и Мор и Кампанелла метали бисер перед грамотными свиньями, бежавшими от работы. Каждый работник утопист, а грамотность теперь общее достояние. Каждый работник утопист, потому что он работает и, значит, выращивает свой сад, а не грабит плоды в чужом. Значит, каждый работник создает свою малую гармонию, свой симбиоз с миром, свою утопию, и свои конфликты с собой и другими он разрешает изобретательно. А труд — это ежесекундное изобретательство. И потому труд только общий, никакого отдельного труда быть не может, потому что умение передается. И работнику не нужна война, потому что он производит утопию, а в утопии не воюют.

— Вы знаете, а я доволен, что Сапожников провалился со своими фантазиями, — задумчиво говорил Барбарисов Аркадию Максимовичу. — Мне его действительно жаль — и человечески и так. Вы, наверное, думаете, что я злорадствую.

— Не думаю.

— Если думаете, ошибаетесь. Хотя я и был против его линии жизни, все-таки в глубине души я нет-нет думал — а вдруг? Вдруг все еще можно, как в старину, самостоятельно, никому ни слова — и вдруг додуматься до главных, корневых вещей, а? Я, конечно, как и все, прекрасно понимаю, что время одиночек прошло. Нужна база, инструменты, круг специалистов и прочее. И все же мелькало — а вдруг?.. Но чудес не бывает. Где он сейчас?

— Не могу вам сказать.

— Ему сейчас сколько? Да ему сейчас пятьдесят. Он проиграл свою жизнь... — Послушайте, — спохватился Барбарисов — он жив хотя бы?

— Жив.

— Ну слава богу. Нельзя всю жизнь болтаться на отшибе... Да и вообще культура идет в сторону увеличения комплексов — научных, художественных и прочих всяких... Это большой мир, в нем строят гидростанции, спутники, а в малом мире, как писали Ильф и Петров, придумывают только брюки нового фасона, да и то на это теперь есть целые институты. А где-то бродят искатели летающих тарелочек и психопаты-ферматики.

— Кто это? — спросил Аркадий Максимович.

— Малограмотные люди, которые хотят без подготовки разом решить теорему Ферма. Там же бродят искатели Атлантиды и изобретатели вечного двигателя. Ну разве я не прав?

— Более или менее...

— Прав, прав,— засмеялся Барбарисов.— Ну пошли чай пить.

И в это время раздался телефонный звонок.

— Папа, тебя,— сказала дочка.

И протянула отцу трубку.

— Барбарисов, это ты? — раздался на всю комнату жизнерадостный голос Сапожникова.— Это я, Сапожников. Узнал?

— Боже мой! — сказал Барбарисов.— Узнал, узнал, мы только что о тебе говорили.

— Я почувствовал. Барбарисов, не сердись, но у тебя должен находиться некий Аркадий Максимович, тайный атлантолог.

— Кто? — спросил Барбарисов, потом вдруг смекнул, о ком речь, и ошалело уставился на Аркадия Максимовича.— Слушай, а ты не с того света?

— Нет. Я из пионерлагеря... Давай зови его. Или нет, не зови. Передай ему, что я у Дунаевых. Он знает. Слушай, кстати, я, кажется, действительно решил теорему Ферма! Не смейся, идиотски простым способом. Слушай, скажи всем заинтересованным, что если я действительно ее решил, то ее надо немедленно у меня украсть. Говорят, за решение дают Нобелевскую премию. Глупо, если она достанется дикому Сапожникову, а не кому-то организованному, в крайнем случае тебе...

Старый ужас накатывал снова.

Барбарисов бережно положил трубку.

Когда ты счастлив, то счастливо что-то одно в тебе. А когда блаженство, то весь ты наполнен томлением — и ты можешь не знать причины. Счастья ты либо сам добился, либо тебе его подарили. Но причина его лежит вне тебя. А блаженство внутри тебя. Праздник, который всегда с тобой, но его надо открыть. И тогда ты плывешь как рыба и ощущаешь его весь и ни за чем не гонишься. И ощущаешь трепет слияния с миром и медленное высвобождение души от наносов ненужного для твоей природы. Когда ты счастлив — ты связан цепью с тем, что доставило тебе счастье, и страдаешь, когда она рвется. А блаженство — это когда ты связан с миром бесчисленными нитями, и пока жива хотя бы одна — можешь испытать блаженство. Весь. А не только та часть тебя, которая этой ниточкой связывает тебя с миром. Из механизмов, известных ныне, это больше всего похоже на голографию, где в каждой точке картины изображена вся картина. Счастье проходит, потому что человек состоит не из одного желания, а из бесчисленных. А блаженство — это высвобождение всей твоей природы от выдуманных потребностей и фанатизма линейной погони. И даже счастье творчества может быть мучительным путем к вспышке, к результату, а творчество в блаженстве — радостное в процессе и бескорыстное в результатах. Поэтому даже счастливое творчество помнит о муках дороги и часто оборачивается сальверской злобой при встрече с моцартовским блаженством. Всякое творчество — это открытие связей, и потому истина не добывается поправками, и потому истину нельзя добыть ползя, в конце дороги надо взлететь. Но при погоне за счастьем свободен только последний прыжок. Поэтому так часто счастье эгоистично. А блаженство бескорыстно. Значит, надо радоваться, уже начиная разбег. Над счастьем трясутся. Блаженство раздаривают. Счастье конечно, а блаженство равно жизни. Наша вина, когда это не так. К счастью приходит в результате действий, а блаженство — их причина. Поэтому дорога к счастью — это работа неподготовленной души, а для блаженства надо начинать с себя. Нелинейная логика. Свободный полет. Когда же его прекратить, чтобы не потерять тех, кому он нужен, и как его приме-

нить в замкнутом пространстве конкретной нужды? Оказывается, можно испытать блаженство и в ограничении. Рафаэль заранее знал, что пишет мадонну для Сикстинской капеллы, и даже знал ее размеры. Все дело в том, что в каждой капле бытия заключено все бытие, только в неочевидном, неразвернутом виде. Талант на то и дан, чтобы это разглядеть. Человек отличается от животного тем, что признает существование чуда. То есть явления, которое может быть объяснено только задним числом.

И вот Сапожников ходит, как будто ему пряник дали.

Важно, что он ходит в блаженстве, а не то, что ему дали пряник. Он теперь стал как композитор, который в прежнем шуме начал слышать другую мелодию.

Он раньше часто видел сон, как он отставал от поезда. Страшно. А этой ночью он увидел сон, как он от поезда отстал, но это ему понравилось. Оказалось, догонять вовсе не нужно и ждать не нужно. Он отстал от поезда и увидел — сидят на станции люди и пьют чай.

Люди эти ему понравились и местность понравилась. Какие-то храмы неразбитые вокруг, а только чуть требующие починки, и музеи с картинами, которые хочется разглядывать долго, и кунсткамеры, где все изобретения стоят в кажущемся беспорядке и порождают новые идеи. И женщины там не такие, которые все позволяют и ничего не хотят, и не такие, которые все хотят и ничего не позволяют, а такие, которые улыбаются и поступают каждый раз так, как на самом деле правильно. Он вдруг увидел, что на производстве должны быть автоматы, а в жизни не должно быть автоматов. И Сапожников совсем разавтоматизировался.

И увидел обыкновенных людей, которые не боятся ничего, потому что они люди, и разберутся во всем, и переложат печку по-своему, чтобы она пела свои песни ласки и очага, и проложат свою мелодию среди ужаса и шума безумных или тривиальных решений.

Когда Аркадий Максимович вернулся от Барбарисова и спросил Сапожникова, правда ли, что тот решил теорему Ферма особым способом, тот ему ответил:

— Ага. Я решил больше. Я решил ее проблему.

Читатель! Ну, дорогой ты мой читатель! Я пылаю к тебе нежностью, и все написанное — это одно огромное письмо к тебе. И я знаю, что ты любишь про любовь и про войну и не любишь про науку. Потому что мы оба не любим такую науку, которая считает нас плохо дрессированными недорослями. Но напрягись! Напрягись, в смысле расслабься. Потому что все будет показано, можно сказать, на пальцах.

Когда Аркадий Максимович пришел к Сапожникову, он обратил внимание, что Сапожников вышагивает по квартире довольный собой, напевая траурный шопеновский марш со школьными словами: «Тетья хо-хо-тала, тетья хо-хо-тала, когда дядя умер, не оставив ничего. Дядя не смеялся, дядя не смеялся, когда тетья сына родила не от него...»

— Что с вами? — спросил Аркадий Максимович.

Сапожников протянул ему листок. Там было написано:

«Хулиганское доказательство теоремы Ферма.  
Теорема Ферма гласит, что

$$a^n + b^n \neq c^n \quad \text{при } n > 2.$$

Доказательство.

Теорема Пифагора гласит, что

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ при двух условиях:}$$

$$1) n = 2$$

2)  $a, b, c$  — Пифагоровы основания.

Значит, при нарушении хотя бы одного из этих условий, равенство нарушается, то есть мы можем утверждать, что

$$a^n + b^n \neq c^n \text{ при } n > 2.$$

Что и требовалось доказать».

Тетьа хохотала... дядя не смея-ался... когда Сапожников под звуки шопеновского марша хоронил великую теорему Ферма, триста лет воздвигаемую математикой. И если даже в его рассуждениях и скрывалась ошибка, значит, он хоронил эту теорему вместе с ошибкой. Потому что хотя теорема и породила целые направления в математике, однако сама по себе эта теорема была никому не нужна, как и сам Сапожников.

— А если все же ты не прав и вкралась ошибка? — спросил Аркадий Максимович.

— То это может означать, что нельзя доказать, прав Ферма или же что он не прав.

— Непознаваемость, что ли?

— Почему? Нужно изменить саму проблему. Может быть, надо ввести в арифметику понятие времени? Тогда одна обезьяна плюс одна обезьяна не будут равняться двум обезьянам, потому что одна из них могла стать человеком. То есть, как говорил товарищ Маршак, «однако за время пути собачка могла подрасти». А это уже совсем другая арифметика...

— Да... — сказал Аркадий Максимович, — это совершенно другая арифметика... Вот взять хотя бы Вику и тебя...

— Не надо этого делать, — сказал Сапожников, — не надо брать Вику и меня, ладно?..

— Вихри... — сказал Сапожников Аркадию Максимовичу, когда тот вернулся от Барбарисова, где узнал подробности окончательной и бесповоротной Глебовой болезни. — Все дело в вихрях времени, задающих общую программу... Какой же тут может быть фатализм? Разве то, что из зерна вырастает дерево, это фатализм? А ведь вырастает. И выходит, что морковка имеет программу стать морковкой. А вот какая она будет, зависит от грядки, на которой она посеяна. Жизнь ищет оптимальные условия для выполнения программы. Отсюда и отбор средой того, что соответствует программе всей жизни в целом... Но если жизнь возникает из времени, то, может, она и возникает из двух сторон его витка...

— Вихри... — сказал Аркадий Максимович, когда вернулся от Барбарисова, куда ходил узнавать подробности Глебовой кончины. — Российская привычка пытаться дойти до сути, решать нерешенные вопросы... Великий обломовский диван... А потом к нам с тобой приходит Штольц, и уводит нашу Ольгу, и заводит торговую фирму. И счастлив, и им есть что вспомнить в конце жизни.

— Верно. И Ольга на старости лет смотрит на Штольца счастливыми глазами и думает: «А нам есть что вспомнить, а мы торговую фирмочку завели, будь она проклята!» Потому что на Западе дорогу Штольца уже сильно попробовали и уже доработались до коллектора — до сих пор отмыться не могут. Хотя сильно военные мужчины думают — ничего, привыкнем...

— Но как же быть, Сапожников? Ведь нельзя жить миражами. Я понимаю, эта наша привычка — великая привычка, но ведь нельзя жить миражами?..

Что есть дилетант?

Обычно подчеркивают его безответственность. Дела толком не знает, а уже лезет с рекомендациями. Увы, это правда. Но у дилетанта есть и другая сторона — безбоязненность в соображениях. Хорошо это или плохо? А никак. Все зависит от дальнейшего. Дилетант не запутан в подробностях и легче отрывается в свободную выдумку. А дальше либо он увязывает догадку с тем, что известно, и перестает быть дилетантом, либо не может увязать. И тогда остается тем же, кем и был — дилетантом.

Но выдумка — это не просто вывод. Выдумка — это качественный скачок. И его связь со всем предыдущим становится очевидной только задним числом.

Думали, что солнце всходит и заходит. И когда Коперник догадался, что это не так, он был дилетантом. А когда все увязал и подтвердил — стал профессионалом. Когда химик Пастер догадался, что микробы причиняют болезни, он был дилетантом в биологии, а когда доказал это — стал профессионалом в новой науке.

Поэтому не страшно, когда дилетант выдумывает, страшно, когда он настаивает, чтобы реальная жизнь разом перестроилась под эту выдумку.

Сапожников не настаивал. Он выдумывал и предлагал желающим взять на заметку на тот случай, если все другие выдумки не подойдут.

Это была его позиция. Потому что он, в общем-то, мало занимался конкретными выдумками, он всю жизнь хотел догадаться, что такое способность выдумывать, и, если возможно, придумать, как облегчить метод. И вот когда ему пришло в голову, что у всего живого есть две программы, то он сообразил, что творческий скачок скорее всего происходит, когда человек слышит и осваивает сигнал времени. И тогда понятно, почему говорил мудрец, что творчество происходит по законам красоты. И тогда красота — это эхо общей программы развития жизни, и потому, как говорил поэт, красота спасет мир.

Во время своих скитаний по городу Сапожников забрел в единственное место в Москве, где он не был ни разу, потому что ни разу не выигрывал ни в одну лотерею, ни в одну рулетку, ни в одну игру, в которой удача приходит по статистической вероятности. Потому что Сапожников был детерминист самого грубого пошиба и считал, что даже у карточной случайности есть особые на то причины. Но согласно народной примете неудача в игре ведет к удаче в любви. Хорошо бы, черт возьми! Но и здесь что-то не видно было просвета. Короче говоря, Сапожников забрел на ипподром.

Вообще-то он не на ипподром шел. Отнюдь. «Отдюнь», как говорил старшина Ваня Бобров. Он же говорил «пидрламудрловые пуговицы». Перламутровые пуговицы были для него символом всего граждански расхлябанного и неприспособленного к бою. «Это тебе не пидр-ла-мудр-ловые пуговицы», — говорил он с презрением, когда навдвигалась грозная ситуация, и это означало — соображай!

Сапожников брел по пасмурным улицам великого города, улицам прекрасным и пронзительно осенним, которые жили не только по малой земной программе, для себя, абы выжить и кое-как век скоротать, но еще жили по невидимой космической программе всей жизни на Земле, а может, и не только на Земле, если окажется, что мы не одиноки во вселенной.

В этот день Сапожников шел без всякой цели, но по очевидной причине. Сапожников шел от музыки до музыки.

Воскресное утро и мало машин, а те, что пролетали, шипя асфальтом, уносили песенки работающих приемников, но след оставался. Потом наступала городская кажущаяся тишина и тогда — запах сырого воздуха, стремительный как обещание. Опять накатывала и пролетала музыка. Приемники работали вовсю, и казалось, что воскресенье земной программы совпадало сегодня с космической и становилось воскрешеньем. И Сапожников шел по песням.

Воротник он распахнул. Кожаную кепку сунул в карман плаща, руки болтались, как им самим хотелось. Он уже сто лет так не ходил. Шел. Дышал. Трепетал ноздрей.

И ноги сами принесли его к ипподрому, потому что оттуда тоже доносилась музыка. И он прошел к пустому полю и встал в воротах, прислонившись к балясине, и никто не остановил его и не спросил, кто он и зачем. Может быть, приняли его за служителя, а может быть, проглядели ввиду его полной осенней неприметности.

На том конце поля Сапожников увидел, как наездница поставила в стремя сапожок, махнула ногой над лошадиным крупом, опустилась в седло и выпрямилась. Ахалтекинец изогнул лебединую шею и тихонько пошел. Сапожников медленно отступил назад и узнал Вику.

Такого он еще никогда не видывал. Хотя... Тогда ему было четыре года, его привезли из Калязина в Москву, и он в цирке увидел наездницу, и первый раз испытал любовь и ее скоротечность, и плакал из-за незащитности ее перед бичом назначенного ей дрессировщика, черного и блестящего как парабеллум.

А здесь дрессировщика не было и наездница была одна на всем вольном поле.

Сапожников обалдело смотрел, как по пустому ипподрому пластается в галопе лошадь, похожая на рыбу, и на ней, обвеваемая ветром, твердо укрепилась любимая им женщина со слепым взглядом самоубийцы.

Вика, переборов себя, решила пойти к Нюре.

— Пришла, — сказала Нюра. — Ведь давно хотела.

— Да...

— А чего ж долго-то собиралась?

— Кто вы?.. — спросила Вика.

На первой вечеринке у Дунаевых, где Сапожников с Глебом спорили насчет фердипюкса, она заметила, что мужчины все время как-то оглядывались по сторонам. Испуганно, что ли, понять было невозможно. А потом Вика заметила, что они оглядываются каждый раз, когда в комнату входила или выходила серая женщина. Ее звали Нюра.

Она какая-то вся серая была. Может быть, так казалось потому, что на ней было серое платье. Да и лет ей было уже много.

Потом Вика заметила, что у нее потрясающая фигура. Не хорошая, а потрясающая. Почему? Сказать было невозможно.

Не молодая, не старая, не толстая, не худая, а какая-то текучая, тающая. Ее разглядеть было невозможно. От нее оставалось только впечатление.

Вика таких не видала никогда. Когда она входила в комнату, у мужчин становились низкие голоса, а когда она выходила, голоса становились обычные и даже слегка визгливые.

Вика думала, что пришла к Нюре узнать что-нибудь о Сапожникове. А оказалось, что она пришла к Нюре.

...Лицо у меня круглое, вы видите, глаза круглые, нос вздернутый, верхняя губа тоже. Фигура, сами видите, хорошая — я занималась художественной гимнастикой. Сама я из Омска, а Сапожников меня принял за подстреленную чайку. У нас в Омске таких не водится. Просто лопнула тогда никому не нужная история с одним кандидатом искусствоведения, и я была в печали. А Сапожников, который вообще-то живет во сне, вдруг увидел в своем сне, что я похожа на его бывшую жену, и он в меня влюбился. Не в меня, конечно, но ему казалось, что в меня. А когда я прилетела к нему в Москву, он меня разглядел. И оказалось, что я непохожа. Нелепо, не правда ли?

Мне бы выкинуть этого Сапожникова из головы. Не правда ли?

Я так и сделала. Во всяком случае, мне казалось, что я это сделала.

Вдоль дорог костенели деревья, ставшие похожими на эвкалипты, с сухими листьями в трубочку. Гарь не чувствовалась только у самой земли.

Мама, моя мамочка! Что мне делать со своей жизнью, со своим характером? Но как раз мама-мамочка научить меня ничему и не может. Бабка моя была военным врачом и погибла в Прибалтике, под Шяуляем. Родителей я знаю чересчур хорошо, вот бабка для меня — миф. А миф — это величие. Величие — вот по чему тоскует душа. А где его возьмешь, это величие, когда живешь со дня на день? И потом, мы бабы, а какое у бабы величие? Господи, какая я была дура. Я даже пошла в медицинский, хотела повторить бабкину жизнь. Я только не сообразила — чтобы повторить ее жизнь, надо повторить и войну. А это уж чур меня, чур... А когда сообразила — пошла на журналистику. Хочу быть редактором и делать так, чтобы книжки были хорошие. Они без нас не обойдутся, авторы...

Вика пришла к Нюре вечером и спросила ее:

— Кто вы?

Она ответила:

— Нюра. По мужу — Дунаева.

— Я не о том... Я не могу вас понять... Глаза — зеркало души, а у вас глаза ничего не выражают.

Вика так сказала, потому что разозлилась. Очень. Неизвестно почему. Так же, как на Сапожникова. Вике казалось, что они ее зачеркивают.

Нюра сказала:

— Это у бабы-то... глаза — зеркало души? У бабы пол — зеркало души.

Вика подумала, что она говорит про секс, но все же спросила:

— Как так?

Нюра ответила.

— Вот вымой полы — узнаешь.

...Смешно, но я мыла полы первый раз в жизни в квартире Сапожникова. У Нюры был ключ от его квартиры. Как-то так получилось.

Мы же сейчас все скороспелки. Мы начинаем рассуждать и думать прежде, чем научились что-нибудь чувствовать.

Мы начинаем читать книжки про любовь прежде, чем сердце шевельнулось. А как мы читаем книжки про любовь? Не читаем мы их. Мы их проходим. Проходим мимо. Все мимо, все не по сезону.

Наверно, я и раньше мыла полы, наверно. Потому что я и замужем была. Но я ничего не могла вспомнить об этом. Я знала, что я мою полы первый раз в жизни.

Где-то у Грина сказано: если человеку дорог дражайший пятак — дай ему этот пятак, новая душа будет у него, новая у тебя.

Как она это сделала со мной — не знаю. И самое главное — мне стало неинтересно это знать.

Я только знала, что я уже другая...

— Ванную я тебе напустила, — сказала Нюра. — Иди умойся.

И Вика опять подчинилась. Она как по волне плыла.

Вика не понимала, почему она ей подчиняется, она только понимала, что надо сделать так, как Нюра велит.

...Тогда, на вечеринке, когда она входила в комнату и выходила из комнаты, она что-нибудь говорила. Не умное и не глупое, а какое-то другое. И каждый раз разговор в комнате менял направление...

В ванной Вика разделась, и вошла Нюра. Вика была голая и вся закаменела. Нюра медленно ее оглядела, потом спросила:

— Ты физкультурница?

— Я занималась художественной гимнастикой.

— А зачем?

— Теперь не знаю...

— Приз хотела получить, кубок, — решила Нюра. — Вот почему фигура неправильная.

А Вика думала, что фигура у нее правильная.

— Напоказ у тебя фигура, — сказала Нюра, — для чужих.

— Кто вы? — спросила Вика. — Нюра... кто вы?

— Я была блудница, — сказала Нюра. — Давно. А потом я верная мужу жена. А когда старая буду — ворожея буду. Людей лечить буду. Все по сезону надо. А нынче все перепуталось — летом апельсины покупают.

И вышла.

В ванной Вика лежала долго. Потом приняла душ, вытерлась насухо и тоже вышла. Нюры в квартире не было.

Вика оделась, и как раз в тот момент, когда она решила испугаться, открылась дверь и вернулась Нюра.

— К себе ходила, — сказала она. — За лентой. На, возьми.

И протянула Вике голубую ленту.

— Тебе дарю. От души.

— А зачем мне лента? — спросила Вика.

— Когда к Сапожникову придешь, надень на голову ленту, волосы повяжи. Так встретишь его, и он тебя узнает.

Вика опять сказала:

— Не понимаю... Зачем?

— Замуж буду тебя выдавать. За Сапожникова. Сроки исполнились...

Все. На этом монолог закончен. Потому что началась судьба...

А потом отворилась дверь, и Сапожников, умирая от нежности, оглянулся и увидел голубой цвет, голубой цвет спокойного океана, в котором отражено небо, цвет Посейдонии, и в слепящем озарении понял, что, может быть, еще не умирает, потому что...

Смерть ведь выглядит по-всякому, а любовь у всех одна — звезда с звездой говорит.

Что будет, то и будет.

Она сидела рядышком и смотрела, как сказал один искусствовед, «не на ковой-то, а куда-то вдаль», и Сапожников увидел голубую ленту, обещанную Нюрой, и понял, что сроки исполнились. Как будет, так и будет.

Время покажет.

Это, в сущности, маленькая история, но сквозь нее просвечивает время.

А потом Сапожников и Вика оказались на птичьем рынке.

Там не только птиц продавали, там хомяков продавали, и щенков, и рыб, но все равно — птичий рынок. В клетках летали райские птицы разных расцветок, дети виляли хвостами возле щенков, и вдруг раздался голос, в который даже не поверил никто. Потом все обернулись и потянулись на голос.

— Ой, кто это кричит? — спросил папу маленький мальчик.

— Петух, не слышишь? — ответил папа.

— Какой петух? — спросил мальчик. — Как на мультипликации?

И полрынка, бросив райских птиц и всякую другую аквариумную живность, потянулось на крик петуха.

В центре образовавшейся толпы орал петух. Он замолкал, потом напрягался, изгибал шею — и кукарекал! Во всю мочь!

И все смотрели на живого петуха — самую большую редкость в Москве.

Свадьбу сыграли тихо. Сапожников, Вика, Дунаев, Нюра, Аркадий Максимович. Телеграммы сначала складывали на табурет в коридоре, а потом завалили письменный стол.

Дунаев приладил на балконе сетку от перил до потолка и поставил дом с сеном и кормушку.

Огромный петух вышагивал по квартире, кивая, и глядел на людей презрительно.

— Я буду его прогуливать на цепи, — сказал Сапожников. — Чтобы он не нападал на людей... Вика, ты меня любишь?

Вика кивнула.

— А теперь спроси меня...

Вика спросила.

Потом пили, ели, смеялись и грустили, а Вика все спрашивала:

— Почему так долго исполняются сроки?

— Потому что мы торопимся, — отвечал Дунаев.

Подарок клевал крупу. Аркадий Максимович ревновал, когда Атлантида лезла к Нюре на колени. Все было как надо.

Потом пробил полночь.

Выходило так, что Атлантида была.

И он увидел движение бесчисленных племен и клочкотание народов. И увидел пыль, поднимающуюся до красного неба. И раздавался неслышимый рев. Это время ревело в беззвучные трубы...

И так ли уж никаких следов в цивилизации и языке не оставила Атлантида?

И Сапожников вспомнил бесчисленные «ант», звучащие и повторяющиеся в разных языках. Антей, Антон и само слово «античность» и так далее, и имя Атл-Ант, он поддерживал небо где-то возле Гибралтарского пролива. А на самом деле был астроном и глядел на небесный свод. И бесчисленные «атл» он вспомнил в древних индейских языках, всякие Кетцалько-атл и другое, и вспомнил, что в древних индейских языках были слово «атл» и слово «ант» и одно из них означало «море», а другое «человек», человек моря, вот что означало «атлант», люди моря, и вспомнил морские народы, о которых историки спорят, кто они такие. Известно только, что они шли с запада, и позади них стояла катастрофа, и они волнами накатывались на уже сложившийся древний мир. И вспомнил слово «анты», народ Анты, предки славян. И вспомнил, что славяне называли себя внуками Велеса, бога Велеса... Велса... Вспомнил сагу о Волсунгах, то есть о детях Волса, или того же Велса, того же Уэльса, как теперь называют эту

местность в Англии, острове Атлантического океана, и, значит, был Велс — общий отец. Понял, что если после потопа, когда лед стаял, земля Европы начала подниматься, то что-то рядом должно было опускаться, и это опустилось, долго опускалась земля Атлантиды, пока катастрофой не опустилась разом. Так же как в свое время она подымалась, когда Европа опустилась под тяжестью льда. Понял, что если огромная страна антов, о которых мало кто что знает, была всего лишь в начале нашей эры, то это ничего не доказывает о славянах потому что, по преданию, город Старая Русса был основан Словеном, потомком Иафета, за две тысячи лет до нашей эры и все слова «Волосово», «Волхов», «Волхова», «волхвы», «волкулаки», «великаны», «Вольга»; множество слов и географических названий Севера происходят от слова «Велес», тянущегося из Атлантики. Понял, что до Атлантиды должна была существовать по крайней мере еще одна цивилизация, от которой ничего не осталось, потому что не осталось орудий труда. Потому что Атлантиду построил человек разумный, у нее были корабли, дворцы, храмы, крепостные стены, которые без орудий и без технологии не построишь. Значит, она была построена человеком уже разумным, который теперь забыл о своем происхождении и думает, что мозг кроманьонца, человека разумного, мог сразу возникнуть у безмозглых праотцев. И выходило, что разум, современный, мог зародиться только до Атлантиды, а зародиться он мог, только если человек имел орудия труда, а этих орудий труда не осталось. И Сапожников подумал: а так ли уж обязательно, чтобы орудия труда были искусственными? Еще на памяти людской рабов называли говорящими орудиями, но рабы были, когда было богатство. Какие же живые орудия могли быть еще до богатства? И оставался один ответ — это были животные, но не пленные, а свободные и прирученные. Это могли быть животные, с которыми человек имел общий язык — общее средство связи. Ведь даже теперь и собака, и конь, и верблюд, и бык, и слон, и лама — это живые орудия производства, которых не отменили ни в свое время рабы, ни даже теперь машины. Значит, была она, была та исчезнувшая дотехнологическая цивилизация, не оставившая привычных орудий труда, которые были не нужны ей, потому что был общий язык у каких-то зверей и людей и у людей между собой — единый язык. И вспомнил, в скольких мифах рассказывают о героях, понимавших язык птиц и зверей. И, значит, до языка членораздельного, который потребовался для технологии, потому что зверям, добывавшим пищу для себя и людей, технологии не требовалось, потому что технология вся состоит из терминов, должен был существовать язык нечленораздельный, однако понятный для тех, кому это было нужно. И вспомнил язык свиста погибших гуанчей — сильбо гомера его называют, — и теперь языки свиста находят в горах Турции и Тибета. И тогда Сапожников вспомнил дельфинов, которые общаются звуками, похожими на свист, и все еще пытаются обменяться ими с человеком, и все еще дружат с человеком, все еще ищут общения с ним и могут загонять рыбу в его сети. И вспомнил миф о Посейдоне, который мчит по морю на колеснице, влекомой дельфинами. И вспомнил, что человек вначале селился у воды, и вспомнил огромные валы кухонных отходов на всем протяжении с севера на юг американского континента, расположенные вдоль океана, а также в Дании на берегу. Рыболовы — вот кто были первые, а не охотники или сеятели. И вспомнил слово «аква», вода, которое произносится «акуа», «куа» или «гуа», «гва», и они встречаются у гуанчей и на всем протяжении американского континента у индейцев — бесчисленные «гуа», и все они связаны с реками и водой. И на другой стороне Атлантики «гва» — Гвадалквивир, Гваделупа, а есть и такое сочетание —

Антигуа, остров в Вест-Индии, и так и далее. И был единый язык, который разрушила гордая и проклятая Атлантида, остатками языка которой и являлись эти «атл», «ант» и «гуа», решившая построить в гордости своей и богатстве Вавилонскую башню, от которой произошло разделение языков, то есть специализация языков, которая могла возникнуть только из специализации профессий, как это происходит и сейчас, когда физики в соседних кабинетах не понимают друг друга, потому что у них разные термины для их специальных задач. И вспомнил сходство ступенчатых пирамид-храмов в Вавилоне, и на Кавказе, и в Египте, и у индейцев в Америке. И вспомнил, что Апокалипсис, когда бичует Рим, называет его вавилонской блудницей, но в нем рассказывается почему-то о городе Вавилоне, стоящем у моря, и корабельщики с моря в ужасе видят его гибель в огне и грохоте, а исторический Вавилон стоял на суше и никаких корабельщиков вокруг него быть не могло, так же как и вокруг Рима, который стоит на Тибре, далеко от моря. И корабельщики эти приезжали в легендарный Вавилон за драгоценными камнями, а реальный Рим и Вавилон эти камни сами ввозили для себя. И получалось, что был главный прототип для всех этих сухопутных храмов и он стоял в море и назывался Атлантида, а построили его потомки Посейдона, дети Посейдона, ставшие ее царями, то есть потомки морского бога. И вспомнил, что петроглифы, язык наскальных рисунков, одинаковы повсюду. А значит, их читали всюду. Все еще был единый язык, но уже рисованный. И вспомнил, что еще до сих пор на Алтае и Памире некоторые умеют его читать, и он был предшественником иероглифов, которые были предшественниками звуковой азбуки. А иероглифы были первой письменностью, все еще понятной многим людям с разными языками. И вспомнил, что до сих пор еще в Китае на севере и на юге не понимающие в разговоре друг друга понимают друг друга через иероглифы. Но все это уже исторические народы. Слепотопные. А до них была Атлантида. А до Атлантиды была Посейдония. И только так хватает времени, чтобы образовался человеческий мозг, сегодняшний человеческий мозг, который до сих пор не знает своих возможностей, о некоторых забыл, а о некоторых вспоминать не хочет.

— ...Какое странное предположение,— сказал Аркадий Максимович.

И Сапожников посмотрел на Аркадия Максимовича и сказал горделиво, как шаман:

— Слушайте... а меня вязать не пора?

— Нет,— сказал Аркадий Максимович,— ты мне еще нужен. Мы еще с тобой побродяжим в долинах духа среди теней поколений.

— Слушай...— сказал Сапожников,— а тебя вязать не пора?

— Нет. Во Франции в средние века был доктор по имени Галли Матье. Он лечил больных хохотом. Как только нам с тобой докажут, что все, что мы напридумывали, галиматья, у нас останется этот способ лечения.

— Скажи... А жить тебе хочется, после того как я неумелыми словами построил свое огромное видение и свое малое знание?

— Заткнись, Сапожников,— сказал Аркадий Максимович.— Ты же хотел как лучше.

Полежали, помолчали. По радио, тогда еще живой, пел Армстронг мелодию из «Шербурских зонтиков». Этот симбиоз был настолько прекрасен, что звезды слезами падали с неба и расцветали светляками на темных кустах. Старый негр. Бессмертный старый бык, который украл Европу.

— А знаешь, Сапожников... не так все страшно и не так мы с то-

бой ничтожны,— сказал Аркадий Максимович.— Не окажется галиматей то, что человеку необходим симбиоз с дельфинами и собаками... А все остальное приложится... Нам тогда никакие пылесосы не страшны, даже умеющие книжки писать. Не дрейфь, Сапожников...

Раздался крик петуха. Значит, скоро рассвет.

— Будит он нас, будит тысячи лет,— сказал Сапожников.— А мы все не просыпаемся... Ладно, начнем с малого. Попробуем понять, о чем это он.

— Ясно о чем. Вставайте, дубье. Думать пора!

— А что, рискнем?

Они высунулись из окна и заорали по-петушину.

Во всем доме залаяли собаки.

Они влезли обратно.

— Срам... даже собаки нас не поняли... Малограмотные мы, да и акцент не тот,— сказал Сапожников.— Отвыкли за тыщи лет. Одурили совсем. Ладно, надо выспаться. Тут с кондачка нельзя... Так они нам и поверили. Мы для них всю дорогу убийцы. Своих и то не жалели... А утром начнем благословясь и потихонечку... Со скоростью травы и в ритме сердца.

Мы народ. Мы живем медленно и вечно. Как самшитовый лес. Корни наши переплелись, и кроны чуть кольшутся. Мы все выдержали и от всего освободимся.

Шей у нас бычьи. Терпение, как у ящерицы в засаде.

И герой наш не воитель на белом коне с саблей. Но и не визгун с мокрыми штанами. Не полубог, живущий во дворце, но и не отшельник, жрущий кузнечиков.

А герой наш похож на старого Кутузова, который ничего плохого не пропустит, но и ничего хорошего не упустит.

Мы народ. Мы живем вечно и медленно, как самшитовый лес. Корни наши переплелись, стволы почти неподвижны, и кроны тихо шумят. Но весь кислород жизни — только от нас, и будущее небо стоит на наших плечах.

Мы народ. Опорный столб неба.

«...Так всего добился Митридат Евпатор, царь понтийский, и все потерял. А зачем все это?

Зачем этот огонь в человеческой груди, зачем страсти, которые толкают людей друг к другу с такой неистовой любовью, что двое не могут остановиться и проскакивают мимо, расставаясь врагами, боги, зачем это? Но боги не дают нам разъяснений, или мы их не замечаем. И остается только опыт страданий, который уже бесполезен для тебя и ничему не учит других. Потому что они — другие и им кажется, что они минуют те скалы, о которые разбились наши корабли.

Поколения идут за поколениями, и никто не догадывается, что зло коренится в самом нетерпеливом сердце человеческого, которое боится краткости жизни и хочет всего сейчас, сейчас и не выращивает плод в своем саду, а спешит сорвать его в чужом.

Оракул обещает счастливые времена, но они придут не скоро и плоды созреют не для нас. Потому я, Приск, сын Приска, кончаю эту повесть о событиях важных и печальных и запечатываю ее печатью Кибелы, чтобы те, кто придет после нас, узнали, как было до них и догадались, что на дороге силы пути нет и что у тех, кто был до них, было все — и ум, и талант, и мощь, но все кончилось прахом, потому что дорога была выбрана ошибочно и что не силу надо искать человеку, а дорогу... Потому что безногий, ковыляющий по верной дороге, обгоняет рысака, скачущего не туда...»

Бульдозеристы молчали и глядели на дорогу, которую им предстояло прокладывать.

...Я очень хотел написать эту книгу, и я написал ее.

Я написал ее для тех, кто любит, когда о сложных проблемах рассказывают без занудства. Я написал ее для тех, кто любит сложные проблемы. Я написал ее для тех, кто любит.

И потому у этой книги главный автор — Время. И потому я больше всего благодарен Времени за то, что я пережил, пока я ее написал, и за то, что я ее написал.

Если кого-нибудь задела какая-нибудь строка, или слово, или мнение, или персонаж — не обижайтесь, нам и дальше жить вместе, и пусть лучше это скажет свой, а не чужой.

Если кого-нибудь обрадовало то, что он прочел, значит, мы радовались вместе.

Вместе — это не значит быть одинаковыми, это значит стремиться к общему для нас. Потому что мы часть одного тела и никто из нас не сам по себе. Сам по себе — это и не человек вовсе, а какая-то отдельная рука или нога или вдруг по пустой дороге поскачет голова, высунув пыльный язык.

И еще — во всем, что вы прочли, не ищите логику протокола, а только логику песни. Плоха она или хороша, но я старался петь ее своим голосом.

А теперь напишем эпиграф —

«Безногий, движущийся по верной дороге, обгоняет рысака, скачущего не туда» (кто-то из Бэконов, не то Роджер, не то Фрэнсис).

### Слухи

- А говорят, Сапожников петуха купил?
- Этого еще ему недоставало!



---

ЮРИЙ РАЗУМОВСКИЙ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

\* \* \*

Я еду, еду, еду,  
Прикованный к судьбе,  
Не по чужому следу,  
Ни к другу, ни к соседу,  
А к самому себе.

Хочу остановиться,  
Но остановки нет —  
Мелькают дни и лица,  
И длится это, длится  
Уже десятки лет.

Я чувствую усталость —  
Пора бы отдохнуть,  
Но до конца осталась  
Уже такая малость,  
Совсем уже чуть-чуть.

Сияет купол млечный,  
Бьет ветер по плечу.  
Эй ты, прохожий встречный,  
Скажи мне, друг сердечный,  
Туда ли я лечу?

А жизни пантомима,  
Как в поездном окне,  
Летит неумоимо —  
Все мимо, мимо, мимо...  
А что осталось мне?

Опять несусь я Русью,  
Как паровоз, трубя,  
Мелькают шпалы-брусья...  
Когда же доберусь я  
До самого себя?

### ПРИРОДА

Снова сыплет ночь сквозь ветки сада  
Серебро — не медные гроши.  
Может быть, вот так нам жить и надо:  
Без расчета, просто от души.

Щедро жить, ни в чем не мелочиться —  
Так умеют, верно, только те,  
Что смогли у солнца научиться  
Теплоте его и доброте.

Надо жить, как лес, как травы эти, —  
Просто, безыскусно, как дитя...  
Надо жить, как май, — за все на свете  
Песней соловьиною платя.

Все в природе мудро, ясно, стройно,  
И она — разумнейшая мать:  
Учит нас не только жить достойно,  
Но и смерть достойно принимать.

### ПОЛЕ БОЯ

Когда над миром тишина,  
Событий жизнь не лишена.  
И, если хочешь знать, покой  
Сродни завесе дымовой.

Я жизнь расценивал как воин  
И не был никогда спокоен.

Люблю я воздух голубой,  
Плывущий вдаль над головой,  
Но я не верю в голубое:  
Ведь небо тоже поле боя.

### ПАЛОМНИК

Я спрыгнул на станции древней,  
Где, знать, до «железки» был ям,  
Чтоб свидеться снова с древней —  
Куме поклониться, сватьям.

Иду напрямик, без дороги,  
Кепчонку сорвав с головы,  
Макая разутые ноги  
В зеленую воду травы.

К большому земному покою,  
Которого мы лишены,  
Иду я, нырнув с головою  
В прозрачную глубь тишины.

Иду, и не ради прогулки,  
Туда, где, как старый собор,  
Прохладой и сумраком гулким  
Встречает паломника бор.

Прощайте, друзья и столица,  
И «дом» на шестом этаже:  
Безбожник идет помолиться  
Святыням, живущим в душе.

### РАВНОВЕСИЕ

Видно, юность откуролесила:  
Не из дома уж тянет — в дом.  
Наступает, брат, равновесие  
Между силою и умом.

И любовные бормотания  
Стали реже срываться с уст.  
Наступает, знать, день братания  
Армий Разума с войском Чувств.

Мне и грустно и равно весело —  
Равновесье во мне самом...  
Чем ты, старость, уравновесила  
Душу пламенную с умом?

Я стихи свои строго слушаю,  
Я готов их сто раз прочесть:  
Равновесие... равнодушие... —  
Что-то общее в этом есть.

В голове, как и прежде, месиво,  
А вот силушки уж нема.  
И на кой нам черт равновесие,  
Где ни силы нет, ни ума?!



---

ВАДИМ ШЕФНЕР

★

## ПРИТЧА О ДЕРЕВЕ

I

Жил человек в селении одном,  
Бесхитростно трудился день за днем,  
Ни злата не имел, ни серебра,  
Был незлобив и всем желал добра.  
Желал добра — но что он сделать мог?  
Однажды к перекрестку двух дорог,  
Где степь кругом пуста и широка,  
Он саженец принес издалека.  
Вонзая заступ в жирный чернозем,  
Он яму рыл — и думал о своем:  
«Не вечен я. В каком-нибудь году  
С физического плана я уйду,  
Но дерево, посаженное мной,  
Останется — и каждую весной,  
Возобновясь по воле естества,  
Шуметь здесь будет юная листва;  
Здесь в знойные безоблачные дни  
Рад будет путник отдохнуть в тени...  
Примите ж, люди, мой посильный дар,  
Будь я богаче — я б вам больше дал...»

Вдруг звякнула лопата о металл:  
Был человек тем звуком поражен,  
Над черной ямой наклонился он  
И с изумленьем из земли извлек  
Окованный железом сундучок.  
Клад этот, видно, пролежал века —  
И нижняя прогнившая доска  
Отпала сразу... Вырвался на свет  
Поток колец, и золотых монет,  
И тех граненых маленьких камней,  
Что золота и платины ценней.  
— О диво! О удача из удач! —  
Воскликнул новоявленный богач. —  
Предвижу я, какой мне с этих пор  
Для добрых дел откроется простор!  
Все ценности, лежащие у ног,  
Упрятал он в дорожный свой мешок  
И, сгорбившись под ношей дорогой,  
Благословляя жребий свой благой,  
Пошел домой исполнен новых сил.  
Но дерево он посадить забыл.

## ■

Мы знаем, чем мостят дорогу в ад,  
 А наш добряк был волей слабоват.  
 Удача навалилась, как медведь,—  
 Не так-то просто золотом владеть.  
 Сей благородный солнечный металл  
 Владельца быстро перевоспитал,  
 И светлые порывы прежних лет  
 Затмились в блеске желтеньких монет  
 (Хоть не ржавеют эти кругляши,  
 Но могут вызвать ржавчину души).  
 Земных соблазнов он не превозмог,  
 Поселок скромный стал ему не мил —  
 Он место обитания сменил,  
 Возвел высокий каменный чертог,  
 Завел себе низкооклонных слуг,  
 Друзей дешевых, дорогих подруг.  
 Пирь, увеселенья без конца...  
 Но днем и ночью у его дворца  
 Стояли два наемных молодца  
 И нищих отгоняли от крыльца.  
 К чужим печалям стал и слеп и глух  
 Фортуной изнасилованный дух,  
 И ползал он среди житейских благ,  
 Как в мясе заблудившийся червяк.  
 Лишь иногда, глухой тоской тесним,  
 В толпе гостей бездонно одинок,  
 Он вспоминал: забыто что-то им.  
 Но что забыто — вспомнить он не мог.

## ■

Затем в чередованье праздных лет  
 Зловещий обозначился просвет.  
 Внезапно золотой запас иссяк,  
 Жилище отобрали за долги —  
 Побрел искать пристанища босяк...  
 Ни друга, ни подруги, ни слуги.  
 И вот от пиршественного стола  
 Нужда его в лачугу загнала,  
 А там болезнь швырнула на кровать —  
 Теперь, дружок, извольте умирать.  
 И ощутил он, погружаясь в бред,  
 Что он идет пустыней много лет;  
 Нависло солнце над пустыней той  
 Гигантскою монетой золотой.  
 Шептал изнемогающий старик:  
 — Я в огненной ловушке, взапери,  
 Мне нужно тень зеленую найти,  
 Чтоб от лучей укрыться хоть на миг,  
 А нет листвы — хотя б древесный сук,  
 Чтобы в петле избавиться от мук!..  
 В пустой пустыне он пустился в бег,  
 Надеясь, веря из последних сил...  
 И в ужасе вдруг вспомнил человек,  
 Что дерево он посадить забыл.

**СПЛЕТНЯ**

Напраслинка-малютка,  
Как быстро ты растешь!  
Вчера звучала шуткой,  
А завтра бросишь в дрожь.  
Порхая пестрой птичкой  
Вкруг нашего стола,  
Ты злобное величье  
И когти обрела.  
Сидим за разговором,  
Бутылки не пусты,  
И, каркая, как ворон,  
Над нами вьешься ты.  
Кому-то станет тяжело,  
Кого-то ждет тоска...  
А ты ведь легкой пташкой  
Слетела с языка.

**ГАДАНЬЕ**

— Печали, печали, печали  
На сердце твоём и лице.  
Печали полегче — в начале,  
Печали похуже — в конце.  
А жизнь догорит, как сигарка,—  
И в ящик сыграешь, дурак...  
— Ну чем ты пугаешь, цыганка,—  
Я все это знаю и так!  
Я тоже немножко умею  
В своей разбираться судьбе...  
Цыганка, гадай пострашнее —  
Тогда я поверю тебе...

1979.



---

---

БОРИС ОЛЕЙНИК

★

## ИЗ ЦИКЛА «СЕДОЕ СОЛНЦЕ МОЕ»

С украинского

*Памяти матери.*

\*.\*.\*

А метели, словно кони,  
Улетели в степь седую...  
Где отец мой похоронен,  
Там и мать похоронила я.  
Только где ж его могила?  
Сколько раз найти пытался!  
«Отзовись!» — кричу доньне.  
Лишь фамилия на братской  
Символической могиле.  
Лишь фамилия на глыбе.  
И дожди отгомонили...  
Ты прости меня, родная,  
Что тебя похоронил я  
Рядом с братскою могилой,  
Рядом с именем... похожим.

\*.\*.\*

Год пролетел? Иль век пролетел? Не знаю.  
Вот и забвенье пустило свой первый побег.  
Гуси летят. Гуси летят из-за Дуная.  
Все пролетит. Но... не исчезнет вовек.  
Схлынут снега. Цвет опадет. Доспеют ранеты.  
Круг завершится. И новый начнет виражи.  
Только сюда, на зеленое лоно планеты,  
Ты не вернешься, родная, с последней межи.  
Думы плывут, как самолеты. Тяжко. На Киев.  
Вот и еще день пролетел сам по себе...  
Как я тебя понимаю, Кайсыне Кулиев,  
Брат мой седой по нелегкой сиротской судьбе!  
Вот мы поникли, как скорбные стяги, под небом.  
Горы меж нами. Горе меж нами. Века...  
Может, ни разу еще ты мне близок так не был:  
Сердце у сердца, в руке — дорогая рука.  
Тяжко нам, брат. И — легко: не скопили мы злата.  
Только богатств наших хватит на все времена:  
Есть у нас отческий кров. И могилы, хранимые свято.

Наша судьба. И святых матерей имена.  
Наших богатств ни купить, ни продать. Мы поэты.  
Все, что скопили, хранится в сердцах у людей.  
...Вот мне и легче под тяжкою ношей планеты:  
Плечи расправил... коснулся ладони твоей.

\* \* \*

В черном поле желтый смерч...  
Так — в извечной круговерти:  
У дороги бродит смерть,  
Только нет дороги смерти.  
Все уйдем когда-нибудь,  
Унесем с собой печали...  
Но бессмертен звездный путь  
Нескончаемой спирали.  
Лишь мгновенье нам дано...  
Только, люди, не тужите!  
Ведь хоронят и зерно,  
Чтоб оно воскресло в жите.  
Если цвет не упадет  
В золотые руки лета,  
Не возникнет в мире плод  
Как начало первоцвета.  
Кони ржут в рассветный час,  
Бьют копыта у порога.  
Мы бессмертны, коль у нас  
Есть движенье, есть дорога!  
Так по коням! Путь далек.  
Голос правды вечно с нами.  
Материнский пусть платок  
Осеняет нас как знамя.  
Мы от пашен, мы от верб...  
Не ищи древнее знати:  
Геральдический наш герб  
Осеняет слово  
«М а т и».

Светит солнце наших дней.  
Обретенье есть в утрате.  
Мы хороним матерей,  
Но жива вовеки

М а т и!

Перевел ЛЕВ СМИРНОВ.



---

МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА

★

## НАШ УВАЖАЕМЫЙ СЛЕСАРЬ

Повесть

**Н**ебо-то, степь-то! Э-эх жарит! От солнца в глазах разноцветные круги. Под этим высоким, добела раскаленным небом даже наш огромный химический комбинат кажется маленьким аккуратным сооружением.

Вон те серебряные шарики, разбросанные по территории, издали-то похожи на мыльные пузыри или на елочные игрушки; на самом деле диаметр каждого такого шарика десять с половиной метров, а вес шестьдесят пять тонн. В стальных резервуарах, окрашенных алюминиевой краской, хранятся жидкие газы. Сперва тут был завод, а теперь комбинат. Куда ни глянь — повсюду колонны, колонны, десятки колонн разной высоты и толщины, длинные цилиндры с крышками наверху и внизу.

Вот эта, что лежит на монтажной площадке, прибыла к нам на двух железнодорожных четырехосных платформах. Так и везли ее, опутанную стальными канатами, с самого Урала.

Сегодня у нас тяжелый и ответственный день. Мы должны поставить на опору реакционную колонну. Наш бригадир Балашов нервничает. У меня с ним особые отношения. Было время, когда мы ездили в заводы охотиться на уток. И не мудрено: Балашов был моим зятем. И работали мы в одной бригаде, оба слесари-монтажники: он четвертого разряда, а я седьмого.

Нравился мне этот высокий рыжий парень своей душевностью и простотой. Сдружила нас работа и любовь к охоте. Годился он мне в сыновья, но это не мешало нашей дружбе. Балашов часто бывал в нашем доме. Тут и познакомился с моей дочкой Лидой. Сыграли свадьбу, через год я стал дедом. Лида училась в институте, Балашов работал. Жить бы им да радоваться. Но что-то у них произошло. Стал Балашов запивать, лез на Лиду с кулаками, ревновал. Кончилось тем, что Лида его выгнала и подала на развод. После этого Балашов вроде бы пришел в себя. Пить бросил. Потом пошел вверх: назначили бригадиром. Мне бы уйти в другую бригаду, да духу не хватило. «Ты это брось, Николай Васильевич, — сказал мне Балашов. — У нас с тобой лично никаких конфликтов не было — не будем людей смешить. А что касается Лиды, то я во всем повинен».

Остался я в бригаде, но на балашовском мотоцикле на охоту с той поры не ездил, да и какое-то отчуждение между нами появилось. К сыну Балашов приходит украдкой в десад. Или я привожу Павлика на монтажную площадку.

Есть в нашей бригаде еще один мой сродственник — Федор Завгородний. Вон он расхаживает с важным видом возле стальной опоры, хмурится, что-то нашептывает себе под нос. Есть у него такая привычка шептать, вроде таблицу умножения про себя повторяет. Посмотришь со стороны, смех берет: ходит степенный сутуловатый мужчина, а губы у него шевелятся. На большом безбровом лице не то рассеянность, не то досада.

Опора высокая, солнце ее раскалило — рукой не дотронуться, над чашей струится горячий воздух, как над котлом. Такой металлический постамент может выдержать большую нагрузку — тонн шестьсот, не меньше. И все же перед подъемом реакционной колонны надо еще раз проверить надежность фундамента и всей опорной конструкции. А Федор мастер на такие штуки: у него особое чутье.

Сама реакционная колонна лежит тут же. Голова ее на шпалах, хвост на шарнирных санях, а вся колонна чем-то напоминает баллистическую ракету.

Бригадир поручил отвинтить гайки на крышках. А каждая гайка — в руках не удержишь. Потребовался гайковерт, который весит килограммов двести. Подвесили мы его на стальном тросе к крюку мостового крана, и закипела работа.

Разобрали колонну, очистили от пушечного сала, проверили ультразвуком, провели гидравлическое испытание — и пожалуйста, можно монтировать: поднять и установить на стальную опору, вогнать в чашу, закрепить. И тут Балашовым да и всеми нами овладевает сомнение.

— Не доверяю я этим деятелям, что фундамент установили, — говорит Балашов. — По акту все правильно. Ну а если фундамент все же оседет? Что тогда?

Мы-то знаем, что будет тогда: отклонение корпуса колонны от вертикальной оси допускается на ноль целых и ноль десятых, иначе — если колонна наклонится хоть чуть-чуть, процесс внутри аппарата пойдет не так, как нужно. Тогда начинай все сначала и график строительства будет нарушен. А Балашов больше всего боится ответственности.

— Вы что, хотите, чтобы нас прозвали специалистами по пизанским башням? — гневно спрашивает он, хотя никто из нас ничего такого не хочет.

— Скажете тоже! — ворчит про себя Федор.

— Ты, Федор, гляди, чтобы постамент не съехал с фундамента, — говорю я. — Колдуй, колдуй!

И он колдует. Я не верю в особое чутье Федора, а потому всякий раз в таких случаях думаю, что он ломает комедию. А Балашов верит, затаив дыхание ждет, что скажет Федор после своей «экспертизы» опоры.

— Ну как думаешь, Федор Кузьмич, оседет или не оседет? — теряет терпение Балашов. — Поднимать пора...

Федор не торопится, что-то прикидывает в уме.

— С одной стороны, конечно, колонну подымать надо, — наконец говорит он. — А с другой стороны, твердо ручаться нельзя: ведь на этом самом месте раньше болото было, грунт слабый. Осесть может.

Балашов зябко поводит плечами. Некоторое время они глядят друг на друга, как петухи, готовые сцепиться.

— Так что же, поднимать или не поднимать? — уже строго спрашивает Балашов. — Я и без тебя знаю, что тут болото было. Знаю, что инженеры все учли, но мне твое заключение нужно. Ты эти проклятые каверны да раковины внутри фундамента без рентгена чуешь. Особый нюх у тебя, интуиция.

— Чую, — соглашается Федор. — В данном случае ничего такого нет. Можно подымать.

Все вздыхают с облегчением. А Федор размазывает ладонью пот по лоснящемуся красному лицу, зачем-то еще раз трогает толстые ребристые ноги опоры и отходит в сторону как человек, исполнивший свой долг. Меня разбавляет смех. Я-то Федю знаю по меньшей мере лет пятьдесят, еще со школьной скамьи, и никогда за ним не водилось этого самого, что Балашов называет интуицией.

Мы с Федором считаемся специалистами по монтажу аппаратуры высокого давления, и вся наша работа, в общем-то, сводится к таким вот советам, где нужен многолетний опыт. Мы звеньевые, а это уже начальство: наставляй, инструктируй, командуй!

— Ну, аборигены труда, можно крепить траверсу! — бодро говорит Балашов. (В президиуме нас с Федором величают ветеранами труда, но Балашов упорно называет аборигенами.)

Появляется инженер Прокофьев, ровесник Балашова. Теперь под его прищотром можно на законном основании начинать подъем. Балашов прогоняет с площадки всех незанятых. Он нервничает, кусает губы. Через несколько минут может произойти что угодно: оборвется трос — и колонна грохнется на землю, разворотит этажерку, придавит людей. Недаром о подъеме каждой реакционной колонны составляется особый акт, а об успехе пишут в газетах. Вот, кажется, десятки раз поднимали колонны, а всегда сплошное переживание. Мы стараемся казаться спокойными и все же тревожимся, глаза прикованы к крюку. Колонна лежит под самым порталом, его ажурные мачты с вантами уходят в синеву неба чуть ли не на высоту пятнадцатизэтажного дома, и мачты кажутся ненадежными, неустойчивыми, очень уж тоненькими.

Пришли в движение полиспасты. Голова колонны дрогнула, поднялась чуть-чуть, будто обнюхивая воздух. Сани с шарниром начинают медленно подтягиваться к постаменту, возле которого нервно колдовал Федор. Мы с Федором следим за строповкой, за тем, чтобы хвост колонны не сполз с шарнирных саней.

Подняли! Но кричать «ура» еще рано: колонна хоть и повисла в воздухе, однако висит не над опорной чашей, куда ее надо всадить, а в стороне — не считал-таки Балашов!

— Наклоняйте портал! — кричит нам бригадир. — Наклоняйте!

Для убедительности он и сам наклоняется туда, куда надо наклонить портал. Опуская задние ванты и выбирая передние, мы осторожно наклоняем ажурный портал и медленно-медленно опускаем колонну в опорную чашу.

Теперь она стоит прямо и в самом деле кажется ракетой, нацеленной в космос. Все.

— Пошло дело на лад, — удовлетворенно произносит Федор. — Ежели все и дальше будет нормально, через месячишко монтаж закончим.

— Рано гадать-то. А вдруг завтра фундамент осядет? Я-то в твои фокусы не верю.

— Ну и шут с тобой, не верь! У меня глаз как ватерпас, — говорит он самодовольно. — Пойми, Балашову перед подъемом уверенность нужна, вот он и хочет всякий раз часть ответственности как бы на меня переложить. Чтобы в случае чего было на ком отыграться. Неуверенный он в себе, и сам боится и других в смущение вводит. Бригадир должен быть вроде гайковерта: завинтил гайки — и баста! Ну а что до личной ответственности, то ведь известно: шахов много, а мат один. Возьми, к примеру, своего сына Василия. Вот каким должен быть бригадир!

Федор знает, что я не люблю говорить о Василии, и все же каждый раз назойливо талдычит о нем, наступает на самую больную мозоль.

— Что ты мне его нахваливаешь? — говорю я с досадой. — Рабочий, он и есть рабочий, и это, если хочешь знать, самый большой укор мне. Я инженера из него сделать хотел. Ты пойми меня, Федор, правильно. Вот на собраниях любят толковать о будущем. А что оно для нас с тобой, будущее? Нам под шестьдесят. Наше будущее только в наших детях: пошли они дальше нас, добились высот, каких мы не достигли, значит, продолжили наш век. А если по кругу ходят вроде нас с тобой, какое же это будущее? У меня трудовой стаж, к примеру, сорок два года. С чего начал, тем и кончаю, ну и ладно. За себя не в обиде — время такое было: то Халхин-Гол, то Отечественная, то детей на фундамент поставить надо. Вот и вывел, хоть и туго пришлось. Старший, Юрий, — главный инженер управления. Это понимать надо! Младший, Костя, — инженер, заместитель начальника цеха. Дочка — инженер-химик по капроновому волокну. А Васяка в рабочие подался. Зачем? В школе на пятерки учился, по математике и физике его в пример ставили. А он не в институт и даже не в техникум, а в ПТУ. Эка невидаль! Ради чего в таком случае я живот надрывал?

— Что ты там ни говори, а я Василия уважаю, — гнет свое Федор. — В своем деле он любого профессора за пояс заткнет!

— Во-во. А зачем профессора за пояс затыкать? Профессор в земле не копается, кирпичи да цемент не таскает. Он интеллигенция, головой промышляет. И я тебе скажу, Федор, почему ты Ваську так горячо уважаешь: потому что на твоей дочери он женился. Вот почему! А девка она, скажу тебе прямо, недалекая, закрутила ему мозги и, вместо того чтобы в институт толкать, в рабочие увела, в ПТУ. И потому все, что не сумел ты единственной дочери образование дать — в сварщицы пошла. Женское ли это дело?

После моих слов Федор багровеет, кажется, он вот-вот лопнет от ярости. Он даже оттягивает пальцами ворот рубахи — так раздувается у него шея.

— Ты сперва сам себя воспитай, а потом других учи, как им жить! — кричит он мне прямо в лицо. — Не она ему, а он ей мозги своротил. Варвара хотела в техникум поступать, а твой ухажер ее в свою бригаду увел, воспользовался тем, что девчонка по уши впрескалась. Понял? Да разве тебе понять?

— Мы люди неграмотные, едим пряники неписанные. Мечту он мою разрушил — вот чего ты не хочешь понять! Я ведь их всех возвысить над собой мечтал.

— А ты знаешь, как это делается? Это тебе кажется, что знаешь: дал образование — вот и возвысил. А любимый сынок твой Костя, инженер, заместитель начальника цеха?.. Возвысил! А уж если резать правду-матку, то Костя твой с Василием ни в какое сравнение не идет.

— Это еще почему?

— Потому. Он ведь тоже по примеру Василия сперва на завод пошел. А когда ты его ремнем отхлестал — решил учиться. Так?

— Так.

Я с горечью думаю, что в чем-то Федор прав.

Разрядились мы с Федором, и говорить нам больше не о чем. Схватываемся мы с ним не так уж часто, но бывает: что-то не сбылось у меня и у него, вот и ищем виноватого.

Осядет фундамент или не осядет, об этом я уже не думаю. Федор повернул мои мысли в другую сторону. Что бы там он ни говорил, а Васька испортил мне всю семейную картину. Газетчики иногда на меня наскакивают: «В чем суть вашего метода? Вы ведь Касьянов?» Я-то Касьянов, но Николай Васильевич, а метод придумал Касьянов Василий Николаевич — тут и неразбериха. А меня все это из равновесия выводит. В президиум с некоторых пор сажать стали: мол, рабочая династия, дед, отец, мать и сын, жена сына — рабочие. А то, что этот рабочий дал стране трех инженеров, никого вроде и не интересует. При чем, дескать, здесь ты? А ведь гордость нашей семьи — Юрий. Когда я вспоминаю о нем, то все неудачи вроде бы исчезают сами собой. Юрий везет на себе все строительное управление. Его жена Ирина из интеллигентной семьи, экономист. Правда, сейчас сидит дома, нянчит двухлетнюю Аллочку. Внушка. Вот какой я — четырежды дед! И вот этот четырежды дед с самого начала замыслил извести на нет свою «рабочую династию», а его на каждом собрании называют чуть ли не героем за то, что он вроде бы продолжил в Василии рабочую линию. И никому ведь, кроме Федора, ничего не скажешь — не поверят, не поймут. Инженер Прокофьев, когда на монтажной площадке появляются всякого рода корреспонденты, всегда представляет меня: «Наш уважаемый слесарь-монтажник Касьянов Николай Васильевич, сын того самого знаменитого Касьянова и отец известного строителя Касьянова». Так и болтаюсь между двумя рабочими знаменитостями: своим отцом Василием, который прославился на всю страну умением класть заводские трубы, и собственным сыном, почетным строителем, выдвинувшим какой-то там метод бригадного подряда, сути которого я до сих пор не могу понять... И в голову Прокофьеву не приходит сказать обо мне: «Отец трех инженеров Касьяновых».

Корреспонденты, нужно заметить, зачастили к нам. И это неудивительно: идет реконструкция и расширение завода минеральных удобрений. Мы должны смонтировать по меньшей мере тысячи две разных аппаратов и машин. Десять два строительных и монтажных организаций заняты этим делом.

Наша бригада обязалась установить шесть реакционных колонн, целиком заполнить «этажерку» синтеза. Она со своими площадками и отсеками в самом деле чем-то напоминает этажерку. Только этажерка наша стометровая. Примыкает она к объединенному производственному корпусу, который сооружает бригада Василия. А перед железнодорожной веткой они же возводят парокотельную установку и еще три производственных корпуса. Так что Василий вроде бы взял нашу монтажную площадку в кольцо. У Василия бригада сильная — человек семьдесят, не меньше, а у нас всего полтора десятка монтажников. Мы субподрядная организация, а Василий — генеральный подрядчик. И начальство у нас разное. То, что мы сошлись так тесно на небольшом пространстве огромного химкомбината, дело случая, хотя случайного ничего тут нет: все мы заняты одним делом — реконструкцией и расширением.

Наша бригада монтирует новый цех: мы убираем старые, маломощные колонны, которые дают в сутки всего шесть тонн аммиака, и ставим другие, мощностью двести и больше тонн, — малышом заменяем великанами. Особо интересно нашей работой мой младший сын Костя. Здесь, на заводе, он заместитель начальника цеха. И как бы о нем ни отзывался Федор, зарекомендовал Костя себя способным инженером. Несмотря на свою молодость — ему двадцать шесть, — он метит в начальники нового цеха, того самого, который мы строим.

— Пора на обед, — говорит Балашов. — Не забыли: вечером собрание? В производственном корпусе.

Разомлевшие от жары, плетемся в столовую. В дрожащем мареве сверкают серебристые шары. Огромные металлические трубы уходят в степь. Оттуда воздуходувки беспрестанно гонят на завод чистый воздух, где в цехе разделения он превращается в жидкость. Тут все трубы и трубы, сотни километров трубопроводов разной толщины, изогнутые ребристые плети труб-воздуходувок, высоченные металлические башни, и все это сделано нашими руками. Так случилось, что наше монтажное управление все последние тридцать лет прописано на химкомбинате. Рядом комбинат химического волокна, где работают моя жена Дарья и дочь Лида. Здесь же неподалеку — рабочий поселок, где мы живем все.

Когда-то я был монтажником-высотником, а теперь вот спустился на землю. А высоту я любил, любил... Мой отец хотел приспособить меня к своему редкому ремеслу. Мы клали дымовые заводские трубы стометровой высоты. Потом я перешел на монтаж сферических емкостей и колонн синтеза. В те годы металлические колонны мы не поднимали, как сегодня, а собирали на высоте. Вокруг фундамента возводили леса на всю высоту колонны, подавали кранами да лебедками стальные листы в несколько тонн весом, сваривали их на высоте. Надыхался я ветром на всю жизнь. Я считался лихим парнем, высота меня опьяняла. Иной раз влетало от начальства за то, что пренебрегал техникой безопасности, норовил без страховки по мосткам ходить. Не каждый для высоты; и монтажный пояс накинет и на высоте цепями пристегивается, а на землю спускается ни жив ни мертв.

Должно быть, человек долго остается молодым: мне до сих пор снятся «высотные» сны.

После обеда Балашов отзывает меня в сторону. Мы закуриваем, расслабленно стоим под навесом. Отсюда видна выжженная солнцем степь. На подъездных путях кружатся пыльные вихри. Свет играет на рыжих кудрях Балашова. Лицо у него в веснушках, а глаза сейчас почему-то колючие, вроде бы он чем-то недоволен. Собравшись с духом, он спрашивает, обнажая острые белые зубы:

— Ты, Николай Васильевич, в курсе, о чем сегодня будут говорить на общем собрании?

— Не так чтоб очень. Что, опять в президиуме сидеть?

— Да нет. Без тебя на этот раз обойдутся: в президиуме будет сидеть твой сын Василий, ведь собрание-то по поводу внедрения его опыта во все бригады.

— Ну и что?

— Вот об этом я и хотел с тобой потолковать. Подходит нашей бригаде подрядный метод или не подходит? Ты как считаешь?

— Да никак. Я ведь представления не имею, что это за метод такой.

Он смотрит на меня с изумлением и недоверием.

— Странно. Я-то думал, что с тобой, опытным рабочим, он советовался. Как же так?

— Со мной только главный инженер советуется, да и то не всегда. А Василию чего советовать. Может, ты толком объяснишь, что это за такой метод?

— Василий предложил своему строительному управлению заключить договор с его бригадой: вы, мол, должны грамотно выдать нам задание и обеспечить его материально-техническим комплексом, а мы обязуемся выполнить задание на три месяца раньше срока и с высоким качеством.

— Ну и что?

— А то, что этот самый бригадный подряд — это форма участия бригады в прибылях своего управления.

— Это в каком же смысле?

— Вот в каком: когда работы закончены и сданы государственной комиссии, бригаде выплачивают премию — сорок процентов достигнутой экономии.

Я не верю собственным ушам.

— Да он что, сдурел? Заранее требовать премию! Да не просто премию, а сорок процентов прибыли.

Я откровенно возмущен. Представляю себе директора управления Дмитрия Ильича Дегтярева, человека строгого, величавого, рассудительного, настоящего начальника крупного масштаба. А вот представить его партнером моего неуча Васьки, ей-богу, не могу.

— Так как же, Николай Васильевич, — спрашивает Балашов, — ты за подрядный метод или против?

— А какое это имеет значение?

— Очень большое. Василий добивается разрешения на подряд не только для своей бригады, он хочет распространить метод и на монтажников, на все монтажные организации, на нас то есть. Соображаешь?

— Да вроде бы.

— Так вот, я должен буду выступить от имени нашей бригады и высказаться или за, или против.

— А с другими разговаривал, ну с Федором, например?

— Разговаривал. Большинство против. Вы с Федором особая статья: родственные отношения. В этом вся деликатность.

Тут не сразу сообразишь что к чему, и я стою молча, морщю лоб. Если даже Василий не прав, то выступать против родного сына вроде бы негоже, а выступи за него — скажут, что своя рубашка ближе к телу...

— А почему все-таки большинство нашей бригады против подрядного метода? — спрашиваю я. — Ведь материальная заинтересованность... Или у нас все уж такие бесребенники?

Он явно смущен.

— Тут, видишь ли, Николай Васильевич, все дело в том, что если бригадно-подрядный метод утвердят, то наша бригада словно бы превращается в своеобразное звено огромной единой комплексной бригады.

— Ну и какая беда в том?

— Беды нет, но мы окажемся в жесткой зависимости от других бригад, они будут наступать нам на пятки.

— Пусть наступают. Мы ведь тоже можем наступать.

— А ты герой, Николай Васильевич! Моя бригада укомплектована в основном людьми зрелыми, хватит ли у вас сил тягаться с молодыми?

— Да уж попытка не пытка: не сдожим — можно отказаться.

— В том-то и фокус, что отказаться нельзя. Все дело в том, что зарплата ваша будет целиком зависеть от выработки и только от выработки — сообщаясь, к чему это может привести? Заболел ты, скажем, а в подрядной бригаде

долго болеть нельзя, иначе шиш получишь и других подведешь. О прогулах и думать не могли — сразу по шапке дадут. Этот метод о двух концах: и управленцы должны будут крутиться как белки в колесе, к чему они не привыкли, и рабочему придется мобилизовать себя до предельной возможности, так как некому будет жаловаться, что на тебя жмут твои же товарищи рабочие. Тут уж охотой заниматься не будешь — каждая минута на учете: недодал в работе часы, выдай когда хочешь. Бригада-то самоуправляется!

Он запугивает и запугивает, а я все мотаю на ус. И вижу, что прижал он меня крепко. Сейчас мы работаем спокойно, размеренно, без тряски, никто нас не подгоняет, так как главное — не выбиваться из графика. Спешить нам некуда, досрочно выполнять задание тоже особого смысла нет. Спокойнее, привольное житье. А Васья, вражина, такое придумал, что осуществись его задумка — все завертится с невероятной быстротой, от которой мы понемногу стали отвыкать. Нам, пожилым людям, торопиться некуда. Лишь бы до пенсии дотянуть.

Эк рыжий черт Балашов, загнал-таки меня в мышеловку!

— Так как же, Николай Васильевич? — допытывается он. — Может, сказать, что вы с Федором воздержавшиеся?

Меня уже разбирает досада.

— Я, Петр, в воздержавшихся никогда не ходил. По-моему, сперва нужно послушать, что другие скажут, а потом уж решать.

— Какие еще другие? Другие — это мы и есть, и от нашего голоса многое будет зависеть. Не могу я взять на себя такую ответственность. Ведь посудите: сперва твоего Василия в строительном управлении и слушать не хотели — дескать, все это фантазии и бригада все равно с такой нагрузкой не справится. Кроме того, нужна тщательная инженерная подготовка производства. Управление тоже к перестройке не готово: это же все планы нужно переделывать! Но Василий поддержал секретарь парткома управления Алексашин. Обком тоже этим делом заинтересовался. Мол, надо обсудить на общих собраниях строителей и монтажников. Как скажут рабочие, так и будет.

— Понятно. Не обязательно, чтобы выступали только бригадиры от имени своих бригад, — пусть выскажутся сами рабочие, как советуют в обкоме.

Плечи бригадира безвольно опускаются. Он швыряет недокуренную сигарету в бочку с водой, говорит каким-то хриплым голосом:

— Вижу, с тобой пива не сварить. Ты как та рыба в аквариуме: хочешь ее схватить, а она скользит промеж пальцев. Ладно, оставайся при своих. Можешь даже высказаться, хотя запланировано выступление только бригадиров — если все начнем высказываться, то и до утра не выберемся.

Мы недовольны друг другом, вроде бы поссорились, он не смотрит на меня, я на него. А ведь мой внук Павлик — сын Балашова, и фамилию Павлик носит отцовскую, так что у меня два Балашовых — один на работе, другой — дома, и оба мои начальники, только по-разному. А я все время скачу между ними.

В главном производственном корпусе людно. Корпуса как такового, правда, пока нет. Есть стены, перекрытия, черные полы. Рассаживаются кто где может. Мы с Федором примостились на блоке, сидим, изображаем групповой памятник ветеранам труда. Стол для президиума поставлен посреди цеха. За столом сидит мой Василий. Рядом бригадиры других бригад, Балашов, управленцы, секретарь парткома управления Алексашин, товарищи из обкома и главный инженер управления Юрий Николаевич Касьянов. Хорошо хоть меня в президиум не посадили, а то бы Касьяновы весь стол заняли.

Смотрю то на Василия, то на Юрия — до чего же они разные, хоть и похожи друг на друга! Юрий холеный такой, одет чисто, в сером костюме, в модной полосатой рубашке и при галстукке. Другие обливаются потом, а он вроде бы и жары не замечает, даже ни разу не приложил платок ко лбу. Сидит углубленный в себя, делает какие-то пометки в записной книжечке. Главный инженер целого управления! Вон куда махнул. Василий возбужден, то и дело перешептывается с бригадирами, вид у него воинственный, на медно-красном лице застыла вызывающая улыбка. Что-то он хорохорится больно. И вдруг до меня доходит,

что все эти люди — рабочие, инженеры, Алексашин, Юрий, обкомовцы — собрались тут из-за Василия: это он им задал работу. Эх, Василий, Василий! Ну а если все члены бригады выскажутся против твоего метода? Позора не оберешься! И в обкоме скажут: вот видишь, Касьянов, массы против... Я испытываю беспокойство. Скорее бы начинали... Начальство взбудоражили, а дело может не состояться.

Первым берет слово Юрий, и зал сразу затихает. Юрий говорит сидя — его и так видно со всех сторон; не высказывается, как обычно делают другие ораторы, а словно бы рассуждает сам с собой.

— Новые формы хозяйствования диктует нам само время,— говорит он негромко,— мы в строительном управлении, в общем-то, за метод бригадного подряда. Это форма принципиально нового, подлинно делового сотрудничества с научно-техническими работниками. Как известно, этот метод уже опробован строителями Злобиным и Сериковым, последователем которых считает себя товарищ Касьянов. Но Касьянов внес много всего. Ну что ж, инициативу нужно приветствовать. И все же... — Юрий неторопливо поднимается со стула, обводит всех взглядом и веско говорит: — Знедрение метода требует тщательной и, возможно, длительной подготовки. Если бы не было о чем толковать, то мы и не собирались бы здесь. Но толковать есть о чем, и я хочу открыто высказать наши сомнения...

О чем говорит Юрий? Плохо улавливаю отдельные слова, но общий смысл все же доходит: сложности подготовки к работе в условиях бригадного подряда могут оказаться непреодолимыми. Чтобы калькулировать зарплату для бригад, потребуется масса времени. Короче говоря, экономисты и управленцы не готовы еще к бригадно-подрядному методу. А Юрий продолжает:

— Если говорить о частностях, то многие бригады, в том числе и бригада Василия Касьянова, укомплектованы в основном молодежью с малым опытом.

Вот и все. Стало быть, надо все подготовить заблаговременно, без горячки и спешки и ввести метод при строительстве второй очереди. Можно расхотиться. Но Василий выставляет вперед широкую ладонь, требуя внимания.

— Согласен, товарищ главный инженер, управленцам и экономистам в самом деле придется попотеть. Пусть попотеют, это им полезно! А то ведь из-за их неразворотливости мы часто без дела сидим.

В зале смеются. Но Василий вроде бы и не слышит одобрительного смеха. Он говорит резко и решительно:

— Значит, получается: надобно жить как набегит? Злобин, Сериков... Вот и выходит: летать летаем, а сесть не дают.

Опять смех. На этот раз и обкомовцы смеются. Федор толкает меня в бок и тоже ухмыляется: каков, мол, Васька-то, а?

А меня злость разбирает: что же это Васька, поганец, Юрку так при обкомовцах унижает? Брат-то брат, да знай сверчок свой шесток. Раз ты рабочий, а он твой самый большой начальник — изволь уважать. Смотрю на Юрия — он спокоен, на губах ироническая усмешка: давай, мол, давай, видали таких... А может, он что-нибудь и другое думал, кто его знает...

А Василий знай свое:

— Мы обязуемся ввести объект в эксплуатацию на три месяца раньше намеченного срока. Пусть только разрешат бригаде быть на объекте настоящим хозяином, быть самоуправляемой. Разве в таком желании есть что-нибудь незаконное?

— Нет, конечно, все по закону,— отзывается Юрий.— Но как вы этого намерены добиваться? Ведь бригадир при подрядном методе вынужден будет мыслить инженерными категориями...

Юрий держится спокойно, с достоинством, как и положено большому начальнику. Этот вывернется! Недаром в школе у него была кличка Дипломат. Главный его принцип — соглашаться, но делать по-своему.

— Мы все подсчитали и продумали,— говорит между тем Василий.— Если остальные бригады нас не поддержат, мы ведь и самостоятельно можем строить

здания методом подряда, но для этого строительное управление должно заключить с нами договор.

В разговор как-то само собой включаются рабочие, и я, к своему удивлению, отмечаю, что большинство из них за Василия. После каждого выступления секретарь парткома Алексашин только одобрительно кивает: правильно, мол!

— Мы морально и материально заинтересованы...

— Можно, конечно, жить без риска, но жить так скучно. Наша бригада тоже будет добиваться права на подряд...

— Вам хорошо, у вас в бригаде нет ветеранов! — огрызается Балашов. / Это камни в наш с Федором огород. Федор оскорблен.

Кое-кто из бригадиров, разумеется, выступает против. Но Василию палец в рот не клади.

— Понимаю,— говорит он,— некоторые привыкли считаться передовыми на общем малопроизводительном фоне, а при подрядном методе передовики могут оказаться в последних рядах. Тут бездеятельность ничем не замаскируешь: сколько выработал — столько и получай! Ну а выгода-то материальная не Касьянову, а прежде всего государству. И еще какая выгода! Такой никогда не бывало...

И я теперь уж догадываюсь: дело закручивается серьезное, задевающее всех за живое. Недаром приехали из обкома. Вряд ли при такой ситуации Юрка сумеет вывернуться!

Собрание закончено, можно расходиться.

Выползаем с Федором на воздух. Я оглядываюсь — где же Юркины «Жигули»? Надеялся, что он меня подбросит до дому на своей машине, а его и след простыл. Вот как... Он, видите ли, с Васькой поругался, а я виноват...

Мы молча шагаем с Федором по монтажной зоне. В душе у меня смятение. Мне казалось: понять, чем живет Василий, большого ума не требуется. Но сегодня убедился, что все не так.

Золотится вечерняя степь. В монтажной зоне, как и днем, кипит работа.

Федор останавливается, смотрит на меня иронически.

— А метод Василия приняли почти единогласно. И партия целиком за него: обком, Алексашин. Теперь забурлит, закипит тут работа... Так что зря ты на Василия. Гордиться им надо.

— А не кажется тебе, что гордиться пока рано? Еще неизвестно, чем вся эта затея обернется.

— Ну-ну. Это про тебя сказано: наш Касьян на что ни взглянет, все вянет...

Я нашарил в кармане брюк единственную оставшуюся от пачки папироску и зажег спичку. Федор с отвращением некурящего человека поморщился.

— Чего нам с тобой, сват, вздорничать? — сказал я примирительно. — Поживем — увидим...

Спокойствия нет ни на работе, ни дома. Не успел переодеться и умыться, как позвонил Юрий и сказал, что минут через сорок заедет навестить. Здрате пожалуйста, вроде только что виделись. Может, посоветоваться хочет с отцом?

Дарья обрадовалась, засуетилась, кинулась к холодильнику.

— Ой, отец, чем же Юру-то угостить? Он, поди, и не обедал...

— Ну и ладно, чего ты суетишься? Жена накормит. Лучше отдохни, лежи, весь день на ногах,— говорю я ей.

Куда там! Юрка так редко заглядывает в наши хоромы, что каждый его приезд — событие.

— Сварю-ка я его любимый грибной суп... — бормочет она. — Котлет надеваю, он любит мои котлеты, говорит, что никто их так вкусно не делает...

Дарья вся словно светится изнутри от приятных забот. И все поглядывает на часы — успеть бы! Вскоре запахло грибным супом, жареными котлетами.

— Скоро Лида придет с работы,— говорит Дарья. — Вот и пообедаем все вместе, по-семейному, поговорим... Как они там живут-то?

Она накрывает стол белоснежной скатертью, ставит парадные тарелки, рюм-

ки, гремит вилками и ножами. А я только посмеиваюсь про себя: давай-давай... Хочешь перещегоолять Юркину жену, доказать ему, что мать есть мать и родной дом всегда остается родным домом.

— У меня там где-то водочка припрятана... — хитро подмигивает она мне.

Дарья жарит котлеты и, как всегда, рассказывает о своих делах. Она у меня депутат, ей есть что рассказать. Иногда она меня своими рассказами до белого каления доводит — уж очень настырная баба.

Во время войны в наши места эвакуировали ряд предприятий. На их базе были построены завод минеральных удобрений и капроновый комбинат. В степи вырос большой рабочий поселок и все разрастается и разрастается. Не хватает магазинов, детских садов, клубов, а моя Дарья как депутат во все это вникать должна.

Дарья работает перемотчицей на комбинате химического волокна — профессия редкая и трудная. Нить при перемотке рвется, и связать ее нужно таким манером, чтобы потом на дорогой ткани не было заметно ни одного узелка. Был я у них, возили нас, монтажников, в порядке шефства. Представьте себе громаднейший зал, уставленный рядами машин, а в каждой машине шестьдесят четыре веретена. Смотрю, Дарья моя кивает мне, смеется, а сама, как фокусник, что-то руками делает. Взмахнет — и дальше, взмахнет — и дальше. Ходит этак между двумя машинами — а это сто двадцать восемь веретен! — вроде полечку танцует или «Светит месяц», как, бывало, мы с ней молодыми танцевали, и все руками взмахивает — улыбки вяжет.

Обыкновенные бабы на одной, ну, от силы на полутора машинах работают, а моя Дарья на двух. Вот и выдвинули ее в депутаты, и пошла у нас в доме карусель... Вместо того чтобы усталого мужа с работы улыбкой встречать, Дарья сразу же набрасывается на меня со всякими неурядицами: у кого какое горе, кому квартиру не дают, у кого крыша протекает, а начальство не реагирует, где какая труба течет и портит жизнь целому кварталу. Там строительство детского сада задерживается, из-за этого на комбинате много прогулов. Да мало ли каких житейских забот у людей! Послушаешь-послушаешь и невольно задумаешься: сколько еще безобразий в нашей жизни от нашей же неорганизованности, равнодушия, бестолковщины. Иногда я не выдерживаю и начинаю огрызаться — да ну тебя, говорю ей, дай хоть денек передохнуть, тут своих забот полон рот. Дарья замолчит, а через день я уж сам спрашиваю: «Ну как там со вторым овощным ларьком? Отхлопотала?»

— Отец, ты не слушаешь, что ли, чего я говорю? — кричит мне от плиты Дарья.

— Слушаю, как же... — очнувшись от своих мыслей, бодро отвечаю я.

— Ходила сегодня после работы по домам, проверяла состояние жилого фонда. Плохо у нас берегут жилище. В большинстве домов лестничные площадки замусорены, заплеваны, стены обколупаны, на них начиркано, нарисовано, а ведь только что, весной, ремонт делали всюду. Дети, мол, балуются. Так воспитывать их надо, детей-то...

Тут пришла Лида с работы, волоча за руку Павлика.

— Что за бал-карнавал? — удивилась она, взглянув на праздничный стол.

— Принца ожидаем, — ответил я ей добродушно.

— А! Юрку, значит. То-то грибным супом на весь квартал пахнет.

Она ушла в свою комнату переодеваться, а Павлик ко мне кинулся. «Дед Коля, — говорит, — я о тебе соскучился» — и ткнулся губами в щеку. Такой ласковый парнишка, право. Страшно не любит, когда его называют маленьким. Кричит: «Какой я маленький? Я большой! Зовите меня школьником!» Одно плохо — об отце скучает. Однажды грустно так спрашивает: «Дед Коля, почему мой папа в другом домике живет? Хорошо, если бы он жил у нас, мы бы с ним играли». Ну что ему ответишь на такой вопрос? Они то сходятся, то расходятся, а дед выпутывайся как знаешь. Как же, шибко грамотные стали, самостоятельные, слова поперек сказать не могли, сразу фыр, фыр...

— А вот и Юра! — вскинулась Дарья, чуть прислушиваясь к низкому легковому у подъезда. — Его «Жигули»!

Дарья быстро оглядывает себя, поправляет косынку, надевает новый фартук, синий в белый горошек.

Я невольно залюбовался Юрием, когда он вошел. Не могу понять, в чем дело: вроде у Васьки костюмы не хуже Юркиных, даже подбортней, пожалуй, но как-то они на нем не смотрятся. На Юрке же все пригнано, все в одной струне: рубашка, галстук, ботинки. Сразу чувствуешь — интеллигент! Опять же обращение: без цветочка для матери не приедет. Дарья эти его цветочки от приезда до приезда сохраняет. Уж они все осыплются, одни былки торчат, а она их все не выкидывает. И на этот раз Юрий явился с цветами — три гвоздики в целлофане принес, когда только успел купить?

Как всегда, Юрий расцеловался с нами, бережно поставил на пол свой огромный черный портфель и, громко втянув в себя воздух, блаженно произнес:

— Грибной суп! Сто лет грибного супа не едал!

— Почаще приезжай, сынок, по сто лет не заглядываешь, совсем нас, стариков, забыл, — укорила его Дарья, вытирая платочком покрасневшее от кухонной жары потное лицо.

— Все дела! Я и сегодня-то к вам, собственно, по делу. Ты уж извини меня, отец, что не подождал тебя, с обкомовцами весь объект осматривали.

— Ладно, чего там... — отмахнулся я.

Вышла к столу Лида, чинная, серьезная, мол, только прошу, брательничек, в мои личные дела не соваться. Но Юрий тактичный, ни словом не обмолвился об ее отношениях с Балашовым. А может, ему все до лампочки? За последнее время замечаю в нем равнодушие ко всем нам, будто мы чужие. По-моему, и мать заметила, но не хочет признаться, так и молчим оба.

— Ну, как там Аллочка, Ирина? — спросил я его, когда все расселись за столом.

— Вот по поводу этого я и хотел поговорить с вами. Ирине пора возвращаться на работу, все-таки два года большой срок, можно стаж потерять. Но кто-то должен быть с Аллочкой? Я и подумал, не согласится ли мама с ней сидеть? В смысле денег поможем. — И уже к матери: — Зачем тебе, ма, в твоём-то возрасте чалить? Давно могла бы уйти на пенсию...

Дарья прямо-таки опешила от такой речи, не нашлась что сказать и стала мешать салат с таким рвением, что несколько листьев выскочило из салатника на чистую скатерть. А Лида иронически так на меня поглядела и чуть улыбнулась, но тоже промолчала.

— Значит, о здоровье мамы беспокоишься? — ехидно спрашиваю я.

Юрий смутился.

— Ну да, конечно, — лепечет он. — Опять же Аллочка, куда ее?

— Не хотите отдавать девочку в ясельки... Почему? Вас-то мы отдавали? Лида вон тоже своего водит в садик — и ничего страшного.

— Ну то мы, — неохотно говорит Юрий. — Необходимость заставляла, а тут могло бы все очень хорошо получиться...

— Еще бы! Здорово это ты придумал — мать в няньки к своей жене оределить!

— Это не совсем так. Поймите, Ира — хороший инженер-экономист, очень нужный человек в управлении. Ее ждут.

— А почему бы матери Ирины не взять на себя роль няньки? Обычно матери помогают дочерям.

— Ты смеешься? Евгения Владимировна... Она крупный специалист по капроновому волокну. Да ее просто не пустят!

Чувствую, как мной овладевает ярость, хочу сдержаться, но невольно повышаю голос. Дарья смотрит на меня умоляющими глазами — мол, хватит тебе разораться, — но я только отмахиваюсь: сиди уж. И так же ехидно продолжаю:

— А мать — простая перемотчица. Так? Не такой ценный работник, как Евгения Владимировна? А с чего ты решил, что мать отпустят? Она ведь не просто перемотчица, а мастер — золотые руки, молодежь воспитывает. К тому же еще и депутат, член партии.

— Все равно это несоизмеримо. Мы, конечно, не можем настаивать...

— Еще бы! — уже кричу я. — Ты думаешь, воспитав вас четверых, она не нанячилась за свой век? До каких же это пор вы будете всякую ответственность на нас перекладывать?!

Дарья пытается меня утихомирить, но я ей рта не даю открыт. Ишь ты, привык, что все ему на блюдечке! Мать уж и за человека не считает. «Несоизмеримо», видите ли. Сопляк!.. И я решительно заявляю:

— Мать с комбината не уйдет. Соизмеримо это или несоизмеримо, не тебе судить.

Юрий встает, тщательно вытирает руки о белоснежную салфетку, комкает ее, как в ресторане, и небрежно бросает на стол. Лицо у него холодное, замкнутое, голос глухой, вроде надтреснутый.

— Ладно, поговорили, что называется...

— Куда же ты, Юра? — всполошилась Дарья. — А котлеты?

— Сыт по горло... — И он решительно выбирается из-за стола.

На лице Дарьи растерянность и жалкая улыбка: обидели, как же так? Нельзя ли обратить все в шутку? Но я упрямо и зло молчу. Слышу, как в прихожей топчется Юрий, громко щелкает замками портфеля. Дарья смотрит на меня умоляющими глазами — проводить бы... Но я непреклонен.

— До свидания, — слышится из прихожей чужой голос Юрия.

Дверь громко хлопает, словно ставит точку. Ушел! Сожляк... Отблагодарил за все... Вроде мы с матерью и не имеем права на свою личную жизнь. А я-то, старый дурак, думал, что он посоветоваться со мной приехал. Нужны ему мои советы!..

Совершенно разбитый ложусь наконец в постель. Но Дарья не дает мне уснуть. Она тихо шепчет мне на ухо:

— Отец, правильно ли мы поступили? А вдруг Аллочка заболит? Вся ответственность на нас ляжет. Такая крошка...

— Не заболит. Павлик же не болеет?

— Он мальчик. А она такая тоненькая, нежная...

Дарья тихо смеется, очевидно представив себе Аллочку.

— Все они, маленькие, трогательные.

Дарья замолкает, и я начинаю уже дремать, как она снова толкает меня в бок.

— Отец, что же делать-то?

— Тебе чего, в няньки, что ли, захотелось? Так иди, — сердито говорю я.

— Жалко работу бросать.

Мы надолго умолкаем, и я опять начинаю блаженно дремать, но меня будит громкий шепот Дарьи:

— Конечно, Ирина — инженер, а я простая перемотчица... Жалко девчужку в ясли отдавать, всего-то два годика...

— Дашь ты мне наконец поспать? Завтра опять целый день париться... — громко и сердито говорю я и отворачиваюсь к стене.

Но спать уже не могу, в голову лезут всякие мысли. Вспомнилось опять собрание и то, как мы с Федором вышли на улицу и пошли домой. Федор шел, сердито поджав губы. «Опозорил нас Валашов, — наконец сказал он. — Какие мы, к чертям, старички? Работаете как лошадь, а он нас в приемный покой записал. Уйду я из его бригады!»

Я знал, что все это болтовня, но и у меня на сердце было тяжело. Значит, наше время прошло... Как-то мой младший, Костя, острый на язык, сказал, что человек, дескать, живет сразу прошлым, настоящим и будущим. Я удивился: «А какое у тебя прошлое? Ну, постоял год у станка, потом все годы учился. Разве это прошлое?» Он не нашелся что ответить. И я думаю, что у моих детей есть будущее, а прошлого, как мы его понимаем, и не было вовсе. Для меня лично прошлое — война, кочевки со стройки на стройку, голод в Поволжье в тридцать третьем году, когда ели водяные корни, ракушки со Ставка, а люди ходили опухшими. Прошлое для меня — коллективизация, когда мы ватагой школьников хо-

дили по дворам раскулаченных, искали на чердаках спрятанные ценности, а однажды нашли целый мешок бумажных денег.

Ну а если говорить о войне, то началась она для меня давно, еще в 1939 году, когда красноармейцем послали на Халхин-Гол.

В Отечественную нас забрасывали в тыл противника на парашютах. Потом, когда я стал сержантом, сам забрасывал других с маленькими радиостанциями «Север», дежурил на армейском радиоузле, поджидая, не отзовется ли кто из них... Но отзывались редко — гибли...

Да, да, в пятьдесят семь начинаешь жить не будущим, а прошлым, как бы подводишь некоторые итоги. А твое будущее — это будущее твоих детей и внуков: ты растворяешься в них и уже не принадлежишь только самому себе.

Мы обливаемся потом, звенит в ушах, а солнце все жарит и жарит. Монтажная площадка раскалилась, как сковородка. У Федора капли пота висят на белых бровях, иногда он украдкой хватается за сердце. Тут, пожалуй, и в самом деле подумаешь, подходит нам, старикам, подрядный метод или не подходит. Жесткая штука — лишний раз не покуришь, не поболтаешь с соседом. Балашов наш совсем обалдел, на всех кричит, всех погоняет. Только и слышишь:

— Эй, Авдюхин! Ты что в лапоть звонишь? А ты, Петров, чего расселся, глазами хлопаешь? К теще на блины пришел? Новаторы... Глотки на собраниях мастера драть... Думаете, сорок процентов вам так и упадут в рот?

Мы подготавливаем к монтажу теплообменник, катализаторную коробку. И вдруг в самый разгар работ выясняется, что нет электроподогревателя.

— Бригадир! — кричу я Балашову.

Он подбегает злой, встрепанный.

— В чем дело?

— Нет электроподогревателя. Некомплект.

— Не может быть! — Лицо Балашова меняется на глазах, он уже выглядит так, будто у него внезапно разболелась голова.

— Может, затерялся среди другого оборудования?

— Где же мы будем его искать? — возражает Федор. — Иголка, что ли? Знать, на заводе химического машиностроения кто-то позабыл выслать, а не то по другому адресу заслали. Помнится, однажды был уже такой случай.

— Как же так? — говорит Балашов осевшим голосом. — Кто-то ведь должен отвечать за все?

— Завод, кто же еще? — угрюмо говорит Федор.

Все дело-то в том, что корпуса реакционных колонн и узлы насадки изготавливаются различными заводами, и тут бывает путаница такая, что и концов не сыщешь... Балашов хватается за голову.

— Опять волокита! Придется акт составлять, запросы делать, а время-то, драгоценное время уйдет попусту. Бригада Василия все еще возится с фундаментом под следующую колонну, бетона, видите ли, нет...

— Здесь уж виновато наше управление, а конкретно — главный инженер Юрий Николаевич Касьянов, не обеспечил... — ехидно говорит Федор.

— А при чем тут главный инженер, если цементный завод вовремя цемент не подвозит?

— Те-те-те... Этак все можно оправдать. И выйдет, что управление у нас для мебели, а главинж — пустое место. Нужно не дремать и своевременно сдавать заявки.

Ну и сват у меня, провокатор какой-то, черт бы его побрал.

— А ну тебя. — говорю я в сердцах, — ни начала, ни конца, ходи вокруг кольца — так и твои разговоры.

Я смотрю на Балашова, как он реагирует на нашу перепалку, но он, как видно, и не слушает наше ворчанье, трясет лохматой головой, будто от мух отбивается, и что-то тоскливо бормочет про себя.

— Ладно, не паникуй. Составим акт, пошлём на завод. — утешил его Фе-

дор. — Нужно доложить обо всем директору нашего химкомбината, это их обязанность улаживать такие дела.

— Ты, дядя Федя, как всегда, прав, — вздыхает Балашов. — Я так все и сделаю. — И он, прыгая через трубы, обходя громоздкие сооружения, идет прочь с монтажной зоны, потом, видно, спохватывается и кричит уже на ходу: — Будут спрашивать — пошел в контору!

— Иди, иди... — ворчит про себя Федор. — Нерадивое начальство всегда работу подбросит, шей да пори...

Ну и зануда этот Федор! При бригадире такое о Юрии наговорить... Вечно он чего-то копает, копает, какую-то правду ищет, пытается рассуждать, кто прав, кто виноват... Будто ему больше всех надо.

К нам подходит Спирька Филюшкин.

— Ну, братцы, кажись, зашились! — говорит он радостным голосом, вытирая грязной кепкой потное лицо.

— Чему тут радоваться-то? — укоряет его Федор. — Если бы как раньше, тебе резон был бы пофилонить за счет других, а при нынешнем методе каждый простой в копеечку влетит. Выпивать-то на что будешь?

— Найдем! — тем же радостным голосом отзывается Филюшкин, почесывая голую ребристую грудь черными от мазута ногтями.

Удивительный мужик этот Филюшкин! Вечно пьяный, можно сказать, не просыхает. Напьется и дебоширит, за женой бегаёт, хулиганит, мучает бедную женщину. Как-то спрашиваю ее: «Охота тебе терпеть? Ушла бы, что ли...» «А куда? — говорит. — Разве я двоих-то подниму? Уборщицей в школе работаю, вот и все мои заработки». Двое ребятшек у них, мальчик и девочка. Мальчик плохонький, вечно за материну юбку цепляется, а девочка вялая, бледная и губы здорово мажет, это в пятнадцать-то лет...

Сколько раз выгоняли Спирьку с работы и снова принимали. Где замену найти? Рабочих рук-то не хватает... Все говорим: автоматизация, автоматизация... А где она? Неплохо бы таких субчиков, как Спирька, проучить. Пусть бы побегал искал работу. Да и винных магазинов развелось — на каждом углу, будто кто нарочно их насаждает на путях рабочего человека.

— А что, молотки, — подмигивает нам Спирька, — пока суд да дело, не сообразить ли нам на троих? У меня буфетчица в столовой знакомая.

— Ты что, сдурел? В такую жару? И вообще брысь отседова, поганец, дедать, что ли, нечего?

Филюшкин пятится от грозного взгляда Федора.

— Пошутил я... Да ну вас, хрычи старые! — говорит он беззлобно и уходит к товарищам по звену.

— Во, видал? Поработай с таким по новому методу, — кивает мне Федор. — Думаешь, он понял чего-нибудь?

— Поймет, когда расчет будет получать.

Федор сомнительно качает головой.

С бригадой Василия мы вплотную сталкиваемся на одной монтажной площадке, что-то они зашиваются, задерживают нам фронт работ.

Иду узнать, в чем дело. Среди каменщиков замечаю Варьку.

— Ты что, каменщицей заделалась? — кричу я.

— Новую профессию осваиваю! У нас теперь так: чтобы каждый все умел делать, — отвечает она весело и тяжело переводит дух.

Я вижу, как из-под полей брыля вдоль ее худеньких, коричневых от загара щек бегут ручейки пота. Совсем загнал бабенку. Ругал я как-то Василия за Варьку. Что же ты, мол, делаешь? Денег, что ли, не хватает? Приходи — помогу. Ведь у нее двое ребятшек малых... Тут наработаешься, да еще дома всю работу справь, обшей вас, обстирай, накорми.

— А Василий где? — снова кричу я Варьке.

— В управлении! Цемент не подвозят и кирпич на исходе.

К Юрке, значит, потопал ругаться. Не повредил бы Васька Юркиной карьере. Работал бы, как все люди, никого не трогал... Хозяином хочет быть! Чтобы

все бегали по его указке. Как бы не так! Станут тебе инженеры подчиняться... Где это видано? Опозоришься только.

Расстроенный возвращаюсь к Федору. Он молча ждет моих объяснений, а мне неохота ему объяснять — начнет опять по Юркиному адресу прохаживаться, копаться, кто прав, кто виноват.

— Давай займемся теплообменником, — говорю я деловым тоном.

Федор усмехнулся:

— Давай... — Он дотрагивается рукой до корпуса теплообменника и тут же отдергивает ее. — Да что же это делается? Отродясь такой жары не помню. Установки все перегреться могут...

— То не наша забота. Пусть дирекция голову ломает, а мы тут люди временные.

— Мы тут тридцать лет топчемся — и все временные. Они уж давно нас за своих считают.

— Человек трудится на ту организацию, где зарплату получает.

— Во-во. А в наше время так не считали. Да и о зарплате при поступлении на работу как-то стеснялись спрашивать. А теперь приходит этакий сморчок лет восемнадцати в отдел кадров и сразу: а сколько монет на лапу?

— Экономическая заинтересованность...

— То-то. Теперь в убыток себе не работают.

— А зачем? — подзуживаю я его. — Зачем в убыток себе работать? Когда человек получает то, что ему положено, он и работает лучше.

— Ну ты, сват, идеалист... На днях я с дворником своим схватился. Говорю ему: «Ты что же, вражий сын, цветы не поливаешь? Засыхают ведь». А он: «Наймн себе поливальщика, а я вам за одну зарплату и двор мести и цветы поливать не буду!» Я ему: «Так ты и двор перестал подметать, все больше под газом ходишь». А он этак ухмыльнулся и отвечает: «Катись ты, старый хрыч, к чертовой матери! Скажи спасибо, что я хоть в дворники к вам пошел». И знаешь, сват, многие от рук отбились. Он без квалификации, а его, видите ли, оскорбляет малая зарплата. А работать, как все, не хочет. Вот где только на выпивку денег находят!..

Мы ворчим потихоньку, а рубахи прилипли к спине. Мы ворчим и танцуем вокруг теплообменника, который лежит на шпальной подкладке и пыплет жаром. Нужно проверить герметичность вальцовки труб теплообменника в так называемых трубных досках, прежде чем заливает его в корпус колонны. И у меня и у Федора в руках щупы, вот ими мы и проверяем плотность прилегания притертых поверхностей. Тут уже счет на сотые миллиметры и требуется особо острый глаз.

— Сват, чем ты будешь заниматься, когда уйдешь на пенсию? — спрашиваю я.

На его красном лице недоумение.

— Как то есть чем? Тем же, чем мы сейчас занимаемся. А ты что, цыплят разводиться собираешься?

— Да нет. К сельским занятиям я непривычный. Мне хотелось бы совершить круиз.

— А что это такое?

— Когда Юрий женился на Ирине, они сразу в этот круиз отправились.

— Куда?

— Да куда определено. Вокруг Европы.

— Ну а тебе это зачем? Ты что, по Европе за войну не натопался?

— А я в другие места поеду, на острова. Скажу по секрету: я теперь все вечера напролет книжки про всякие приключения читаю. Раньше-то все больше техническую литературу читал — по слесарно-монтажному делу, по химии...

— А тебе не кажется, сват, что это показатель возраста? По пенсии скачаешь! — насмешливо говорит Федор.

— Скажешь тоже! — огрызаюсь я, а сам невольно задумываюсь над его словами: есть в них что-то похожее на правду...

— Ну а когда вернешься из этого самого? Что делать будешь? — прерывает мою задумчивость Федор.

— Тогда опять на монтаж...

Теплообменник велик — это металлический цилиндр с пучком труб из специальных сталей. Работы хватит до конца смены.

В обеденный перерыв решаем сходить в столовую. Но пообедать не удастся. У столовой меня поджидает младший сын Костя.

— Наконец-то тебя дождался!

— Чего это я вдруг тебе потребовался?

— Небольшая просьба: можешь позычить сто рублей?

— Позычить? Это с каких же пор отец дает сыну займы?

— Ладно... Позарез нужна сотня!

Костя — холостяк. Получает прилично. Я даже заинтересован — зачем ему деньги?

— Зачем?

— Что «зачем»?

— Ну, деньги.

— Деньги, батя, всегда нужны. А тут особый случай. Отойдем-ка.

И он ведет меня в укромное место, подальше от людей.

— Так вот: я прогорел. На прошлой неделе справлял свой день рождения. Ну и подрастратился. А до получки — глаза вытаращишь.

— День рождения? Это с какой же стати? Ты что, фон-барон какой, чтобы свои юбилеи справлять?

— Да при чем тут юбилей? Повимаешь, мне нужен был предлог, чтобы пригласить нужных людей. Вот я их и пригласил.

— Нужных людей? А зачем они тебе нужны, эти нужные люди?

— Нужные люди всегда нужны.

— Не дам.

— Почему?

— Я никогда не подпаивал нужных людей и, слава богу, без них прожил.

— Что верно, то верно. А толк какой: был слесарем и остался, а мне нужно начальником цеха стати!

— Таким способом?

— При чем тут способ? Должен же я общаться с влиятельными людьми? Я же не гений какой, обыкновенный инженер.

— С ними можно общаться и так, не за рюмкой водки.

Костя усмехается.

— Они водку не пьют.

— Тем более. А на коньяк у меня для твоей компании денег нет. И, кроме того, мы с матерью собираемся в круиз.

У Кости округляются глаза от изумления:

— В круиз? Это еще зачем? Ведь это же стоит кучу денег!

— Знаю. Не твои заботы.

— Это ты серьезно?

— Само собой. А ты, по моим наблюдениям, часто закладывать стал — с поводом и без повода. Жениться пора.

— А я и собираюсь жениться! — обрадованно выпаливает он, и в глазах его вспыхивает надежда.

— На ком же это?

— На Люсе Головневой, дочке начальника отдела кадров.

— А! Знаю. Рыженькая такая, вертлявая...

— Во-во... Нравится?

— Ничего девчонка. Только не пойдет она за тебя, оболтуса.

— Ого! — нагло смеется Костя. — Уже идет!

— Когда же свадьба?

— Нынешняя свадьба денег стоит, батя. «Чайка» с лентами, кукла на бампере, гости, ресторан... А у меня, как ты, наверное, уже догадываешься, на се-



как черт, поест даже не успел... Ишь, адвокат выискался, зятка своего как защищает,— бурчит про себя Балашов.

— Василий небось ругался с Юрием? — осторожно спрашиваю у надувшегося бригадира.

— Ругался! В министерство, мол, буду жаловаться на ваших управленцев. Стройматериалы поставляете нерегулярно, цемент тоже, документация малограмотная.

— Это как?

— А вот так. Там неправильно рассчитали, тут не докумекали, здесь на чертеже размеры забыли поставить, а мы, мол, на практике доводи, а ведь это все время, а время у нас теперь, мол, деньги... Ну, прямо как при капитализме, все деньги да выгода... — Балашов зло усмехается, вытаскивает из кармана сухой кусок хлеба и сиротливо грызет его острыми зубами.

Да... Что-то не клеится у нас с самого начала.

После работы по дороге к автобусу нагоняю Василия с Варькой.

— Ну что, наработались сегодня, навоевались?

— И наработались и навоевались,— усмехнулся Василий.

— Муж кует, жена дует — что-то будет? — Варька сдержанно смеется, а Василий говорит многозначительным тоном:

— Что-нибудь да будет!

— Говорят, ты с Юркой поцапался?

— Поцапался,— зло отвечает Васька и кривит в усмешке губы.— Выучил ты, батя, бюрократа на нашу голову.

— А ты скорей жаловаться на него... Сперва добейся того, чего он добился, а потом руками размахивай.

— Добился... Это ты для него добился.

— А ну тебя! — рассердился я.— Метод придумал! Да хоть двадцать методов придумай, все равно рабочим был, рабочим и останешься.

— Ты все свое, батя! — с досадой проговорил Василий.— Дело не в том, кто ты — рабочий или интеллигент, а в том, какой ты хозяин. Раз о тебе говорят, что ты хозяин всего, вот и покажи, как ты умеешь хозяйствовать, распоряжаться временем и средствами...

— Хватит ли у тебя пороку? Не сломал бы себе шею на этом деле!

— Надо же кому-то начинать... — усмехнулся Василий.— А то все только уговариваем друг друга работать лучше, качественней, быстрее... А об Юрке ты не беспокойся, все это ему только на пользу пойдет. Наконец-то он хоть инженером себя почувствует. Я его заставлю рылом хрен копать. Видишь ли, он рисковать боится...

Поди поговори с ним... Одним словом, ситуация. Сейчас за кусок хлеба дрожать не надо, каждый может выбрать себе дело по душе, и Васька мог бы не хуже Юрки большим делом заворачивать, только учись. А он: хочу, говорит, наподобие тебя быть рабочим, так как вы с матерью всей своей жизнью подали мне пример хороший... Ну что тут скажешь? Издевательство над родителями и больше ничего. Знал бы он, как жизнь-то отца крутила, не больно бы хорохорился. «Пример»... Конечно, что им? Жизнь для них словно прямая дорожка, посыпанная золотым песочком и освещенная солнцем. Отечественная так далека, все равно что война с Наполеоном, а для нас она вчерашний день, хоть и прошло с тех пор тридцать с лишним лет. Как сейчас помню последний день войны. По радио о перемирии сообщают, а над нашими головами еще снаряды свистят. Я вот живой остался, а мои братья Иван и Миша в тот день и были убиты. В последний день! Не досадно разве?

Да, нашему поколению досталось — сплошные сложные ситуации. И я из этих ситуаций за свои пятьдесят семь лет вроде бы и не выходил ни разу — с самого рождения мотает меня то туда, то сюда, а потом то дети, то внуки, обо всех думай, обо всех заботься, а они все тебе и не благодарны, вроде пренебрегают даже, лишний раз в гости не позвуют.

— Все же авторитет брата не подрывай,— пытаюсь я внушить уже добром.

Кто их знает, шутоломных, захочет Васька доказать свое «я» и начнет выпендриваться, упрямый черт. С тех пор как я его из дому шуганул, он к нам ни ногой, так ни разу и не бывал. Варька с внуками заходит, а он ни-ни...

Васькина бригада уже дня три сидит без бетона — нет цемента. Кирпич наконец привезли, но не в контейнерах, а на полуторке. Стали сгружать — побили половину. Васька стал ругаться, а они:

— Наше дело маленькое, приказано завезти, мы и завезли. Контейнерами не заведем.

И укатили, а рабочие до обеда с кирпичом возились.

Васька опять побежал в управление к Юрке. Опосля жаловался:

— Часа три держал меня в приемной. Важный такой. Сидит при галстучке и ручкой по бумажке водит. Дескать, где я тебе возьму цемент, у меня не одна твоя стройка, всем нужен цемент. «Так вы же договор с нами заключили, говорю. Мы обязались объект на два с половиной месяца раньше сдать...» «На сорок процентов метите?» «Хотя бы, что же в этом плохого?» «А то, что я не обязан создавать вам условия в ущерб другим. Этак всякий может... Сидите без работы? Временно переброшу на другой объект. Мне нужен план, объем освоенных средств». — Васька так здорово передразнил Юрку, что мне даже смешно стало. — «План планом, говорю ему, но мы ведь полностью отвечаем за объект. Инициатива-то снизу идет, от рабочих. Ты как коммунист должен понимать и поддерживать эту инициативу, а ты ее хочешь подрубить под корень. Будем жаловаться на тебя в партком управления». «Да ничего я не хочу зарубить, — разозлился он наконец. — Нет у меня цемента, нет! Что я его, рожу тебе, что ли? Цементный завод неритмично поставляет». «А ты заставь! — говорю. — Ваш трест тоже заинтересован. Твоя задача не только бумажки подписывать, но и перспективы искать». «Заставишь их... Я уж и так со всеми на ножах». Тут входит Ирина, экономист его, с какими-то бумажками. Увидела меня, бровки свела, губки поджала и говорит: «Что вы ходите тут скандалите, авторитет его подрываете? Из-за ваших прожектов — так и сказала: прожектов — он работы скоро лишится». Я сделал вид, что ничего не слышал, что она там сказала, защитница нашлась, и опять Юрку за горло: скоро будет цемент? Он этак плечиками пожал, но кивнул утвердительно, а я так и не понял, что он хотел сказать... На том и разошлись.

В это время подошел Федор со своими подначками и начал, как всегда, философию разводить:

— Привыкли работать спокойненько, без тряски, а тут — давай-давай, вот и не нравится быстро поворачиваться. Бюрократ, он формально всегда неуязвим, на то он и бюрократ, чтобы व्यюном виться. Я этих бюрократов на своем веку встречал пачками. Не зашлет какой-нибудь Иван Иванович вовремя такелажное оборудование — жди, выясняй. Простой, разложение коллектива. Ему-то, Ивану Ивановичу, торопиться некуда, у него таких бригад десятки, а то и сотни. Всегда можно найти объективную причину задержки. Ну, пожурят на крайний случай — и все. А он из своей халатности себе уже должность сделал, все ему в рот заглядывают: подпишет или не подпишет? А Иван Иванович куражится: то он на заседании, то на пленуме, то в отъезде, то у него неприятные часы. А дело стоит, миллионное дело...

И пошел, и пошел языком чесать... Я ему говорю:

— Что же, по-твоему, Юрий такой?

А он:

— Да нет, это я вообще...

Вообще... А в Юркино положение войти: где он возьмет цемент? Все ругаться нужно, а начальство таких не любит, оно любит уважительных, спокойных...

А тут еще с Костей происшествие.

Прихожу на работу — меня встречают гробовым молчанием. Один Филюшкин с ходу набрасывается:

— Здорово, дядя! Поздравляю с именинничком.

— С каким еще именинничком?

— Будто не знаешь? С Константином Николаевичем. Весь завод гудит. Ну вы, Касьяновы, даете, ха-ха-ха!

— Ты говори толком, в чем там дело, а не ломайся передо мной как копечный пряник.

— Но-но, полегче... Привыкли на других покрикивать. Как же, династия...

Филюшкин, конечно, — балаболка, но его слова все же настораживают. Что там еще Костя натворил?

— Мне некогда твои загадки разгадывать, — говорю я ему. — Или выкладывай, что ты знаешь, или катись подальше.

Рот Филюшкина кривится в какое-то подобие усмешки, ему явно хочется поизгаляться надо мной, унизить, сравнить с собой.

— Каталяжка Константину-то Николаевичу грозит, каталяжка...

— Ты что, сдурел? — обозлился я. — Ай с похмелья? Иди проспись.

— Это вы, Касьяновы, с похмелья. Один какой-то метод выдумал, чтобы, значит, 'отличиться, выслужиться, орденок заработать, другой такое изобрел, что государству миллионные убытки. С такими изобретателями по миру пойдешь, ха-ха-ха! — Он весь так и корчился от деланного смеха.

— Тебя не спросили, что нам делать, — как можно спокойнее говорю я: чего собачиться с этим пьяницей, ему ведь только того и надобно.

— А Константина Николаевича все-таки посадят годика этак на три, а то и побольше...

— Не мели, Емеля, — говорю я, а у самого кошки заскребли на сердце: о чем толкует паршивец?

А Филюшкин все куражится и куражится, прямо-таки наизнанку выворачивается:

— Филюшкин, конечно, такой-сякой немазанный, но в тюрьме пока не сидел, не-ет.

— Не тоскуй, посидишь еще, — осаживаю я его.

Тут подошел Федор и свирепо-воззрился на Филюшкина. Филюшкин сразу ретировался, Федора он почему-то побаивается.

— Слушай, сват, что-то и правда народ болтает о твоём Косте неладное, — говорит мне тихо Федор. — Пошел бы в заводское управление, что ли, узнал...

— Чего именно болтают-то?

— Не знаю, — уклоняется Федор и делает вид, что очень занят осмотром заглушки.

У меня душа в пятни уходит: раз уж Федор говорит, значит, действительно что-то произошло из ряда вон выходящее.

Не помню, как добежал до заводского управления. Рванул на себя дверь и очутился перед секретаршей Людмилой Викторовной. Она увидела меня и руками развела.

— Твой-то, а? — сказала трагическим голосом.

— Чего он натворил? Можете толком объяснить? — взмолился я.

Но тут открылась дверь и я увидел Костю. Он секунду смотрел на меня ошалелыми глазами, видно не ожидая такой встречи, потом быстро захлопнул дверь.

— Эй-эй, погоди! — закричал я, бросаясь в погоню.

Костя ждал меня в коридоре. Недовольно нахмурился:

— Что у тебя, батя, за манера? Кричишь, гонишься за мной, ну прямо кино, ей-богу. — И такую мину скорчил, будто раскусил горького червяка.

— Ты что надо мной насмешки строишь? — разозлился я. — Он еще смеет грубить, щенок!

— Какие насмешки? Просто я взрослый человек.

— Поговори у меня, я тебе язык-то ниже пяток пришью, не погляжу, что ты взрослый... Чего ты там натворил? От меня все как от чумы шарахаются.

— Что натворил, то натворил, сам отвечать буду, ты-то здесь при чем? — И посмотрел на меня чужими глазами.

- Не забывай, что ты Касьянов!
- Костя поморщился.
- Ну, Касьянов, а дальше что? Подумаешь, дело какое.
- У Кости обиженное лицо. Буйная кудря по-модному почти закрыла один глаз. Это меня почему-то особенно разозлило.
- Скажешь ты наконец, чертова голова, в чем там у тебя дело? — взрываюсь я.
- Костя вздыхает, хмурится, но тут же принимает независимый вид.
- Карьеру, батя, сделать хотел, да, кажется, сорвалось.
- Одним рывком, значит? И денег, поди, мечтал много иметь?
- А почему бы и нет?.. Ну ладно, сейчас вот что: можешь помочь мне своим авторитетом?
- Даже отца родного хочешь использовать как нужного человека?
- Ну вот... Попросить ни о чем нельзя!
- Попроси своего будущего тестя, начальника кадров. Впрочем, его дочка чихать теперь на тебя хотела — нынче перспективных женихов любят.
- Ну да! — усмехается Костя. — Люська за мной как за декабристом...
- Декабрист... Ну выкладывай, на чем погорел.
- Хорошо. Пойдем на улицу, а то любопытных много.
- Костя был прав: мимо нас то и дело проходили в контору люди.
- Мы вышли на улицу. Нас обдало сухим жаром, ослепило, в нос ударил теплый горький запах степной полыни.
- Видал, какая жара? Говорят, сто лет такой не бывало. Она, проклятая, и погубила мою карьеру, — сказал Костя, увлекая меня в тень.
- Каким же образом?
- Понимаешь, от жары стали перегреваться установки, а чтобы снимать с них тепло, нужна холодная вода, усек?
- Усек.
- А где взять холодную воду, если даже в тени температура воздуха плюс тридцать? Хоть закрывай цех да и только, а тут еще начальник цеха укатил в Сочи морские ванны принимать.
- И что же ты придумал?
- Я предложил для охлаждения использовать артезианскую воду из скважин, там она холодная. Начальство обрадовалось: новатор, спаситель! А через неделю чепе. Стала протекать колонна синтеза, потекли трубопроводы, вентили и другое оборудование. Все разъела коррозия. Вода оказалась очень жесткой, с большими примесями.
- Я молчал, ошеломленный размерами катастрофы. Загубить колонны!
- Кто же знал, эксперимент... — оправдывался Костя. — Миллион меньше, миллион больше...
- Что ты наделал?! — сказал я, еле переводя дух. — Как ты, без году неделя инженер, мог взять на себя такую ответственность, ни с кем не посоветовавшись?
- Да ты, батя, не волнуйся, мне ничего такого не грозит, отвечать все будем... — торопливо проговорил Костя.
- Да разве же в этом дело?! Начальник цеха вернулся из отпуска?
- Прикатил... Судом грозитесь. Только наюся выкуси.
- И что же теперь?
- Закрываем весь цех на ремонт. А жаль, не удалось старого черта ссадить. Ему давно пора на пенсию.
- На пенсию... Портачить мастера, а старые черти выручай? Только вылупися — и уже командовать хочешь? Что я теперь матери скажу?
- Ничего пока не говори, — испугался Костя. — Я выкарабкаюсь, вот увидишь, зря, что ли, нужных людей коньяком поил?
- Тыфу, — плюнул я в сердцах и пошел от Кости словно мешком ударенный.

Возвратился на площадку совершенно разбитый, левый бок будто заковало — рукой пошевелить не могу. А тут еще Федор вроде специально меня поджидал.

— Ну что там стряслось? — спрашивает и голос невольно понижает, чтобы никто не услышал.

Меня охватывает злость: тоже мне заговорщик.

— Знаешь, так чего спрашиваешь? Не мог рассказать, что ли?

— Да я в общих чертах. Думал, брехня. Значит, правда?

— Значит, да, — говорю я кратко, чтобы как-нибудь отвязаться, и принимаюся за изоляцию теплообменника.

Федор молча присоединяется. Мы, кряхтя и обливаясь потом, обволакиваем теплообменник асбестовым полотном, пеленаем его словно младенца, крепим изоляцию проволокой. Федор первый не выдерживает молчания и вновь заводит неприятный для меня разговор.

— Хошь обижайся, сват, хошь не обижайся, а в Костиной беде есть и твоя доля вины, — говорит он тусклым, сомлевающим от жары голосом.

— Я-то при чем тут?

— Ты всю жизнь презирал в себе рабочего. Оно у тебя, это презрение, уж в семя въелось и Косте передалось.

Я смотрю на Федора во все глаза — ну, философ! Чего придумал... Демудрился.

— Почему тогда Ваське не передалось?

— Васька — другое дело, Васька в Дарью пошел.

— Ну, мудрец ты, Федор, ничего не скажешь! Ха-ха!

— А ты не смейся. Отчего, к примеру, дерево кривым растет? Вроде и места много и условия подходящие, а оно дует себе в кривизну. А оттого, что его кривизна в самом семени заложена.

— Да у меня все, кроме Васьки, ученые, интеллигенты, не то что у тебя — одна дочь и та сварщица!

— Интеллигенты... — передразнивает меня Федор. — Думаешь, диплом в карман положил и сразу интеллигентом сделался? Загнал Костю ремнем в институт, тот и разобратся не успел, на что по-настоящему-то способен.

— Зато Варька твоя разобралась! — ехидно говорю я.

— Значит, разобралась! Они с Василием рабочие, а интеллигентности в них, может, побольше, чем в иных инженерах.

— Варька твоя куда какая интеллигентная!

На лбу у Федора собираются хорошо знакомые мне морщины гнева — кажется, я его допек. Мне хочется разозлить его еще больше, и я как бы между прочим говорю:

— Если бы не Дарья, не быть бы твоей Варьке за Василием.

Федор молчит, только морщины на лбу обозначились еще резче. Не хватает, чтобы наша словесная перепалка перешла в драку, то-то была бы потеха! Молча продолжаем работу: доканчиваем укладку изоляции и закрываем теплообменник кожухом. Готовый теплообменник стропильщики опустят в реакционную колонну. Но они, как видно, не очень торопятся с подготовкой к этому ответственному моменту — сидят покуривают и ржут как жеребцы, наверное, травят анекдоты.

— Эй, дяди, покурить хотите? Свеженький «Беломор» есть! — кричит нам Филюшкин.

Мне и впрямь охота покурить, да и работу мы закончили. Федор закрепляет проволоку. Чтобы стряхнуть с себя гнет тяжелого молчания, иду к стропильщикам.

— А вы, видать, не торопитесь? — говорю им.

— Чего ради загоняться? Солдат спит, служба идет. Электроподогревателя все равно нет, — резонно говорит Филюшкин и смачно плюет себе под ноги. — Вон твой Костя поторопился, и что из этого вышло?

— Ты Костю не трожь и в чужое не вяжись...

— Ну да, конечно, наш Филат не бывает виноват,— ехидничает Филюшкин и подмигивает ребятам.

— Вам что, делать нечего? — строго спрашивает подошедший вслед за мной Федор и демонстративно обводит взглядом рабочую площадку звена, заваленную всякой всячиной.— Инструмент-то у вас не подобран, я вижу, не разложен как следует и, конечно, не проверен? Может и не подойти.— Федор придиричиво копается в инструменте.— А вы чего тут делаете? Для мебели сидите? — набрасывается он на молодых стропильщиков Гурьева и Авдюхина.

— Мы как звеньевой: что прикажет, то и делаем,— равнодушно говорит Авдюхин: мол, много вас, командиров!

Гурьев смущенно переминается с ноги на ногу, исподлобья бросает выразительные взгляды на Спирьку... Авдюхин круглый, вихрастый, с белыми ресницами, вечно напевает что-то себе под нос, а Гурьев высокий, тонкий, чернявый, с добрыми карими глазами.

«Прикажет»... — передразнивает Авдюхина Федор.— Самим нужно сообщать теперь. На собрании что ли не были? Не дошло до вас, что такое подряд?

— Дядя Федор... — встревает в разговор Филюшкин,— дядя Федор...

— Я тебе не дядя, а Федор Кузьмич. Тоже мне племянничек нашелся! Привык, чтобы с тобой нянчились.

— А и поянчитесь,— озлился Филюшкин.— Плевал я на вас и на ваш подряд! Хочешь, чтобы я на твоего зятка поработал, пуп надрывал, зарабатывал ему орден?

— Ты заработаешь,— презрительно говорит Федор и отворачивается к стропильщикам.— Вот что, ребята, теперь у нас свободная инициатива, каждый должен проявлять свою смекалку, иметь свой маневр. Так что не ждите особых указаний звеньевому, а делайте то, что находите нужным. Чтобы все под рукой было. И рабочее место приведите в порядок. Теперь у нас строгий учет работы. Считайте, что вы сегодня пока что ничего не заработали.

— Как то есть не заработали? Ради собственного удовольствия полдня прели? — заерепенился Филюшкин.

— Тогда скажи, какую конкретную работу записать вашему звену? Что вы сегодня наработали? — строго спрашивает Федор.

— Как что? На склад ходили, все что нужно доставили.

— И только-то?! Вы даже на обед себе не заработали, работнички...

Ну и вьедлив же Федор! Но в данном случае я на его стороне. Удивительное дело, как трудно людям договориться друг с другом. Даже мои дети и то конфликтуют между собой: Васька тянет в одну сторону, Юрка в другую, а Коська вообще не разбери-пойми. Видите ли, я не воспитал в нем ответственности. Здрате, пожалуйста! Словами, что ли, ее воспитывать? Я, слава богу, всю жизнь работал как вол...

Я ворчу и вдруг ловлю себя на мысли, что будто оправдываюсь сам перед собой. В чем-то я все-таки был виноват. В чем? В том, что смотрел сквозь пальцы на Костин ~~проделки~~ <sup>проделки</sup>? Есть в нем что-то такое, чего я не могу уяснить себе. Казалось бы, добился своего, вышел в люди, ну и работай на всю катушку... Так нет же, он хочет чего-то большего, чтоб сразу, в обход в большие начальники прыгнуть! Мол, сейчас эпоха НТР и нечего ушами хлопать, надо дерзать, мильон больше, мильон меньше... Вот как он рассуждает. А в результате? Возвышал его над собой, возвышая, а он норовит моим авторитетом старого рабочего прикрыться. Это как же понимать?

Ей-богу, от этих мыслей страшно хочется выпить. Приду сегодня домой и пропущу стопочку холодной, как лед, водки. Подносишь такую стопку ко рту, ам! — и как Христос по душе босиком пробежал. Сидишь словно оглушенный, в голове у тебя пустота, сплошное блаженство. Думаешь: а ну их всех, выросли — и до свидания, до каких пор за них, чертей, переживать?

В столовую за мной увязался Федор и все говорил о делах. Даже когда мы хлебали щи, он рассуждал о том, что хорошо бы организовать совет из людей нашей бригады и бригады Василия. Я удивился:

— Зачем? У них свое дело, у нас свое.

— Ну и что? — возразил мне Федор. — Объект вместе строим, следовательно, и отвечать за все должны вместе.

— Чем дальше в лес, тем больше дров? Они будут в наши дела нос совать, мы в ихние, получится неразбериха.

— Не получится, — уверенно сказал Федор, доедая свои щи, он их так быстро проглотил, что, по-моему, и не заметил, чего ел. Такой уж у Федора характер, вечно он чего-то изобретает, болеет за общее дело, всех подбадривает, а сам даже поесть по-человечески не умеет и другим не дает. Нудный мужик. Никакой тебе радости в жизни.

— Слушай, Федор, для чего ты живешь? — спросил я его.

Он с недоумением уставился на меня бараньими глазами:

— Как то есть?

— Живешь, говорю, для чего?

— Чтой-то ты вдруг ни к селу ни к городу? — забеспокоился он.

— Вот ты, к примеру, ел, а чего — сам не знаешь.

— А! — засмеялся он. — С этим подрядом забудешь, как тебя зовут. Дело-то стоящее. Интересно ведь, как оно у нас выйдет! Сериков со Злобиным, чай, такие же люди, как и мы...

Ну и сват у меня! Все-таки я его люблю, черта. Хоть он и зануда, а с ним не соскучишься.

Идем с Федором обратно из столовой, вдруг слышим крик, шум на строительной площадке.

— Драка, что ли? — забеспокоился Федор. — Завернем на всякий случай...

Уж такой у свата моего характер — быть во всякой дырке затычкой. Зашли. В чем дело? Оказывается, у них целый скандал в бригаде разыгрался. Три дня сидят без раствора, к тому же металлические конструкции сгрузили какие-то не такие, с дефектом.

На Василя чуть ли не с кулаками лезут, особенно двое усердствуют: один молодой, мордастый такой, лысый, с железным зубом, по имени Жора, другой постарше, крижистый дядька, головастый, Тихоныч. Типичные шабашники.

— Братцы, да что же это такое? — кричит Жора, сверкая железным зубом. — До каких пор мучиться будем с этим подрядом? Когда заработаешь, когда нет, а бабы думают, что мы все пропиваем.

— Точно... — загудел Тихоныч. — Прошлый раз получку бабе принес, так она меня чуть из дому не выгнала. «Ты что, говорит, старый черт, молодую любовницу, что ли, завел?» Да, говорю, завел. Ее фамилия Подряд. А она: «Хохлушка, что ли? Я вот ей зенки-то повыщарапаю, будет знать, как мужиков грабить...» Давай, говорю, давай, давно бы...

Кругом засмеялись, а меня разбирала злость: тоже остряк выискался, козяга старая, агитацию тут разводит.

— Ты, бригадир, скажи там, в управлении, чтобы нас временно на другую работу перебросили! — кричит кто-то из рабочих.

Василий стоял в этой гуще злой как черт, перекатывал желваки на скулах. Мне даже любопытно стало, как он из этой ситуации выберется.

— А ну тихо, чего расшумелись? — властно кричит он. — Кому не нравится, может увольняться. Насильно никого не держим.

Я даже испугался — а ну как все возьмут да уйдут. Но смотрю, народ притих, слушает.

— Плох вам подряд? Да вы людьми себя почувствовали! — убеждал Василий.

В общем, мы с Федором не дождалась окончания этой истории — нужно было идти к своему делу. Федор по своему обыкновению тут же пустился в философию: нет, мол, настоящих хозяев, каждый пупкин на своем месте думает, что достаточно подписать приказ — и все так и кинутся его исполнять. А тут.

мол, нужна инициатива, въедливость, постоянный контроль и риск, конечно. А кому охота рисковать?

— Круговая порука — вот что у нас самое страшное, — монотонно бубнил Федор.

После обеда появился Балашов и сообщил, что инженер Прокофьев послал на энский завод людей на грузовой машине за электроподогревателем, но люди вернулись ни с чем. Там сказали, что неправильно оформили документы.

— Что же теперь, второй раз машину гнать в этукую даль? — неодобрительно проговорил Федор и даже крикнул от возмущения.

Балашов безнадежно махнул рукой.

— Выходит дело, так.

— Ничего себе, — недобро усмехнулся Федор. — Это во сколько же обойдется нам наш же электроподогреватель? Кто-то виноват, а мы расплачивайся?

— Расплачиваться будет наш заказчик, химический комбинат.

— Да кто бы ни был! Все у нас какая-то неразбериха везде, непорядок, а люди стараются — и все зря, — продолжал возмущаться Федор.

— То-то и оно, Федор Кузьмич... Был бы порядок...

Балашов выглядел каким-то затравленным, даже глаза косили от возбуждения. Жаль парня. А тут еще личная жизнь. Вчера вечером пришел к Лидке подвыпивши и учинил скандал. Все надеется, что сойдутся, Павлика очень уж любит, ну и Лидку, наверно, — сколько лет прошло, а он не женится. А к ней повадился ходить один паренек с капронового комбината — Славик Голощапов, техник по капроновому волокну. Сошлись они на зебре. Сначала-то я не понял, думаю: к чему тут еще зебра затесалась? Сойдутся вечером в Лидкиной комнате и все про эту самую зебру толкуют. Я уж подумал, не собираются ли они пожениться и поехать в круиз, как Юрка с Ириной. А дело-то оказалось совсем другого рода. Зебра вовсе не зебра, которая проживает в Африке, а всего-навсего капроновая нить с утолщениями. Утолщения эти образуются в процессе кручения нити, и никто не знает, отчего они получаются и как с этими утолщениями бороться. Из этой капроновой нити делают женские чулки. И если попадают утолщения, то при окраске чулки становятся пестрыми, зебристыми, так как утолщения краски впитывают больше. Это я уж потом все узнал, мне Дарья растолковала.

Славик изобрел какой-то способ ликвидации утолщений. Парень-то он с головой, но образования, как говорится, не хватало, вот он и обратился к Лидке как к инженеру за помощью. А потом я стал замечать, что они не только зеброй занимаются, а и любовь крутят. Однажды слышу, Лидка говорит Славике: «А твоя зебра — неплохая тема для моей кандидатской. Хочешь вместе работать? Проставлю тебя... Я давно нишу тому...» Он что-то ей сказал, я не расслышал, и они засмеялись оба.

Грешным делом, я пожалел этого парнишку. На вид смиренный такой и лет на пять моложе Лидки, а ей уже тридцать и характер у нее просто никудышный — упряма, своенравна, всегда хочет на своем настоять. Из-за своего дурацкого характера она и с Балашовым-то разошлась. Вышла за него, когда он был простым монтажником. Я, между прочим, говорил ей: подумай, парень-то он хороший, но не ровня вы. Не послушалась. А потом начала из него кишки мотать — все ей не так и сам он какой-то не такой, неинтеллигентный. Мужик терпел-терпел да и взвился: а, мол, стыдишься рабочего мужа, со студентами путаешься! Стукнул ее разок в пьяном виде, она его и вышвырнула. Ему бы в жены какую попроще, а он женился на сатане. Теперь этого приласкала. И чего они к ней липнут?

Видно, Балашову кто-то сказал, что Славик к Лидке ходит. Вот он и явился вчера в подпитии и сразу с кулаками на Славика полез. «Ну ты, — говорит, — зебра, чего к чужой жене пристаешь? Тебе девок мало?» Да хватъ его за грудки

и давай в кулаке его рубаху закручивать. А Лидка стоит в сторонке и спокойно смотрит на все. Дарьи как раз дома не было, у нее был депутатский день, а Павдика с детским садом на дачу отправили. Балашов, конечно, знал все, а то бы не посмел прийти. Я выскочил из своей комнаты, кричу Лидке: «Чего же ты смотришь?!» А она: «А чего? Пусть Балашов всю свою дурь вывалит, ему не привыкать». Тут Балашов бросил Славика трепать и в дверь. А Лидка ему вслед: «Дурак...»

Вот такая история произошла у нас вчера с Балашовым. А сегодня он и в глаза мне от стыда не глядит. Но я ему вполне сочувствую. Только дела его плохи — Лидке нужен Славик с его зеброй, и она от него не отступится. Все-таки есть у нее с Коськой что-то общее.

После обеда мы с Федором крепили хомут с опорными ребрами к верхней части теплообменника, затем устанавливали в нижнюю крышку колонны медную прокладку. Упарились будь здоров.

Филюшкин с Авдюхиным и Гурьевым занимались такелажным оборудованием: проверяли лебедки, якоря, блоки, готовили отдельные детали для строповки. Спирька гонял своих мальцов туда-сюда, материл их своим хриплым дишкантом. Федор неодобрительно качал головой. Потом не выдержал и позвал Филюшкина к себе.

— Ты что же это делаешь, Спиридон Алексеевич? — укорил он его. — Всю работу гребешь под себя, а ребят держишь на подхвате? Этак они ничего не заработают.

— А что они могут? — огрызнулся Филюшкин.

— Так обучать их надо...

— Еще чего! Няньку нашли. Пусть глядят, за погляд денег не беру. Со мной небось не нянчились.

— Незаменимым хочешь быть и, соответственно, рубли зашибать? Негоже это, нужно совесть иметь.

— Больно свято звонишь: чуть на небе не слышно. — съязвил Спирька.

— Ты дождешься, что мы назначим звеньевым другого человека, — разозлился Федор.

— Ха-ха! Кого же, хотел бы я знать?

— Найдем... Того же Гурьева, он, видать, парень с головой, давно за ним наблюдаю.

— А кто ты такой, в конце концов, чтобы меня прорабатывать? — возмутился Спирька. — У нас бригадир есть на это. Подумаешь, активист... Мы, мы, размыкался! Такой же звеньевой, как и я.

— Ладно, на общем собрании поговорим, — мрачно сказал Федор.

— Пошел ты... — И Спирька демонстративно показал нам спину.

— Кулак... — зло сказал Федор. — Научился узлы вязать, так уж кум королю, на козе не подъедешь, мастерство свое, видишь ли, оберегает.

— Охота тебе нервы мотать, — досадливо сказал я Федору.

— Ребят жалко...

— Ничего, пусть сами учатся за себя стоять. Потерпят-потерпят да и выскажутся. Научатся мышей ловить.

Перед самым концом работы зашел Василий и пригласил всю нашу бригаду на планерку.

— Ну как у вас дела? — спросил я его.

— Дела как у того Касьяна: есть лошадка — нет семян, и наоборот. Теперь с песком и гравием затор.

На планерку собрались в том самом цехе, где когда-то было принято решение перейти на подряд. Теперь этот корпус в основном был готов. Притащили из конторы стол для начальства, стулья. Народищу набилось дай боже!

Наконец прибыло и начальство. Все расступились, пропуская секретаря парткома управления Алексашина, главного инженера управления Касьянова,

представителей из обкома, еще каких-то управленцев. Расселись. Юрий, как всегда, в костюме, белой рубашке и галстук. Он считает, что начальник при исполнении служебных обязанностей должен быть официален. Я слышал, как он однажды Костю поучал: ты, говорит, брат, слишком свойский парень. Людей, мол, нужно держать на расстоянии, жить легче будет.

Василия с Балашовым пригласили в президиум — два бригадира, мол, работающих методом подряда.

Первому дали слово Василию. Он начал отчитываться за проделанную бригадой работу, а я слушал и удивлялся, как много они сумели сделать за такой малый срок.

— Сделали бы и больше, если бы управленцы были порасторопнее. У нас сложилось такое впечатление, что они до сих пор с недоумением относятся к бригадному подряду. Мол, все это бзика отдельных людей, разве такое возможно?

Кое-кто засмеялся. Я посмотрел на Юрия, он был, как всегда, невозмутим. Только раз взглянул на Василия, но даже бровью не повел. Ну и выдержка! Зато секретарь парткома Алексашин слушал Василия с большим интересом. Его косматые брови сдвинулись, словно он что-то про себя взвешивал.

— Можете сказать конкретно, что мешает вашей работе? — задал он вопрос Василию.

— Во-первых, плохое планирование работ. Из-за нерасторопности управленцев мы сейчас работаем, по сути, вслепую.

— Как это понять? — живо заинтересовался Алексашин.

— Мы не знаем, с выгодой работаем или с убытком, так как расчеты нам пока еще не представлены.

Алексашин быстро записывал слова Василия.

— Очень сложно обстоит дело с начислением зарплаты. Пока не решен вопрос, как ее начислять, — продолжал Василий. Он очень разволновался, рывком расстегнул ворот рубахи, глотнул воды из стакана.

— Почему же не решен? — опять поинтересовался Алексашин.

— Об этом нужно спросить управленцев.

Юрий усмехнулся снисходительно так и заговорил:

— Я предупреждал Василия Николаевича, что бригадному подряду должна предшествовать длительная подготовка. Нельзя так сразу. Годами выработывался какой-то стиль работы — и вдруг трах-бах, взрыв... Конечно, мы немножко растерялись. Все настолько взаимосвязано, что очень трудно порвать эту крепкую цепь.

— Вот именно, — громко сказал Федор. — Круговая порука!

— Вы что-то сказали, товарищ? — поинтересовался обкомовец, вытягивая шею и отыскивая глазами Федора.

Но Федор стал красный как бумажка, совсем стушевался.

— Трах-бах, значит? — усмехнулся Василий. — А экономическую реформу вы проспали, что ли? От нее прямая дорога к подряду. Технический прогресс не ждет, он требует новых форм организации труда. Пора и управленцам проснуться. Ведь что получается? Сидим то без цемента, то без гравия, то без песка. Без конца переключаемся с одной работы на другую. С одной стороны, это хорошо, люди осваивают смежные профессии, а с другой — основные работы задерживаются. Подряд прежде всего поток.

— Правильно! — кричат с мест.

— Вот и выходит, что рабочие выдвигают прогрессивные формы труда, а управленцы тормозят. А кто такие эти управленцы? ИТР, инженеры. — Василий обвел взглядом весь зал.

— А ведь правильно говорит товарищ! — обратился Алексашин к Юрию. — Молодец...

Ну и ну! На моих глазах происходила потасовка двух братьев, моих сыновей, а я не знал, на чью сторону мне стать.

После того как Алексашин поддержал Василия, народ оживился, загалдел, многие захотели высказаться.

Федор сидел как на иголках — то привстанет, то сядет, затолкал меня совсем. Наконец поднял руку и попросил слова.

— Я предлагаю выбрать совет из членов бригады Касьянова и Балашова. Пусть совет решает все дела внутри бригады.

Все были в недоумении, на минуту установилась тишина. Потом Алексашин серьезно сказал:

— Очень хорошая мысль, очень! Я бы предложил еще создать партийную группу, пусть коммунисты проявят свою активность.

Вот так Федор! Видать, далеко пойдет! Как бы не скovyрнул Балашова с бригадирства — парень он честный, но трусоват. В чем-то Балашов смыкается с Юрием. Все новшества его раздражают. А Федор ого-го...

Разговор получился бурный. Даже Балашов высказался: мол, бригадиру некогда бригадой руководить, он целыми днями бегаёт что-то проворачивает. А когда стали предлагать кандидатуры в совет, я услышал свое имя и фамилию:

— Николая Васильевича Касьянова!

Вот те на... Я даже растерялся.

— Я против! — закричал Филюшкин. — Сплошная семейственность: куда ни ткни пальцем — в Касьянова попадешь!

— Может быть, прикажешь тебя выбрать? — усмехнулся Федор. — Так ты насоветуешь... в какой кабак пойти.

В общем, совет выбирали долго. Вошли в него и мы с Федором. Ну, конечно, Василий и многие ребята из его бригады. Балашова не выбрали: и так, мол, начальства много. Совету давались большие полномочия: контролировать доставку материалов, работу механизмов, вести табель. Совет будет решать вопросы о премиях. Мы с Федором теперь можем призвать к порядку любого члена своей бригады и даже бригадира Балашова. Ну, Филюшкин, держись! Да... Заварилась каша. Теперь хочешь не хочешь, а придется включаться.

Наконец этот трудный и утомительный день кончился. Я не стал ждать Федора, пошел домой.

Вечерняя степь наводила на печальные размышления. Побуревшие жесткие травы, земля, изъеденная солнцем, кроваво-красный закат — все внушало грустные мысли. Все-таки жизнь длинная штука. Устаешь от забот. Заболели внуки — забота, Костя проштрафился — уже камень на сердце, чем-то вся эта история кончится? Шутка ли дело — вывести цех из строя... Заботы берут тебя в клещи, и ты уж не живешь, а огрызаешься на жизнь. Хочется вырваться из этих клещей, но нет сил их разомкнуть. Мир становится каким-то узким и глухим. А когда-то он грохотал вокруг меня и все было просто и весело. Будущее казалось нескончаемо длинной дорогой и не было этой дороге конца... А сейчас по ночам мучают воспоминания — и хорошие и плохие. Лежишь с открытыми глазами и перебираешь в памяти всю свою жизнь. И вдруг наткнешься на что-нибудь такое, отчего сердце ухнет вниз и все в тебе закричит: не надо! Говорят, воспоминания — это уже старость. Может быть, и так. Но куда от них денешься?

Все-таки что будет Косте и как я скажу Дарье? А сказать надо, все равно ведь узнает от чужих, которые еще приврут и перевернут с так на этак.

Дарья меня встречает озабоченная. На ней праздничная кофта, нарядная косынка, на ногах белые босоножки.

— Вот хорошо, что пришел пораньше! — обрадовалась она. — Мне уходить надо. Все на плите, разогревай и ужинай.

— Куда это ты вырядилась на ночь глядя? — удивился я.

Так не вязался ее праздничный вид с моим настроением.

— У меня задание: обследовать несколько кинотеатров и кафе, — важно сказала она.

А мне-то хотелось посидеть с Дарьей по-семейному у телевизора, душой отдохнуть!

— Задание, задание... Не дом, а контора какая-то... — ворчу я. — На работу придешь — контора, домой вернешься — контора...

— Ну чего же мне теперь делать? — как маленькому сказала Дарья. — Должна же я свои депутатские обязанности исполнять. Народ меня выбирал, надеялся...

— Да разве я что говорю? Иди, пожалуйста.

И Дарья убежала. А я остался один. Без интереса поел жареной картошки с мясом и улегся на диван почитать. Незаметно задремал. Проснулся от громкого разговора в кухне.

— Ну как, Славик, отдаешь мне зебру? — говорила Лида. — Нынче идеи носятся в воздухе, неровен час еще кто-нибудь выскочит на этой зебре.

«Опять зебра», — подумал я. Тут заговорил Славик:

— Нужно еще поэкспериментировать, понаблюдать. А ну как это лишь мои субъективные впечатления? Ведь никакого, в общем-то, открытия пока нет. — Сто лет будешь наблюдать? Пока из-под носа не выхватят?

— Вот ты какая! — удивился Славик. — Тебя, оказывается, слава больше всего прельщает.

— Наивный человек! — засмеялась Лида.

— Почему же? Я к тебе обратился как к инженеру, думал, тебе тоже интересно, а ты уж скорей заявить...

«Ого! — подумал я. — Кажется, Славик щелкнул Лидку по носу. Поделом ей — не связывайся, сатана, с младенцем...»

— Ты это серьезно? — спросила Лида с удивлением.

— Вполне.

— А я-то думала!

— Что ты думала?

— Что тебе ничего для меня не жалко... — Она засмеялась фальшивым смехом.

— Жалко, не жалко... — послышался раздраженный голос Славика. — Я хочу серьезной работы. Мне интересно... Я готов проводить опыт за опытом. А ты мне помоги разобраться.

— Мне некогда опытами заниматься, — обиженно сказала Лида. — Вот ты-то и есть тщеславный человек.

— Почему? — удивился Славик.

— Потому что говорить только о себе — недостаток ограниченных и тщеславных людей.

Что-то мне в этом разговоре не нравилось. Я смотрел на узкую полоску света в приоткрытой двери и курил папироску за папироской.

Тут пришла Дарья и прервала неприятный разговор.

— А, чаевничаете? — весело сказала она. — Ну давайте, давайте, мешать не буду. А где отец?

— Он, кажется, спит, — ответила Лида.

Дарья распахнула дверь нашей комнаты и тут же отпрянула.

— Фу! Накурил-то! Сколько раз просила: не кури в комнате! — Она кинулась открывать окно.

— Виноват. Не хотелось молодежи беспокоить.

Я вышел в коридор и столкнулся нос к носу со Славиком. До сих пор я никогда еще не видел человека с таким несчастным лицом, какое было у него.

— До свиданья, Николай Васильевич, — глухо сказал Славик и неловко протиснулся к двери.

— Заходи, — как можно приветливее ответил я, открывая ему дверь.

— И не проводила его... — заметила Дарья. — Поругались, что ли?

— Кто их знает... Я не прислушивался.

Мне не хотелось передавать Дарье их разговор. Да и не сумел бы его передать.

— Давай, отец, чайку попьем, давно мы с тобой вдвоем не чаевничали. —

Дарья поставила чистые чашки, подала хлеб, масло. — Что ты какой смурной? — вдруг заметила она.

— Я ничего... Устал немного.

— Ты мне зубы не заговаривай. Вижу, неладно у тебя, — строго сказала Дарья.

Ее трудно обмануть, почти за сорок лет нашей совместной жизни она изучила меня вдоль и поперек.

— У Кости дела неважные.

И я рассказал ей о Костиной беде.

— Что ж теперь?! Тюрьма?

Она смотрела на меня тревожно и вопрошающе. А что я мог ей ответить?

— Не знаю, я не прокурор, — сказал я. — Он успокаивал. Все, мол, будем отвечать, не я один... Понизят, наверное.

— Понизят — ладно, а если посадят?

— Да уж теперь потаскают. Одного позору не оберешься...

— Что же там, постарше не было? Доверили мальчишке!

— Ничего себе мальчишка, двадцать шесть лет!

— Может, он и не виноват? Нынче все изобретают да эксперименты проводят. Василий-то? Миллионное дело...

— Там разберутся.

Мы долго молчали, занятые каждый своими невеселыми думами. Дарья сразу будто завяла, обмякла вся, глаза тускло уставились в одну точку. Заметнее стали морщины и седые виски. Эх, Дарья, Дарья... Мы любили по вечерам, когда переделаются все дела, посидеть на кухне, это было самое уютное место в квартире. Здесь можно было покурить, не боясь закоптить занавесок, почитать газету, попивая чай с домашним вареньем. Но сегодня не было обычного уютного настроения. Дарья все так же молча взялась штопать носок, тыча иглой в большую дыру, растянутую на деревянной ложке. А я невидящими глазами смотрел в газету — мысли мои были далеко. Каждый из нас думал, конечно, о Косте.

— А ведь это все ты, отец, твое воспитание, — неожиданно сказала Дарья. — «Учитесь, выходите в люди...» Все время разжигал в них зависть к удачливым товарищам: вон, мол, Зайцев-то уже начальник цеха, а вы что?

— Ты, как Федор, рассуждаешь, ну точка в точку, — сказал я с досадой. — Будто я плохому их учил, пьянствовать, грабить на большой дороге.

Я чувствовал себя несправедливо обиженным. Тянул их всех, тянул, живот надрывал, пока они учились, оказывается, все зря, все не так, а наоборот. А Дарья свое:

— Вспомни, как Василия ломал, Костю. Все кричал: «У других дети по два института кончают, а вы не орлы, не-е-ет! Вы так и смотрите в слесаря...» А Лида? Разве я не вижу? Вся жизнь у нее изломана... Все доброе из них вытравил.

— Зато Федор хороший, единственную дочь в сварщицы запихал.

— Что значит «запихал»? Он просто не мешал ей жить, как она хочет. Варя с Василием одно дело делают, оба счастливы, довольны своей жизнью, никакая корысть их не гложет. А ты внушил нашим детям пренебрежительное отношение к рабочей профессии. Мы-то с тобой кто? Рабочие. А потом жалуешься, что они нас не уважают.

— Совсем меня захаяла. Выходила бы замуж за Федора, чего же ты прозевала?

— Ну вот, ему про Фому, а он про Ерему. Несерьезный ты человек.

— Куда там! Я же не депутат...

— Да ну тебя... — Дарья в сердцах махнула рукой и пошла в комнату.

Отдохнул, называется. Нигде покоя нет.

Ночью я долго не мог уснуть. В окно светила луна, а небо было черное, в мохнатых голубых звездах. Я лежал с открытыми глазами и думал над словами

Дарьи. Давно, наверное, копила, наконец высказалась. А я и не подозревал о таких ее мыслях обо мне. Все, говорит, доброе в них вытравил. Во загнула! Может быть, еще и с Федором про себя сравнивала и жалела, что не вышла замуж за него? Кто их, баб, поймет... Но тут я подумал о Лиде. Передо мной возникло несчастное лицо Славика — понял, должно быть, что она его не любит... Интересно, придет он к ней еще или нет? А Юрий? Осторожный... Ведет себя солидно, и то сказать — главный инженер управления! Не хочет с начальством отношения портить, лампы свои бережет. О Косте уж и говорить нечего... Я, что ли, их такими сделал? Не-ет, не могу согласиться. Я свою работу любил и делал ее честно. Но мне всегда казалось, что быть рабочим просто. И мне хотелось, чтобы мои дети добились чего-то большего. Разве это плохо?..

На автобусной остановке я увидел Спирьку.

— А! Начальство... Мое почтение. — Он снял свою кепку и дурашливо поклонился. — Как самочувствие? Как давление? Солнце-то, солнце бесится!

— А мы без давления обходимся, Спиридон Алексеевич.

— Все равно сочувствую... Правду говорят: от тюрьмы да от сумы...

— Что-то я твоих намеков не понимаю, — сурово оборвал я его.

Этот Филюшкин что черный кот — всегда дорогу мне переходит.

— Константина Николаевича отстранили от работы.

У меня похолодело под ложечкой.

— Кто сказал?

— А мой кореш работал в его цехе. — И он нахально подмигнул мне.

— Не врешь?

— Ну! — обиделся Спирька. — За что купил, за то и продаю. Вчерась еще приказ, говорит, был.

Филюшкин, как видно, не врал, он даже гордился, что первый сообщил мне эту новость (провалиться бы ему...). Ноги мои как-то сразу обмякли, плечи отяжелели, сердце стучало так слабо, что, казалось, вот-вот остановится. «Началось», — подумал я. Вот тебе — «милion больше, милion меньше».

На монтажную площадку пришел в самом паршивом настроении. Даже Федор заметил.

— Заболел, что ли? Аль с похмелья? — спросил он меня.

— Какое, к черту, похмелье?! Тут без вина голова кругом идет.

— Константин небось? Что слышно?

— А то и слышно... От работы отстранили.

— А!.. Этого следовало ожидать. Но ты не расстраивайся, — утешал он меня. — Молодой инженер, туды-сюды... Глядишь, все и обойдется. Понизят, конечно, но бывает и хуже.

— Спасибо на добром слове. Хоть не коришь и философией своей не травишь, и то ладно.

— Тут философия не поможет... — серьезно ответил Федор.

Пришел инженер Прокофьев в своей неизменной ситцевой рубашке и лиловых джинсах. Между прочим, мне Костя как-то говорил, что эти джинсы у спекулянтов по двести рублей. Мол, за марку заграничную берут, чем известнее фирма, тем дороже штаны. Смех, ей-богу... С ума уж все походили.

Прокофьев был веселый. Получайте, говорит, папаша, электроподогреватель. Мы обрадовались: как раз вовремя!

— Второй раз машину гоняли? — спросил Федор.

— Второй... Еще и на этот раз придирались, — усмехнулся Прокофьев.

Я присматривался к его штанам.

— Марка-то есть?

— Какая марка? — удивился он.

— Ну заграничная.

— А! — Он захохотал. — Как же, есть, вот она. — И показал нам крошечную красную нашивку. — Из Голландии привез.

— И что же вы делали в Голландии? — поинтересовался я.

— Работал, учился у капиталистов хозяйствовать, делился своим, советским опытом,— серьезно ответил он.

— Многим теперь почетно связь с нами иметь как с великой державой,— важно сказал Федор.

После вчерашней планерки народ стал чувствовать себя увереннее. Мы с Федором как члены совета бригады потребовали от Балашова четкой организации труда.

— Так вы же сами с усами, знаете, что надо делать,— сказал он недоуменно.

— Мало ли что! — резонно ответил Федор.— Ты бригадир, вот и думай, как работу распределить, чтобы все заработок имели.

Балашов почесал затылок.

— Вы совет? Так советуйте...

Тут вмешался Прокофьев.

— Вот что, товарищи,— сказал он,— первое, что вы должны сделать, это дать нашему монтажному управлению рассчитанную для бригады выработку, предположим, за месяц. А управление уже выплатит вам определенную зарплату, поняли? Мы, конечно, поможем в расчетах.

— А как же индивидуальная зарплата?— спросил Балашов.

— Вот тут-то и нужна ваша личная инициатива, товарищ бригадир,— усмехнулся Прокофьев.

Федор задумчиво ковырял мусор носком сандалии и молчал. Я толкнул его в бок:

— Гони свою философию...

— А чего тут философствовать? Все ясно: учет... Сколько наработал, столько и получай.

— Ясно-то ясно, да не очень...— возразил я ему.

Шутка сказать — сколько наработал, и как еще вдобавок. Мы-то наработаем, а вот молодежь... Опыта нет и сноровка не та, вот тут и думай!

— Конечно, уравниловки в этом деле быть не может,— будто угадал мои мысли Прокофьев.— Есть работы, которые под силу высококвалифицированному монтажнику, они и до подряда оценивались высоко, а есть работы полегче, менее ответственные... Вы же все это знаете. Люди будут заинтересованы повышать свою квалификацию. Основной ваш заработок зависит от снижения себестоимости монтажа и всего объекта в целом.

Наконец-то я начинаю понимать, что такое подрядный метод! Ох и хлопотливое же это дело... Я вспомнил первое собрание и выступление Василия. Интересно, как они ведут учет работы?

Мы продолжали подготовку к строповке теплообменника. Женя Гурьев предложил заменить мощный кран менее мощным.

— Это нам дешевле обойдется,— доказывал он Балашову,— а для строповки насадок он вполне годится.

— И то дело! — обрадовался Балашов.— Молодец!

Спирька заворчал:

— Изобретатель нашелся! А работать я за тебя, что ли, буду? Узлы лебедок смазали?

— Давно уж,— сказал Женя.

— Мусор расчищайте с Авдюхиным.

— Постой-постой, Спиридон Алексеевич,— вмешался Федор.— Ребята получили от бригадира определенное задание, пусть они его и выполняют.

— Какое еще такое задание? — озлился Спирька.

— У меня записано: подобрать и проверить все инструменты, которые понадобятся при строповке, а их, как ты знаешь, немало: проверить зажимные приспособления, ролики, канаты. Так что работа им до вечера.

— Это я и сам все сделаю! Доверять им...

— Ничего, доверишь. Они ребята смышленные. Контролируй, подсказывай, обучай.

Спирьва промолчал, но настоял на своем — ребята чистили мусор, а он делал «благородные», а следовательно, и денежные работы. Федор отметил что-то в своем блокноте, который он постоянно носил теперь в кармане, потом позвал ребят.

— Вот что, молодежь, — сказал он им, — монтажник в своей деле должен быть универсалом — он и моторист, и прихватчик, и такелажник... Буду обучать вас всем премудростям монтажного дела. Согласны?

Ребята обрадовались.

— Толик, — обратился Федор к Авдюхину, — я заметил, что ты к машинам неравнодушен. У нас тягач что-то забарахлил. Можешь посмотреть?

— Попробую, Федор Кузьмич, — скромно ответил Толик.

— Тогда давай! А ты, Женя, будешь нам помогать.

Ребята взялись за дело. Авдюхин, засучив рукава, сновал вокруг тягача, а Женя помогал нам с Федором при гидравлическом испытании теплообменника: следил за вентилем насоса и по указанию Федора то открывал его, то закрывал.

При испытании присутствовали Балашов и Прокофьев. Аппарат был смонтирован отлично.

Составили акт о проведенном испытании. Прокофьев довольно басил:

— Ставлю на вашу работу знак качества.

Сколько лет работаю, а всегда приятно слышать такие слова!

К обеду был починен и тягач. Счастливый Толик, до бровей измазанный машинным маслом, гордо сдавал Федору работу.

— Молодец, — похвалил его Федор, — из тебя выйдет отличный моторист.

В обеденный перерыв мы с Федором пошли в бригаду Василия. Увидев нас, он ехидно спросил:

— Пришли контроль наводить?

— Пришли узнать, как вы начисляете зарплату рабочим внутри своей бригады.

— А! Вот оно что... — Василий хитро улыбнулся. — Только по секрету: у нас есть свой экономист.

— Как?! — удивились мы с Федором.

— Взяли одного пенсионера-бухгалтера, провели его каменщиком, платим ему хорошую зарплату, он все и подсчитывает.

— Слышь, Василий, а нам его нельзя приспособить? — загорелся Федор.

— Поговорю... Платить будете?

— Ну, это же само собой!

— Подожди, — сказал я, — нужно с бригадиром посоветоваться.

— Посоветуемся...

Федор окинул взглядом строительную площадку.

— А у тебя, бригадир, много не порядку, смотри, сколько битого кирпича валяется — на забутовку бы пустили. Изоляция вон в грязь втоптана — не похозяйски. Заржавленные конструкции. Куда их? Только в металлолом? А ведь это все деньги.

— Верно! Накручу хвоста звеньевому. За всем не уследишь! Бегаю целыми днями, добываю то одно, то другое. Бракованные конструкции вернули заводу, а новых нет, вот и свистим в кулак.

Я спросил у Василия, сдавали ли они в СУ расчетные данные по выработке бригады.

— Давно уж! Старик нам все рассчитал как на ладони.

— И что же?

— Пока ничего. Учет ведем, зарплату получаем. Юрка все никак не может договориться с экономистами о точном расчете. Ну ничего! Мы с них все получим, что нам причитается...

— Живем — покашливаем, ходим — похрамываем, так получается, — сказал Федор.

Балашов отнесся к нашему предложению нанять бухгалтера с подозрением:

— Еще чего! Это же незаконно...

— Мы теперь сами хозяева в своей бригаде и можем делать все, что считаем нужным, — убеждал его Федор:

— А нас за это не того?

— Да кому какое дело!

— Так-то оно так, а все-таки... Непривычно все это...

Узнаю Балашова — страшно боится сделать «незаконно». Как бы чего не вышло. Битый час мы его увещевали, прежде чем он дал согласие.

За всеми этими делами я даже забыл про Костю. Вспомнил только под конец рабочего дня. Вспомнил, и мысли у меня, как клубок, завертелись и путаться стали. Я должен был сообщить Дарье о том, что Костю отстранили от работы. Но мне, слава богу, ничего не пришлось ей сообщать. Оказывается, она заходила к Косте после работы на его квартиру.

— Лежит на диване, задрал ноги, и музыку слушает. Приемник на всю катушку запущен. Я ему говорю: «Неудобно, соседей беспокоишь». А он: «Ничего, переживут».

— Ну как он? Здорово расстроенный? — спросил я.

— Расстроишь его. У него одно: «Миллион больше, миллион меньше, вылезу опять». Тут пришла его рыжая, я и ушла.

— Не бросила, значит, в беде? Это хорошо...

— Такого красавца да бросит... Живут уж, поди. Мог бы найти и получше, больно конопата...

— Ты, мать, в личные Костины дела не вмешивайся. Пусть конопатая, зато из интеллигентной семьи.

— Опять ты свое! — рассердилась Дарья. — Нынче все интеллигентные, все десятилетку кончают.

— Зато сват у меня будет начальник отдела кадров! Интеллигент, не то что твой Федор...

— Он такой же мой, как и твой. Да и стары мы для этих разговоров, о детях теперь надо думать, о внуках.

— Хороша старуха, на двух машинах работаешь.

— На трех! Еще одну машину взялась обслуживать.

— Ты с ума сошла!

Дарья засмеялась.

— Не все еще сказала: взялась выполнить пятилетку за три года...

Я даже испугался:

— Отступись, пока не поздно, ведь не семнадцать лет!

— Уже поздно: о моем решении доложили в дирекцию и профсоюзную организацию.

Я смотрел на Дарью во все глаза — ну и баба!

— Все-таки, может, хватит тебе между веретенами танцевать? — уже смиренно проговорил я.

— Что ты, отец, — испугалась Дарья, — скажешь тоже! Да я без своего цеха и жить не смогу.

Да, отлучить ее от работы — все равно что лишить воздуха. Она человек артельный, без людей не может и всегда выбирает где трудней. Как началась война, нас с ней срочно мобилизовали снаряды делать. Машиностроительный завод эвакуировали в Сибирь, а в пустых цехах наскоро организовали изготовление снарядов. Я стаканы вытачивал, а Дарья подтаскивала горячие заготовки. Бывало, тащит в одной руке килограммов десять да в другой столько же. Одежда на ней горит, дымится, лицо воспаленное, сама кашляет, задыхается. Заготовки горячие, а в цеху ледяной холод — простужались часто. Так мы с ней работали неделями, не выходя из цехов. Прикорнешь где-нибудь в сторонке прямо на железных стружках, которые кажутся тебе мягче перины, а через несколько минут уже снова на ногах. Юра у нас годовалый был, с ним бабушка нянчалась, Дарьяна мать.

Вскоре я ушел на фронт, а Дарья так и осталась на заводе. После-то настоящий завод организовали, и она работала на нем до самого конца войны.

хотя из-за малого ребенка могла бы более легкую работу попросить, например шить обмундирование... Господи, неужели это были тоже мы?

Наконец бригаде Василия представили контрольные финансовые итоги их труда. Алексашин, наверное, поспособствовал. И что же оказалось? Бригада все это время работала себе в убыток!

В бригаде полный разброд. Особенно усердствуют два шабашника, Жора и Тихоныч, подбивают бригаду отказаться от подряда.

— Что же это, братцы, получается? Тянули из себя жилы, старались, а на поверку все зря? Перемудрил наш бригадир. Дожили, что и ножки съезжили! — возмущался Тихоныч.

— На кой черт нам этот подряд? — резонно убеждал Жора. — То ли дело аккорд, привольное житье! Не надо ни экономии, ни минуты учитывать. А тут каждый кирпичик на учете, каждый килограмм цемента. Перерасходовал или побил — из твоего кармана...

Многие поддакивали и соглашались, но были и такие, которые давали подобным речам отпор. Мол, значит, при аккорде бей не жалея, государство подбросит, оно у нас богатое? Так, что ли? В общем, у них теперь на стройплощадке всегда шум.

Филюшкин смеялся мне прямо в лицо:

— Ха-ха-ха! Опять гол, товарищ любимый начальник? Доведут твои сыны весь завод до ручки.

— Ты-то чему радуешься? — возмутился я. — Разве тебя это не касается?

— А чего мне печалиться? Я свои кровные всегда заработаю.

— Ты заработаешь... Всех отпихнешь, а свое возьмешь. Только семья твоя не цветет что-то от твоих заработков. Жена уборщицей мыкается, тридцать пять лет, а она уже старуха. Сынишка в чахотку смотрит... Так что не в прок твои заработки, Спиридон, на глотку на свою работаешь...

Спирьку аж передернуло всего от злости, он зашипел, словно каленое железо, когда на него плюнешь:

— Ты за своими смотри. Инженерша-то твоя, Лидия Николаевна, с женатиком спуталась, от ребенка отбивает.

«Еще того не легче!» — испугался я.

— Ты ври, да знай меру, — оборвал я Спирьку.

— Все знают, кроме тебя. Начальника лаборатории подцепила, у него жена и дочка семи лет.

К Лиде действительно заходил какой-то чернявый с пронзительным взглядом дядька. Я еще тогда подумал про себя. «Экий дьявол, глаза так и горят». Словом, мужик ничего, интеллигентный такой, представительный. Лида сказала, что это ее руководитель по научной работе. Она теперь по ночам кандидатскую пишет, проснешься ночью, а под дверь полоса света.

— А ты, оказывается, на все горшки уполовник, — укорил я Спирьку.

Он злорадно захохотал:

— Ага! Не нравится?! То-то же...

Через несколько дней Василий экстренно созвал совет бригады. Он долго отчитывался за всю работу. Выходило, что работали они добросовестно, а получился убыток.

— Как ты думаешь, почему все так получилось? — спросил я Федора.

— Трудно сказать, — задумчиво проговорил он.

Но Василий сам ответил на этот вопрос.

— Прежде чем созвать вас, мы тут произвели кое-какие расчеты с нашим экономистом. — Он указал на лысого дядьку в желтой тенниске. Вот он какой, их экономист! Будем знать. — Пришлось перетряхнуть все финансовые документы, высчитать стоимость каждого механизма, каждого кубометра строительных материалов. Оказывается, неэкономно мы с вами работаем, дорогие товарищи. Мне как-то Федор Кузьмич замечание сделал: мол, битого кирпича много валяется, изоляция в грязь втоптана, металлоконструкции поржавели — только выки-

нуть. Я тогда особенно-то не внял, а ведь он прав был! Все это деньги. Например, доподлинно знаю, что бетононасосы, штукатурные машины, пульверизаторы систематически загружаются у нас не полностью.

Решение было одно: экономить, экономить на всем, изыскивать резервы техники, поощрять рационализацию. Короче говоря, быть в бригаде полными козьями.

Под конец выступил Федор. Он говорил о том, что Филюшкин зажимает молодых, сковывает их инициативу. Мол, хочет не иметь себе равных по мастерству, пользоваться безраздельным авторитетом и сам побольше зарабатывать.

— Что с таким делать?— задал он прямой вопрос.

— Давайте вместе думать,— сказал Василий.— В этом деле должен быть порядок. Такие люди и в нашей бригаде есть.

Стали вносить разные предложения: обсуждать поведение нарушителей порядка в бригаде на общем собрании, давать выговоры, устраивать товарищеские суды. Мне лично понравилось предложение бригадного экономиста.

— Рублем их нужно бить, рублем,— сказал он.

— А как? Не платить ему, что ли? Мы не имеем права,— возразил Федор.

— Зато имеете право частично лишить премии.

— Вот это дело! — обрадовался Василий.

Постановили: за невыполнение распоряжений бригадира Балашова такого-то числа и месяца лишить такелажника Филюшкина Спиридона Алексеевича премии в размере двадцати пяти процентов от общей ее суммы.

— Вот шуму-то будет,— сказал я Федору.

— И не говори,— засмеялся он.

Это было первое наше заседание, и оно мне понравилось. Наконец-то мы сами можем управлять ходом работ!

После заседания мы с Федором подошли к Василию и спросили, согласен ли их бухгалтер работать и на нашу бригаду.

— Анисим Федосенч! — крикнул бухгалтеру Василий.— Можно тебя на минуту? Вот эти товарищи из бригады монтажников. Я тебе говорил об их деле.

Бухгалтер пожал нам руки.

— Василий Николаевич говорил мне... Я согласен. О зарплате договоримся.

— Он не жадный,— засмеялся Василий,— скорее энтузиаст, работает больше из интереса.

Дядька нам понравился. Мы разговорились. Оказалось, он тоже фронтовик — воевал на Втором Белорусском фронте, кавалер ордена Отечественной войны первой степени.

Мы подготовили все к строповке теплообменника. Подобрали для крана нужную лебедку, сделали сани, на которых аппарат будем подтаскивать в зону монтажа. Установили предупредительные надписи. Получили от Балашова конкретные задания и договорились с утра пораньше стропить.

Утро обещало жаркий день. Солнце быстро набирало высоту, теряя алую утреннюю свежесть. Степь влажно блистала капельками росы, слегка курилась под накаляющимся солнцем. Где-то разноголосо кричали петухи, лениво мычали коровы, гулко прохотал пригородный поезд. Хороша утром степь, когда она просыпается и звучит на разные голоса! А кругом такое приволье!

Бригада собралась точно в назначенное время, только Филюшкина не было.

— Опять, наверное, радикулит! — психовал Балашов, то и дело поглядывая на часы.

Такелажники тоже лютовали: мол, безобразие, специально пришли пораньше, а он...

— По карману бьет, по карману,— сказал Федор.

Я предложил стропить без Филюшкина.

— Подумаешь, незаменимый! Да мы с Федором какой хочешь тебе узел завяжем,— убеждали мы бригадира.

— Ну как же так? — беспокоился Балашов,— весь порядок работы ломается...

— Не сломается! — подбадривал его Федор. — В лучшем виде все сделаем.  
 — Хорошо. Только вся ответственность на вас... — предупредил Балашов.  
 Уж так он боится ответственности! Федора надо бы бригадиром, Федора! Да он не соглашается: пусть, мол, растут молодые.

Пробный подъем прошел благополучно. Мы спустили аппарат на сани, осмотрели тросы, проверили узлы и, соблюдая все меры предосторожности, плавно водняли теплообменник на высоту колонны, опустили в нее до упора в ребра хомута. Все! С одной насадкой покончено. Составили акт, и Балашов пошел доглядывать обо всем Прокофьеву, а мы устроили перекур.

Солнце уже накалилось добела, стало маленьким и ядовитым, так и жалило сквозь спецовку.

Федор учил Женю и Толика вязать узлы, а способов вязать узлы на тросах бесчисленное множество.

После обеда появился Филюшкин совершенно трезвый, ни в одном глазу. Мы все сделали вид, что не замечаем его. Спирька неловко перемялся с ноги на ногу, потом спросил:

— Что же за мной не зашел никто?

— А почему мы за тобой должны заходить? — спросил Федор. — Дорогу, что ли, позабыл?

— Может, я при смерти лежал, — резонно возразил Филюшкин. — Тоже мне товарищи...

— Значит, лежал при смерти, а теперь воскрес?

Все засмеялись.

— Может быть, тебе полегче работу подыснать? — продолжал травить Федор. — К еде поближе, к буфету...

— Ну уж остряк нашелся! — фыркнул Спирька. — В конце концов, это мое звено...

— Ошибаетесь, Спиридон Алексеевич, оно уже не ваше, — проговорил подошедший Балашов.

Филюшкин сдвинул реденькие брови, удивленно взглянул на бригадира.

— Чье же?

— С сегодняшнего дня звеньевым назначаю Гурьева. Женя, принимай звено.

Мы все не ожидали такого оборота дела и с любопытством уставились на бригадира. Ай да Балашов! Если его разозлить...

— Да что вы, Петр Сергеевич, какой из меня звеньевой! — испугался Гурьев.

— Ничего, не робей! Будет трудно — обращай ко мне, к Николаю Васильевичу, к Федору Кузьмичу.

— Ну как же... — растерянно лепетал Женя. — Так сразу?

Филюшкин криво улыбнулся:

— Проклядайтесь, товарищ бригадир... Нынче квалифицированный кадр не валяется...

— Зато ты валяешься... пьяный, — хмыкнул Федор.

— Я-то себе работу всегда найду, — продолжал хорохориться Спирька. — Пойду на любую стройку — с руками оторвут. А тут реконструкция, не больно кто пойдет к вам.

— Ничего! — бодро ответил Балашов. — Обойдемся. Нам важно иметь в бригаде добросовестного работника и хорошего человека, а специалиста мы воспитаем. Вы, Спиридон Алексеевич, если хотите остаться в бригаде, принимайтесь за дело. За срыв строповки теплообменника у нас еще будет с вами разговор. Ваш поступок просто хулиганский. Нам надоели ваши спектакли.

— Вам виднее, вы начальство. А я человек маленький, шкурка на мне тоненькая... — ерничал Спирька.

— Ничего! И тоненькая пригодится, — усмехнулся бригадир.

— Ну и хрен с вами, еще поклонитесь! — пригрозил Спирька, но с монтажной площадки не ушел.

— Клоун, — зло сказал Федор, — на греш амуниции, на рубль амбиции. Судить таких надо.

После перепалки с Филюшкиным у всех как-то испортилось настроение. Работали вяло, раздражались, а тут еще жара. Мы готовили к мойтажу каталитаторную коробку: клепали, сваривали, нарезали автогенем трубки, нагнетали прокладки. Сват мой совсем озверел; устроил мне такую выволочку, словно Филюшкину какому-нибудь. И все из-за какой-то дерьмовой трубки. Дело в том, что мне понадобилась трубка нужной длины. Я взял хороший конец и стал из него вырезать. Первую трубку отрезал, чуть-чуть коротка оказалась, будь она неладна. На второй срез мне не понравился, вроде косою. Одним словом, весь конец изрезал, прежде чем получилось то, что надо. И тут надо мной тучей навис Федор. Увидел мою работу и ну прорабатывать при всех самым официальным тоном, будто на собрании.

— Что же ты, Николай Васильевич, делаешь?

— А чего? — не понял я.

— Ты же дефицитный материал портишь. Смотри, сколько бестолку нарезал. Из этого конца можно было пять таких трубок выгадать.

— Тю... — рассердился я. — Всегда так резали...

— «Всегда», — передразнил он меня. — Сам же за экономию ратовал, а сейчас добро зря переводишь. Стареешь, что ли?..

— Подумаешь, трубка! На этом много не сэкономишь, у нас больше пропадает, — попытался я отбиться от Федора. Куда там!

— Потому и пропадает, что хозяева хреновые, — нудно продолжал он. — Небось дема такой конец не стал бы портить за здорово живешь, семь раз отмерил бы, а потом отрезал.

— Пошел ты к черту! — окончательно разозлился я. — Нашел козла отпущения. Сказал бы наедине.

После Федоровой проработки все стали следить друг за другом. Слышу, Балашов кого-то отчитывает:

— Разметь, разметь сначала! Из этого куска гораздо больше прокладок выгадаешь.

Умора да и только! На трубках, на прокладках стали экономить... Раньше мы этот металл для прокладок кромсали и так и эдак, лишь бы побыстрее нарезать и норму выполнить. А теперь, видишь ли, каждую прокладку нужно выгадывать. А этих прокладок — уйма! Ладно. Черт с вами. Экономить так экономить, сами хозяева... Только нахозяйничаешь тут, то одного нет, то другого. Например, нам позарез нужны сейчас запорные вентили, а их нет. Почему, спрашивается? Оказывается, потому, что другой завод, поставляющий для этих вентилях фланцы, вовремя не изготовил их и не отгрузил заводу, делающему вентилях... Куда ни кинь, все выходит клин. На примере нашего подряда я на своей шкуре почувствовал, как трудно добиться четкости в работе. Спрашиваю Прокофьева: что же, мол, делать, товарищ инженер? Вы там в разных Голландиях бывали, изучали опыт, может, что припомните? «Да ничего такого, — говорит, — не припомню, у них совсем другой принцип». Тут, как всегда, встрял в разговор Федор. «То-то и оно, — говорит. — У них хозяин во главе дела. Один. Хищник среди хищников. Если он не будет крутиться, его разорвут в клочки, вот он и крутится. А у нас каждый хозяин, но не всяк хочет это осознавать. Быть хозяином-то — не только распоряжаться, но еще и отвечать. Отвечать не каждый горазд». «Ты, Федор Кузьмич, всегда прав, — сказал я с досадой. — Твоими устами да мед пить, только вентилях все равно не будет. Ты что-нибудь конкретнее предлагай...»

После обеда зашел к нам на площадку Василий, поглядел, как я нарезаю трубки, спрашивает:

— Ты чего колдуешь?

— Экономией занимаюсь...

— А! — сказал он, вовсе не удивившись.

— А у тебя что?

— Не говори! Прямо анекдот какой то. Понавезли мне на стройплощадку всяких материалов видимо-невидимо. Трубы, плиты, арматуру, металлоконструкции,— словом, полный набор. Реализовать все это мы не в состоянии—людей не хватает, а складов у нас нет... Вдобавок сегодня ночью привезут сто двадцать кубометров бетона, который необходимо принять и уложить.— Василий чуть не плакал.— С ума, что ли, все посходили?— возмутился он.— То кирпича не выразишь, а то как плотину прорвало.

К нам подошел Федор. Узнав, в чем дело, сказал:

— Значит, партком управления действует, Алексашин. Радуйся, чудак!

— Партком-то действует правильно, а те, кто перепугался, действуют как угорелые. И привезли-то чего? Конструкции, которые должны монтироваться позже, а те, которые нам позарез нужны именно сейчас, не привезли.

— Вот и укладывайте бетон!— сказал я.

Василий снисходительно усмехнулся:

— Это само собой! Но я думаю: как реализовать все материалы? Рабочих маловато.

— Ты за советом пришел или за помощью?— хитро сощурился Федор.

— А чего, действительно, вам не помочь нашей бригаде?— оживился Василий.— Заплатим все честь честью. Нам сварщики нужны, арматурщики, подсобники... Кто во что горазд. Дело-то общее?

— С Балашовым нужно говорить, он все-таки бригадир, а мы что? Мы всегда готовы, правда, Николай Васильевич?— Федор подмигнул мне.

Послали в мастерскую за Балашовым. Он пришел быстро, на его измазанном металлической пылью лице была тревога. Холодно поздоровавшись с Василием, коротко спросил:

— Что стряслось?

— Соседи наши зашиваются, помощи просят, нужно бы помочь,— осторожно сказал Федор.

— Как же мы им поможем? У нас своей работы невпроворот,— недовольно ответил Балашов.

— После работы, конечно,— смиренно проговорил Василий.— Часа по три хотя бы. Оплатим, конечно.

— Кто ее знает...— мялся, как всегда, Балашов, рассматривая исподлобья Васюку своими круглыми ястребиными глазами.— Нужно с людьми поговорить...

— Надо помочь,— встрял опять Федор.— Сорок процентов за досрочную сдачу всей стройки, забыл? Мы все зависим друг от друга.

— Ладно,— пробурчал Балашов.— Объявим пятиминутку после работы. Принуждать не имею права. Кто захочет добровольно— пожалуйста.— И он ушел, больше не желая с нами разговаривать.

Сообщение Балашова на пятиминутке вызвало вначале недоумение— кто возмутился (мол, от своей работы нуток трещит), кто отшучивался вроде: «Не наше дело колеса делать, наше дело ступицы сверлить». Но когда выступил Василий и упомянул те самые сорок процентов, все замолчали. А он продолжал:

— Дело не только в сорока процентах, а еще и в том, что мы внедряем в строительство новую, эффективную форму бригадного хозрасчета. Так уж давайте идти до конца! Будем все хозяевами нашей стройки.

В общем, кое-как договорились. Почти все дали согласие, кроме Спирьки да еще двух-трех человек.

Мы пришли в бригаду Василия неуклюжие, неразворотливые. Туда мотнешься, сюда повернешься, а время бежит. У Василия все люди вышколенные— движения лишнего не сделают, все у них под рукой, заранее, мол, готовимся к каждому рабочему дню. А главное— дисциплина у них строгая. В первый же день Василий сделал нашему Жене выговор: почему на десять минут раньше с работы ушел, уговор дороже денег. Я ему после-то говорю:

— Ладно тебе, парень хороший. Может, ему на свидание надо было.

А он мне:

— Это ты, батя, брось. Что значит «хороший»? Пришел в мою бригаду — будь любезен соблюдать дисциплину, не подавай дурного примера остальным. Сегодня не приструнишь, он и завтра на десять минут раньше уйдет.

Зато с Толиком они сразу подружились.

— Талант! — восхищался Василий (они вместе сконструировали какой-то подъемный механизм).

Просил Балашова отпустить Авдюхина к нему в бригаду. Да разве Балашов отпустит! Толик у нас рационализатор. А с Василием у него дело бы пошло. Каждый любит, чтобы его работу замечали, а Васька в этом отношении молодец. У него рационализаторов этих уйма! Даже Тихоныч с Жорой изобрели какой-то особый мастерок.

Однажды у меня с Толиком произошел такой разговор.

— Что же ты — из интеллигентной семьи, а по рабочей части пошел? — спросил я его.

— Люблю живое дело, Николай Васильевич, — ответил Толик.

— Небось родители переживали, когда ты вместо института да в рабочий класс?

Толик хмыкнул.

— Было такое дело. Меня родители хотели запихать в музыкальное училище.

— Разве это плохо? — спросил я.

— Может, это и хорошо, но у меня своя мечта была — я любил технику и мечтал о техническом вузе. А музыка... По-моему, мне с детства медведь на ухо наступил.

— А папапа как на все реагировал? — спросил я. Мне было очень интересно, как у них там, в интеллигентных семьях.

— Да никак. Он вообще махнул на меня рукой — сам, мол, развивайся. Ездил себе со своим теодолитом по разным местам. А маман свое: поступай в музыкальное училище, и все. Мол, в технический вуз ты все равно не попадешь, в математике плохо петришь, а в училище у меня профессор знакомый, я с ним обо всем договорилась. Не пойдешь, мол, в училище — в армию загремишь. И загремел.

— А мамаша?

— Проклинала меня в письмах, умоляла после армии вернуться и снова заняться музыкой. Я обещал. А сам после демобилизации сюда вот прикатил, так что я здесь, можно сказать, инко-гни-то...

— Вот как! — возмутился я. — Ты это самое, а мать переживай? Свинство с твоей стороны. Нужно ей написать.

— Я напишу, напишу... — испугался Толик. — Немного вот обживусь... А то она прикатит и скрипку мне привезет. Вы мою мамашу не знаете...

— Зря ты не стал музыке учиться дальше. Столько сил затратил... Всегда кусок хлеба.

Авдюхин засмеялся.

— На хлеб заработать не проблема, Николай Васильевич, сейчас проблема найти себя. А на хлеб...

Вот такой Авдюхин. Оказывается, не только у меня в семье сложности... Молодежь нынче пошла заковыристая. «Найти себя» — скажите пожалуйста. За них, чертей, болееешь, на десять лет вперед их жизнь обдумываешь, ночей не спишь, а они на все твои заботы плюют. Разве мать Анатолия плохого ему желала? К интеллигентной профессии хотела его пристроить, а он, видишь ли, счастлив на стройке вкалывать...

В наше время отец определял, кому кем быть. Сказал мне: «Будешь помогать класть заводские трубы»; я и рад был до смерти — помогать отцу считалось особо почетно. Мишу он пристроил к сапожному делу, а Ваня на завод пошел, в токари. Жизнь была проще, примитивней. Главное, что требовалось от мужчины — обеспечить достаток в семье. А сейчас, видишь ли, главное — найти себя. Дети диктуют родителям свои условия. Жизнь стала сложнее. Взять хотя бы

нашу семью: Дарья свое, дети свое, все ищут внутреннего удовлетворения, чтобы не просто работать, а еще что-то и значить в общественном масштабе...

Василию предстояло смонтировать сотни тонн одних конструкций. Я вошел в звено, которое монтировало стальные конструкции. Федор трудился на установке железобетонных. Балашова поставили собирать и раскладывать конструкции на земле. Я искренне посочувствовал ему. Нудная работа!

В первый же день Балашов чуть не свалил край — не рассчитал и положил конструкцию немного дальше зоны обслуживания крана. При подъеме кран начал крениться, Спасибо Василий подоспел — приподнял домкратом дальний край фермы и сдвинул ее поближе к крану. От стыда Балашов начал ругаться: мол, я мастер в своем деле, какого черта заставили меня заниматься малоквалифицированной работой. А Василий ему:

— У нас нет малоквалифицированных работ.

И действительно, требования у них большие. При мне произошел конфуз: звено, где работал Жора, при кладке стены что-то напортачило, Василий работу не принял. Жора, как самый нахальный и горластый, начал орать; мол, это издевательство, что они, дворец строят?

— Нужно взять себе в привычку сразу делать хорошо! — отбрил его Василий.

А Тихонич посмеивался и потирал руки. Он в другом звене каменщиков, Василий специально их развел, чтобы не бузили. Оба звена соревнуются за срочность исполнения и за качество. Так что эти бывшие приятели теперь в контрах. Вчера Тихонич спрашивает у Жоры: «Как у тебя с кирпичом и раствором? Много за неделю израсходовал?» Жора задорно ответил: «В получку узнаешь!»

А сегодня они чуть не подрались из-за этого самого раствора. Заназали шесть машин, а привезли только три. Все накинулись, стали делить. Жора ухитрился захватить больше для своего звена, чем Тихонич.

— Нахал. Что за неуважительная молодежь пошла, — ворчал старик. — Никакого снисхождения к возрасту, хапает из-под носа...

После обеда подвезли еще две машины раствора, но он оказался совсем негодным. Василий прямо за голову схватился.

— Поработай тут по графику, — сетовал он. — То раствора нет, то гравия, то песок задерживают...

Решили выснить, почему негодный раствор прислали. Василий послал двух ребят порасторопней на растворосмесительный узел.

Нашему звену потребовался еще один сварщик, и бригадир привел к нам Варьку.

— Не подкачаешь? — киваю на солидные конструкции.

— Не сомневайся! — весело отвечает она. — Не подведу!

— Ну тогда начнем.

Варька берет электрод, вставляет его в держатель и опускает на глаза маску. На распределительном щитке трансформатора включает ток. Внимательно слежу за ее работой — ловко управляет, словно на машинке строчит. Придирчиво рассматриваю шов — очень хорошо. Вот что значит женщина, и здесь она аккуратистка.

Пытаюсь расспросить ее о жите-бытье, о внуках Кате и Ване, как, мол, они там растут, пострелята, но Варька машет рукой: потом, мол, потом, некогда... Так и работаем с ней молча до конца рабочего времени. Я подметил, как она по-хозяйски экономно тратит электроды — остаются маленькие огарки.

— Экономить? — спрашиваю.

— Экономлю, как же...

Она выпрямляется, откидывает с лица маску и устало улыбается. Зубы у нее белые, свежие, молодые, так и сверкают на загорелом лице, нос тонкий, с маленькой горбинкой, а волосы как у цыганки. Она с Орловщины, там все такие иконописные. Вся в мать, в Клавдию Григорьевну, зато характер Федькин. Я окидываю взглядом ее невысокую тоненькую фигуруку.

— Тебе, Варюха, только в балете танцевать, а ты мужскую профессию выбрала. Посмотришь по телевизору-то — красота!

— Думаешь, в балете легче? — насмешливо отвечает она. — Смотреть, конечно, красиво, а в сорок лет уже на пенсию... Осенью в строительный техникум собираюсь поступать, на вечерний. С Васей договорились: будет помогать в учебе и по домашности.

— Надумала все-таки? — обрадовался я.

— Как же? Квалификацию нужно повышать.

— А Василий?

— Василий два раза в неделю посещает курсы, экономику изучает.

— В экономисты надумал податься? — заинтересовался я.

— Да нет! Чтобы в своем деле независимым быть, самому во всем разбираться.

Вот, значит, как они живут! Не все так просто, как я думал. Экономику изучает. Скажите пожалуйста!

Вернулись ребята с растворосмесительного узла, доложили Василию, что раствор некачественный идет потому, что не хватает мощностей, нужен дополнительный смеситель.

— Да что же это они с нами делают, а? — возмущался Василий. — Ведь знают же и ничего не предпринимают. Заведомо негодный раствор привозят. Абы отмахнуться, прямо черт те что, тут действительно руки опустишь.

Из-за плохого раствора каменщиков перебросили на подсобные работы.

— Ну разве это дело? — ругался Тихоныч. — И ехало не едет и ну не везет. Заработок-то уже не тот? Почему я должен терять свой заработок, скажите мне, пожалуйста?

— Уйду к чертям на другую стройку, — ворчал Жора. — Все кишки вымотаешь с этим подрядом. Уйду на аккорд, оно надежнее...

Василий досадливо махнул рукой — мол, заварил кашу, так расхлебывай — и поехал добывать дополнительный растворосмеситель.

Всю неделю мы работали как одержимые на себя и на Васькину бригаду, помогали им войти в график. А недостающие конструкции все не присылали. Василий был в отчаянии.

— Вы совет, — сказал он нам с Федором. — Так что идите к главному инженеру управления и требуйте. С вами он не посмеет разводить канитель.

— Как сказать... — усомнился я.

Но все же по просьбе Василия поехали с Федором к Юрке, то есть к Юрию Николаевичу Касьянову.

Я никогда не был у Юрки в кабинете, не приходилось. Думал, скромная комната со шкапами, как в нашем домоуправлении, а оказалось — дворец! Только увидев его кабинет, я полностью осознал, как высоко взлетел Юрка. Комната площадью метров тридцать. На полу нарядная дорожка, на окнах зеленые шелковые шторы, и какие-то растения в подвешенных горшочках дымом стелются по стеклу. Мягкий диван, кресла. Покойно, прохладно. На стенах развешены чертежи и планы, на отдельных столиках — макеты строек. За огромным белым письменным столом, как царь Додон, восседал Юрка в наглаженной белой тенниске. Увидев нас с Федором, он высоко поднял брови.

— Что случилось? — снисходительно спросил он, даже не поздоровавшись.

— Здравствуйте, Юрий Николаевич, — официальным голосом преговорил Федор.

— Ах, да, извините. Здравствуйте, — спохватился Юрка, выбираясь из-за своего белого, зеркально сверкающего стола. — Садитесь, — предложил он и позвонил.

Вошла секретарша, полная, ухаженная дама с неестественно коричневыми волосами, строгая и важная.

— Как бы там чайку организовать, Ольга Андреевна... И никуда пока не пускайте, я занят.

Секретарша кивнула с хозяйским видом.

— Ну рассказывайте, зачем пожаловали?— обратился к нам Юрий.— Цемент? Вроде бы достаточно отгрузили Василию Николаевичу.

— Конструкций нет сам знаешь каких,— сказал я.

— А!— нахмурился Юрка.

Вошла секретарша с чаем. Она аккуратно поставила чашки на маленький столик с макетом какого-то здания и, уходя, осуждающе поглядела на наши пыльные башмаки. Я невольно поджал ноги — ишь ты, ондатра гладкая, хозяйку из себя строит, каков пастырь, таковы и овцы...

— Так как же насчет конструкций?— Снова спросил я Юрку.— Позарез нужны.

— Были конструкции. Но я их отправил на строительство гостиницы.— И он посмотрел мне прямо в глаза.

— Как же так?— опешил я.— Василий ждет, а его конструкции гостинице?

— Почему «его»? Нам тут виднее, куда чего отгружать.

— Не возражаю... Но если так будут дела обстоять, мы не только на два с половиной месяца раньше сдадим объект, а даже наоборот — на два с половиной месяца позже.

Я был возмущен до глубины души. Лоб Федора тоже деформировался, но он молчал пока: сам, мол, со своим сыном договаривайся.

— Если вы не будете меня перебивать, то я объясню вам все,— с начальственным спокойствием проговорил Юрий.

— Валяй!— махнул я рукой.

— Гостиница — крупная новостройка. Трест и горисполкомжимают на наше управление, ставят жесткие сроки сдачи объекта. Что нам остается делать?— Он посмотрел на нас прозрачными глазами.

— Понятно!— возмутился я.— Реконструкция для вашего управления дело невыгодное, а новостройка — выгодное, так?

— Ну, положим...— кивнул он.

— На реконструкцию отпускают очень мало материалов, а их стоимость входит в объем строительного-монтажных работ,— продолжаю я,— поэтому выгоднее иметь дело с новостройкой, на которую материалов отпускают больше...

— Оказывается, вы отлично все понимаете, так в чем же дело?— нахально спросил он.

— Мы-то понимаем! Слава богу, грамотные, а вот понимаешь ли ты, что делаешь?

— Что же я такого предосудительного делаю?— избегая моего взгляда, поинтересовался он.

— А то, что зажимаешь новый метод!

— Это я уже слышал однажды,— пренебрежительно отмахнувшись, ответил Юрка.— Братец там что-то придумал, а я тут голову ломаю...

— Ты, Юрий Николаевич, не прав,— заговорил наконец Федор.— Во-первых, ваше управление нашло нужным заключить договор с бригадой Василия, значит, он не пустячное дело затеял. Во-вторых, реконструкция тоже государственное дело, и дело очень хлопотное — перекраивать из старого всегда труднее, чем кроить из нового, а отношение к таким стройкам какое-то, я бы сказал, неопределенное.

— Согласен,— нетерпеливо возразил Юрий.— Но не мной все это придумано. Что касается договора, то мы его выполняем по силе возможности.

Федор снисходительно усмехнулся:

— Все это верно, только нам-то как же быть?

Юрка развел руками.

— Подождите недельку-другую, будут конструкции.

— Неделку-другую?!— завопил я.— Ты понимаешь, что говоришь? У нас же подряд. Мы, не жалея себя, работаем ночами, выручаем Василия, а ты снова хочешь бросить нас в бездну?

— Ничего не могу поделать,— упрямо твердил Юрка.

Он был вежлив и очень сдержан. Его сдержанность была прямо-таки невы-

носима. Мне хотелось отлупить его, как лупил иногда в детстве. Но передо мной сидел не Юрка, а Юрий Николаевич, главный инженер управления, который отгородился от нас служебной официальностью. И эта его официальность злила меня до бешенства.

— Если мы не выполним перед заказчиком подрядный договор, нам придется платить ему неустойку из своего кармана, — уныло проговорил Федор.

— Ну, я думаю, до этого дело не дойдет, — ответил ему Юрка, лениво откидываясь на спинку стула. — Через неделю постараемся выцарапать для вас конструкции.

— Как тебе не стыдно? — вскипел я, разозленный этой его ленивой важностью большого начальника. — Брату в таком важном деле не можешь помочь. Бюрократ ты, вот кто! Заладил одно: «Через недельку-другую...»

— При чем тут брат, сват? — разозлился наконец и Юрка. — В таких делах нет ни брата, ни свата. Василий не очень-то советовался со мной, когда брался за этот самый подряд, а теперь, видишь ли, я должен с ним нянчиться. Новатор вынскался, славы ищет. — Он даже покраснел с досады и, переменив позу, уставился глазами в свой зеркальный стол.

— С такими бюрократами, как ты, будешь новатором! — со злостью проговорил я. — Ты с самого начала в подряд не верил и не веришь, отсюда твое наплевательское отношение.

— А ты веришь? — насмешливо спросил он.

— Почему и нет? Не верил бы — не пришел.

— Что-то ты быстро перековался...

— Поработал бы недельку без роздыху в две смены и ты бы перековался, бюрократизм-то повытрясло бы...

В общем, ушли ни с чем. Федор ехидно ухмылялся:

— Хе-хе-хе, а здорово Юрий Николаевич научился разговаривать.

Меня душила злость, от злости даже под левой лопаткой закололо. Вот бюрократ паршивый! Разговаривал со мной как с чужим. Наверное, у меня был довольно свирепый вид, потому что Федор начал вдруг утешать меня:

— Брось, не расстраивайся. Может, он прав, ему тоже туго приходится. Строек много, а снабжение у нас знаешь какое...

Но я знал, что все не так. Работа управления оценивается не по готовым объектам, а по объему освоенных средств, вот Юрка и старается их освоить как можно больше, бросая все на новостройки.

Я представил себе, как мы вернемся в бригаду ни с чем и Василию придется опять самому бегать по разным инстанциям пробивать, а он и так заматался, стал кожа да кости. И вообще, люди рвутся, хотят как лучше, а такие, как Юрка, берегут лишь честь своего мундира. «Щалишь, браток, подряд не даст тебе благоденствовать...» — подумал я, вспоминая чужое, холодное Юркино лицо.

— Вот что, Федор Кузьмич, пойдём к Алексашину, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Брось, — испугался Федор.

— Пошли-пошли!

— Все-таки, может, не стоит, а?

— Стоит, — решил не отступать я.

Минут двадцать сидели мы как на иголках, чутко сторожа дверь. Наконец она открылась и в приемную вышел пожилой, важный казах в поярковой шапке с малиновыми отворотами, сразу видно: большой начальник.

Мы тут же нырнули в кабинет.

Алексашин стоя громко разговаривал по телефону. Он недовольно взглянул на нас, нахмурился, но тут же сердитое выражение его лица сменилось удивлением. «Узнал, что ли?» — подумал я. Продолжая разговаривать, Алексашин указал нам на диван, подвинул папирсы и переполненную окурками пепельницу — садитесь, мол, и курите. Курить мы, конечно, не стали. Я быстро охватил взглядом кабинет — он был куда проще, чем Юркин. Обыкновенный канцелярский стол с тремя телефонами, кожаный диван, на котором мы сейчас

сидели, простые деревянные стулья, портрет Ленина на стене. Затоптанная дорожка и переполненная окурками пепельница говорили о том, что здесь бывает много народу.

— Он имеет право на внеочередное жилье, — внушал кому-то Алексашин авторитетным голосом. — Что значит нет? Нужно ийти! Да-да... Шесть месяцев уже как удерживает за собой звание лучшего рабочего... Да знаю, все знаю, но нужно изыскать, у него трое детей.

Не успел он положить трубку, как зазвонил второй телефон. Звонили, как я понял, из редакции местной газеты по поводу какой-то статьи. Видно, Алексашин придавал этой статье большое значение — он придирался к каждому слову и все твердил: «Побольше анализа...»

Телефоны звонили беспрестанно: из обкома, из райкома, со строек. Алексашин брал то одну трубку, то другую. Наконец шутливо схватился за голову, позвал секретаршу и попросил ее все телефоны переключить на себя.

— Вы от бригадира Касьянова, — сказал он утвердительно, усаживаясь за свой скромный кленовый стол. — Ну как у вас там дела? Стройматериалами обеспечены?

Федор стеснительно покашлял в кулак, быстро взглянул на меня: мол, ва-а-а-а, чего же ты? Я не знал, с чего начать.

— Не совсем... — наконец выдал я из себя.

— Как же так? — удивился Алексашин, и брови его нахмурились.

— Не хватает железобетонных конструкций... — Я объяснил каких именно.

— У главного инженера были? — деловито осведомился он.

— Только что от него.

— Вот так. И что он вам сказал?

— Недельку-другую, мол, подождите, в первую очередь снабжаем стройку городской гостиницы, она, мол, новостройка, а завод всего лишь реконструкция.

Алексашин бросил на меня острый взгляд, закурил, глубоко затянулся, загнал папироску в угол рта, спросил недоверчиво:

— Так и сказал?

— Так и сказал...

— Значит, не от хорошей жизни....

— Мы тоже не от хорошей жизни пришли, — с обидой проговорил я. — У вас, конечно, годовой план, вы должны освоить определенные капиталовложения. А мы, представьте себе, должны по договору сдать в определенный срок уже готовые объекты.

— И дело сейчас идет о том, — поддержал меня Федор, — быть бригадно-подрядному методу или не быть...

— Все я понимаю, — досадливо поморщился Алексашин. — Партком управления недаром же проявляет такой повышенный интерес к подряду. Думаете, легко было выцарапать для вашей бригады столько стройматериалов? Подрядный метод требует четкости в работе, но не все в этом деле проявляют энтузиазм...

— Что верно, то верно, на своей шкуре испытали, — с горечью сказал я.

— Что и говорить, много еще нерешенных проблем... Вот вы, товарищ Касьянов, намекнули на реконструкцию, — вдруг обратился ко мне Алексашин. — Действительно, в этой сфере строительства тоже пока нет четкости и в смысле экономической эффективности строительства и в оплате труда. Рабочие неохотно берутся за реконструкцию. Правильно я говорю?

— Правильно, — быстро сказал Федор. — А ведь реконструкция для государства иногда выгоднее нового строительства.

— То-то и оно... — Алексашин дернул подбородком, сердито гася в пепельнице окурки. — Проблемы назревают одна за другой...

— А все-таки как же с нашим-то вопросом, Анатолий Тимофеевич? — настойчиво спросил я. — Мы не можем две недели ждать, бригада прогорит.

— Будем думать, как вам помочь. Будем думать... — сказал будто про себя и уже конкретнее: — Давайте так договоримся — я тут все поразведая, посовету-

туюсь кое с кем, наведу справки, лично поговорю с Юрием Николаевичем. Одним словом, постараюсь что-нибудь сделать. Идет?— Он посмотрел на нас своими твердыми серо-голубыми глазами с припухшими подглазьями.— Расскажите хоть, что там у вас делается,— с интересом спросил он.— Результаты есть?

— Есть, конечно,— важно сказал Федор.— Может быть, не такие большие пока, но мы стараемся.

— Почему небольшие? — спросил Алексашин.

Федор неопределенно пожал плечами.

— Не все еще осознают...— ответил я.— Человека воспитывает дисциплина, сознание необходимости. Может, подрядный метод положительно повлияет.

— Значит, подряд все-таки повышает дисциплину?

— А как же!— все с той же важностью проговорил Федор. Этот разговор был по нему.— Прогулы сократились,— он загнул свой корявый палец,— меньше стали бюллетени,— загнул второй,— и вообще... За пропущенные дни премия не начисляется.

— Вот вы, старые, опытные рабочие, как вы относитесь к подряду?— Алексашин даже подался вперед и слегка вытянул шею, с интересом ожидая нашего ответа.

— Как вам сказать... Трудно,— честно признался я, но Федор тут же меня перебил.

— Стоящее дело,— веско сказал он.— Только нужно, чтобы и инженеры были заинтересованы, а не так, как у нас сейчас: кто в лес, кто по дрова...

А я с беспокойством подумал про себя: «Почему Алексашин задал такой вопрос насчет подряда? Уж не сомневается ли сам»? Вслух сказал только:

— На хозрасчет всех надо посадить, не одних рабочих, а и инженеров, тогда будет толк.

— Правильно, товарищ Касьянов!— кивнул Алексашин.— К этому и стремимся...

Федор осмелел совсем от этих слов и, быстро загораясь, как всегда, затараторил:

— А то как же получается... То проектировщики затянули подготовку технической документации, то поставщики подвели, то заказчики промедлили с решением каких-то важных вопросов, а наш брат-рабочий за все отдувайся. В конце концов, что такое подряд в нашем, рабочем, понимании? Это строгое выполнение договора между рабочими и управленцами. Мы вам — вы нам...

Алексашин слушал очень внимательно, не перебивал Федора, только иногда утвердительно кивал — правильно, мол, правильно...

Я подтолкнул к двери расхвядившегося Федора...

Мы долго тряслись в неуполномоченном автобусе до нашей остановки, потом напрямик, через стень шагали на стройку. Под ногами хрупко ломалась и трещала серо-голубая полынь.

Василию мы решили не жаловаться на Юрку — зачем обострять их отношения? Просто сказали, что он один не смог уладить вопрос о конструкциях и мы зашли к Алексашину. Василий хитро посмотрел на нас, улыбнулся, но ничего не сказал. Поблагодарил, похвалил за оперативность, посоветовался с нами насчет общего собрания.

За неделю мы так замотались, что по случаю окончания работ у Василия решили втроем — я, Федор и Анисим Федосеич — зайти в кафе пропустить по стаканчику.

Приветливо горели синие неоновые огни вывески, у входа толпился народ, все больше молодежь, но столики были заняты. Да и бессмысленно было усаживаться. За аккуратной стойкой можно выпить разве что сок или молочный коктейль, съесть пирожное или мороженое.

— Что же теперь делать? — озадаченно проговорил Анисим Федосеич.— Куда бедному христианину податься?

— Может, сообразим на трюх? — робко предложил я.

И мы отправились в винный магазин на углу следующей улицы.

Еще издали мы заметили Филюшкина. Он словно коряга растопырился на нашем пути. Я с досады выругался даже — нигде от него, черта, не скроешься. Федор с Анисимом Федосенчем сумели проскочить мимо, а меня он увидел и, как всегда, прицепился:

— А! И ты тут... — пьяно обрадовался он, хлопнув меня по плечу. — И правильна! За это уважаю... Не задаешься, как некоторые. А ты меня уважаешь? Давай выпьем, а?

Я отшатнулся от него, но не тут-то было! Спирька успел схватить меня за рукав своими цепкими пальцами.

— Ну скажи, ты меня уважаешь? — еле ворочая языком, бормотал он. — Если уважаешь, давай выпьем.

— Хватит уж тебе, — строго сказал я, с отвращением отпихивая от себя Спирьку.

— А ты уважь, уважь, — куражился он, дыша мне прямо в лицо крепким водочным запахом. — Не уважаешь, значит? Эх вы, люди... — Спирька неожиданно всхлипнул. — Ие-эх вы! Забижаете кого? Мастер! Ты со мной добром, ласково... Мол, Спиридон, сделай то, сделай другое — все сделаю... А вы-и-и?

— Иди к свиньям...

Я рванулся из Спирькиных рук. Он тяжело упал, словно куль муки. Медленно поднялся сперва на четвереньки, потом на ноги. Я не знал, что с ним делать. Какая-то старуха поглядела на нас, покачала головой, сказала:

— Каждый божий день вот так, соберутся и торчат здесь как идолы, когда только работают.

Выпивать мне расхотелось, было противно чего-то. Федор с Анисимом Федосенчем делали мне знаки. Я бросил Спирьку и двинул к ним.

— Пошли домой, — решительно сказал я.

— Пошли, — согласился Федор.

— Ну вот... — разочарованно проговорил Анисим Федосенч. — Какая вас муха укусила?

Дома я напустился на Дарью:

— Эх, лишили мужиков последней радости! В подворотнях прикажете на трюх соображать? Тоже мне культура...

Она посмотрела на меня усталыми глазами, сердито сказала:

— Мне бы твои заботы.

Дарья совсем отбилась от дома, даже в выходные дни пропадает на своем комбинате, работает на свободных машинах. Пятилетку за три года! А тут еще проблема: где-то в Прибалтике появилась более искусная, чем Дарья, перемотчица, которая обогнала ее в темпах. Щелчок по профессиональному самолюбию! Теперь каждую свободную минуту Дарья отдает своим ста девянosta двум веретенам. Я уж стал сам себе рубашки стирать, вот до чего дело дошло. А она только посмеивается да вертиков пальцами ловит — тренирует их, значит. Вечерами, вместо того чтобы отдохнуть, пишет этикетки на шпули. Она меня еще и утешает: погоди, говорит, выполню пятилетку, поедем на твои заветные острова.

Говорят, сны не сбываются. Еще как сбываются! Прошлой ночью — это было под выходной — видел во сне огромную кучу мусора. Вроде мусоросборник вывалил этот мусор как раз напротив наших окон, и пока я бежал с третьего этажа вниз, чтобы выругать шофера, машина уже уехала. Тогда я взял лопату и стал этот мусор откидывать. Кидаю, кидаю, а куча не уменьшается. Проснулся весь в поту. В комнате духотища. Оказывается, проспал аж до девяти часов! И солнце в окно почем зря лупит. Рассказываю Дарье про сон, а она мне говорит:

— Поспал бы до полудня, еще не то бы пригрезилось. А вообще-то сегодня воскресенье и сон действителен только до обеда.

Но как раз до обеда все и произошло.

Мы втроем — я, Дарья и Лида — мирно завтракали на кухне, разговаривали о том о сем. Хорошо бы, мол, навестить Павлика в детсадишке на даче, да все не-

когда, а он, наверное, соскучился, и мы все по нем соскучились... Такой домашний разговор. Вдруг зазвонили в дверь резко, нахально.

— Как на пожар, — заметила Дарья. — Кто-то чужой ломится.

Я пошел открывать. Едва успел отодвинуть защелку, как дверь распахнулась и в коридор шагнула женщина — полная, румяная, в Лидкиных годах, одетая по-модному, вся в кудряшках. Ничего женщина, интеллигентная, одним словом. Быстро окинула меня сердитым взглядом с головы до ног, сказала со злой решимостью:

— Здесь Касьянова Лидия Николаевна проживает?

Я кивнул: здесь, мол.

— Вы ее папаша?

— Да, — отвечаю, — пожалуйста, проходите, сейчас позову.

— Нет-нет, — проговорила упрямо и пошла за мной на кухню.

Стала в дверях, привалилась плечом к косяку, уставилась на Лиду. Видно было, что очень нервничает — лицо красными пятнами пошло, губы трясутся. Потом вроде совладала с собой, тяжело перевела дух, сказала тихим голосом, останавливаясь на каждом слове:

— Вот... вы... какая...

Я оторопело взглянул на Лиду. Настороженность появилась в ее глазах, будто она силилась что-то сообразить. Потом, видимо, о чем-то догадалась, потому что вдруг загорелась вся аж до корней волос, опустила глаза. Видя ее смущение, женщина осмелела, стала громко кричать, что ни за что мужу развода не даст, что дочери их Лилечке нужен отец, что ни перед каким скандалом не остановится. Мне как-то неловко сделалось, стыдно за нее — такая интеллигентная!

Дарья молча кусала пирог, хотя я видел, что есть ей вовсе не хотелось. Лида понемногу отходила, краска сбегала с ее лица, и на нем даже появилась улыбка, насмешливая, вроде как пренебрежительная. Она с таким безжалостным интересом стала рассматривать женщину, что та смешалась, сбилась, не зная, что делать дальше. Щеки ее раскраснелись, на глазах выступили слезы. Она проговорила дрожащим голосом:

— Много вас таких, а я законная жена...

Лида все так же пренебрежительно усмехнулась. Со стороны можно было подумать, что она совершенно спокойна, но сцепленные до побеления в суставах пальцы выдавали ее волнение. Наконец она молча поднялась из-за стола, будто ей надоело уже слушать эту брань, взяла женщину за локоть, сказала очень вежливо:

— Пойдемте.

Та словно замороженная двинулась за ней. Мы с Дарьей переглянулись. В коридоре щелкнул замок, открылась дверь. Мы услышали голос Лиды:

— Всего хорошего...

Дверь захлопнулась. Лида вернулась в кухню, как-то механически села за стол, осторожно двинув стулом. Взяла чашку с остывшим чаем, отхлебнула. Я заметил, что чашка мелко дрожит в ее руке. Мы долго молчали, стыдясь глядеть друг на друга. Потом я спросил Лиду:

— Жена твоего начальника, что ли?

Она притворно пожала плечами:

— А я почему знаю? Не представилась. — Налила себе еще чаю, взяла пирог.

— Так-так...

Я взглянул на Дарью. Она молчала как убитая. Да и что тут скажешь? Бабе тридцать. Инженер. Куда уж нам с Дарьей... Все же я осторожно так, мягко заговорил с Лидой:

— Что же ты делаешь? Подумай о сыне. Совсем запуталась...

Она нехорошо усмехнулась, сказала насмешливо:

— Сколько я себя помню, в моей жизни всегда происходила путаница... — Демонстративно выплеснула остатки чая из чашки в раковину, убрала за собой посуду, ушла в свою комнату не оглянувшись.

Весь день у нас поцел насмарку. Дарья затеяла стирку. Лидка отсиживалась

в своей комнате. Ну и сатана! Как выпроводила! И глазом не моргнула. Я вышел на улицу позабывать с мужиками козла, но на меня смотрели все как-то странно, вроде с любопытством и всё чего-то ждали от меня. Наконец один из них, самый пожилой, Иван Антонович Кругляков с химзавода, как бы между прочим спросил:

— А что это за женщина выскочила из вашей квартиры? Шла плакала...

Вот люди! Все-то они видят, все-то они слышат.

— Мало ли тут всяких женщин ходит, — буркнул я и поспешил уйти домой.

Ну их!

Дома лег на диван, взял книжку, но в голову ничего не лезло и книжка из рук валилась. Все пытался переварить утреннее происшествие. Конечно, Лидка вела себя с достоинством, не уронила перед этой, в желтых кудельках. «Жена!» Ха-ха! Удивила. Мало этого сейчас, гражданочка. Мало. По-ихнему, нужно еще личностью быть... Вот видишь? Предпочел. Потому что характер. Диссертацию пишет. Балашов-то готов ей ноги целовать. А этот твой, черный? Ходит и ходить будет до тех пор, пока она его сама не отошьет. Конечно, все это нехорошо... Но что поделаешь? Эпоха такая. Баба с мужиком во всем сравнялась, ни в чем ему уступить не хочет. Иной раз и прицкинул бы на Дарью, ан нет, потому что уважаеть...

Вечером неожиданно появился Костя. Войдя, он сильно хлопнул дверью, со стуком бросил на пол свой потренированный портфель, с шумом двинул табуретку под вешалку, будто вернулся из школы. У меня невольное защемило сердце. Мы все с тревогой ждали решения его судьбы, и каждый день казался нам неделей.

Взглянув на наши испуганные лица, Костя насмешливо улыбнулся.

— Может, поесть чего-нибудь дадите? Я ведь теперь не такой денежный, — закривлялся он по своему обыкновению.

— Конечно, конечно... Проходи, сынок, — засуетилась Дарья. — Пирог с капустой, салат вон... — И она заторопилась собирать на стол.

— Насчет дела ничего? — спросил я Костю.

— Пока ничего. Проверяют, копаются. Комиссия работает.

— Боишься?

— Да нет... — ответил он, уплетая салат из помидоров и огурцов. — Работаю сейчас начальником смены цеха фосфорной кислоты. Зарплатишка же та уж, конечно. Кончится все — уеду куда-нибудь к чертям на кулички.

— Вначале распутайся. И нечего бегать, работы и тут хватит.

Костя вздохнул:

— Теперь я здесь последняя спица в колеснице.

— Ну вот, храбрился-храбрился и вдруг скис?

— Что значит скис? Все-таки не резон из гвардии да в гарнизон. — И Костя посмотрел на меня каким-то смиренным, несвойственным ему взглядом.

— Подумаешь! Уж больно у вас, нынешних молодых, амбиции много. Престиж и тому подобное. А выдержки-то маловато, малейшее затруднение — и лапки кверху. Учитесь у нас, у отцов, выдержке. Сколько раз приходилось нам начинать все сначала! Какие пятилетки были! Киркой, лопатой. Что заставят. Ни с чем не считались. А война все это под метлу... Каково? С фронта да опять поднимать все из праха? Тут уж не до личного престижа и длинного рубля. Помнишь, мать, как мы капроновый строили? Помнишь, премию мне дали за досрочное выполнение десятидневного задания?

— Помню, — засмеялась Дарья. — Ты тогда получил разрешение на эту премию отовариться, и мы купили шесть метров бязи, тебе парусиновые ботинки, одну пару белья, носки, трусы, майку и кусок мыла. Вот было радости! Я еще из этой бязи рубашку Юре сшила и себе кофту.

— Другие времена, батя, другие песни... — равнодушно говорит Костя, ему явно не по душе этот разговор. Он закладывает руки за щеку и притворно зеваает. Меня почему-то бесит его поза. Вон как перед отцом-то.

— Измельчал все, — ворчу я про себя. — Длинный рубль, квартира, барахло...

Но Костя уже не слушает.

— А дома все-таки хорошо! — неожиданно говорит он, встает из-за стола и ходит по нашей маленькой кухне, любовно трогая знакомые с детства предметы. — В этой табуретке у меня хранился самодельный порох, а ты, ма, ничего и не подозревала. — Он тихонько смеется и хлопает крышкой табуретки с секретом. — Однажды я таким порохом начинил гайку да как трахну ее об забор, она пулей мимо виска — вжик!

— Надо же! — пугается Дарья и укоризненно качает головой. Сейчас она по-своему истолковывает его слова, его поведение. — Слушай, Костя, — говорит она, — если тебе трудно одному жить, перебирайся к нам, места всем хватит. Все-таки и стоговлю и постираю..

— Что ты, ма! Я привык вольно.. И не такой уж я одинокий, Люся ко мне иногда заходит. Так что спасибо.

— Иногда? — ехидно спрашиваю я. — Женился бы, что ли, чего девушку позоришь?..

— А зачем жениться? — ерничает Костя. — Женился — навек заложился. Ночью я долго не мог уснуть. Все думал, кого же я воспитал? Карьеристов? Этих самых, как их... мецан?

Александр не подвел — сразу после выходного дня в бригаду Василия привезли недостающие конструкции.

— Ну как? — победоносно глядя на Василия, спросил я.

Он сердито ответил:

— Все хорошо, только уж конструкции... Видишь, латаем? — Он кивнул в сторону бетонщиков, заделывающих прорези в железобетонных конструкциях.

— Говори спасибо, что хоть такие привезли.

— Говорю... Только непонятно, почему мы должны за свой счет исправлять плохую работу других?

— Кто-то за кого-то всегда доделывает..

— То-то и оно... — проворчал Василий.

— А нам вы думаете заканчивать фундамент под вторую колонну? — спрашиваю я строго. — Вас-то мы выручали, а вы нам задерживаете фронт работ.

— Так вы же еще не закончили монтаж первой колонны! — Василий глядит на меня ошалелыми глазами.

— А когда мы закончим, поздно будет фундамент доделывать, не забывай, что ему нужно устояться, осесть. На это не меньше недели надо.

— Понимаешь, нужно бетона сейчас нет, — оправдывается Василий. — Давно заказ сдал — ни ответа ни привета.

— Опять, что ли, к Юрке топать? — усмехнулся я.

— Да ну его! Сам на завод поеду..

— Имей в виду, — опять строго говорю я, — мы сейчас гоним всюю! Стараемся выгадать время. Если подведешь...

— Сказал — не подведу! Передай своему Балашову: все будет в порядке.

Василий аж крикнул от забот. Он совсем обхудал, один нос торчит да скулы острыми углами выдерли, нелегко дается ему подряд.

После общения с коллективом Василия люди нашей бригады стали как-то строже, серьезнее. Авдюхин по уши увяз в рационализации. Женя Гурьев прилежно изучал такелажное дело, одолевая Спирьку, а в свободные минуты читал брошюры по организации труда, чтобы, значит, по-научному руководить звеном. Ребят будто подменили, куда девалось их равнодушие, безразличие к делу! Даже Спирька и тот меня удивил. Вчера понадобились ему болты нужного размера, а их не оказалось — недодали нашей бригаде. Пришлось ему идти в мастерскую нарезать самому. Вот уж он разорился. Мол, по вине какого-то разгильдяя приходится тратить силы и драгоценное время. Подумать только! Филюшкин стал время ценить! Раньше-то он сидел бы и стал ждать, когда ему эти самые болты привезут. Федор как-то при мне сказал ему: «Эх, Спиридон Алексеевич, если бы не вода, тебе бы как мастеру цены не было...»

Женя Гурьев относится к Филюшкину с почтением, хоть и является сейчас

его начальником. Называет не иначе как Спиридоном Алексеевичем, внимательно выслушивает его наставления, советуется с ним. Спирьке это нравится, страсть как любит, чтобы его уважали. А мне сдается, парень его просто жалеет. Женька наш, местный, я их семью знаю хорошо. Отец у него работал слесарем в депо. Пил втемную. Женька еще мальчонкой тогда был. Все бегал по пивнушкам, разыскивал отца, чтобы не валялся на улице. Бывало, вечером ведет его, сердечно, домой чуть тепленького. Женька маленький, худенький, а отец высокий, изогнется весь до Женькиного плеча и выделяет кренделя длинными ногами. Смирный, правда, был, никого не трогал, не хулиганил. А потом вдруг слышим — Степна Гурьев повесился. Вот тебе и раз! Допился, одним словом. И жена у него была самостоятельная баба, на капроновом работала... Она и сейчас там работает. Пришлось ей одной парня подымать. Окончил восемь классов, пошел в ПТУ. После армии домой вернулся, мать, говорит, жалко, и так, мол, у нее жизнь изломана. Хороший парнишка, ничего не скажешь, даром что из такой семьи, а самостоятельный. Звеньевым хорошим оказался, не кричит, не дергает людей, а все с подходцем. И работу старается распределить так, чтобы у всех был заработок.

Сегодня мы строим катализаторную коробку. Филюшкин явился на монтажную площадку первым. Я пришел, а он уже рассказывает среди своих хомутов и тросов. Я решил его подзавести.

— Доброе утро, Спиридон Алексеевич, — говорю насмешливо. — Как твой радикулит поживает?

— Вот именно поживает, — буркнул он в ответ. Потом важно так произносит: — Проверяю, все ли подготовлено, сам не проверишь — пеняй потом на себя.

— Так у тебя теперь есть сам, Гурьев, ай забыл?

— Мало ли что-о... — отвечает он сердито и вызывающе смотрит на меня своими маленькими, выпуклыми от пьянства глазами.

Балашов, увидев Спирьку, промышчал что-то вроде «у?!», вежливо поздоровался с ним и завел деловой разговор.

Балашов совсем извелся от Лидкиных фокусов. Узнал от кого-то и про начальника лаборатории и про историю с его женой. На днях догнал меня на автобусной остановке и прицепился как репей: поговорите, мол, с ней, нельзя так, Павлику нужен отец. И этот туда же, как сговорился с Лидкиной соперницей!

— Да ты сам с ней поговори! — кричу в сердцах: нашел себе адвоката... — Я что сделаю?! Моя власть над ней кончилась...

— Как же так?.. — упрямо твердит он. — Вы ее отец, вы ее воспитали...

Опять двадцать пять! Все только и талдычат: воспитание, воспитал...

— Ну воспитал, а дальше что? Сына твоего еще воспитаю! — разозлился я. Надоело.

— Если так же, то лучше не надо... — глухо бурчит он себе под нос.

— Тогда сами устраивайте свои дела и отвяжитесь, не надрывайте нам с матерью душу. Думаешь, легко нам?

— Да я ничего, — мямлит Балашов, а сам чуть не плачет, бедолага.

Мне, конечно, по-мужски жаль его, любит он Лидку, без Павлика жить не может. В выходной, оказывается, ездил к нему в садик на дачу. Туда, говорит, не пустили, инфекцию, мол, занести можете. Пришлось сквозь дырку в заборе наблюдать. Бегает с ребятишками, жив-здоров.

Видал я однажды, как Балашов с Лидкой разговаривали. Он смотрел на нее и то улыбался как дурак, то становился жмурым. Тогда и понял я, что он ее сильно любит. И чего к ней мужики липнут? Подумаешь, красавица! Сошла бы уж со своим рыжим — и дело с концом. До каких пор тянуть канитель? И годы идут, хватит уж куролесить. Тот, черный, побалуется и поминай как звали, много их, таких охотников... А тут родной муж, отец ребенка. Самостоятельный, не вертопрах какой, и любит. Чего еще?

День обещает быть снова знойным. По радио сообщают — всюду дожди прошли, а над нашей степью ни облачка. Все выгорело дотла. Мы задыхаемся от

пыли, поднимаемой машинами, а иногда просто знойными вихрями, которые нелетают неизвестно откуда.

Когда все собираются, Балашов объясняет объем работ на сегодняшний день, кое-кому дает индивидуальное задание, точно по инструкции знакомит с порядком строповки. Сегодня строповкой управляет Спирька. Тут он человек! И лицо у него становится умным, самостоятельным.

— Давай-давай! — покрякивает он, следя за краном, который плавно несет катализаторную коробку весом в пятьдесят тонн.

Колонна опутана опалубкой, лестницами, трубопроводами, и люди, как муравьи, бегают вдоль нее по лестнице то вверх, то вниз. Мы с Федором стоим на самой верхней площадке. Подхватываем крюками подплывающий аппарат и ставим на теплообменник. Долго возимся, пыхтим, чтобы повернуть эту махижу в нужном направлении. Солнце жарит всюю, и мы задыхаемся в своих брезентухах. А нам еще крепить компенсатор к днищу катализаторной коробки. Над головой раскачивается гидравлический гайковерт, подвешенный на крюк крана.

Мы с Федором работаем молча, сосредоточенно, иногда лишь перебрасываемся замечаниями. В минуты передышки я окидываю взглядом всю огромную стройку, уставленную пустыми коробками цехов, голыми «этажерками», незаконченными эстакадами. Эва сколько мы тут всего наворочали! Сколько труда своего положили! Вроде совсем недавно монтировали этот завод, и вот вновь все превращено в строительную площадку. Только вряд ли на этом остановится. Чуть ли не каждый год появляется новое оборудование и, конечно, реконструкциям не будет конца. Но нам с Федором уже не доведется в них участвовать. Это пока мы еще в силах. Помнится, Костя упрекнул меня, что, мол, слесарем был, слесарем и остался. Не-е-ет, брат, тебе до меня еще расти и расти, хоть ты и инженер. Вон Прокофьев поумней тебя, понимает. Как-то поглядел на мою работу и говорит: «Да, белыми ручками это не сделаешь». А какими же, спрашиваю, черными? «Нет, — говорит, — Николай Васильевич, золотыми». И назвал меня мастером экстракласса. Вот на нас-то, на таких мастерах, все и держится. Мы свой опыт и знания по крупицам всю жизнь собирали, все тонкости своего дела постигли, случается, и инженеров поправляем. А ты — «слесарь»... Федор-то прав, пожалуй: звание рабочего тоже нелегко дается. Настоящего рабочего, конечно.

До обеда успели окончательно установить катализаторную коробку. Балашов доволен — опережаем график. Он теперь во всем подражает Василию, завел себе журнал, большую клеенчатую тетрадь, куда подробно записывает выполненные работы. Спирька вытягивает красную жилистую шею, пытается из-под руки бригадира заглянуть в тетрадку.

— Не забудь про сжимы на тросах, — говорит этот сквалыга; вечно он боится, что его надуют.

— Учел, учел, Спиридон Алексеевич, — снисходительно отвечает Балашов. — За качество работы ставлю отлично. Вот если бы вы не нарушали трудовую дисциплину, ходить бы вам в звании лучшего рабочего.

— Если бы да кабы, то во рту росли грибы... — ворчит Спирька, явно довольный похвалой бригадира.

Федор не захотел идти в столовую — жарко, мол, и есть неохота, — попросил купить ему в буфете бутерброд с колбасой и бутылку минеральной. Я поплелся в столовую один. У самого входа столкнулся с Костей, он шел из буфета с каким-то свертком в руке — молодой, довольный, сияющий.

— Можешь меня поздравить, — бодро сказал он.

— С чем?

— С окончанием дела.

— Да ну? — У меня даже сердце емнуло.

— Влепили выговор по партийной линии, но на заводе оставили... — Он усмехнулся. — Секретарю цехового партбюро нагорело за неудовлетворительный партийный контроль над деятельностью администрации цеха и за отсутствие должной работы по поднятию чувства ответственности у коммунистов...

— Ну вот, из-за тебя, разгильдяя, хорошие люди пострадали, — сказал я со вздохом облегчения: пронесло, слава тебе. — Что дальше будешь делать?

— Работать, снова карабкаться. Ты меня в тот раз убедил, — смеется он. — А знаешь, батя, я такую штуkenцию придумал — все азнут.

— Опять?! — испугался я.

— Опять, а как же? Творческая мысль не стоит на месте... — Костя явно посмеивался над моим испугом.

— Творец... Такое натворил, что не дай бог!

— Нет, верно тебе говорю. Мысль стоящая, как-нибудь зажду расскажу. И пошел от меня упругим молодым шагом, слегка покачивая плечами. Ну и фрукт! Однако легко отделался, я, откровенно говоря, ожидал решетки.

Вечером сообщил новость Дарье. Она отреагировала по-своему:

— Выговор по партийной линии... Хорошенькое дельце. Тридцать лет в партии — ни одного взыскания не имею. А этот... Еще и посмеивается. А что будет дальше? Двадцать шесть лет... Жить да жить. Выговор... Разве это легко?

— Ну хоть не посадили, и то ладно! — успокаивал я ее.

— А! Все одно. Ничем уж теперь не поможешь.

Она рывком сняла со шкафа маленький старый чемоданишко, внимательно осмотрела его, открыла.

— Чего это ты? Зачем? — спросил я ее.

— А? — откликнулась, что-то соображая. — Да! Забыла сказать... Еду на всеобщее соревнование перомтчиц.

Ничего себе, огорошила! То-то за последнее время, замечаю, отдалилась от меня. Раньше-то по всякому поводу советовалась, а сейчас ее дела вроде меня не касаются, забывает даже сказать, видите ли. Загордилась, что ли? Ну пусть, пусть соревнуется. Может, нащелкают по носу-то, помирней станет.

— Чемодан хоть бы приличный завела, — сказал я как бы между прочим, чтобы скрыть внезапно вспыхнувшее отчуждение.

— Вот я уж и смотрю, — миролюбиво отозвалась она. — Да не успею теперь купить, утром рано уезжаю. А наплевать! Не в чемодане дело, кто там на него будет смотреть-то. — Перебрала свои платья, осталась недовольна. — Хоть бы пошить чего. Но когда?

Выбрала какое-то синее с белым воротничком, аккуратно уложила в чемоданчик.

— А вдруг не модно? — поддразнил я ее.

— Переживу! — махнула она рукой. — Кому я нужна-то, старуха...

И то, сдала за последнее время. Седых волос поприбавилось, и лицо как-то опало, сама полная, а лицо вроде худощавое. Эх, жизнь... А все они, детки. Коська. Лидва. Да и Юрия.

Сегодня мы получали зарплату уже по новым расчетам. Вот было шуму, споров, ругани. Получив в окошечке деньги, не уходили, а толпились в тесном помещении бухгалтерии, с любопытством допытываясь друг у друга о полученных суммах. Ругали звеньевых, бригадира Балашова за якобы неправильный учет. Но как бы там ни было, никто не остался равнодушным. Почти все заработали больше, чем зарабатывали прежде. Все вдруг увидели дальнейшие перспективы...

Очередь медленно подвигалась к окошку. Вдруг что-то застопорилось. Я услышал алой визг Фидюшкина.

— Безобразие! — вопил Спирька. — Кто это выдумал? По какому праву? Я вам не петеушник, я квалифицированный!.. Двадцать пять процентов!..

— Спокойней, товарищ, спокойней, — строго сказала кассирша, благообразная басовитая женщина с черными усиками. — Вас много, а я одна. Если каждый будет кричать...

— Подумаешь, какая спокойная нашлась! Сидит тут... — снова завопил Спирька.

— Ну при чем тут я? — пыталась урезвить его кассирша. — Вот тут у меня черным по белому написано: «Удерживать двадцать пять процентов из премии

за беспринципность». То есть за невыполнение постановления совета бригады. Поняли?

— Совета?! А кто в совете-то? Одни сродственники! Сват, брат и так далее. Рука руку моет, честному рабочему и податься некуда... Я не позволю! Я в профсоюз пойду! Все Федька Завгородний... Его штучки. Святого из себя корчит...

— Это меня не касается,— уже плаксивым голосом проговорила кассирша.— Будете вы получать свою зарплату или нет?

Спирька рывком сгреб деньги, отошел. Еще раз пересчитал, задумываясь над каждой бумажкой, решительно отделил пятерку, сунул в потайной карман брюк, остальные положил в бумажник.

— Это что же у тебя в том кармане, касса взаимопомощи, что ли?— подмигнул я ему.

— Ты за своими карманами получше следи,— окрысился Спирька, запихивая бумажник глубоко в карман брюк.

Буркнул еще раз «безобразие», круто повернулся и пошел вон, высоко задрав свою маленькую, уже плешивевшую голову. Мне почему-то жалко его стало. Напьется, конечно, даст выволочку жене — нужно злость на ком-то сорвать.

А вот и моя очередь. Кассирша сует мне под нос ведомость. С любопытством смотрю на цифру. Ого! Это за что же? За те самые трубки, гайки? Ну дела... Вот уж не думал. Отхожу озадаченный. На меня налетает Федор — оказывается, он не ушел, ждал меня, наверное, чтобы спросить, сравнить...

— Ну как? — Он с любопытством смотрит на пачку бумажек в моей руке.

— Да вот получил... — отвечаю с приятным недоумением.

Вместе пересчитываем деньги.

— Значит, даром тебя прорабатывал? — самодовольно говорит Федор.

— А то я сам дурак, по-твоему! — небрежно отвечаю я. — Тоже мне воспитатель...

Подшли Авдюхин с Гурьевым, потоптались неловко, загадочно переглянулись, откашлялись. Женя толкнул в бок Толика.

— Федор Кузьмич, мы с полочки приглашаем вас с Николаем Васильевичем в кафе, — сказал Толик.

Я озадаченно поглядел на Федора. Его белесые брови поползли вверх, глаза стали колючими.

— И долго вы думали? — сердито спросил он.

— Так мы же от всего сердца... Всегда так делается... Традиция... — Авдюхин смешался и покраснел.

— «Традиция»... Не те традиции воспринимаете. Взять бы ремень да отхлестать вас по мягкому месту.

— Ну как же?.. — лепетали ребята.

— Чтобы я больше этого не слышал! — погрозил пальцем Федор. — А теперь по домам. И-ни-ни...

— Извините...

Ребята как-то неловко поклонились и ушли, смущенно посмеиваясь.

— Видал? — обратился ко мне Федор. — «Традиция»... Вот откуда вьяницы-то берутся. Сперва заначка, потом за то, за се, ты мне, я тебе — и круговая порука... Она приучает к рюмке. Без рюмки мы уже ни одно дело сделать не можем.

— Зря обидел ребятшек, — посмеивался я. — Они хотели свою самостоятельность показать, а ты... Отказался бы вежливо.

— Ты еще...

— Ну ладно, ладно... А со мной пойдешь в кафе? — миролюбиво спросил я.

— И с тобой не пойду. В день зарплаты по кафе не хожу.

Вот черт упрямый, ведь все врёт, просто из принципа, чтобы поперек...

— Не иди же сразу домой, — уговаривал я его.

— А кто сказал «сразу»? В магазин зайду, куплю чего-нибудь внукам.

— Ладно, черт с тобой. Пойдем в магазин, — согласился я. — Твои внуки — мои внуки.

Мы идем с Федором по тихой вечерней улице, разбрызгивая ботинками мягкую пыль. Уже зажглись неоновые огни вывесок — желтые, красные, пронзительно зеленые. Нахально бросается в глаза голубая вывеска «Вино». Под ней, как всегда в дни зарплаты роятся мужики. Молча киваю на нее Федору. Он так же молча отрицательно качает головой, упрямо двигая к «Детскому миру».

В магазине толпится народ, все больше женщины. Мы с Федором сразу потеряли друг друга. Он прошел в отдел игрушек, а я завяз в очереди.

— Чего дают? — поинтересовался у бойкой молодухи.

— Шубки детские на кроличьем меху. Сверху брезент, а внизу кролик.

Я вспомнил, что трем внукам нужны на зиму шубки, а эти что надо! И легкие и теплые.

— Только сейчас и покупать! — трещала молодуха. — Зимой-то разве купишь?

Одним словом, я решился на подвиг — во что бы то ни стало шубки достать. Отстоял два часа в очереди. Наконец, придавленный к прилавку, расплющенный, я попросил продавца выписать мне три шубки нужных размеров.

— По одной! — заревела очередь. — Ходят тут спекулянты чертовы, все подряд в свои чувалы захпихивают.

— А если у меня три внука?! — заорал и я. — Что же теперь, три года ходить по очередям?

Продавец, молодой парнишка, сочувственно глянул на меня, молча выписал чек, сунул мне в руку. Я взглянул на чек: порядок! Побежал в кассу платить.

Дома едва влез в дверь со своим огромным пакетом. Дарья подозрительно поглядела на него, спросила с недоумением:

— Что это?

— Вся получка здесь, мать. Принимай! До следующей получки на твои жить будем.

Она развязала пакет, нетерпеливо развернула его, громко ойкнула.

— Не такие? — с беспокойством спросил я.

Не ответила. Плюхнулась на диван, затряслась от смеха.

— Ну молодцы! — говорила она сквозь слезы. — Зубы на полку...

— Чего ты? — допытывался я, смутно догадываясь о чем-то. — Мы с Федором были.

Дарья сбежала в спальню и вынесла оттуда точно такой же сверток.

— Тоже почти вся получка! — торжественно проговорила она и снова захотала, теперь уж наверняка надо мной, над моим глупым видом.

— Постой-постой! — перестав смеяться, что-то соображала Дарья. — Ты, кажется, говорил, что был вместе с Федором?

И она снова зашлась смехом. Глядя на нее, и я стал смеяться. Отсмеявшись, серьезно поглядели друг на друга.

— Что делать-то? Лавку, что ли, открывать? Меня и так уж спекулянтом сегодня обозвали, — сказал я.

— Ладно, — вздохнула Дарья, — сдам завтра в магазин, объясню. А не то с рук возьмут тут же, дефицит...

На другой день осторожно спрашиваю Федора:

— Слышь, ты, случаем, шубки внукам вчера не купил?

— Нет, а что? Я им всем по велосипеду купил, пришлось такси нанимать. А ты шубы купил?

— Купил! Боялся, кабы ты не купил.

— Вот хорошо! — обрадовался Федор. — То-то Варька будет довольна! Ей-то в очереди некогда стоять, а тут случай. Спасибо, сват...

Монтаж колонны мы закончили на три дня раньше намеченного срока! Инженер Прокофьев говорит, что это очень даже здорово, если учесть, в каких условиях мы работали.

Балашов наш прямо-таки расцвел и про личную жизнь позабыл, ко всем добрый такой, предупредительный, даже к Спирьке. Мол, ничего, Спиридон Алексее-

вич, двадцать пять процентов ерунда! Вот теперь, гляди, премию отхватим! А там в газете о нас напишут! Как-никак все-таки мы победили!

— Ладно,— снисходит Спирька,— двадцать пять процентов пусть будут на вашей совести, а я теперь, как кот, пью только валерьянку.

Врет, конечно, на днях жена приходила плакалась, что получку домой не приносит, нельзя ли получать за него? Придется на совете этот вопрос разбирать.

Теперь колонну сдадим комиссии. Остальное дело трубачей. Их бригада уже заблаговременно расставила трубы по положенным местам, а это около двухсот километров разных изгибов и выкрутасов! Полным ходом идут сварочные работы.

Сегодня в конторе вывесили доску с показателями результатов соцсоревнования. По экономии материалов, сохранности инвентаря и механизмов мы обогнали бригаду Василия! Но... В индивидуальных соревнованиях они нас переплюнули. Балашов досадливо ворчит:

— У них народ активнее, а у нас...

Уж так ему хочется быть первым! Забыл, как пилил нас за подряд.

Нам с Федором присвоено звание лучших рабочих. Слава!

— Вот тебе и старички! Вот тебе и пенсионеры! — довольно приговаривает Федор и косит глаза на Балашова.

Тот делает вид, что его это не касается.

— Ух ты, мать твою... — ехидно говорит Спирька. — Опять одни сродственнички! Трешь холку, трешь, а тебе фигу с маслом под нос.

— Помеьше пить надо, Спиридон Алексеевич, — добродушно подначивает Балашов. — Вы ведь тоже мастер — высший класс, висеть бы вам на доске, а вот не вышло.

— Божий дар с яичницей смешиваете. Работаю хорошо, а остальное вас не касается.

— И прогулы не касаются? И фокусы-покусы? Я же говорил вам...

— Ну говорил... — юлит Спирька. — У нас каждый человек подход требует, чтобы его воспитывали.

— У кого это «у нас»? — уже ехидно спрашивает Балашов.

— У нас, значит, у нас, непонятно, что ли? Не в Америке же... — кривляется Спирька.

— Вот мы вас и воспитываем, а вы недовольны...

— Да разве так воспитывают! Кровные заработанные денежки зажимают. Ты меня ругай, прорабатывай, а заработок-то при чем? Может, когда я выпью, то работаю лучше. Вдохновение у меня...

— Вдохновение... А жену обижать тоже вдохновение?

— Это личная жизнь, и вмешиваться не имеете права. Милые дерутся — только тешатся.

— Ну юморист! — не выдержал я. — Тоже мне «милые», тоже мне «личная жизнь».

— А что? Может, у тебя личная жизнь? — впился в меня Спирька своими глазами-гвоздиками. И вдруг брякнул: — Дарин муж.

Федор так и покатился со смеху. Вот черт плюгавый этот Спирька, выдумает тоже — «Дарин муж»... Прилепят еще прозвище. Лучше с ним не связываться. Все же я спросил:

— Почему же я Дарин муж, по-твоему? Чай и сами с усами, как видишь.

— А! Это все чепуха! — Он вдруг поглядел на меня с веселым недоумением. — Да ты газеты читаешь ли? Сегодняшнюю «Правду» смотрел?

— Нет... Не успел. А что такое?

— Ха-ха-ха! — закатился Спирька. — И ничего не знаешь?

— Да нет. — Опять этот зануда с какими-то загадками.

— Люди добрые, поглядите на этого человека! — Он ткнул в меня своим тощим пальцем.

Я растерянно поглядел на Федора, тот недоуменно пожал плечами.

— Я просматривал, но ничего такого не заметил, — сказал он.

— Эх вы, а еще на доске висите. Ладно, Касьяныч, хрен с тобой, если уж

у тебя нет двух копеек на газетку, я тебе свою жертвую. — И Спирька вытащил из кармана спедовки сложенную несколько раз газету, развернул ее, ткнул пальцем где-то посередине страницы. — Читай!

Я взял в руки газету, но забыл совсем, что без очков читать не могу. Пока искал по карманам очки, Балашов увел у меня из руки газету.

— Что-то я ничего не понимаю, — сказал он через минуту странным голосом и растерянно поглядел на меня. — Вот... Указ Президиума Верховного Совета о награждении Дарьи Степановны орденом Трудового Красного Знамени...

— Так и написано? — глупо спросил я.

— Так и написано... Читай. — Он протянул мне газету.

Я взял ее как-то враз ослабевшими пальцами. Перед глазами прыгали строчки Указа: «За достижение наивысшей производительности труда... за выпуск продукции высокого качества... Касьянова Дарья Степановна... орденом Трудового Красного Знамени».

Мать честная! Вот это да! Читала ли сама-то?

Дарья явилась вчера вечером. В каком-то модном импортном платье, веселая, помолодевшая. Мне привезла подарок — замшевый кожаный коричневый джета, я в нем на таракана похож. Отдам Коське, пусть форсит. Переплюнула-таки свою соперницу, на два килограмма больше нее намотала. «Только-то? — удивился я. — Стоило летать в такую даль».

Ух рассердилась! Да что, говорит, ты смыслишь? Я, можно сказать, перед всей отраслью выступала. На чужих машинах, это понимать надо... Весь шелк сдала отличного качества. Заняла первое место, а там ведь были со всего Союза перемотчицы!..

Будто издалека донёлся до меня голос Спирьки:

— Поллитра с тебя, Касьяныч, за такую новость!

— Иди домой, Николай Васильевич, мы тебя отпускаем, — прочувствованно сказал Балашов.

— Конечно! Чего там... — подтвердила вся бригада.

— Цветов не забудь купить! — напомнил бригадир.

И я пошел домой. Нет, не пошел, а словно полетел на крыльях! Даже к Василию забыл зайти. Ну ничего. Ему скажут... Опомниться не успел, как очутился возле своего дома и тут только спохватился: цветы. Побежал на базар. Схватил у какого-то грузина всю его наличность гвоздик — красных, розовых, белых. Он перепугался, кричит мне словно глухому:

— Эй, папаша! Ведь это дорого... Хватит у тебя денег?

— Сколько? — выдохнул я.

Он сказал. Я выбросил из кармана почти все, что у меня было.

— Хватит?

Он пересчитал бумажки, заулыбался:

— Хватит, хватит...

По дороге домой забежал еще в продуктовый магазин, купил бутылку шампанского и килограмм самых дорогих конфет. Так и шел домой: в одной руке букет, в другой бутылка шампанского, а под мышкой еще конфеты. Встречные понимающе улыбались: есть повод!

Шел с надеждой, что Дарья тоже дома — неужели в такой день не отпустят? Но дома никого не было. Ну да! — сообразил я. Будет она терять драгоценное время. Конечно же, всю свою смену отработает до конца. Ладно. Будем ждать. Взял из буфета хрустальную вазу, гордость Дарьи, оформил букет, поставил посреди стола, рядом бутылку шампанского, конфет насыпал в какую-то замысловатую стеклянную вазочку. Вроде хорошо получилось, торжественно. И тут я впервые по-серьезному задумался о нашей жизни с Дарьей. Знаю ее всю жизнь как жену, как мать своих детей, как доброго человека, но чего-то главного в ней так и не постиг. Чем она жила все эти годы? Чего добивалась? И добивалась ли? Что движет ее поступками? Почему она, такая немолодая, так азартно живет? Работает с учетом каждой секунды времени, бегаёт по депутатским делам,

хлопочет, чего-то добивается для других людей. А я вот всю жизнь работал, и добросовестно работал, но такого единения с людьми никогда не испытывал. Они мне всегда казались себе на уме, и я старался быть себе на уме...

Так я размышлял про себя и ходил из комнаты в комнату, рассеянно перекладывая вещи с места на место, пока не пришла Дарья.

— Ты уже дома? Вот хорошо! — обрадовалась она,

— Дома, дома... Давай я за тобой поухаживаю.

Я взял у нее сумку с продуктами — она всегда после работы заходит в гастроном, — отнес на кухню, вернулся, нашел ее домашние туфли. Дарья следила за мной загадочным улыбочивым взглядом.

— Знаю, знаю... — ответно улыбнулся я. Чмокнул ее в щеку, проговорил размягченным от внутреннего волнения голосом: — Поздравляю, мать...

— Ну вот... — смущенно сказала она. Прошла в комнату, где был накрыт стол. — Вот это да!

Я открыл шампанское, налил по бокалу.

— За твои успехи, мать, за твое здоровье!

Дарья поглядела на меня каким-то особым, проникновенным, что ли, взглядом и тихо проговорила:

— Спасибо, Коль. За все тебе спасибо. Без тебя у меня ничего бы не вышло...

Я хотел напомнить о кое-каких ее обидных словах в мой огород, но что-то меня удержало. Сказал только как можно задушевнее:

— Ладно, мать, чего там! Мы с тобой давно уж одно целое.

Весь этот вечер был заполнен телефонными звонками. Звонили Юрий, Костя, Федор с Клавдией Григорьевной, Балашов, друзья и знакомые. Все горячо поздравляли с высокой наградой.

В выходной день решили по этому поводу устроить праздник.

Комиссия по приему смонтированной нами колонны работала долго и кропотливо. Пока проверили все акты, рабочие чертежи, отметили в них сделанные монтажниками какие-то поправки, изменения и дополнения, прошло немало времени. Много было всякой мороки, нервозности. Досужие люди рассказывали всякие невероятные случаи из своей якобы практики, когда, мол, по такой-то и такой-то причине им приходилось все переделывать заново, взрывать фундаменты, а они из-особо прочного бетона...

Мы-то с Федором были уверены, что все нормально, а вот Балашов извелся, эти дни ходил сам не свой. Еще бы! При его-то неуверенном характере да такое испытание! А тут еще высокие представители из горкома, корреспондент из газеты. Сдвинув смешную белую кепочку козырьком вниз, он без конца снимал колонну и так и эдак, бегал вокруг нее, мельтешил, казалось, сразу в нескольких местах до тех пор, пока инженер Прокофьев не взял его за руку и не подвел к нам, монтажникам.

— С колонной вы, товарищ корреспондент, уже основательно познакомились, — насмешливо сказал он, — теперь познакомьтесь с людьми, которые ее монтировали.

Сначала был представлен Балашов.

— Бригадир монтажников Балашов Петр Сергеевич, первый из монтажников нашего управления перешел на подрядный метод.

Корреспондент ловко изогнулся, прицелился объективом в Балашова и щелкнул затвором фотоаппарата. Готово! Пригвоздил нашего бригадира.

— А это наш уважаемый слесарь Николай Васильевич Касьянов, глава династии, так сказать, — представил меня Прокофьев.

— Ага! — обрадовался корреспондент. — Тот самый, который предложил метод бригадного подряда?

Надо же! Как новый корреспондент, так опять путаница!

— Да нет, это не я предложил...

— Как то есть не вы? Все газеты об этом писали...

— Писали о моем сыне Василии Николаевиче Касьянове, а я его отец, Николай Васильевич Касьянов.

— Николай Васильевич — глава целой династии Касьяновых, — с улыбкой сказал Прокофьев. — Сын его Василий Николаевич — строитель, во-он он рассказывает... — И он указал в сторону строительной площадки.

Я действительно увидел Василия и стал призывно махать ему рукой: мол, подойди!

Узнав, что все мои дети, кроме Василия, инженеры, корреспондент вопросительно поглядел на Прокофьева:

— Ну какая же тут династия?

— А что же, по-вашему, династия из одних рабочих должна состоять? — в свою очередь спросил его Прокофьев. — Сейчас это, так сказать, нетипично. Существует понятие «человек труда». Монтаж этой колонны потребовал от рабочих инженерного мышления. Так что подчас бывает трудно разграничить...

Ну и умница же этот Прокофьев! Понимает...

Вокруг нас столпилась вся бригада, глядят во все глаза, слушают с интересом, мне даже как-то неловко сделалось от такого внимания — что я лучше всех, что ли? И я намекнул корреспонденту, что хорошо бы снять всю нашу бригаду.

— То, что мы закончили монтаж на три дня раньше срока, заслуга всей нашей бригады, — сказал я.

Прокофьев горячо поддержал меня. Тогда корреспондент расставил нас так, как он считал нужным, и уже приготовился щелкнуть, но Федор вдруг предупредительно поднял руку. Что такое?

— Постойте, — говорит, — непорядок! Один член бригады отсутствует...

Мы оглянулись все и увидели Спирьку. Он стоял на отшибе и с какой-то неестественной улыбкой глядел, как мы гоношимся.

— Спиридон Алексеевич! Чего же ты? — крикнул ему Федор. — Задержи-вашь...

Спирька будто нехотя подошел к нам, пристроился где-то сбоку, но корреспондент вытащил его наперед и поставил в серединку между мной и Федором.

В то время как мы интервьюировались и снимались, кто-то принес весть, что к строительной площадке приближается автоколонна с новым реактором, можно сказать, уже на подходе. Мы тут же позабыли и про славу и про корреспондента, а он позабыл о нас. С криками: «Везут новый реактор!» — все ринулись навстречу автоколонне. Она действительно была уже на подходе. Еще издали мы увидели мощные тягачи с прицепом, на котором лежало ярко-оранжевое тело реактора.

Автопоезд по ширине занял почти всю дорогу, так что позади него выстроилась вереница транспорта. Караван медленно приближался к строительной площадке. Его сопровождали гаишники на своих автомобилях.

— Значит, начинай все сначала? — кивнул я Федору на реактор.

— Значит, так! — серьезно ответил он.

Дарья с Лидой всю неделю готовились к празднику. Решили устроить семейное торжество. Холодильник трещал от всякой снеди, а они все таскали, таскали, солили, мариновали, и конца этому не было видно.

А по вечерам вся квартира переворачивалась вверх дном. Скребли, мыли, стирали, чистили мягкую мебель, выбивали ковры, протирали окна — одним словом, наводили шик-блеск. Меня тоже в это дело вовлекли: я двигал мебель то туда, то сюда по их указанию. И ради чего все это? Ради того, чтобы женская половина не дай бог чего-нибудь не заметила и не осудила хозяек. Мужики не замечают, какие там на окнах занавески, хорошо ли промыты окна, чистая мебель или грязная, им все равно, была бы выпивка да закуска. А бабы... Язвы — не дай бог!

Наконец пришел и долгожданный день. С утра пораньше накрыли стол, расставили тарелки, рюмки разных калибров, выставили вино и закуски, украсили стол букетом цветов. Потом Лида куда-то убежала, кажется к знакомой портнихе за платьем, которое переделала специально к этому случаю. Дарья хлопотала на кухне, а я, принарядившись во все новое, сидел на вычищенном диване и

терпеливо ждал гостей. «Интересно, кто придет первым? — загадывал я. — Юрий с Ириной? Василий с Варей? Костя?» Почему-то решил, что Костя: человек он холостой и задерживать его некому.

Но первыми пришли Федор с Клавдией Григорьевной. Федор был в новом темно-синем бостоновом костюме (образца тысяча девятьсот пятьдесят третьего года), хотя на дворе вовсю шпарило солнце. В вытянутой руке он держал букет красных пионов.

— Здравствуйте, сватьяшки дорогие! Сколько лет, сколько зим!.. — радостно встретила их Дарья.

Расцеловались.

— Поздравляем тебя, сватьяшка дорогая, с высокой наградой, — торжественно проговорила Клавдия Григорьевна.

«Как она постарела!» — грустно подумал я, рассматривая исподтишка Клавдию Григорьевну. Когда-то стройненькая, ладненькая вся, она расплылась, стала похожа на дежу, лицо сделалось круглым, мясистым, шея оплыла жиром. Черные пряди волос густо смешались с седыми прядями, и было странно смотреть на них, будто молодость яростно сражалась с наступающей старостью. «Наверное, и мы с Дарьей так же сильно постарели», — снова подумал я и посмотрел на Дарью. Нет, она у меня еще молодцом, в форме! Небось не очень-то растолстеешь, бегая целую смену между веретенами...

Букет Федора Дарья сунула в какой-то глиняный горшок и водрузила на телевизор. Цветы нахально лезли в глаза, наполняя комнату сладким дурманящим запахом.

— Как у вас хорошо! — заметила Клавдия Григорьевна, осматриваясь по сторонам. — Прямо дышит все...

— Живем не жалуемся, — отозвалась Дарья, усаживая гостей на диван. Она так и расцвела вся от сватских похвал — не зря целую неделю трудились!

— Вот так-то, значит... Жизнь идет, контора небесная пишет... — философски изрек Федор, поглядывая на батарею бутылок. — Когда-то и мы были рысакими. Помнишь, Клава, какими мы с тобой встретились после войны? — обратился он вдруг к Клавдии Григорьевне.

— А! Что было, то быльем поросло, — засмеялась она, — чего старое ворошить!

— Нет, помнишь? Ты была тоненькая, как тростиночка, и на тебе был... как его? Мордовский костюмчик.

— Украинский! — укоризненно поправила Клавдия Григорьевна. — Как же, в гардеробе лежит, мал он мне, — вздохнула она. — Сама вышивала...

— А теперь откуда чего взялось! — Федор шутливо хлопнул по спине свою половину.

— А ты-то, Федь, какой чудной был! — снова засмеялась Клавдия Григорьевна. — Длинный, тонкий, в прогоревшей солдатской шинели до пят, в кирзовых сапожищах. Пришел к нам в рабочее общежитие, всех девок переполошил — жених, мол, Клавдин с фронта приехал. А я как глянула на тебя, так сразу и обмерла: «Он! Мой Федя...» Расписались. Ни у него, ни у меня ничего нет. Была у меня шаль пуховая, мама еще вязала, — продала. Купила Феде костюм, преобразила кое-как. Ну, говорит, поедем теперь в наши края...

Пришли Юрий с Ириной нарядные, торжественные, как и подобает случаю, с культурным букетом — три гвоздики в целлофане. Юрий приложился к лицу матери словно к иконе, вручил цветы:

— Поздравляю...

Ирина прижалась щекой к щеке свекрови. Щелкнула замочком сумочки, вынула маленькую коробочку.

— Вот... подарок, — сказала с вежливой улыбкой.

Дарья открыла коробочку.

— Духи! Мои любимые, «Серебристый ландыш». Спасибо, спасибо, — проговорила она растроганно.

Тут вошла Лида, остановилась на пороге, ахнула обрадованно, кинулась к Клавдии Григорьевне, обняла, расцеловала.

— Тетечка Клава! Сто лет я вас с дядей Федей не видела!

— А ты все хорошеешь, Лида, — заметила довольная Клавдия Григорьевна.

Василий с Варварой ввалились с шумом, со смехом. Вбрякнули на пол эмалированное ведро с пирогами, сунули мне в руки сумку с жареной индейкой, пошли обниматься да целоваться.

— Мамочка наша... — ласково приговаривала Варька, целуя Дарью.

— Да зачем же вы это? — сокрушалась Дарья по поводу пирогов и индейки. — У нас все есть. А вы тащили эдакую даль по жаре...

— А мы не тащили! Мы везли! — торжественно объявила Варвара. — На собственных «Жигулях»...

— Что ты?! — удивилась Дарья.

Все кинулись к окнам. А Варька посмеивалась, довольная произведенным впечатлением.

— Правда, что ли? — спросил я Василия.

— Ну! — засмеялся он. — Во дворе стоит.

Все не сговариваясь бросились на улицу смотреть машину.

Вишневые «Жигули» ярко сверкали никелем и лаком. Просторный салон приветливо манил желтыми кожаными сиденьями. Старая машина Юрия казалась езженной клячей перед этой новенькой игрушкой.

— Хороша, хороша, ничего не скажешь... — приговаривал Федор, осматривая машину.

— Последняя модель? — деловито справился Юрий.

— Самая лучшая! — гордо ответил Василий.

Женщины охали, ахали, потом залезли в салон, уселись на сиденья. Василий сел за руль.

— Эх прокачу! — лихо сказал он и плавно тронул машину.

Объехал вокруг дома. Довольные, смеющиеся женщины высыпали на тротуар.

Последним пришел Костя с фотоаппаратом на боку.

— Хелло! — заорал он еще с порога, увидев братьев. — В кои-то веки... — Пожал всем руки, осмотрелся. — Кажется, все в сборе. От управления прибыли, со стройки тоже, с напронового комбината есть, ну а от прожекторов я... Так что можно начинать.

— Что же один-то? — спросила его Клавдия Григорьевна.

— Не женился еще, тетя Клава, невесту по вкусу никак не подберу, — ответил Костя, снимая с плеча футляр с фотоаппаратом.

— Не может быть! На напроновом такие девушки! Что же ты, Дарья Степановна, не поспособствуешь?

— Ох эти девушки! — вздохнула Дарья. — Выходят замуж, уезжают, сплошная текучесть кадров. Стараемся теперь создать такие условия, чтобы женихов уговаривали остаться в нашем городе.

— Получается? — спросила Клавдия Григорьевна.

— Кое-что получается. И то сказать, чего им у нас не хватает? Дворец культуры лучший в городе, квартирами обеспечиваем, школу новую построили, детсад есть, больница своя — райское житье!

Все уселись за стол, налили по первой рюмке. Я встал, поднял свою рюмку и произнес прочувствованную речь.

— Я так полагаю, — начал я, — мы собрались сегодня по очень торжественному для всех нас поводу. Так выпьем же за виновницу этого торжества, за нашу Дарью Степановну, за ту высокую правительственную награду, которой она удостоилась, пожелаем ей доброго здоровья и новых больших успехов!

Все встали, подняли бокалы и дружно прокричали:

— Горько!

Пришлось нам с Дарьей целоваться ко всеобщему удовольствию. Вот что придумали...

— Давайте выпьем теперь за успехи бати и дяди Феди.— поднял рюмку Василий.

— За какие?— яё поёял я.

— Ну как же! Монтаж колонны закончили все-таки раньше намеченного срока! В почетные рабочие вышли...

— А! За это стоит, стоит... И вообще за подрядный метод!— Я поглядел на Юрия.

— Ох этот подрядный метод! Вот он у меня где сидит,— похлопал Юрий себя по шее.

— Хорош подрядный метод! Умёючи используй метод этот,— проделамировал Костя и опрокинул в рот рюмку.

— Правильно!— засмеялся Василий.

— А все-таки нехорошо, батя, жаловаться-то, а? Да еще на родного сына...— укоризненно проговорил Юрий, ванизывая на вилку грибы.

— А что же делать?— невинно спросил я.— Ремнем тебя уже не могу отетегать, так пусть хоть партия постегает.

— Постегала... Чуть выговор не схлопотал. А за что? Василий славы захотел.

— Жаль, что так думаешь...— с укоризной в голосе произнес Василий.— Впрочем, где тебе понять!

— Где уж нам, дуракам,— ехидно сказал Юрий.

— Не современный ты, брат, управленец,— усмехнулся Василий.— В этом вся твоя беда. Современный командир производства должен владеть современными методами управления.

— А что ты под этим подразумеваешь?— снисходительно поинтересовался Юрий.

— Нужно поменьше заседать и заниматься бумажной волокитой, а лучше налаживать непосредственные связи.

— А мы и налаживаем.

— Да ну... Когда ни придешь — вы все заседаете. А ведь чем активнее инженер участвует в непосредственном деле, тем он будет опытнее, квалифицированнее.

— Да бросьте вы, все о делах да о делах... Давайте лучше епеем,— предложила Клавдия Григорьевна и затынула высоким голосом:

Ска-ка-ал казак через долину,  
Через мань-чжурские края...

Мы, старики, дружно подхватили:

Ска-ка-ал он, всадник одинокий,  
Кольцо блестело на руке...

Нам подпевала Варька, положив голову на Дарьино плечо.

Юрка с Василием, стараясь нас перекричать, продолжали спор.

— Еще Ильич говорил, что хозрасчет неминуемо станет преобладающим, если не исключительным методом хозяйствования!— кричал Василий.

— А пока это невозможно!— тряс головой Юрий.

— Да почему же?

— При современной организации производства? Не-ет...

— Ну и организуйте! В чем дело? Вам даны полномочия.

— Всем даны. А попробуй договорись...

— Ну, брат, с такими мыслями ты недолго просидишь на своем месте!— насмешливо прокричал Василий.— Время таких, как ты, или заставит поворачиваться, или сметет к чертям...

— Спасибо за прогноз,— обиделся Юрий.

— Тут и обижаться нечего! Прогресс штука безжалостная — ам, и нег тебя!

Лида с Ириной тоже о чем-то оживленно беседовали. У молодых матерей свои радости, свои заботы. Каждая из них думает, что ее ребенок самый умный, самый красивый. А мне они, все четверо моих внуков, кажутся самыми прекрасными на свете.

Я смотрю на всех и думаю с умилением: «Было нас двое с Дарьей, а теперь вон какая жизнь вокруг нас кипит! Дети, внуки... Разве это не счастье? Можно с полным правом сказать, что жизнь не зря прожили...»

А Юрка с Ваьской все спорили, и дым висел над их головами.

— При хозрасчете вы получите доходы, достаточные не только для покрытия издержек производства, но и для образования прибыли!— услышал я громкий голос Василия.

«Вот что значит экономикку человек изучает!» — с гордостью подумал я.

— Там кто-то трезвонит,— прислушался Костя и побежал открывать дверь.

Вошел Балашов в белой рубашке, при галстуке, наглаженный, начищенный, с цветами в руке.

— Петя!— радостно сказала Дарья.— Петенька, проходи, милоч, проходи.

— Вот пришел поздравить вас, Дарья Степановна,— проговорил Балашов смущенно и протянул ей цветы.

— Спасибо, что не забыл. Садись вот сюда, здесь есть стульчик свободный.— Она усадила его рядом с Лидой, на место Ирины, которая вышла на балкон.

— Штрафной бригадиру!— закричал Федор и налил Балашову полную рюмку.

Тот отпил глоток ради приличия и поставил рюмку на стол.

Ели индейку, перекидываясь шутками, разговаривали. А я невольно прислушивался к разговору, который начали Балашов с Лидой. Балашов заговорил осторожно так, мягко, будто каждое слово взвешивал.

— Я не хочу, чтобы ты думала обо мне так.

— Как?— коротко переспросила Лида. Ее голос звучал безразлично и сухо.

— Я хотел сказать тебе, что был не прав...

— Ну вот еще!— как-то развязно перебила его Лида и равнодушно так добавила:— Не надо об этом.

Но Балашов настойчиво что-то втолковывал ей, близко наклоняясь к ее лицу. Я увидел, как зло вспыхнули глаза Лиды, а губы превратились в две тонкие полоски.

— Послушай, чего ты ждешь от меня изо дня в день? Чего ты ждешь?— резко спросила она, глядя ему прямо в глаза.

Балашов переменился в лице, выпрямился.

— Вижу, ждать нечего. Но помни: когда ты наконец образумишься, будет уже поздно...

— Ну и ладно,— словно отмахнулась Лида.

«Расти, видно, Павлику без отца»,— грустно подумал я.

Долго еще у нас плясали и пели песни. Разошлись уже под вечер, когда тяжелое степное солнце стало проваливаться за горизонт.

А в понедельник мы узнали, что наша работа принята комиссией с оценкой «отлично».

— Вот тебе и пизанская башня!— задумчиво проговорил Спирька и почесал в затылке.





---

ГЕРМАН КАНТ

★

## ОСТАНОВКА В ПУТИ\*

Роман

IX

Эти были самые суровые солдаты из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Не знаю, за кого они нас принимали, но обращались они с нами так, будто подозревали в одном из нас опасного преступника. Они вошли к нам еще до побудки и выгнали нас, подняв жуткий тарарам, на заброшенное поле рядом с лагерем. Там нас оцепили тройным заслоном часовых; вокруг оцетинились штыки, видны были легкие пулеметы и за ними пулеметчики. Так нас заставили ждать, пока не забрезжил свет утренней зари.

Далее начался личный обыск, нешуточный, и оставить позволили нам очень немного. Нам оставили миски и ложки, а все, что сверх того, — богатства, которыми мы разжились за последние месяцы, полетели в кучу, и куча эта росла быстро. Вилки, ножницы, ножи — пленным разве здесь нужны? Посудины, какие заводит себе каждый, кто не хочет остаться невооруженным, оказавшись у треснувшей бочки с сиропом или у лопнувшего мешка с солью, составили добрую половину пирамиды; предметы одежды подозрительно гражданских цветов весело пестрели на выросшей горе; писчие принадлежности всех сортов, среди них грифельные доски с грифелями и карандаши, летели в общую грудку, губная гармошка и маленький зеленый мяч — предмет роскоши, ценность которого не выразить никакой суммой, — тоже оказались на отвале.

И мои шахматы чуть было не очутились там, но, видимо, какой-то ангел подсказал мне, как вести себя, подсказал мне тон, которым нужно разговаривать с часовым, и тот в конце концов вывернул мне под ноги мои фигурки, а в мусорную кучу полетел только расчерченный на квадраты платок.

Это опять, в который уже раз, госпожа Гигиена отторгла от нас наше добро, и если бы она при этом еще поменяла нам одежду на чистую, то вся процедура приобрела бы некоторый смысл.

Но как ни занимало нас в эти часы все происходящее, по сути занимал нас один вопрос: чего они от нас хотят? И чего они так выламываются: не из-за нас же?

Разве мы не те самые веселые певцы из Пулав, разве мы не те самые бодрые сборщики фруктов и грузчики песка, разве мы не те самые трудолюбивые добрые гномы с берегов Вислы, разве мы щадили себя, вкалывая на шоссе и железнодорожных путях, разве мы не карабкались на склизкие тропки и горячие стены, не шли смело на затаившиеся мины, разве не мы трудились в поте лица, работали не за страх, а за совесть, разве не мы старались так, будто это была наша страна и мы хотели привести ее в порядок для нас самих?

Да, мы знали, что пришли сюда с войной; а кто желал заострить проблему, мог бы сказать: война пришла с нами, но ведь война давно кончилась, она уже пять меся-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

цев как кончилась, почти полгода назад, пол трудового года, и трава прошедшего лета успела пожухнуть, так зачем же вновь объявлять нам ту, старую войну?

Мы вдосталь нанюхались пороха, теперь нас воротило от пулеметов; нам заплатили сполна, теперь в наших карманах пусто; никто не вкалывал усерднее нас, так зачем этот крик и гам и, простите, зачем вся эта таинственность, ведь, право слово, нам могли бы сказать по какой причине и какого вообще черта свалились они нам на голову в такую рань.

Но подобные соображения всегда зависят от взглядов, польские солдаты придерживались, видимо, иных взглядов, чем мы; они разделили нас на семь равных частей, что им вполне удалось, ибо дизентерия и мины, и всякие прочие напасти довели наше число до двухсот восьмидесяти.

Обеденный час стал часом прощанья с Пулавами, прощаньем на марше с маленьким лагерем, прощаньем на марше также с большим лагерем, прощаньем с вокзалом, где я увидел знакомого железнодорожника, прощаньем с рельсами, которые я укладывал и у которых стал свидетелем торопливых похорон. Прощаньем из вагона, что катил на северо-запад.

Порой я подумываю, не съездить ли в те места еще раз, понимаю, что думать об этом — чистая сентиментальность, но понимаю также, почему меня тянет в места, где я не сказать чтоб был счастлив.

Все дело в том, что я уехал оттуда, не проявив должного интереса к уголку земли, где кое-что узнал о жизни, чуть больше, во всяком случае, чем за все предыдущие восемнадцать лет.

Тем не менее, я не раз и не два подумаю, прежде чем отправлюсь в это путешествие, ибо на примере других начинаний подобного рода знаю, сколь мало из всего этого толку. Неловкость — вот чаще всего и весь результат, а для этого мне незачем пускаться в столь дальний путь.

Сорок человек в вагоне, в котором посредине сооружены нары, так здесь же вроде и места много; если бы побольше знать о цели нашего путешествия и о намерениях относительно нас самих, то у нас, глядишь, и настроение бы поднялось.

Не помню, какое было у нас настроение; я не забыл, нет, я просто не заметил. Не помню, сколько времени мы пробыли в пути, как часто останавливались и что нам давали есть. Одно помню твердо: я чего-то ждал, а ощущение было такое, как если в темноте ступаешь по неведомой тропе. Я ждал расселин и корней, я ждал, что куда-то грохнусь или на что-то наткнулся; недоставало только наручников, тогда мы точно были бы эшелоном преступников.

Я хорошо помню, что разговорился с банкиром, которого здесь звали Ротшильдом, но легче мне от этого разговора не стало. Если направление не изменится, сказал он, так, возможно, мы едем в Варшаву.

— А ты знаешь Варшаву?

— И даже в самых разных обличьях, здоровой и невредимой и разбитой. Но разбита она не как упавшие часы, а изуродована она как часы, по которым прошел каток.

— Ты там воевал?

— Слава богу, нет. А то мне и вовсе худо было бы в нашем поезде.

— Но кое-кто из наших наверняка там был,— заметил я.— Куда-то ведь они потом подевались, и где-то ведь и мы все побывали.

— Верно, друг мой, если у тебя двести восемьдесят солдат, так будь уверен, что в каждой точке военной карты хоть один да побывал.

— Исключая, может, море,— вставил я.

— Но тоже весьма относительно,— ответил он.— Среди нас есть баварец-подводник, в Нарвике и Тобруке побывали многие, прибыли они туда на военных судах. Если нам во все пункты съездить, как сейчас мы едем в Варшаву, так мой банк меня не дожидется.

— Ты думаешь, они везут нас в Варшаву на работы?

— Да уж вряд ли на экскурсию, друг мой. Но, сделай одолжение, представь себе на минуту, что мы едем на экскурсию и каждый может еще раз спокойно глянуть на то, что он самолично разрушил; это, боюсь, вызовет горячий спор, этаким спор наобо-

рот. Прежде каждый кричал, что это он сбил бомбардировщик или снайпера с крыши, а нынче все друг другу станут уступать первенство.

— Ну а ты,— спросил я,— ты станешь похвастаться подвигами?

— Глупо, друг мой, не надо ни в кого пальцем тыкать. Будем говорить как можно более отвлеченно. Помечтаем о grand tour<sup>1</sup> по местам нашей gloire<sup>2</sup>. Варшаву мы уже осмотрели, куда теперь? Направо, налево, вверх, вниз — наш путь пройдет по всему свету.

— Да не ори ты,— буркнул я,— еще подумают, что ты свихнулся, если будешь так орать. Меня пусть возят по всему свету; мне городов и городков бояться нечего, я ни одного не разрушил.

— Ни одного?

— Может, в одном городке танк, но ведь это были боевые действия, а я к тому же улепетывал.

— О, да ты, значит, исключение, мой друг, если то были боевые действия и ты улепетывал. А мы все, конечно, виновны в бесчинствах и кровожадности. Ну и шутник же ты: думаешь, как все остальные объясняют свое участие в войне?

— Вся разница в том, правда это или нет.

— Ах, сколь же ты хитроумен, друг мой. Разница? Разница только в том, попался ты или нет. Попался, стало быть, никакой разницы. Пока мы сюда не явились, их страна была целехонькой, а сейчас она в развалинах. Так зачем им умничать и делать между нами различие? Нет, друг мой, мы теперь все в одном поезде, и никому из него не выскочить. Прошу вас, господа, гляньте-ка на Варшаву; вы ее как следует отделили, поразмыслите-ка над этим. Эй, господа, откройте-ка глаза, да осмотрите получше места между Минском и Севастополем, места, где вы были особенно усердны; да, сразу видно, вы и тут всю постарались. А теперь, господа, вам шибанет в нос Сталинград...

— А ну кончай, Ротшильд, вон Иоганнес уже уши развесил, он вот-вот и с этими часовыми спюхается.

— Не думаю, друг мой; я думаю, Иоганнес уже давно прикидывает, чем бы отвлечь этих малоприятных людей, чтоб они не поинтересовались неким фольксдойче из Бромберга; он ведь в жизни ни единого словечка по-польски не знал.

— Выходит, они все же делают разницу между нами?

— Да, кому раньше по зубам съездить. Когда съездить, а не съездить ли.

— По сути дела, это несправедливо,— сказал я, но тут он опять раскричался.

— Несправедливо, ах ты, страстотерпец Христос, несправедливо, сказал ты? Да откуда ты выудил сие экзотическое слово? Что оно хоть означает? Ну, скажи, скажи, друг мой, что тут несправедливо?

— Будешь так орать, я вообще больше слова не скажу. Я говорю о фольксдойче. Мы с ними не очень-то считались, а поляки считают их злейшими врагами.

— Судьба всех надзирателей,— сказал он.

— Не понял.

— Надзирателей в каталажке, знаешь?

— По книгам знаю.

— Ну для жизни хватят, друг мой. Волнуйся, волнуйся за судьбу фольксдойче; знаешь, как они за твою будущность дрожат!

— Ну и не надо,— сказал я, но, кажется, не так твердо был убежден в своих словах, как твердо их высказал.

Разговор с Гесснером требовал от меня напряжения всех сил. Из-за того, понятно, что между его познаниями и моими существовала огромнейшая разница, а также из-за моих попыток, несмотря на это, стоять с ним на равной ноге. Мне приходилось к целой куче вещей, к которым он относился как к чему-то само собой разумеющемуся, тоже так относиться, вернее говоря, мне не приходилось, я пытался к ним так относиться.

Со старым инженером Ганзекелем мне бы это и в голову не пришло, но Ротшильд был моложе и лучше знал современный мир, банкир или не банкир, но с ним я скорее находил общий язык, чем с большинством моих ровесников, с которыми пытался завести разговор. Среди них были ребята, от которых до сих пор за версту разило гимна-

<sup>1</sup> Прекрасное путешествие (франц.)

<sup>2</sup> Слава (франц.).

зией, а я все еще сохранял к ним **свою** неприязнь. Одного из них я как-то пожалел; то был берлинец, мы с ним много ночей **укрывались** одной шинелью. Он чудесно рассказывал об Арндлац, как там красиво в теплую пору ранней осени, когда солнце по-сверкивает на яблоках в витринах, и как чудесно там пахнет в молочной. Он, конечно, упоминал в своих рассказах о жратве, она занимала в них подобающее место, примерно такой же, как и в жизни. Можно даже сказать, у него были все основания много говорить о жратве, умер он оттого, что жратвы у нас было слишком мало. Я обратил внимание, что молодые ребята больше носились с памятью о доме, чем люди зрелого возраста. На то были свои причины; здесь и дома — вот части их жизни, чего-то третьего они не знали. В юности придают значение всему, что пережито, а почти все, что мы пережили, происходило дома; поэтому все, что мы говорили о доме, приобретало значение.

Но если ты прыгал с парашютом на Крит и лежал в окопах под Монте Кассино и заработал орден «Мерзлого мяса» или отсидел в военной тюрьме, так у тебя все это из головы выветрится.

Теперь все мы, молодые и не очень уже молодые, катили, **запертые** в ящиках под строгой охраной, куда-то в неизвестность, имени которой мы не знали, и мне бы **очень** хотелось иметь спутника.

И все-таки, все-таки, несмотря ни на что: думается, я создан прожить жизнь одиночкой. Я бы не осмелился вслух произнести мысль, на которую я осмелился и которая была мне очень по душе: необязательно же этот поезд катит в Варшаву.

Могло и так случиться, не правда ли, что теперь все разберут своих по домам, французы — французов, а немцы — немцев. Мы же знаем, не правда ли, что не только крыши Варшавы разбиты, но и крыши Кяля и крыши Любека тоже. Наступил мир, не правда ли, и он же имел силу не для одной только стороны; если мир наступил для поляков и для русоких, так значит — и это логично — мир наступил и для немцев.

Почему же поезд остановится в Варшаве?

Нет, на Варшаву он и внимания не обратит, он сразу продымит до Познани, проскочит Коло и Конин, два города, что останутся слева, словно ничего существенного там не случилось, и если уж ты сидишь в этом поезде, так для тебя там и впрямь ничего не случилось, в этом поезде другой счет, здесь в счет идет направление поезда и то, что он проезжает через Познань, некогда называвшуюся крепостью Позен, справа здесь где-то угадывается Гнезен, резиденция епископа, а слева среди лугов лежит Клодава, ну и пусть лежит, мы катим мимо, мы проезжаем через крепость Позен, мчим к Одеру, вообще-то мы знаем, что на севере где-то есть Кольберг, но тут же о нем забываем, катим через Одер, по бранденбургским пескам к Берлину, но и здесь делаем короткую остановку, и вот мы уже в Мекленбурге, нет, здесь ничего не изменилось, а теперь мы выехали из Мекленбурга и, слава богу, проезжаем места, где берет свое начало Эльба, мы машем Гамбургу, но спешим дальше, пробиваемся сквозь лесопитомник на юге Гольштейна, не терзем из виду Эльбу слева, выскакиваем из зарослей, и вот мы уже в маршах, мы уже в Шлезвиге, мы на мосту через канал, мы уже в Марне, что на краю Европы, мы уже дома.

С моими фантазиями всегда бывает одно и то же — они **вдребезги** разлетаются из-за пустяковых деталей. Я легко могу представить себя летчиком-испытателем, но меня мутит от одного вида качелей — и это сразу возвращает меня на землю. Так моя мечта, что едем мы далеко-далеко, до самого моего родного городка, развеялась как дым, когда я задал себе вопрос: что же мой родной город станет делать с двумястами восьмьюдесятью специалистами высочайшей квалификации? Ну ладно, тогда не в Марне, тогда в Гамбург или в Берлин, они тоже разбиты, и там есть к чему приложить наши искусные руки.

Но тут полет моей фантазии был прерван, и вскоре **заблюдатели** у щелей объявили, что вдоль путей мелькают окраины, видны уже обгоревшие садовые участки, искореженные орудия громоздятся вдоль полотна, тьма поврежденных заводских зданий, уже показались жилые дома-пятиэтажки, но мало у каких цела крыша, и вот кто-то, да он, кажется, всегда, везде, все знаа, объявил: Прага, Варшава-Прага, восточный берег Вислы, товарная станция Прага.

Прощай, мой конь буданный, могила здесь разверзлась предо мной.

Кто знает, из какой пьесы были эти слова, но они годились как заключительная реплика к моим мечтам; судя по всем признакам, мы прибыли в город, где мечтать лучше не стоило.

Если я скажу, что тут разило запустением, так понятно, что в описание этой минуты я добавляю знания, приобретенные позднее,— теперь я хорошо знаю, какое там царило запустение. Эта мысль важна для всего происходящего с нами. Все прошло, и теперь я знаю о том прошлом куда лучше.

Тут разило запустением. Разило войной и гнилью. Разило мертвечиной. Разило гниющими костями. Миазмами выгребной ямы. Плесенью на сыром картоне. Застойной водой. Распадом и гниением. К этой старой вони примешивалась новая. Вонь только что сожженного тавота и только что погасшей золы, вонь от масленки-тавотницы и от вара из капусты без намека на масло.

Я утверждаю, все эти запахи я различал, хотя понимаю, сколь неубедительно звучит мое утверждение. Ведь известно: утверждающий валялся в товарном вагоне, воздух которого по крайней мере два дня и две ночи насыщался испарениями сорока немых мужских тел.

И все-таки я различал все эти запахи, а различал их с неслышанной точностью, да, с необычайной точностью я воспринимал все, что меня окружало, ибо я не вынес бы обычности там, где со мной обходились столь необычно.

Поначалу с нами обошлись очень даже обычно. Двери вагонов раздвинули, и нам громко приказали вылезать и строиться на перекличку, да поживей. Мне не очень-то ясно, по каким законам человек усваивает иностранный язык; ясно одно — усваивается вовсе не самое необходимое. Доказательство: все конвоиры, с которыми я сталкивался, прежде всего запоминали слово «живей», но нигде и никогда я не терял попусту такой уймы времени, когда был на сохранении у этих часовых.

Мы живо построились на соседних путях, тем более что пропасть всяких орудий вокруг нас сообщала всем приказам оттенок неотложности. Мы построились, нас пересчитали, и, слава богу, наше число сошлось.

У русских я всегда замечал такое одобрительное дружелюбие, когда наше число сходилось; в маленьком лагере в Пулавах мы сами себя пересчитывали, число каждый раз сходилось, и мы делали это без всякого шума; но здесь на этом вонючем ветру из-за всего поднимали шум, а главное, из-за того, что мы вообще существуем на белом свете. Прежний конвой передал нас новому конвою, даже письменно было все подтверждено, и новый начальник прошел вдоль нашего строя со старым начальником, вглядываясь в каждого из нас так, словно он чего-то от нас ожидал, и произнес перед нами речь, в которой содержалось то, что в подобных речах всегда содержится: бессмысленно... и так далее.

А потом мы опять долго ждали, и как для ожидания не было причины, так не было причины и для внезапного выступления. Нам просто-напросто вдруг скомандовали:

— Марш!

И опять мы услышали:

— Живей, живей!

Товарная станция была обнесена стеной; у ее ворот мы остановились, и сюда стали собираться люди, чтобы на нас поглазеть. Они что-то говорили нам, но главное, они на нас глазели. В двух шагах справа от меня была большая лужа, детвора, бегавшая вокруг, веселилась, как впрочем детвора веселится повсюду, дети швыряли в лужу камни, и те из нас, кто стоял рядом, вымокли.

И тут, откуда ни возьмись, появилась эта женщина. Я увидел ее, когда она подошла к нам, но она, видимо, уже давно была здесь, и кричала она тоже уже, видимо, давно, но кругом стоял такой крик, и ругань, и детский визг, что ее крик терялся.

Женщина шла к нам откуда-то справа и подошла примерно к тому месту, где стоял я. Она шла — и это особенно удивляло — наискось по луже, и хоть в луже было полно камней, все-таки это была лужа, грязная холодная лужа. Черная вода доходила женщине до лодыжек, но она шла напрямик ко мне и встала передо мной и, ткнув в меня пальцем, закричала.

Очень может быть, что в воспоминаниях перемешиваются события, случившиеся в разное время и в разных местах, но сегодня я думаю, что тогда, в октябре, у товар-

ной станции, я ощутил едва ли не то же самое, что и в январе у хибары того крестьянина. Там они выволокли меня из-под кровати, выгнали в ночь, и вся деревня обступила меня, и здесь мне казалось, что весь пригород Варшава-Прага вышел меня встречать.

В ту ночь у крестьянской хибары одна мысль стучала у меня в голове: теперь я попался. И у товарной станции я понял: вот я опять попался!

Тем более что криком женщины дело не кончилось, другие поспешили, хотя я до нее не дотронулся, ей на помощь. Они набросились на меня, тащили во все стороны, да так, что отодрали один рукав, а кто-то заподозрил, видимо, что я совершил насилие, и его стараниями я лишился зуба.

Последовательности событий я не помню, но относительная устойчивость положения была достигнута, когда меня окружили со всех сторон вооруженные конвоиры, четыре конвоира достались мне одному, ну, теперь уж со мной ничего не случится. Затем нам дали еще и начальника и скомаандовали: «Марш!» Нам — это значит мне и четырём моим стражам, теперь я оказался в двойном плену, а для меня даже один плен был ровно на один больше, чем нужно.

Нас сопровождала веселая детвора, и если уж нас нельзя было заметить, так тем более нельзя было не услышать. Очень скоро установился церемониал нашего шествия: дети поносили меня в своей песенке, окружающие, перекрикиваясь, сообщали друг другу об услышанном и криками же вопрошали моих конвоиров, конвоиры целиком были поглощены моей персоной, а вот начальник через каждую сотню шагов давал разъяснение, разъяснение это тут же, всхлипывая, передавали дальше, и вокруг меня опять собиралась толпа; четверо конвоиров — это иной раз все-таки маловато.

Сейчас, размышляя над тем, как лучше начать свой рассказ, я собрался написать: мне очень хотелось знать, чем вызвал я подобное скопление народа, что, стало быть, я собой представлял; но такое начало не годится, оно не соответствует истине; ничего я не хотел знать, я одного хотел — чтоб у меня не подкосились ноги и чтоб я не утонул под чужие ноги, и конвоиры, окружающие меня, такие близкие мне физически, были мне сейчас так же близки и духовно.

Ах, я тысячи раз задавал себе вопрос, что же такое говорила обо мне та женщина, но в сумятице я как-то позабыл повод, из-за которого попал в эту переделку: я только хотел из этой переделки выбраться.

Это нам удалось лишь с помощью пистолета: наш командир расстрелял целую обойму, а в этом городе стрельбу принимали всерьез — толпа отхлынула и от меня и от моих конвоиров.

Дорога требовала от меня напряженного внимания, и я только теперь заметил, где мы тем временем оказались: на берегу реки, у подножья понтонного моста, и уж не помню теперь, был ли то мост с двусторонним движением или на одном мосту стояли регулировщики, указывающие всему, что сновало туда-сюда, нужное направление, одно помню, мы вступили на мягко покачивающийся путь и оставили позади наше шумное сопровождение.

Я уже наверняка не раз говорил: вообще-то я люблю дни, когда осень только-только начинается, когда она еще легкой дымкой заволакивает землю и воду, когда солнце не жжет глаза, когда лето уже отступило, а зима еще далеко, именно таким был день нашего прибытия в Варшаву, но о нем я вспоминаю только по обязанности. Я вспоминаю о нем, и мне бы нужно благодарить его, ибо впоследствии, уже при ином освещении переправляясь через Вислу, я в свете ясного дня увидел крутой берег города, усеянный стружьями и шрамами, и тогда я понял: будь в тот первый октябрьский день, когда я шел по мосту, хоть малая точка в моем сознании, способная запечатлеть эту картину, страх наверное бросил бы меня на дощатое дно понтона, ибо тогда я, возможно, увидел бы в нещадной жути запустения, открывшегося моим глазами, причину нещадного к себе отношения и решил бы, что они ведут меня к пожарищам, считая, что я и есть поджигатель.

Нет, я был целиком и полностью занят самим собой и на осмотр окрестностей сил не оставалось. Моего разума хватало лишь на самое доступное, на один повторяющийся без конца вопрос: за что? И воспринимал мой разум только то, что, казалось, имело ко мне лишь самое непосредственное отношение.

Каждому такая ситуация знакома: ты пережил трудное время, полагаешь, что был тогда ко всему слеп и глух, но со временем обнаруживаешь, что сохранил удивительнейшие воспоминания, и понимаешь благодаря этому, что глаз ты не закрывал, а смотрел вокруг, широко их открыв, и ушей не затыкал, звуки из внешней среды, войдя в них, запали тебе в память, и теперь отгаивают, словно были заморожены мюнхгаузовскими российскими морозами.

Вот почему я помню, что кто-то хотел столкнуть меня с моста и что я успел подумать: «Ну, здесь неглубоко». Мне случилось потерять башмак, и я как сейчас вижу — конвоиры, словно в бальном танце, отступают в ногу со мной на два шага назад. Я был им благодарен, ведь на понтонах мы не привлекали к себе столь пристального внимания, как на берегу: люди были поглощены переходом по зыбким мосткам, а вооруженных везде пропасть, равно как и таких оборванцев. И что на воде воняло куда меньше, я тоже отметил. На другом берегу, однако, снова завоняло вонсю и снова поднялся шум и в меня полетели камни. Конвоиры оказались перед сложной задачей: держась подле меня, они составляли вместе со мной единую движущуюся цель, а отступая от меня, они хоть и открывали меня снаряду, но словно бы отпускали на свободу, им как раз было приказано никоим образом не упустить меня.

Вот они и поступили так, как поступить им наверняка было нелегко: они попытались достичь взаимопонимания с гражданскими камнеметателями. Они стали кричать в ту сторону, откуда летели камни, какие-то слова, звучавшие просьбой и укором; и, видимо, зывали к патриотическим чувствам, ибо добивались успеха как для себя, так и для меня; во всяком случае, до следующего поворота.

Впоследствии я измерил пройденный путь, а потому знаю, что путь был длинный, и к тому же показался он мне тогда дорогой сквозь мрачное ущелье. Впечатление это создавали громоздившиеся по сторонам развалины, груды обломков, которые кое-где осыпались до середины улицы, и еще люди, что лазали по черным прокоптевшим отвалам и казались какими-то потерянными.

Вначале мы поднимались круто в гору, даже мои стражи тяжело дышали, а потом прошли по какой-то части города, где еще оставались деревья и где в домах чернели лишь один-два пролома, пересекли две не то три площади, прошагали мимо таких мест, где под мемориальными досками на домах лежали осенние цветы — там вокруг меня поднимался особенно грозный шум, — а потом завернули в какую-то улицу; по левой ее стороне стояли жилые дома, почти все с выгоревшим до основания нутром, но целехонькими стенами, по правой проходило полотно трамвайного пути, а вдали, за ним, стояли высокие здания, видимо, казарма и какие-то официальные учреждения.

Еще две или три поперечных улицы, и вид слева тоже стал весьма официальным; да, более официальным, чем эта кирпичная стена, ничего вообще быть не могло, и более официальными, чем железные ворота едва ли не в высоту стены, вряд ли могли быть другие ворота.

Наш начальник скомандовал моим конвоирам «смирно», подошел к воротам и нажал кнопку звонка.

Прошло довольно много времени, и наконец в дверце, которая виднелась в воротах, открылось смотровое окошко, и оттуда прогремело что-то весьма резкое.

Начальник конвоя, человек рослый, нагнулся, но, как человек военный, он сохранил военную выправку даже в этом положении, и в такой позе провел свою партию в диалоге сквозь окошко. После чего окошко закрылось и опять наступила длительная пауза.

А потом еще раз открылось окошко в дверце, что виднелась в воротах, и мы увидели пару глаз, бросающих пристальные взгляды на всех нас, на меня, на моих стражей, на предводителя моего эскорта, на правую сторону улицы, на левую и куда-то позади нас, после чего окошко закрылось, а дверца открылась, что-то резкое опять прогремело над нами, разделив нашу группу: начальник прошел в дверцу и оттуда кивнул мне, солдаты остались на улице.

Обладатель резкого голоса оказался крепким, рослым, пожилым усачом, которого я и по сей день считаю достойным примером образцового солдата. Я не раз проходил с тех пор через ту дверцу и не раз наблюдал его за работой, более деловито ее вряд ли можно было выполнять, и более гладко, без всяких осложнений, тоже; он был человек

резкий, но никогда не орал, приятного в общении с ним было мало, но и жути ты не испытывал.

Ну, это я говорю о временах дальнейших. А поначалу было довольно жутко, возможно оттого, что тюремщик был таким деловитым. Первый его приказ относился к нашему начальнику: он приказал ему сдать автомат куда-то в окошечко, личный пистолет отстегнуть и тоже сдать. У меня ничего такого не было, чему я даже порадовался.

Теперь настала моя очередь, и началось все как обычно: меня обыскали. Меня, как ни странно, это обрадовало, что я объясняю следующим: осмотр ничего ровным счетом не мог обнаружить, у меня, кроме ложки, миски и шахмат, ничего не было. По моим пустым карманам они поймут, что я не тот, за кого они меня принимают. Ложку я получил назад, а вот шахматы и миску — нет. Тюремщик обследовал толщину жести, понял, что ее без труда можно расчленить на части, понял, сколько всего этими острыми краями можно натворить, и швырнул миску в угол. Бросок знакомый — этак легко, не глядя куда, сразу видна немалая тренировка.

Резкая команда повернула меня к стене; я ткнулся носом в старую стену — гладкий красный кирпич и серый цемент, — уходящую куда-то в поднебесную высь. Словно бы у меня других забот не было, а может, именно потому что у меня были кое-какие заботы, я обследовал кирпичи, ища следов, которые легко найти в местах, где люди пребывают долгое время. Таковые не обнаруживались, что, впрочем, неудивительно, ведь здесь стояли либо те, кого уже обыскивали, тогда вряд ли у них оставалось чем писать, либо те, кто вот-вот выйдет на улицу, тогда черта лысого нужно им расписывать стены.

Но если бы взгляды оставляли следы, подумал я — и подумал лишь затем, чтоб не думать о другом, — так стену сплошь испещрили бы надписи, и мне хотелось, отвлекая себя от страха, придумать надпись, чтобы оповестить о моем вступлении в сей дом, но с тем же успехом я бы мог руками отвести бурю, как мог сейчас отвести свои страхи.

Что ждет меня здесь, у этой стены? Не поставят ли меня здесь к стенке? Нет, нет, для этого передний двор слишком узок, но почему тогда я стою здесь? Возможно, этот двор не так уж узок, если стрелять оттуда, куда начальник конвоя сдал оружие? Может ли быть, чтоб женщина закричала и поэтому тебя отвели в какой-то двор и расстреляли? Но если могло быть все то, что произошло до этого двора, так и расстрелять тебя тоже могут. Самое неправдоподобное в мире — это смерть, говаривал дядя Йонни, но когда ты уже родился на свет, самое неправдоподобное обретает правдоподобие.

Не проведут же тебя мимо обгоревших, обвалившихся горных кражей только ради удовольствия. Не позволят же они забросать тебя камнями, не имея относительно тебя серьезных намерений. Не отнимут же у меня миски, если она может мне еще понадобиться.

Но ложку он мне оставил. Что же важнее, миска или ложка?

Тут и думать нечего, ложка важнее. Может, все это лишь особенно крутой способ принудить меня к чему-то. Может, им нужен печатник. Да, конечно, им тут нужен печатник; я часто слышал, что в тюрьмах печатают особо важные документы. Ради безопасности. Тюрьма ведь построена так, что ни вынести из нее, ни внести в нее чего не следует никак нельзя, такое место очень даже пригодно для важных документов.

И печатники там нужны. А я печатник. Они это знают.

Да, да, и кричавшая женщина тоже это знала. Не правда ли? Уж такой здесь, не правда ли, порядок, извлекать печатников из строя. Является женщина, кричит во все горло, и это означает: требуется печатник, о да, разумеется, такой уж здесь порядок.

Ну, разумеется, а потом являются пятеро парней, огневой силой со стрелковый взвод, и это тоже здесь такой порядок, печатников-то мало; а крики и вопли означали всего навсего: наконец-то мы нашли печатника! А камни означали: мы думали, ты будешь печатать налоговые декларации.

Не успела эта дурацкая шутка мелькнуть у меня в голове, как силы оставили меня. Я только подумал: вот уж подходящее место для idiotских шуток. Стоишь носом в стену — только шуток здесь не хватает.

И еще я подумал: к этой минуте скорее подходит тот стих, что пришел мне в голову в товарном вагоне, как же это было, ах вот: прощай, мой конь буланый, могила здесь разверзлась предо мной.

Я только еще разок охнул про себя и разревелся.

Я очень и очень себе сочувствую и все-таки ненавижу себя за это. За то, что ревел, хотя это было бессмысленно, и за то, что не выдержал характера.

Слова я подобрал, хорошо все продумав: так я считаю сегодня. Способен ли я был тогда ненавидеть себя, не знаю, и чтобы тогда, уткнувшись в стену переднего двора, я подумал, что не выдержал характера, тоже весьма сомнительно.

Но сегодня все именно так. Ревмя реветь на тюремном дворе — это же отчаянное расточительство. Если тюрьма попадется на эту удочку, она сама себя сотрет с лица земли. Тюрьме, чтобы существовать, приходится быть неумолимой. Не то, глядишь, расхныкается кто под виселицей, его и отпустят. Куда ж это годится.

А что я не выдержал характера, я до сих пор считаю омерзительным. Своих слез нечего стыдиться, когда они текут кстати. На том берегу Вислы, там, у товарной станции, когда тьма-тьмущая людей накунулась на меня, там слезы были позволительны, и, быть может, пошли бы мне даже на пользу. И пока мы шли, на том горестном пути, кто мог бы упрекнуть меня за облитое слезами лицо? Но нет, именно здесь, вплотную к защитной стене, рядом с воротами, крепко-накрепко запертыми, равно как и дверца в низ и окошко в дверце.

Такова уж моя судьба, и ее я от всей души ненавижу.

Самый скверный казус подобного рода случился со мной куда раньше, чем тот, на тюремном дворе, да, четырьмя по меньшей мере годами раньше, где-то, стало быть, в самой середине моей юности. Мне было то ли четырнадцать, то ли пятнадцать лет, я шазел побродить, как уже не раз, на вражескую территорию, испытывая от ощущения опасности какое-то особое наслаждение.

Опасность, как известно, дело сравнения; в ту пору мне казалось безмерно опасным забрести в один из окраинных районов Марне, где была бочарня, и, по слухам, мальчишек в тех местах на белый свет выколачивали бочарными клепками и сами они казались точно из дуба сбитыми.

Бочары меня в тот день изловили, и я очень скоро понял: слухи иной раз бывают достоверными. Реветь я ни за что не хотел, ведь в таком городке, как Марне, о моем реве тут же все узнают, но и надеяться, что удары я снесу, не издав ни звука, было делом безнадежным.

Я сыграл на чувстве чести их вожака, крикнул, двенадцать, мол, против одного — мерзкая трусость, и, что же, я убедил его. Явив справедливость истинного вождя, он приказал, чтобы его воины бились со мной по одному, один за другим. Будут выходить против меня по росту. Начнут мальчишки, те, что побольше, двинутся следом, а самые длинные уж вобьют мне уши в черепушку.

Ну, мальчишки как на меня налетели, так для дальнейших переговоров времени не осталось: или эти щенки меня опрокинут, или я наподам им как следует.

Все шло хорошо: это же была ребятня и не всех закаляли клепками, но я понимал, что должен действовать расчетливо, не колотить куда попало, а точно целиться и точно наносить удары.

Но внезапно — от половины команды я уже вполне достойно избавился и настроение переломилось в мою пользу, поскольку те, с которыми я справился, считали, что их победил солидный противник, а мои будущие партнеры разглядывали не без моральных выводов для себя носы своих приятелей, — да, так надо же, именно в эту минуту мне представилось, что я вечно буду тут биться, что на место каждого мальчишки заступят три великана и что все, все это ужасно несправедливо.

И тут я разревелся.

Сострадание к самому себе сгубило меня. У бочарни, равно как и на тюремном дворе. Вот что я ненавижу в своей судьбе; надеюсь, это мое право.

Тюремщик, однако, ничуть не интересовался моим душевным состоянием; выдержу я характер или нет, он на эту удочку не попадется; он выдержит характер, а это значит, что его мой вид ничуть не трогает.

Он резко вывел меня из моего подавленного настроения, приказав отойти от стены и шагнуть к двери в здание тюрьмы, где меня принял другой тюремщик, и, глянув еще разок через плечо, я успел увидеть, что моего командира уже нет на дворе.

А в самом здании я увидел, что это тюрьма, и такая именно, какая была мне известна по всем фильмам и книгам.

Поэтому я не стану слишком часто упоминать решетки и замки; я знаю, не я один видел эти фильмы.

Упомянуть хочу лишь, что я очутился в приемной с зелеными стенами, стал лицом к стене и что хоть тут, но оказалась на стене надпись, правда всего одна: написано было «Ханя», и автор надписи, видимо, знал, почему он ради этой Хани шел на такой риск в приемной.

Потом меня занесли в книгу, и только тут я окончательно понял, что все со мной происшедшее — горькая правда, и с огромным удивлением услышал все свои данные: ведь если они верны, так почему я оказался здесь?

Фамилия: Нибур, имя: Марк; дата рождения: второе сентября тысяча девятьсот двадцать шестого года; место рождения: Марне Зюдердитмаршен; место жительства: Марне, Прильвег, 4; профессия: печатник; в тюрьму поступил: восьмого октября тысяча девятьсот сорок пятого года. Если мои данные верны? Что значит: если? Они же верны, иначе кто же я такой?

В том-то и вопрос: кто же я такой?

Они предоставили мне спокойное место, чтобы над этим поразмыслить.

## Х

Нет, они все-таки через край хватили, засадив меня сюда.

Я конечно же не думал, что тотчас явится некто и объявит, что произошло недоумение. Раз ты в это здание попал, значит, ты не без вины, и хотя я конечно же считал себя невиновным и жертвой рокового заблуждения, но я понимал: если это заблуждение как-то связано со мной, значит, и я как-то связан с ним; почему-то ведь оно не коснулось никого другого?

Поначалу, когда ты еще не признал вину, каковая дала бы основание для охраны, тебя охраняют куда как строго, поэтому меня на первые полгода засадили в одиночку.

Услышав это, человек неподготовленный решит, что такое испытание должно быть суровым и долгим: верно, таким оно и было, не стану тянуть да размазывать, как оно тянулось на самом деле, все равно ведь ничего не изменишь.

Мне хочется назвать отдельные элементы, из которых строилось мое бытие теперь, когда мне предстояло новое начало, ибо определить я могу только элементы, целое я еще не уяснил себе.

О страхе я уже говорил, и даже слишком часто, впредь буду упоминать только о тех случаях, когда он обретал особую силу и остроту. Страх, конечно же, никогда не притуплялся; он был присущ нашему бытию, как присущ мороз Северному полюсу, так чего беспрерывно о нем говорить.

Точно таким же привычным явлением был для меня голод, я и сам с трудом читаю рассказы, в которых слишком много говорится о голоде. В конце-то концов среди нас вряд ли найдется человек — если, конечно, он не очень молод, — кому не приходилось терпеть голод. Хотя основательное знание того или иного предмета вовсе не причина затыкать уши, когда об этом предмете заходит речь. Наши излюбленные истории, это все еще истории о любви, а ведь нет человека, чтобы хоть слабого понятия о ней не имел. Правда, о любви другого человека никто другой никакого понятия не имеет. Стало быть, в любовных историях мы можем предполагать некую двойственность, тесное переплетение двух начал — основательного знания и полной неосведомленности.

Но не это сейчас предмет моих забот: я занимаюсь сейчас неким молодым человеком, который попал под двойной надзор, хотя вообще не видит основания для надзора. Я рассказываю о себе и о том, как попал в такое положение, в каком не хотел бы никогда больше оказаться.

Голод — скажу все-таки кое-что о нем — был нам не в диковинку; хлеб здесь был какой-то другой, чем в лагере, но больше его не стало. Пекли хлеб в тюрьме, и когда ветер особенно злился, он задувал запах пекарни в мое окно.

Днем и вечером мы получали суп из кислой капусты, вечером половину обеденной порции, а ведь и в обед ее едва хватало, чтобы наполовину утихомирить мой голод.

Я люблю супы и умею их варить и потому не могу не указать на изрядную разницу между тем, что нам известно как суп, и тем, что там считалось супом. Это была и впрямь одна вода с недоваренной кислой капустой. Можно, стало быть, сказать, что мое довольствие, как ни крути, сводилось к классической тюремной формуле: хлеб и вода. И вообще большая часть событий в такой мере сводилась к известным штампам, будто некая дальновидная дирекция заботилась о том, чтобы не дай бог не разбить мои шаблонные представления и ожидания.

Но не эти дела хочу я выдвинуть на первый план, они сами по себе обнаружатся. Я же хочу сказать еще кое-что о кислой капусте, я хочу кое-что рассказать на эту тему.

Однажды ранним утром за мной пришел незнакомый надзиратель, иначе говоря, надзиратель, которого я еще ни разу не видел, и отвел меня в баню. Ну и баня — два-три душа и осклизлые деревянные решетки, но там лежал кусок глинистого мыла, и я стал рьяно намыливаться. Я решил, что сейчас меня отведут в суд, и возлагал надежды на свой опрятный вид, больше я уж и не знал, на что мне надеяться.

Меня повели через тюремный двор, большой, который я еще ни разу не пересекал и в который выходило окно моей камеры, но повел меня незнакомый надзиратель и вовсе не к воротам, а в какой-то подвал. Новое помещение отвечало самым худшим ожиданиям: гладко оштукатуренный и очень чистый бункер, дверь снаружи перекрывалась подъемной шторкой, два окна были прикрыты щитами.

В первую минуту я подумал, что попал в заточение третьего вида, что должен испытать еще и тьму карцера, но различив контуры помещения и убедившись, что нахожусь не в полной темноте, я понял свою ошибку. Тьма карцера, в этом теперь-то я был уверен, в этой тюрьме была бы крошечной тьмой.

Вдобавок я что-то не слышал о заточении, для которого бы тебя предваритель-но отмывали, и я не понимал, зачем мне сделали знак снять штаны, а кальсоны закатать до колен.

Теперь раскрылись люки, и тут я увидел, что в бункер ведут наклонные желоба, вслед за чем увидел нарубленную капусту, в огромных количествах поступающую по желобам в бункер.

Вернее, сказать нужно так: сначала я хоть и видел происходящее, но ничего не понимал. Я, быть может, чуть преувеличиваю, когда говорю, что счел бы вполне вероятным, что меня могут повести к стене для расстрела, но уже без всякого преувеличения должен сказать, что происходящее теперь казалось мне чем-то невероятным: меня отмыли, заперли в подвал и засыпали нарубленной капустой.

Тюремщики в подобном заведении существуют вовсе не для того, чтобы из него нельзя было сбежать; они здесь прежде всего для того, чтобы обучать заключенных, что тем положено делать, а чего не положено, как и вообще наказание прежде всего в том и состоит, что человеку указывают, что ему положено делать, а чего не положено. Я не верю, что тюремщики делают различие между просто заключенными и подсудимыми заключенными, когда они и тех и других заполучили под одну крышу, и уж вовсе я не верю в способность тюремщиков улавливать какую бы то ни было разницу, когда речь идет о людях, сидящих по другую сторону решетки; тюремщики либо запирают их, либо выпускают и следят, чтобы они делали, что положено, и не делали, чего не положено.

Обладая кое-какими умственными способностями, это улавливаешь очень быстро и начинаешь ценить тех тюремных стражей, которые умеют точно разъяснить, чего они от тебя хотят; неясность ведет и здесь только к потере сил и неприятностям, а потому я был доволен, что незнакомый надзиратель пояснил мне мою задачу выразительными жестами и словами. Он вручил мне деревянную лопату, от первоначальной лопастной которой осталась только половина, и, поставив бумажный мешок с солью возле двери, сказал:

— Разбрасывать, посыпать солью и марш-марш!

После чего вышел и запер дверь.

Но эта дверь не имела глазка, и я не очень-то торопился: прежде всего я решил выяснить, можно ли есть сырую капусту, посыпанную грубой серой солью. Оказалось, можно, и довольно много.

Когда же в подвал хлынула следующая двойная лавина нарубленной капусты, я принялся за дело, цель которого мне все еще не была ясна; я разбрасывал лопатой капусту по всему полу, посыпал ее солью как попало, и вдоль и поперек шлепал по ней своими мытыми ногами. На какой-то миг мне показалось удивительным, что в этих местах капусту солят, но я не знал точно, как поступают с капустой у нас дома, а главное, я не переставал с огорчением удивляться тому, как со мной поступают в этих местах, и это огорчительное удивление перевесило всякое другое удивление, менее серьезного характера. Уж если они меня посадили за решетку, какое имеет значение, что они солят капусту?

В промежутках между новыми порциями у меня хватало времени разбрасывать капусту по полу; я только не представлял себе, как же мне удастся не завалить дверь, и я подумывал уже о том — каким же неопытным был я еще арестантом. — не поделиться ли этой проблемой с моим надсмотрщиком, как тут явился он сам, дабы понаблюдать за моими действиями.

Как я шагаю точно на ходулях по капустным стружкам, ему явно пришлось не по вкусу; он показал мне, как нужно утапывать капусту. Как я распределяю соль, ему тоже явно пришлось не по вкусу; широким жестом сеятеля он продемонстрировал мне, как нужно это делать. А нишу у двери он оставить не пожелал; он дал мне понять, что капусту нужно и у двери насыпать и утапывать, а так как задание он разъяснял мне взмахами руки, в которой зажал связку ключей, я поторопился выполнить его.

Тюремщик, однако, был человек опытный, не то что я, он понял мой невысказанный вопрос и ответил на него:

— Дверь закрыта, кислая капуста, ты об дверь, капуста с мясом! — И прежде чем снова запереть меня в бочке с капустой, добавил: — А ты петь: Германия, Германия превыше всего!

Мне, как это говорится, было не до песен, а уж о стране Германии петь в этой стране мне давно не хотелось, но я постарался все-таки походя думать о тех словах и мелодии, только чтобы не думать о язвительно-кислой шутке тюремщика.

Каковы обстоятельства — такова и вера, не раз повторял дядя Йонни; почему же человеку, которого черт знает куда занесло, как занесло меня, не посчитать вполне вероятным, что он окончит свой жизненный путь, превратясь в солонину?

Я хочу еще и еще раз подчеркнуть: посчитать вероятным — выражение неподходящее, оно слишком разумное. Где люди руководствуются разумом, там он делает свое дело, но как быть людям там, где о разуме, кажется, совсем забыли? У меня сложилось твердое мнение, что все со мной происшедшее противно разуму; как же мне поверить в частичную разумность?

Конечно, я решительно отгонял от себя мысль о том, что меня избрали как средство повышения питательности белокочанной капусты; я отгонял ее, но не так далеко, чтобы потерять из виду, я утрамбовывал капусту и уговаривал себя, что мне не оставили бы куртку, рубаху и кальсоны, их ведь не собирались засолить, если даже хотели засолить меня. Утешение как будто бы безрассудное, но вера отражает обстоятельства. Уж таковы были мои обстоятельства.

На цементном полу и между цементными стенами и даже у железной двери росли напластования будущей кислой капусты; новые порции капусты с короткими интервалами забивали загрузочное отверстие и застили мне, пока я не расчищал лопатой люки, белый свет, в воздухе же стали заметно скапливаться испарения рассола, который согревался под давлением. Я поддерживал сей химический процесс, чистыми ногами спрессовывая изрубленную капусту снова в плотную массу. Я топтался почти на одном месте, но каким-то образом передвигался по всей поверхности капусты, пока не засыпали новую порцию, выжимая тем самым из подвала остатки воздуха; а потом капусту стали подавать так часто и мне пришлось ее так быстро утрамбовывать, что я решил произвести подсчет, после какой порции в бункере не останется больше пространства, где я мог бы сохранять вертикальное положение, и когда придется мне, если я хочу высвободить для себя хоть чуточку места, перейти на укатывание, обратившись тем самым в некую штуквину, какая и в страшном сне не привидится, а именно в капустный каток, катающийся туда-сюда по подвалу варшавской тюрьмы.

Жутковатым этим мыслям я на какое-то время перекрыл доступ в свое сознание,

попытавшись сосредоточиться на совсем иных расчетах: сколько капусты я своим топганьем подготовил к переходу в другое состояние, сколько было кочанов, сколько метров квадратных капустного поля, сколько приходится кочанов на квадратный метр, два или четыре, ну, скажем, три, три на квадратный метр, получается триста на сотку, тридцать тысяч на гектар, было ли здесь уже тридцать тысяч, вряд ли, но четверть этого количества, пожалуй, да, как раз морген капусты вполне может быть, я утрамбовал целый морген капусты, превратив ее в кислую, такое не каждый может сказать о себе.

Так оно и есть, только одно еще оставалось неясным, смогу ли я рассказать о своих подвигах, смогу ли я кому-нибудь рассказать об этих подвигах, ведь если я буду лежать сквашенный в рассоле...

Ну, это уж полная несуразица; только я облек мысль в слова, как это стало очевидным, но на утешительные мысли хлынул новый поток нарубленной капусты, оттого утешался я недолго, как, впрочем, недолго сохраняла надо мной силу свою и угроза. А уж столько-то мне давно стало ясно: если тебя здесь принуждали петь германский гимн, знай, это делали вовсе не друзья этого гимна, и стоило тебе запеть, как тебя осыпали побоями или давали в зад таких пинков, что ой-ой.

Люди, ползавшие по грудам закопченных обломков, тоже часто выкрикивали «Германия, Германия превыше всего!», прежде чем швырнуть в меня камнями, и не такими уж маленькими, так что о шутке говорить не приходится. Точное попадание, и мертвее не будешь, даже задохнувшись в испарениях кислой капусты.

Город казался вполне подходящим местом для неожиданной кончины, тем более вполне подходящим для этого местом казалась тюрьма, а много ли мне было нужно, чтобы все посчитать вероятным?

Надо ли было напоминать мне, что я тот самый человек, который, и года еще не прошло, сидел в маленькой чистой типографии в Зюдердитмаршене, целиком занятый набором и печатаньем благодарственных писем за рождественские подарки и новогодние поздравления, занятый, стало быть, послепраздничными заботами, хотя приготовления к самому празднику даже не достигли своего апогея?

Правда, желанное место ученика я получил благодаря тому, что в школьном свидетельстве было записано: обладает чрезмерной фантазией, даже в опасном избытке, было там записано, но при всей своей фантазии мне бы не вообразить себя запертым в польском тюремном подвале, в котором не продохнешь от соли и капустного духа.

Но я находился именно там, и это вовсе не было игрой воображения, погруженный по самые отмытые колени в мелкоизрубленную капусту, отбросив все и всяческие подозрения, по самые икры в будущей «квашеный капуста». Нужны ли были мне еще доказательства, что и со мной, да, и со мной, может случиться все что угодно?

Сколько еще тебе надобно доказательств, Марк Нибур; что все направлено против тебя? Ты и помыслить не мог, что тебе придется ехать на восток, а где ты сейчас? Ты еще считаешь слишком многое недозволенным, что давно стало обычностью. Ты считаешь себя исключением и полагаешь, что удары судьбы уготованы для кого-то другого. Но их и для тебя более чем достаточно, Марк Нибур; так вот, спрашивается, что тебе еще нужно, чтобы взяться за ум?

В подвале с капустой нельзя задохнуться? А кто едва не задохнулся в яслях в занавоженной конюшне? Сколько раз нужно сажать тебя в тюрьму, пока ты не поверишь, что это и с тобой может случиться? Ты уже третий раз попался, друг мой, у тебя все как в страшной сказке; первой была ночь в Конине, конечно, это был вопрос размещения, затем двор в Лодзи, правда, это была часть программы осмотра города, и вот теперь Warszawa, главный город Warszawa, вот теперь Румпельштильц<sup>3</sup> забросил ключи и не явится вовек.

Чрезмерная фантазия? Да, так оно и есть, чрезмерная: ты считал, что война кончилась. Ты считал, что война кончилась, но для тебя она только теперь началась.

Мечтатель? О, какой же ты все-таки отважный мечтатель: всю жизнь мечтал скакать верхом на паровозе и еще мечтал пробивать фаустпатроном вражеский танк,

<sup>3</sup> Румпельштильц — злой карлик из сказки братьев Гримм «Румпельштильцхен».

и фельдфебелям тебе всегда хотелось дать в морду во сне, в мечтах, а сколько часов сна у тебя отняли, когда они тебя выслеживали, все тебя выслеживали, только тебя, и гнались за тобой, пока ты, во сне, во сне, Марк Нибур, не бросился, спасаясь, под кровать, да, во сне.

Чрезмерная фантазия, фантастические сны, а в особенно зловещих я не раз умирал. Ах, какое счастливое пробуждение, я был живее всех живых: да это враки, это ж сон, все враки! Но вот здесь, в подвале, пробуждение мне еще предстоит: Марк, должен кто-то крикнуть, вставай же наконец, Марк, и Марк проснется, и все окажутся живыми: парикмахер из Брица — ведь от осколка оконного стекла человек не может погибнуть; инженер Ганзекель — ведь такому знаменитому человеку никак нельзя умереть; мастер по фарфору Эдвин из Коло — ведь противоестественна сама мысль, что человека могут затоптать из-за кроссворда; кашевар и танкисты — ведь невероятно же, что Марк Нибур из Марне в Зюдердитмаршене прикончил их, фаустшатроном по ним пальнув и пулей.

Все, когда я теперь проснусь, будут живы, и Марк Нибур тоже, столь бесславно погибший во сне посреди капустного подвала, надыхавшись воздуха, перенасыщенного солью, ох и будут же они все смеяться: вот так сон!

Я сделал то, чего терпеть не могут тюремщики: я стукнул кулаком в дверь; а тюремщик заставил меня так долго ждать ответа, пока я снова не уразумел, кто у подобных дверей хозяин положения, после чего он гаркнул: «Cicho!» — что означает «тихо!».

Но это слово, по обычаям тюремщиков, служит лишь вступлением к беседе, и я, предполагая ее продолжение, крикнул:

— Здесь доверху полно!

— Cicho! — гаркнул он снова и стукнул чем-то в дверь, я догадался — связкой ключей, и я догадался также, что он имел в виду. Однако я уже знал, что не многого добьется тот, кто позволит заткнуть себе рот подобным способом. Пока между тобой и связкой ключей — железная дверь, связка дает всего-навсего шумовой эффект, и тебе тоже следует шуметь.

— Здесь доверху полно! — зашумел я.

— Тебе петь: Германия, Германия!

— Воздуху нет петь!

— Тебе петь: швабы, швабы превыше всего!

— Воздуху нет!

— Cicho! Петь: швабы превыше всего!

Подобное требование было еще не самой большой бессмыслицей, каковые определяли мое положение, однако прежде чем отправить человека в последний путь, ему дают поесть, да еще разные изысканные кушанья, и я даже подумал, что по этому обычаю можно представить себе, как был некогда устроен мир: прежде чем тебя изгоняли из него, тебя последний раз кормили, так ты хоть раз в жизни да получал всякие изысканные блюда и ел досыта; по этому обычаю я понял, что далеко не самые сытые пользовались преимуществом отправляться на тот свет с чужой помощью, хотя для подобного вывода, пожалуй, не нужно было размышлять над обычаями, и, стоя на цоколе из утрамбованной капусты, на которую соль уже оказала свое разъедающее действие, я не считал себя на достаточной высоте, дабы предаваться размышлениям над юридическими традициями прежних времен. Я только считал, что со мной поступают несправедливо, и понимал, что поколебать мнение того, кто со мной так поступает, полагая, что поступает очень даже справедливо, у меня есть один способ — указать ему, по крайней мере, на самое малое из всех имеющих ныне силу противоречий.

— Так что же: cicho или петь? — крикнул я.

И он крикнул, но на этот раз уже по вьезшейся привычке:

— Cicho! — Но потом крикнул еще: — Чего там?

— Подвал набит! — закричал я, не закричал «как я выберусь?», но словам «подвал набит!» я придал интонацию слов «как я выберусь?».

Он меня не торопил, и сам не торопился, и после паузы ответил:

— Ты думает, я не знает, какой подвал?

Я, видимо, старательно измерил пространство между цементными стенами и настилем из будущей кислой капусты, но ему я крикнул:

— Знаете!

— Ты думает,— ответил мне он,— я капусту в первый раз делает?

Я изо дня в день получал порцию этого добра, и на вкус оно было таким, словно капуста выросла много-много лет назад, а потому я крикнул:

— Нет, я этого не думаю!

И тогда он сквозь дверь задал мне вопрос:

— Так кто сказать, когда подвал набит?

— Вы! — ответил я, но как раз в эту минуту в люки посыпался следующий морген капусты, и оттого слова мои звучали весьма обескураженно.

Утешительной была все-таки мысль, что страж мой пока еще сидит у двери и даже кое-что мне разъясняет, хотя вообще-то в его обязанности это не входит и в самом деле ему по должности не положено. Каким-то непонятным образом утешал меня и тот факт, что соль подходила к концу, а стоило мне обнаружить наличие у себя огромного резерва разума, побудившего меня наполнить кармань гимнастерки остатками соли, и стоило мне самым неразумным образом сказать себе при этом, что если я хочу всю эту уйму соли употребить, так мне понадобится прожить еще очень и очень долго,— как я ощутил одну из тех вспышек сумасбродства, на какое я всегда способен, когда отчаяние уже миновало, и я пустился, правда уже чуть свесив голову, выписывать последние круги по уже забродившей капусте, аккомпанируя себе кашлем, который звучал для меня мотивом песни «Германия превьше всего»:

— Мы соленую капусту солим не в последний раз, в бочках пусто не бывает, вы поляем мы заказ!

И только стал придумывать продолжение, как тюремщик снова крикнул:

— Сіcho!

Но на этот раз он крикнул уже не в дверь, а со двора в один из капустных люков, и еще он крикнул:

— Давай соль! — И еще: — Давай руку!

И увидев там, наверху, где небо сливалось с землей, руки, что ждали моих рук, я ничком бросился на скат желоба, вытянулся и поехал вверх тем же манером, каким едут вверх бочки с кислой капустой, и содрал себе при этом кожу с только что вымытых коленок.

Чужой надзиратель вернул меня моему надзирателю; тот оставил мне, правда, всего один карман соли из четырех, но немного понадобилось времени — и я уже мечтал о моргене свежей капусты к этой соли.

Первая мирная зима была такой же суровой, как и первая военная, и утром, просыпаясь, я видел, как в ту, так и в другую зиму сплошь белые заиндевшие окна. Мирная зима была тем лучше для меня, что мне не приходилось ни с кем делить спальню. В первую военную зиму отец был еще дома и брат тоже; нас получалось четверо в одной спальне, и это, пожалуй, даже удовольствие, когда тебе четыре годика, но когда тебе скоро четырнадцать, а родителям еще далеко до сорока, так это не слишком большое удовольствие; и теплее в комнате для четырех не становится, когда на дворе трещит мороз; только растет ворс ледяных узоров на окне и вода в ведре — вода по крайней мере чистая — иной раз к утру замерзает.

У нас было две комнаты, и кухня, и холодные сени, и дверной тамбур, а еще чердак и хлев.

Впечатление создается, что места у нас было много, почему же нам пришлось спать вчетвером в одной комнате?

Да потому, что в хлеву люди не спят и на чердаке тоже, хотя у нас чердак почти всегда был битком набит сеном. Тамбур же наш такой величины, что можно, не вытягивая руки на всю длину, наружную дверь закрыть за собой, а внутреннюю открыть. Холодные сени были одновременно нашей прачечной с ручным насосом и сливом в цементном полу и еще чуланом для всякого хлама и складом инструментов. А в кухне, правда, живут, но ведь не спят.

Мне кажется, в юности я знал только таких людей, которые жили на кухне. В полном довольстве, считал я, живут те люди, у кого имеется кухня, в которой только готовят. А полное довольство — это отклонение; мы жили нормально. Мы жили в кухне;

там стояла печь, кухонный шкаф, стол, достаточно стульев на всех, и для гостей тоже, и раз уж мы здесь жили, здесь стояла кушетка.

Мы выходили из спальни, шли в уборную во дворе, мылись в сенях под насосом, и до самого сна кухня была нашим домом.

Ну а другая комната, та, вторая, что была у нас еще, кроме спальни? Отчего же в ней не жили и не спали в ней? Да оттого, что это, конечно же, была зала. А залу иметь нужно, ведь так? Залу-то нельзя не иметь.

На рождество, пасху, троицу, собственно говоря, она не нужна, но на день рождения и конфирмацию зала нужна. И я даже сейчас мысли не могу допустить, что в промежутках между праздниками можно было поставить в залу хоть две кровати.

Почему? Да потому, что тогда это уже не была бы зала. Даже при самом щедром подсчете, включая все праздничные дни и те ночи, когда мы разрешали там ночевать соседям-погорельцам, я не могу набрать за все мои обозримые детские и юные годы хотя бы ста дней и ночей, чтобы мы пользовались залой. Ничего удивительного, если я до сих пор слышу запах отсыревших обоев и печки, воняющей от непривычки, когда в декабре ее пытаются растопить, и в марте или апреле еще раз; ничего удивительного, если мне бывает не по себе, когда я вспоминаю залу.

Зимой моя камера чем-то напоминала эту самую залу, как и мое окно — окно нашей спальни; стены камеры потели и выдыхали испарения, какие вдохнули в них мои предшественники. Но о том, чтобы в этом помещении человек не замерз окончательно, торемные власти позаботились: в углу возле окна проходили вверх трубы отопления к каким-то счастливым, которым позволено было прижаться своими замерзшими ребрами к ребрам батареи.

У меня же был только я сам, я мог прижиматься только сам к себе, и кто не знает, как это сделать, тот еще не замерзал весь целиком. Я хочу сказать — целиком, со всеми потрохами, так замерзал, чтобы даже то неуловимое, что есть в нас, наши мелькающие мысли, смерзшись, позвякивали.

В этих случаях нужно двигаться; это мне было известно. Но неизвестно было мне, как для разогрева двигаться, не сжигая того запаса сил, которого едва хватает, чтобы, совершая самые экономные движения, сохранить кое-какое живое тепло. Сдается мне, что дирекция с проблемой сей была знакома, ибо однажды в холодно-ледяной день маленький надзиратель, который всегда кричал «szybko, szybko!», что значит «живей, живей!», протянул мне два одеяла — два! — а в другой такой же холодный день он выдал меня из камеры и поднялся со мной куда-то высоко-высоко, на склад, где мне выдали деревянные башмаки с кожаным верхом и маскхалат на теплой подкладке.

Правда, меня было взяли сомнения — маскхалат-то мне дали мелкопятнистый; из тех, что носили только эсэсовцы, но я тут же подавил все возражения, каковые мог позволить себе человек более богатый, которому было теплее, чем мне; у меня ничего не было, я мерз, и я укутался бы в любые покровы.

А маскхалат и впрямь оказался защитным покровом, едва ли не охранительной системой, куда мало что проникало извне. На лодыжках и на запястьях он затягивался, куртка спускалась ниже пояса, чуть ли не до колен, а капюшон укрывал лоб и подбородок. Не маскхалат, а надежный сруб. Он не защищал меня от мучительных вопросов и гнетущих догадок, но он сохранял мне большую часть моего тепла, потому я был в силах умчаться в нем на какое-то время из моей холодной дыры, проникнуть сквозь решетки, улететь в лучшую в мире кухню в прекрасной стране, что была моим детством.

Думаю, не так уж и странно, что мне было легче вернуться мыслью в те времена, когда я был мальчишкой, и что я испытывал известные трудности, когда пытался нащупать мыслью себя — взрослого парня.

Странно было, считал я, что мне никак не удавалось собрать в памяти для контраста к этому зверски сырому холоду хоть какие-то летние сцены, извлечь из глубин памяти радостные минуты на пляже и в море или, по крайней мере, песок в Пулавах и щебенку на путях, облитую лучами июньского солнца. Силой своих мечтаний я вызывал в памяти лишь зимние истории, зимние мгновения на звенящем морозе, и я мерз в них не меньше, чем мерз в камере без защитной одежды, и только в конце, в этом-то

и была разница, это и оправдывало экскурсии в некогда реальную жизнь и соблазняло на эти экскурсии,— в конце всех этих историй я прямо-таки задыхался от жары. Возможно, подобным образом я пытался умолить мое ледяное настоящее последовать указанному примеру; быть может, я надеялся, что меня опять поведут в отогревающую баню, после чего пошлют не мокрую капусту топтать, а теплое тесто, но ничего подобного со мной больше не случилось.

Не раз читал я, читая о других тюрьмах и тамошних порядках, что во всех заведениях подобного рода запрещается пользоваться нарами днем, и всякий раз, натыкаясь на подобное сообщение, я задаю вопросом, почему же мне этого не запрещали. Я обязан был встать, когда открывалась дверь, и стоять под окном, сохраняя какое-то подобие вышравки; это с самого начала весьма наглядно объяснил мне пан Шибко с помощью связки ключей, но этим и ограничивались тюремные правила, касавшиеся меня. Во всяком случае, пока я был один в камере. Позже все переменялось, и мне стало куда труднее уноситься мыслью из тюрьмы.

В камере, которую я ни с кем не делил, я свободно это проделывал и тогда даже, когда весьма осмозрительно шагал по камере, шесть шагов туда, шесть шагов обратно, шесть расчетливых шагов, и берег я себя так, как, пожалуй, в жизни больше не берег себя с тех пор.

Сказанное точно повторяет все, что известно нам по книгам и фильмам, и хотя бы ради того, чтобы оторваться от этой темы, я лучше расскажу о курином корме, о том, как холодно было, когда я его получал, и как тепло было там, где я его получал, и как делалось тепло в моей камере, когда я об этом вспоминаю.

Это случилось в ту первую зиму, когда повсюду царили особые строгости. Война была еще в новинку, и ко всему, с ней связанному, мы относились с чрезвычайной дотошностью. Пожалуй, этот период можно назвать самой теоретической фазой войны: стреляли исключительно под водой да раз-другой в самолеты, но разглагольствовали, ученья проводили и экономили вовсю. Это был период, когда все мы получили противогазы, и рыли в садах щели, и еще поглядывали на аэростаты заграждения над Брунсбютельским шлюзом. Именно тогда отец однажды сказал — наконец, мол, выгодно ходить в бедняках, и что-то еще говорил о справедливости. Я понимаю, что он хотел сказать, но со справедливостью это ничего общего наверняка не имело; позднее я охотно обсудил бы с ним этот вопрос, но он не вернулся.

А хотел он сказать, что из-за нехватки многих товаров мы не так уж страдали, а не страдали мы оттого, что и прежде их не покупали. Мы и раньше не пили настоящего кофе, и когда стали получать кофе по карточкам, то отец относил его своему директору, тот брал, да еще кое-что сверх положенного доплачивал. И масло, что мы получали, он тоже у нас покупал; а мы и раньше всегда пользовались маргарином.

Позднее, и вот это уж удивительно, мы сами ели масло. У нас стало больше денег. Или нет, денег больше, чем до войны, у нас не стало, но покупать было почти нечего. К тому времени и ситуация, которая представлялась отцу справедливой, давным-давно ушла в прошлое, может, он и сам отказался от этой мысли, когда начали выдавать талоны на куриный корм, а его директор, у которого никаких кур в помине не было, отдал отцу свой талон, но за яйца, да за такое количество, что для нас это наверняка оказалось делом невыгодным.

Если в семье два брата, из которых один на три года старше и куда сильнее второго, а канавы в маршах так смерзлись, что по ним можно на коньках кататься, и с ветряной мельницы, что в пяти километрах, нужно привезти пятьдесят килограммов куриного корма, так кто помчит по льду и кто брякнет со злостью мешок с кормом на санки?

Я впрягся в санки и неспешной рысью затрусил на мельницу, ветер дул мне в спину, и потому я как-то не почувствовал холода. Но на мельнице я его очень даже почувствовал, ибо ждать мне там пришлось нескончаемо долго. Весь наш городок, даже наши конькобежцы, собрались здесь; ну и ну, кто только не держал кур, я просто диву давался.

Если мороз сильный, так и от давки никакого проку. Мы стояли впритирку друг к другу, и над нами сплетались струйки нашего дыхания, но вот ноги словно омывало ледяной водой, притоптывай не притоптывай, ничего тебе не поможет.

Помогло кое-что совсем другое, одно время даже очень. Впереди себя справа я видел девочку — между нею и мной стояли всего две пожилые тетки, — девочку, которую я знал: ведь в Марне каждый мальчишка знает каждую девочку, — с которой, однако, в жизни еще не стоял так близко. Ее звали Гритье, именем, от которого пахло нафталином, и была она дочерью директора школы. Моя ровесница, она училась, понятно, в гимназии в Мельдорфе.

Но это же была сенсация, и даже двойная: директор школы держал кур и дочь директора пришла за кормом; подобное сообщение придаст мне значимости в глазах всех прочих конькобежцев потом на льду залива.

Обе почтенные дамы, что стояли между мной и Гритье, словно боялись потерять друг друга из виду; они встали так близко друг к другу, что нос одной упирался в пучок другой, но каждые пять секунд передняя спрашивала заднюю:

— Ты еще здесь, Эллен?

А задняя бормотала ей в затылок:

— Да, я здесь, Ханни!

И между репликами они призывали друг друга не выпускать из рук своей кошницы. Всего одно слово местного диалекта в их тщательно выдержанном литературном языке звучало смешно, но я вскоре возненавидел эту корзину, которая преграждала мне путь к Гритье. Мне, правда, удалось втиснуться между двумя пожилыми барышнями, однако свою кошницу они из рук не выпускали, и я вынужден был не без труда отступить.

И все-таки я верно рассчитал магнитную силу их сестринской любви: едва я освободил пространство между ними, как задняя опять ткнулась носом в пучок передней, и брешь, которая образовалась на мгновение, открыла мне ход к девочке Гритье.

А девочка поступила так, как обычно поступают все девочки: хоть и упорно глядела в одну точку, куда и до сих пор глядела, но мое появление рядом с собой явно заметила. Предо мной же вновь, в который раз, встала проблема Первого Слова.

Вновь, в который раз, сказал я, а мог бы сказать: и тогда уже! Ибо проблема Первого Слова довольно часто вставала предо мной, и я уверен: в моей судьбе свершился бы не раз и не два решительный поворот, будь в нужную минуту к моим услугам удачное Первое Слово.

Существуют всякие и разные своды законов и перечни хороших манер: как надо вести себя за столом, а как в гостях, можно узнать не только у Книгге<sup>4</sup>, существуют сборники крылатых слов и даже знаменитых Последних Слов, но о Первом Слове, можно считать, решительно ничего нет.

Вполне вероятно, что причиной тому многообразию возможностей, ведь сборник с формами обращения должен и впрямь быть очень даже многообразным, чтобы в нем содержалось даже Первое Слово, пригодное на мельнице, где выдают при восемнадцати градусах мороза куриный корм.

В том положении, в какое я загнал себя, одолев двух престарелых дам и их кошницу, время течет весьма своеобразно: не скажешь тотчас ничего, так уж ничего больше и не скажешь, ведь кто полчаса стоит как немой, а потом вдруг здоровается, тот кажется каким-то придурком.

Здороваться — это в наших местах значит самым сердечным образом общаться друг с другом; а ведь поздороваться вовсе еще не значит сказать Первое Слово, здороваешься ты только с тем, кого знаешь, а узнать человека можно только тогда, когда с ним подобающим образом заговоришь.

Я хочу сказать, что никто не вынуждал меня заговорить с директорской Гритье; я мог бы стоять с ней молчком и молчком расстаться с ней, но хоть она в физическом смысле с места не сдвинулась, зато я мог бы поклясться, что в химическом — она вся бурлила, и очень даже интенсивно. Ну а я и в физическом сдвигался и в химическом бурлил, и ведь не затем я хитро одолел обеих дам с их кошницей, чтобы онемевшим олухом замерзнуть рядом с девочкой Гритье.

— Я и не знал, что вы кур держите! — сказал я, и если найдется человек, который когда-нибудь решит составить Великую Книгу Первых Слов, так он совершит

<sup>4</sup> Книгге Адольф (1752—1796), автор книги «Об отношениях людей».

жестокую ошибку, не выделив в ней раздела наиболее Успешных Первых Слов и не поставив во главу его как Самые Первые Слова: «Я и не знал, что вы кур держите».

Ведь благозвучие благозвучием, но главное-то успех. Наверно, счету нет тем, кто пытался подъехать к девице по формуле: осмелюсь предложить, красавица... и так далее, и вполне возможно, половина пытавшихся добивалась своего, что в этой области уже очень много, но сто процентов все-таки куда больше.

И уж если я свои слова только раз выпалил, а Гритье свой клювик сразу же открыла и зачирикала в ответ, словно давным-давно ждала меня, значит, я вправде говорить о ста процентах.

— Ну да, держим,— сказала она,— папа говорит, что пора и мне это заметить. Папа говорит, до сих пор я имела понятие только о яйцах, вовсе не думая, что с ними как-то связаны куры. С папой нужно быть настороже, того и гляди дашь ему повод все объяснять. Если позволишь, я объясню тебе то-то и то-то, говорит он, и не ждет согласия, а начинает разглагольствовать. Мама говорит, это оттого, что он в школе не вкладывает своих познаний. Он получил кучу всяких знаний и должен их кому-то выложить. Ну и холод! Ну, скажу я тебе, и холод! Я еще в автобусе закончила, а здесь скоро в сосульку превращусь. До колен вся заледенела, а ты попробуй пойдешь к отцу, скажи ему, что его дочка превратилась в сосульку. Он сидит в пивной и разыгрывает перед Крегером, будто он взяточник, будто за грогом можно еще раз обсудить судьбу крегеровского безмозглого сына. Папа думает, да, он думает, я не понимаю, когда он говорит маме: «Пройдусь-ка мимо пивной, испытаю свою добродетель!» И мама думает, я не понимаю, когда отвечает папе: «Ну-ну, со мной ты на днях проявил незаурядную стойкость!» И когда они чего-нибудь хотят от меня и твердят, что тоже были молоды, так я спрашиваю, правда ли это, ведь если — да, должны же они знать, с каких пор человек все понимает и когда еще ничегошеньки не понимает. Ну и холод! Ну, скажу я тебе, холод!

Сомнения не было: она прижималась ко мне. Она жалась ко мне, как еще ни одна девчонка ко мне не жалась. Здесь, на виду у всех. А ведь я ее вовсе не знал. Ну, что до людей, так беды большой в том не было, они старались сами как-нибудь не замерзнуть и ругали вонсю мельника. Да и вообще беды в том не было. А было какое-то необыкновенное ощущение, хотя на мне была толстая куртка, а на ней кроликовый жакет. Но я ощущал ее тепло.

Целиком поглощенный своим ощущением, я не нашелся, что ей сказать, когда она спросила, почему же я ничего не говорю. Понимая, однако, что, когда к тебе обращаются с подобной речью, нужно отвечать, я сказал:

— Я и вправду не знал, что вы кур держите!

А она ответила — я, мол, какой-то чудик.

И таким тоном, что у меня в ушах зазвенело и стало решительно все равно; я прижался ногой к ее ноге, надежнее от холода в ноге не избавиться, и, примеряясь, придвинулся бедром к ее бедру, ох, оно же пришлось в самый раз, и руку, просунув вперед, прижал где-то под ее рукой, и она тоже прилась в самый раз, и ни рубаха и шерстяной свитер, ни толстая куртка и кроличий мех, ни другой шерстяной свитер и какая уж там не знаю другая рубашка не в силах были помешать плоти греться о плоть; люди, верю я с той поры, способны вести разговор любимыми частями своего тела.

Я слышал, Ромео и Джульетта были такими же юнцами, как и мы с Гритье; но ведь на то они итальянцы. Кто знает, доведись им два часа ждать на морозе куриного корма, как бы у них все получилось. У нас с дочкой директора ни на одной стадии не получилось так, как у Джульетты и Ромео. Ей предстояло зайти за отцом в пивную, а мне предстояло тащиться пять километров сквозь колюще ледяной ветер. На мельнице у меня обе ноги смерзлись в одну, и обратное их превращение в мышцы и кости стоило мне таких мучительных усилий, что Джульетта на довольно долгое время почти исчезла из поля моего зрения. Почти, говорю я, ибо совсем исчезнуть, хочу я верить, не заставил бы ее ни мороз, что размахивает ледорубами, ни жара, что бьет серпами, но вот ветру, и морозу, и метущему снегу, и веревке от саней с пятьюдесятью килограммами корма это почти удалось.

Вновь настал для меня такой миг, когда я решил: кроме меня, на свете не осталось ни единого человека, никто более в нашем краю не обитает. Город Марже, что,

быть может, лежал где-то в снежной дали, покинули люди и скот; а близкое море, слева от меня, мороз сковал до самого дна, и оно замкнуло в своих недрах все, что некогда двигалось по его глади; справа же от кромки шоссе мир уходил куда-то в дальнюю даль, там тянулись оледенелые поля, усеянные до самого окаменевшего канала заснеженным мусором, и только аэростаты в морозном небе говорили о том, что некогда здесь жили люди.

Чувство это было мне знакомо; оно оставалось постоянным, менялась лишь декорация. Я испытал его однажды, когда тонул: я один-одинешенек в воде — и недостижимо далекие берега, я один-одинешенек — и надо мной небо, высокое, как и положено небу, я один — в зеленой мокреде, в которой иссыкает моя жизнь. Я испытал это чувство, когда однажды на пути домой меня застала гроза: такие дали моей родной земли, какие открылись мне в свете молний, не открывались мне никогда прежде. То была до самого горизонта усеянная нежилыми домами равнина, и ни одна душа, кроме меня, не слышала раскатов грома. Всеми ветрами продуваемая земля поросла быстрорастущими деревьями, и я задался тогда вопросом, для чего же мы так быстро повзрослели. Грохочущие молнии, хлещущие струи дождя, конец света и ни единого свидетеля. В этом краю никто более не обитает.

Едва ли не то самое чувство испытал я, когда тащил нагруженные санки. Еще сотня шагов, понимал я, и ноги мои, обутые в шнурованные ботинки, завязнут в сугробе, не слишком даже глубоко, но в таком, что цепко их ухватит, и тогда они надломятся, точно стеклянные, у края ботинка. Еще сотня шагов — и санки встанут как вкопанные, а веревка вмерзнет торчком в воздух вместе с моим кулаком и моей варежкой, но я этого ничего не увижу, глаза мои на этой жестокой стуже уже обратились в мраморные шарики.

Но в этом снежном краю оставалась еще одна живая душа, свидетельница всего, и она меня отыщет. Она не усидит у отца в пивной, пока он испытывает на Крегере свою добродетель. Она объявит ему, что отныне ему самому придется заботиться о корме; ее же судьба — отправиться в путь, на ледяную равнину. Ее судьба идти догонять Марка Нибура, что с такой жуткой решимостью ринулся навстречу бешеным порывам ветра, нога которого припала в самый раз ее ноге, а рука в самый раз юной груди.

Она наденет на себя свой кроличий панцирь, а голову точно шлемом защитит платком, она и сквозь вьюгу станет звать Марка Нибура, пойдет по его следу, отмеченному там и сям золотым зерном, и отыщет Марка Нибура; слишком поздно, правда, чтобы вернуть его к живому теплу, но как раз вовремя, чтобы лицезреть мужественную гибель Марка Нибура от ледяной смерти с Последним Словом на устах: «А я и вправду не знал, что вы кур держите!»

Ничего, однако, не вышло из сего морозного варианта Ромео и Джульетты; Джульетта предпочла остаться с отцом в теплой пивной, а потом опять ездил в гимназию в Мельдорф и всегда при встрече этак небрежно кивала мне; а я пробирался сквозь ледяные преграды в нашу кухню, и там меня ждал самый в моей жизни горячий, самый сладкий, самый нежный, самый перченый, самый распрекрасный горошек с салом, а гоняя на коньках по льду залива, я ни разу рта не раскрыл, чтоб кому-нибудь словечко проронить о директорской дочке Гритье. Да и холодно было слишком.

## XI

В задуманном мною реестре на следующее место можно, пожалуй, поставить одиночество или грязь. Имея в виду, что страх следует либо вовсе забыть, либо уж поставить в самое начало.

Грязно в моей камере едва ли могло быть. Окно всегда было закрыто, а гости ко мне не заглядывали; Шибко и другие надзиратели останавливались на пороге, когда в час переключки приходили глянуть, тут ли я. С тем же успехом они могли бы глянуть на меня через глазок, но тогда это не была бы переключка. Дежурные, разносившие еду, тоже стояли у двери, а объедков у меня не случалось. Перестилая кровать, я не сорил ни пухом, ни соломой: на моей кровати там, где положено быть матрасу, лежали только доски, но постель нужно стелить, и потому я каждое утро переворачивал

доски, а чтоб подметать пыль от них и щепки, надзиратель давал мне метлу. И стоял, пока я мел, в дверях; надо думать, из хворостинок метлы можно сплести хворостинные лестницы или хворостинные веревки. Мне, чтоб хватило от окна до земли, понадобилось бы десятка три метел, не говоря уж о том, что на окнах были железные решетки. Но вполне возможно, история юстиции знает парня, смастерившего из метлы напильник, во всяком случае, метлу всегда тут же требовали назад.

В одном пункте моя камера представляла собой из ряда вон выходящее обиталище, а именно — в ней имелся клозет, и уж вовсе нечто противоестественное было в том, что сей гигиенический отсек отделялся от камеры жестяной перегородкой. Словно можно было одновременно сидеть на стульчаке и оставаться в камере, испытывая перед самим собой неловкость. Надзиратели тоже неловкости не испытывали. Если, глянув в глазок, они меня не обнаруживали, так отпирали дверь и заглядывали за перегородку. Только Шибко довольствовался видом одной моей руки, которой я помахивал перед глазком, когда знал, что он стоит за дверью.

Моя камера с собственным клозетом за ширмой была все-таки какой-то необыкновенной, считал я, пока не видел других камер. По почтенному возрасту стен я заключил, что эта тюрьма служила тюрьмой еще при царе, и предположил, что в мою камеру сажали офицеров-казначеев. Их ведь приходилось куда-то сажать, когда они грабили не тех, кого нужно, но параша им явно была не по чину.

Подобные вопросы я охотно обсудил бы с соседом, но чаще всего мое одиночество мне не мешало. А полностью уединиться в действующей по всем правилам тюрьме вряд ли было можно. Здесь постоянно происходит какое-то движение, что для заведения, до самой крыши набитого людьми, неудивительно, и если хочешь, всегда можешь принять участие в этом движении. Но если не хочешь, так чаще всего тоже принимаешь в нем участие.

От первой компании, в которую я попал в тюрьме, я и сегодня не в восторге.

Уже несколько дней в коридорах тюрьмы стоял какой-то шум, ругались тюремщицы, и громко роптали заключенные-поляки, и главное, уже давно по тюрьме распространялась какая-то новая будоражащая вонь; и потому я вздохнул с облегчением, когда однажды вечером Шибко выпустил меня в коридор, крикнув:

— Szybko, szybko! — И: Клопи, клопи!

При этом он исполнил пантомиму, изобразив себя шестиногим, и в то же время усыпанным зудящими шишками, и я его понял. Я оспорил, правда, наличие клопов в моей камере, и он бы мне поверил, знай он всю меру ненависти и отвращения, какие я испытывал к этим насекомым, но он обо мне ничего не знал и потому дал понять той самой связкой, что я должен очистить помещение, да притом szybko.

Очистить — значит, если у тебя нет имущества, переступить порог и ждать, стоя лицом к стене. В мою камеру в двойном облаке вони вошли двое дежурных; там они что-то проделали с бумагой и приспособлением для окуривания, затем заклеили дверь с внешней стороны, после чего совершили надо мной нечто странное: один встал рядом, держа в руках ведро, второй сунул мне шланг за воротник и с помощью насоса обдал мне спину струей какого-то вонючего порошка. После чего сунул шланг мне за пазуху и в штаны как спереди, так и сзади; при этом оба клопомора вели оживленный разговор. Пан Шибко потребовал, чтобы я проделал кое-какие гимнастические упражнения, и когда счел, что порошок по мне распределился, отвел в конец коридора, где мне опять пришлось ждать, стоя лицом к стене.

Но вот щелкнул глазок, звякнула связка ключей, открылась дверь, раздалась команда «смирно!», что-то кому-то приказал пан Шибко, что-то он приказал мне, взмахнув выразительно связкой ключей, и я уже стою в другой камере — едва ли не целом зале. Кругом сидели на койках или стояли и глазели на меня люди самого разного возраста, в самой разнообразной одежде и в самом разнообразном настроении. Рядом со мной сразу же выросли два этаких здоровенных дуболома, выжидательно глядя на человека в бриджах, за которым, видимо, было слово. Рядом с ним стоял пожилой человек, который начал, как мне показалось, говорить одновременно с шефом. Один говорил по-польски, другой по-немецки, но из-за кажущейся синхронности я не сразу понял, что имею дело с оригиналом и переводом, я же привык слышать, как пе-

реводчики в бараках каждую фразу своего начальника предваряли словами «он говорит».

Пожилой господин отказался не только от этой формулы усердия и отмежевания одновременно, он в точности воспроизводил даже все изменения в тоне говорившего, правда он обозначал их хоть едва-едва, но вполне приметно. Он демонстрировал, так сказать, металл в голосе, когда шеф говорил с металлом в голосе, и сигнализировал о грозовой опасности, когда шеф угрожал грозowymi раскатами.

— Хайль Гитлер!—выкрикнули они, но я, уже наученный горьким опытом, на это приветствие не ответил.

Правда, один дуболом наподдал мне коленкой в зад, но ответь я, как некогда полагалось, так наверняка коленки двух дуболомов прошли бы не только по моему заду.

— Нам приказано дать вам приют на одну ночь,—заговорили шеф и пожилой переводчик разом, но понимал я только одного.— Нам сообщили, что ваша квартира на эту ночь загазована, как будто это — могли бы и вас спросить — причина выдворять людей. Мне поручено,— продолжал польско-немецкий дуэт,— обеспечить вашу сохранность; вас ожидают живьем в высших инстанциях, что ж, мы им обеспечим желаемое.

Далее польский голос стал тоном выше, а немецкий продемонстрировал мне повышение, они двуязычно кого-то вызвали, приказав подойти к нам, и когда этот кто-то вышел к нам, он оказался молодым парнем с рассеченной губой и распухшими глазами, и ему был отдан двухголосный приказ плюнуть мне в лицо.

Трижды парень покачал головой, и трижды я слышал вопрос: «Долго я буду ждать?» — что и по-польски никакой не вопрос, и теперь шеф говорил все тише и тише, переводчик в точности следовал за ним, потом шеф ткнул в мой маскхалат, а переводчик тоже вроде бы воспроизвел его жест, и оба стали внушать парню — ему, мол, наверняка не раз и не два, когда он видел эти пантеры пятна, мечталось убить, мечталось вцепиться в горло, сейчас для этого, правда, тоже момент неподходящий, поскольку Кіеговпik'и договорились с ними о безопасности гостя, но если ему кто-нибудь харкнет в глаза истинно еврейским харком, он, надо думать, не подойдет, ну так прошу.

Признаюсь, того, что мне пришлось в эти минуты осмыслить, было многовато; я улавливал отдельные слова, но в толк их взять не мог; я отмечал какие-то пустяки, к примеру, что у переводчика один раз не нашлось подходящего выражения, а такое слово, как «харк», у него прозвучало премерзко; но самое главное я понял только тогда, когда парень в меня плюнул. И когда дуболомы надавали ему оплеух. И когда шеф и его толмач объявили ему, что они благодарят его; они-де хотели лишь показать, что получается, когда дирекция тюрьмы ходатайствует о безопасности пантеропятнистого.

— Нужна была демонстрация,—заявил шеф парню, подняв указательный палец до уровня своих глаз; переводчик сказал то же самое, едва-едва приподняв руку и чуть-чуть приподняв палец,— нужна была демонстрация, и нам потребовался человек великой силы духа, поэтому для сего действия я избрал вас, пан Херцог. Я к тому это говорю, чтобы никто не подумал, будто мы что-нибудь имеем против евреев. Недоставало еще, чтоб наш пятнистый гость решил, будто в этом мире кто-то может что-то иметь против евреев!

Я слушал и смотрел на все происходящее, ничего не понимая; одно было мне ясно — ко мне здесь все испытывают неприязнь, и когда человек в бриджах ухватил меня под левую руку, я и впрямь испугался, а когда переводчик в своей неуверенно-зеркальной манере повторил его движение и подхватил меня под правый локоть, мне стало дурно.

— С паном Херцогом вы уже познакомились,—сказали они, что послужило сигналом для дуболомов взашей прогнать парня; меня же повели по всей камере и стали знакомить с остальными ее обитателями.

До этого дня мне не приходилось бывать в обществе, где людей друг другу представляют, но о церемонии я, конечно же, представление имел, получив его из источника, который единственно готовит нашего брата к «светской жизни», а именно из кинокартин, оттого-то я быстро сориентировался, несмотря на отступление от образцов, в обстановке салона; мы останавливались перед группами, в разговоры которых на мгно-

вение-другое вступали, мы встречались со слоняющимися по камере, которые ради нового знакомства на минуту-другую останавливались; кому-то представляли меня, окликнув его, а кто-то для моих провожатых, а тем самым и для меня, видимо, вообще не существовал.

Разумеется, отступления были значительными: хоть кое-кто и курил, но никто не держал в руках рюмок и не было женщин, присутствие которых превращает сборище в общество. А главное, не называлось никаких имен. Назывались клички. Поначалу я был Пятнистый, затем шеф в бриджах стал называть меня Сыпнопятнистый, Сыпно-тифозный, а под конец и вовсе Пан Тиф.

Можно себе представить, что подобное прозвище не сделало меня желаннее в камере. Не помню уж, какое выражение было на лицах тех, к кому обращался шеф, но речь, с которой он обратился ко мне, помню очень хорошо:

— Кое-какой опыт позволяет мне предположить, что обстановка, подобная этой, для вас не слишком привычна, иначе говоря, тюремная обстановка? У нас ни о чем не спрашивают, поэтому я не спрашиваю даже вас, как вы у нас очутились. Я хочу сказать, у нас, в этих стенах. Весьма, однако, странно, что именно мне поручено проследить, чтобы вас не обидели, ибо такие, как я, недолюбливают таких, как вы. Год назад, да, год назад такие, как вы, вешали, таких, как я.

— Год назад... — начал я, но получил такой удар в спину, что конец фразы вылетел у меня из головы.

— Не рассказывайте мне ничего, — сказал шеф, — здесь не время для этого, и я не прокурор. Когда попадете к прокурору, ему расскажете, где вы хотели бы находиться и действовать год назад. Вот этот господин — взгляните на него внимательно, его тучность бросалась в глаза, когда не вы, а другие заняли нашу начисто обглоданную страну, — очень давно пытается найти взаимопонимание с прокурором; уж он-то вам разъяснит, будете ли вы иметь успех у прокурора со своим прошлогодним календарем. Его сосед — человек иного толка: он засыпает прокурора информацией, и среди прочего верной, но чтобы выискать ее из всей кучи, требуется время, а раз процесса еще не было, значит, нет приговора, и значит, есть надежда. А хотите познакомиться с настоящим уголовником, так вот он: «зеленый», но без зеленого треугольника, как было заведено у вас в тюрьмах, но не считайте его обладателем золотых гор. Карманный вор, как отец его и мать, испытывавший трудности перехода на новые методы: работал по специальности, когда ни у кого в карманах ничего не осталось. А в пустом кармане чужая рука, понятво, заметнее. Так что он уже не новичок в этих стенах. Странно, но кажется, и он вас недолюбливает; видимо, все-таки виной тому пятна на вашем костюме.

— Послушайте, — начал я, но дуболомы с той же скоростью оборвали мою речь, с какой переводчик переводил речь шефа на образный немецкий.

— У нас есть даже брачный аферист, — сказали оба, подводя меня к худощавому человеку, который едва ли не склонялся в поклоне, — его безусловно любят в этом доме. Понятно, истории с бабами все охотно слушают. Подумайте: четырнадцать дам заполучил в постель, только намекнув, что он брат Яна Кепуры<sup>5</sup>. Можно себе представить, что творилось, когда Кепура являлся сам! Впрочем, многие из собравшихся здесь господ замыслили в будущем также попытать счастья по этой части. Но, надо вам сказать, Пан Тиф, такие, как вы, позаботились, чтоб наши бабы не привередничали.

На этот раз я ничего не сказал, вернее, я предварил слова, которые хотел сказать, жестом, но даже защитно поднятые руки показали дуболомам недопустимой говорливостью, и они наподдали мне туда, куда уже не раз наподдавали.

— Naturalny, — сказал человек в бриджах, и почти в одно слово с ним переводивший сказал, — естественно... — и почти в одно слово они продолжали: — ...у нас здесь главным образом уголовная шпана, и вам, человеку изысканного вкуса, я едва ли смогу предложить хоть одного человека, заподозренного в убийстве: их содержат отдельно. Но кому я говорю. Конечно, тот или иной укукошил родственника в состоянии аффекта

<sup>5</sup> Кепура Ян (1902—1966) — польский певец, пользовавшийся мировой известностью.

и, стало быть, к вашей компании не относится, правда, есть у нас парочка настоящих грабителей, но, бог мой, вы же понимаете: что они могли наgrabить?

Я уже постиг на опыте, что возражения здесь не предусмотрены, но сам себя я все-таки спрашивал — как же сумею я возражать прокурору, о котором даже этот шеф говорит в уважительном тоне, если уж эти дуболомные олухи и эта болтливая пара не давали мне сказать хотя бы «нет». «Нет» — на постоянные намеки, которые становились все более кровавыми, и «нет» — вообще той игре, в которой я получил решительно не свою роль. Они могут причинить мне боль, это они уже доказали, но убить меня они не смеют, это они сами сказали, а перед брачными аферистами и курокрадами я не желал молчать. Я с оглядкой приподнял руки, да так медленно, что дуболомам за моей спиной оказалось довольно трудно уловить миг, когда им следовало меня садануть. Я осторожно сложил ладони в просительный жест, известный всем еще с детства; я очень осторожно высвободил руки из цепкой хватки моих провожатых и, застопорив наш ход, постепенно довел его до полной остановки.

Все тут было во власти шефа, и мне, видимо, удалось показать ему, что я это знаю, поэтому он сказал:

— Вам бы поберечь силенки для прокурора, но, что ж, ваяйте, я всегда задавался вопросом, как такие, как вы, будут впоследствии выкручиваться. Начните с умного слова, чтоб заинтересовать меня в последующем, но имейте в виду: кое-что, может, и будет правдой, но в этих стенах это еще ничего не значит.

Я ощущал за спиной здоровенную силушку обоих дуболомов, я угадывал готовность переводчика придать моим словам, когда он будет их переводить, мою интонацию и мою мимику, и я видел, что шефу я уже изрядно надоел.

При известных обстоятельствах мне удастся сказать кое-что умное, но в эти минуты обстоятельства были совсем не таковы. Я стал говорить, и по собственному голосу, да и по голосу переводчика, услышал, что говорю едва слышно:

— Я солдат, маскхалат получил только в этих стенах и с теми, о ком вы думаете, не был, а год назад даже еще и солдатом не был.

Я понял: все это не расположило шефа в мою пользу; он замыслил что-то и желал свой умысел довести без накладок до конца.

— В ноябре еще не был? — спросил он, и по тону переводчика слышно было, как все ему безразлично.

— Нет, еще и не собирался.

— Так когда, значит?

— В декабре.

— И где вы стояли тогда?

— Я? Поначалу в Кольберге, а потом...

— Не вы лично, а вы, немцы.

— На Висле, но у самой ли реки, не знаю. У нас больше о наступлении в Арденнах говорили. А я и до Вислы-то не дошел.

Шеф долго испытующе всматривался в меня, а вместе с ним испытывал меня и переводчик, после чего они спросили:

— Ошибаюсь я, или вы действительно рады, что я вас допрашиваю?

— Вы не ошибаетесь, я рад. Наконец нашелся хоть кто-то!

— Не волнуйтесь, найдутся еще охотники. Но если вы рады, так мы, пожалуй, разберем все досконально.

Он подозвал троих обитателей камеры и что-то стал им толковать, чего я не понял, переводчик этого не переводил. Тот, видимо, отлично знал, что именно касалось меня, а когда меня что-то не касалось, так я для него переставал существовать.

— Очень удачно, — сказал шеф, — что в этих стенах собралось так много экспертов. Собственно говоря, нет такого вопроса, для решения которого здесь не нашлось бы специалиста. Трудность лишь в том, где его найти в этом доме и как вступить с ним в контакт. Но людей, которым известно все о вашей братии и о ваших делах на нашей земле, полно в каждой камере. Даже, к вашему сведению, полным-полно. Итак, еще раз сначала и как можно точнее. Когда вы стали солдатом?

Я ответил ему, вернее говоря, я ответил тем троим, ибо человек в бриджах ставил только вопросы, переводчик только переводил, а продумывали и взвешивали их те

трое, и поскольку те, видимо, не были ни брачными аферистами, ни курокрадами, я по выражениям их лиц ничего прочесть не мог.

— Когда вы впервые вступили на польскую землю? Какой дорогой вы прибыли? Опишите дорогу от вокзала до казармы. Есть ли вблизи собора в Гнезно озеро, или река, или пруд? Как называлась там ваша часть? Давали вам увольнительные? А где вы тогда обедали? Где вы слышали о наступлении в Арденнах? Сколько времени нужно, чтобы попасть туда, где вы тренировались на выносливость? А поляки были поблизости? Мужчины? Женщины? Дети? Девушки? Были вы знакомы с польскими девушками? Как выглядит помещение почты в Клодаве? Когда пришли русские танки, утром, днем, вечером? Когда вы были в Кольберге, Познани, Гнезно, Конине, Коло, Люблине, Баранове, Кутно, Пулавах, Клодаве, когда в последний раз дома? Когда в первый раз в Варшаве? Во что были одеты, чем вооружены? Кого из поляков вы знали? Где в Клодаве кладбище? Где оно в Кутно? Были ли вы в Лодзи?

— Да,— ответил я,— в лагерном лазарете.

— А больше в Лодзи вы нигде не были?

— Был, я был еще в тюрьме. На тюремном дворе.

— Так, а что же вы делали на тюремном дворе в Лодзи?

— Я во все глаза смотрел, нам приказано было все хорошенько рассмотреть.

— И что же там было?

Я все описал и дважды описал кладбище в Клодаве, а кладбище в Кутно не смог, я же никогда не был в Кутно. И я много раз повторял, что и в Люблине не был, только на вокзале, и в Баранове не был, а раньше никогда и в Варшаве не был. Я вспоминал такое, что давным-давно позабыл, но не знал, где в Гнезно магазин оптики. Нет, я не был знаком с поляками, хотя и сам находил теперь это странным. Я сказал им, что как пленный куда дальше зашел на восток, чем прежде как солдат, и они позволили мне рассказать им о лете, что я провел на железной дороге.

Но по их вопросам я понимал, что история моего плена их не слишком интересует. Они хотели все знать о моей военной подготовке, и когда я называл даты и года, они, казалось, сравнивали их с тем, что знали сами.

И хотя я их не понимал, но из того, что они хотели знать, было ясно, что они знали о войне и вермахте очень и очень много, и когда я это в первый раз заметил, то ощутил некоторое смятение. Мне не по душе было, что полякам так много о нас известно, вдобавок гражданским и, без сомнения, уголовникам. Но, с другой стороны, мне очень даже было это по душе, ведь если они во всем так хорошо разбираются, то должны понять, как я правдиво все излагаю. Хотя меня заранее предупредили, что в этих стенах правда в счет не идет.

Но в это я поверить не мог. Не мог себе представить стены, в которых правда не шла бы в счет. Мне, конечно, тоже случалось устраивать розыгрыши, но розыгрыш и неправда ничего общего друг с другом не имеют. Ну, вот как содрванное колено и... и ииф, хотя бы.

Воспитание — великое дело. Отец свирепел и терял контроль над собой, если обнаруживал, что ему лгут. Поэтому порядочную ложь мне так же трудно сочинить, как сделать шаг разом обеими ногами.

Что, впрочем, возможно. Я хочу сказать, что можно продвигаться вперед и прыжками, но это уже несколько необычный способ ходьбы и требует немалой дерзости.

Так обстояли у меня дела с ложью. И так как я знал, что мне не место в этих стенах, если правда идет в счет, то самым неразумным образом почувствовал облегчение. Ведь все, что эти мелкотравчатые мазурики вытворяют, по сути дела, в счет не идет. Они разпрыгают передо мной прокурора, а наверняка без памяти рады были бы, сумеи они договориться с прокурором и уладить собственные дела. Они упивались ситуацией навыворот, но никакой не было разницы, объявят ли они меня разбойником с большой дороги или признают мою невиновность.

Мою невиновность в чем? Облегчения как не бывало. Моя виновность в чем? Облегчения как не бывало. Разве может человек быть невиновным, если даже не знает, в чем его обвиняют? Облегчения как не бывало; наоборот, еще большая угнетенность. Прощай, мой конь буланый, здесь уже никто не обигает. Здесь, в этих стенах,

передо мной разверзлась могила. В нашу дверь стучат. Дочерна закоптела стена под окном, что выходит во двор. Мы не знаем наших имен. Нам срочно приходится кидаться под кровать, в пыль, грядут кашевары.

И тут я понял, что опять уже, и в который раз, у меня не хватило выдержки. Я понял это, когда увидел в высшей степени патетическую сцену: они стояли передо мной полукружьем, маленький шеф в своих, как я теперь видел, великоватых бриджах, шустрый переводчик, который, как я теперь видел, был чуть ли не стариком, три знатока военного положения, порочные лица которых даже на вокзале, в зале ожидания, бросились бы в глаза, оба здоровенных грубияна, с оскорбительно дурацкими физиономиями, как и у многих других здесь. Эти все играли ту или иную роль, а за ними толпились статисты. Общество распалось, салон вновь превратился в камеру. И все, кто обитал в этой камере, словно хор, толпились за спинами главных действующих лиц. И все таранились на меня.

Я сидел на корточках, прислонясь к стене, колени подтянул к подбородку, руками закрыл лицо, но за театральзованным представлением следил сверхвнимательно. Я рад был, что щеки у меня сухие, и вовсе не понимал, что же во мне так привлекает всех этих людей. Я попытался прочесть ответ на их лицах, но ничего иного, кроме спокойного любопытства, с которым они меня приняли, и теперь на них не было. Только юный пан Херцог испуганно поглядывал на меня своими зареванными глазами. Он был первым, кто плюнул в меня, если не считать людей в Лодзи и у товарной станции Варшава-Прага, но их считать нечего, они же были какие-то буйные, это была толпа, и стояли к тому же они довольно далеко.

Нет, до пана Херцога мне никто в лицо не плевал, и все же я не ощущал в себе злобы на него. Рассеченная губа говорила о том, с какой жестокостью добились здесь от него послушания. Шеф, говоря о нем, назвал его евреем, и теперь я еще меньше стал понимать, что же это такое.

Шеф выступил вперед, и почти вместе с ним выступил переводчик, ну, точь-в-точь как в театре, когда начинается дуэт, и тут тоже начался дуэт:

— Уважаемый Пан Тиф, вам удалось исполнить перед нами нечто такое, о чем, надо думать, каждый из нас когда-нибудь уже мечтал. Понимаете, все обстоит совсем не так, как принято считать. Принято считать, что люди в тюрьмах — это люди без отечества, ибо отечество заперло их в тюрьму. Но если так и было когда-то, то такие, как вы, все изменили. «Такие, как вы» — это просто сравнение, а вовсе не идентификация. В этом смысле я и говорю все время о вас и прошу не принимать сказанное всякий раз на свой счет. Такие, как вы, мой пятнистый господин, и мне в высшей степени, безразлично, откуда у вас ваша пятнистая шкура, такие, как вы, сыграли роль посредников между нами и нашим отечеством вполне успешно, поздравляю. В этой камере, как показал проведенный нами опрос, каковой даже прокурору провести не удалось бы, не нашлось ни одного человека, который был бы *współpracownik*, даже наш *łucasz*, хотя для него это было бы едва ли не естественно.

У переводчика, казалось, в первый раз возникли трудности с текстом. Он повторял за шефом иностранные слова, о значении которых я едва догадывался, хотя до сих пор говорил на живом немецком, польские же выражения, которые появились в его речи, были для меня и вовсе пустым звуком, а его подражание шефу вылилось в смехотворное обезьянничанье, когда он, повторяя его жест при упоминании переводчика, попросту ткнул пальцем в шефа, хотя в тексте речь шла о нем самом.

Он заметил это и перестал переводить, что я счел неслыханной дерзостью, и даже остановил своего шефа, подав ему знак, и сказал, обращаясь ко мне:

— Извините, я немного не в форме. *Współpracownik* — это коллаборационист, что значит местный житель, сотрудничавший с немцами. Такой человек считается предателем. *Łucasz* — это переводчик, я ваш *łucasz* — и я начинаю явно сдавать. Быть может, мне следовало пояснить, что слово «опрос» употреблено, конечно же, в уголовно-правовом смысле.

Он обратился по-польски к человеку в бриджах, и, как ни странно, тот терпеливо снес, что его перебили, и теперь продолжал свою речь ко мне:

— Видите, даже наш переводчик, — на этот раз тот показал на себя, — выбит из колен, такую вы нам доставили радость. Чем эта радость вызвана, что послужило

поводом к ней? Это легко объяснить. Все мы, кто больше, кто меньше, в течение пяти лет сносили присутствие таких, как вы, но сносили мы его только потому, что нас поддерживала надежда: в один прекрасный день мы увидим вас на коленях или увидим, как вы опуститесь у стены, закрыв лицо руками, а стоять будем мы. Ну вот, господин Сыпной Тиф, как вам известно, дела пошли несколько иначе. Вас так стремительно выгнали из страны, что до вождественной сцены наших мечтаний дело не дошло, мы таковой не увидели. То ли вы слишком быстро удалились, то ли мы были заняты чем-то другим. А вы лично доставили нам удовольствие, которого, казалось, нам уже не вкусить. Удивительно, но обморок настиг вас и бросил к стене как раз в тот миг, когда мы здесь, стоя вокруг вас, пришли к заключению, что вы говорили правду и что имеется небольшое противоречие между мнением о вас господина наблюдателя и очевидным ходом вашей жизни. Но таковое в этих стенах случается довольно часто, и, чтобы показать, что подобные превратности судьбы нам не страшны, мы споем песню, а вы проследите все же, чтобы вам при случае сменили эту мелкопятнистую шкуру.

В этот вечер мы в самом деле пели, дежурил пан Шибко, и поэтому нам не мешали. Он даже зашел в камеру и попросил, чтобы я спел «Лили Марлен». Я понимал, что испортил бы на остаток ночи отношения с приютившей меня компанией, если бы стал ломаться. Да мне и не пришлось долго петь одному: многие тут же стали мне подпевать. Даже тюремщик пел с нами. Дверь он только прикрыл и стоял на пороге, и глаза его не отрывались от коридора, а слух был целиком поглощен нашей песней, и он пел «Лили Марлен» вместе с нами.

Мне даже кажется, что я пел с душой. Эта песня многое во мне всколыхнула. Я пел, словно долгие годы был одинок и словно вскрылись все причины моего страха и кое-какие удалось отместить.

Эта песня приобрела популярность, когда я как раз страдал от неразделенной любви, и грустная мелодия с тех пор служит для меня признаком именно такого настроения. По причинам, раскрывать которые нет смысла, я вижу, как стою за мокрой церковью и жду не помню уж кого, и слышу, как тихонько напеваю эту песню, и хоть в ней звучит грусть-тоска, но меня она от моей грусти избавляет.

Боюсь, это покажется чересчур мудреным, а то я бы сказал: я точно знаю, что, пока я там ждал, я рос, выросл, и поскольку именно так мы прощаемся с чем-то, что нам дорого, для меня эта песня была прощальной.

Разумеется, наше пение было все равно что свист в темном лесу, не один я в этом доме дышу, давался, задумавшись над своей судьбой и былыми временами.

К счастью, нашелся среди нас человек, взорвавший наше уныние дерзостью. Какой-то старик затянул забытую солдатскую песню, причем немецкую, заявив, что выучил ее в шанхайском борделе; девочка, у которой он спасался от страха перед тайфунами, распевала ее во время работы, так вот, понимаем ли мы, как долго он способен был трудиться, или мы думаем, что такую песню можно выучить в один миг, да еще на чужом языке?

Они запели было еще что-то свое, профессиональное, какие-то воровские песни, но тут вмешался пан Шибко, который вообще-то не мелочился; он вошел в камеру и одному из дуболомов, не успевшему вовремя захлопнуть пасть, двинул своей связкой в зубы. Но чтоб никто не подумал, будто он вообще имеет против пения, он еще раз затянул чуть сентиментальную мелодию «Warszawa, kochana Warszawa», и я подхватил ее, хотя петь о любимой Варшаве у меня еще никаких оснований не было.

Единственный человек, который не пел и не подавал вида, что слушает нас, был юный пан Херцог. Я спросил переводчика, который переводил мне теперь тексты даже распевая, отчего бы это, но он ответил только:

— Ах, знаете, он же еврей, не так ли!

А человек в бриджах, переставший размырывать шефа, сказал:

— Вы так повели дела, что нашему брату пришлось с вами стакнуться.

Он встал и мимоходом изо всех сил лягнул пяткой пана Херцога по ноге.

Я понимал, что нахожусь среди людей, неохотно отвечающих на расспросы, но все-таки попросил переводчика разъяснить мне, что же особенного в этом бледном пане Херцоге. Он, может, такого типа уголовник, какой даже в уголовной тюрьме считается запретным? Быть может, у шефа с паном Херцогом когда-то, еще в гражданской жизни, что-то было, то ли разлад какой, то ли из-за бабы ссора. Ведь то, что он еврей, поляки же не могли всерьез ставить ему в вину. Переводчик долго качал головой и в конце концов сказал:

— Вас спустили на нас, но вам даже не растолковали, кто мы такие. Ведь это же с ума сойти: какую уйму народа вы утробили и не знаете толком кого. Хоть чуточку нашей истории, прежде чем отправлять нас на тот свет, вам бы следовало знать. Так нет. Вот и еще причина, почему вам суждено было проиграть.

## XII

Теперь клопов в моей камере не было, как не было их и раньше, только воняло в ней сильнее, и жулье, когда возвращалось с работ, приветствовало меня, колотя ногами в мою железную дверь.

А на рождество я снова услышал, как они поют, и для меня было истинным открытием, что песни моего детства поют также и по-польски.

Никаких примет праздника я для себя не ждал. Я подсчитал число дней до двадцать четвертого декабря и пытался сколько было сил не думать о родных елках. Я даже не был уверен, отмечают ли поляки вообще эту дату, что говорит о моей недалекости, знаю, но таким уж недалеким я тогда был.

Но даже если поляки и отмечали ее, в этом доме они не делали многого, что вообще-то было у них принято. И наоборот. А уж во всем, что касалось меня, они, как мне представлялось, были весьма далеки от того, что принято. Я надеялся — словно бы их обычаи были моей заботой, — что вообще-то у них не в обычае сажать человека за решетку из-за того, что кто-то поднял крик, и ни единого словечка не сказать ему о его вине. Даже не разъяснить ему, в чем его вина состоит.

У нас в Марне был раньше другой директор гимназии по фамилии Хаан, он общался с учениками именно так, как с нами обращались здесь. Он вызывал ученика на большой перемене и заставлял его ждать в приемной, стоя лицом к стене, а перед самым началом следующего урока ошарашивал вопросом: что ты хотел мне сказать? Кое-кто до последнего школьного дня попадался на эту удочку и доставлял директору много радости своими откровениями. Но дядя Йонни, человек в обхождении с начальством опытный, с которым можно было обсуждать подобные проблемы, посоветовал мне на случай, если я снова окажусь у стенки, сказать: прежде предъявите обвинение, господин директор, прежде всего предъявите обвинение! И даже подсказал мне требуемую интонацию. Но, видимо, то была интонация мятежного матроса, ибо господин директор Хаан безо всяких обвинений и каких-либо объяснений закатил мне внушительную олеуху. Считалось, однако, что я дешево отделался, обычно директор пользовался для расправы бамбуковой палкой. При этом он придерживался определенной методы; он трижды с маху вытягивал наказуемого по заду, чертил, так сказать, три обжигающие параллельные, нанося среднюю черту последней, на уже вздувшееся тело. Он чрезвычайно гордился своим достижением и требовал, чтобы те, кому он давал таску, вместе с ним восхищались его точностью.

Он и с малышом Менке поступил таким же образом. Тот учился классом младше меня, но был очень маленького роста, и все знали, что вряд ли он вырастет еще хоть немного, его мать была только что не карлицей. Отца же у него вообще не было, но при такой матери ему в известном смысле и не нужен был отец. Она работала уборщицей в ратуше, и о ее чистоплотности и трудолюбии ходили легенды. Когда директор трижды вытянул малыша Менке, тот просто-напросто убежал из школы, да потеряв свою попку и пустился наутек.

Следующим уроком у директора была география, и тут в дверь как застучат, но многократные приглашения войти не дали результатов, никто не вошел, а в дверь опять застучали.

Директор в ярости выскочил за дверь, оттуда тотчас донеслись звуки двух сочных оплеух, и мы услышали голос госпожи Менке:

— Вот так, а за что, сами знаете!

История сама по себе прекрасная, но результат был еще прекрасней, ибо за этим ничего не последовало, разве что директору пришлось перейти в другую школу в другом городе.

Можно себе представить, что ни с одним человеком в Марне дети с тех пор не здоровались так, как с маленькой госпожой Менке.

Да, это была прекрасная история, но ко мне и моей камере она никакого отношения не имела. Она кончилась тогда, когда директор вызвал меня к себе в приемную. Но ко мне никто не подошел, чтобы спросить, не хочу ли я что-то сказать. Ко мне вообще никто не подошел. Я готов был произнести слова дяди без дядиной интонации и совсем тихо спросить, в чем же меня обвиняют, но ко мне никто не подошел. Не говоря уж о пылающей местью маленькой госпоже Менке. Вот так, а за что, сами знаете! — Не-е, госпожа Менке, я ничуть не знаю за что!

Я все снова и снова продельвал то, чего ждут от нас директора школ, когда ставят нас лицом к стене: я выволакивал на свет божий из своей жизни все, что могло бы поддержать обвинение, но ничего ровным счетом не находил, что хоть как-нибудь сообразовалось с дикими нападками той женщины у вокзала. При подобном ведении дела человек бывает еще более придирчивым, чем посторонний обвинитель, и порой кажется, что история собственной жизни состоит из бесконечной цепи промахов. И тебе приходят в голову такие идеи, до каких ты не додумался бы, представляя себе, на какие хорошие дела ты способен.

То мне казалось, что это была женщина, под кроватью которой я искал убежище от кашеваров; она явилась предъявить счет за сало и чай или подать на меня жалобу за испытанный страх. А может, у них были неприятности, у нее и ее мужа, за то, что они предоставили мне убежище и накормили. А может, им не поверили, что у меня был один автомат. Здесь ведь никому ни в чем не верят и потому даже не спрашивают тебя ни о чем. А может, тех крестьян заподозрили, что они добровольно обеспечили меня пищей и теплом, им пришлось встать лицом к стене и признаться, что они коллаборационисты, *współpraczniker*, или как там будет множественное число от этого трудного слова.

Вот это и впрямь важная причина поднять крик:

— Держите его, держите крепче, хватайте его, спросите его, спросите же. Какой у него был вид той ночью, и что он держал в руках, переступив наш порог, и чем стучал в нашу дверь, и что положил на стол рядом с тарелкой и вилкой.

А я, если бы они меня спросили, я вынужден был бы сказать:

— Да, перед этими людьми я предстал как сама война во плоти, и это достойная причина выставить все на стол, последний кус сала, последнюю каплю чая; оставьте же в покое эту женщину!

А сказал бы я: оставьте же в покое эту женщину? Если бы знал — ей я обязан камерой, низвержением в преисподнюю, утратой света божьего?

Да ни словечка бы ты не сказал, подумал я и, будучи самому себе противен, стал искать путь к отступлению, какая-то часть моего разума подсказала мне: начать надо с простейшего, а простейшее в данном случае вопрос: была ли эта женщина той женщиной, была ли та женщина этой женщиной?

Но оказалось, что я не помню, как выглядела та женщина и как эта — тоже.

Я вознегодовал на себя и, осознав, что это чувство былых времен, изо всех сил постарался удержать его. Надо же! Та женщина была одной-единственной женщиной, которая могла бы предположить, которая должна была предположить, что я хотел покушаться на ее жизнь, а я даже лица ее не помню! Надо же! Другая своим криком вышперла меня из жизни, а я даже лица ее не помню! Надо же!

Что же это значит? Это значит одно: я крепко-накрепко закрываю глаза, стоит только возникнуть тягостной ситуации. Тягостно-жестоккой, жестоко-мучительной, мучительной. Да я же трус. А за трусость приходится платить. Кто из трусости не хочет помнить, как было дело, тот и возражать не вправе.

Бочары загнали нас за газгольдер. Бочаров, надо думать, тысяч семь, и все они швыряют в нас камни. Они стоят перед витриной мясника Хаккера и швыряют в нас слова, что больше бьют, чем любой камень.

— Трусы! — швыряют они, и весь мир это слышит.

И весь мир верит этому, видя, как мы прячемся за афишными тумбами у газгольдера. Здесь обнаружится моя сокровеннейшая тайна: трус!

Не много времени пройдет, и они, оторвавшись от витрины мясника, промчатся по плотине и прогонят нас по ущелью между газгольдером и городской стеной, и не будет конца их реву:

— Трус! Трус!

Нет, конец все-таки будет: в конце концов бежать больше будет некуда, у пожарного депо они нас догонят, или у водонапорной башни, или за старым амбаром Эрдмана; они нас догонят, и сквозь строй прогонят, и разобьют тебе нос в кровь, и надорвут тебе уши, и измолотят тебя в месиво, и хоть терпи-перетерпи — под конец взвонь, а бочарам только того и надо.

Значит, так все будет? И вовсе не так!

Нет, вовсе не так; что сейчас совершается, никто не мог предвидеть, это не просто некая сумма действий. В мгновение взрыва слепящая ярость оказывается достаточно силой, чтобы оторвать меня от афишной тумбы у газгольдера и пустить бегом по плотине, к витрине мясника Хаккера, к шайке бочаров, и я, обмирая от восторга, с ревом мчусь по плотине, и, вот она — награда, бочары бегут, и бог, всегда помогающий храбрым воинам, удерживает меня подле дома мясника Хаккера от дальнейшего преследования. Владеть искусством побеждать, значит понимать также, что наступил момент, когда лучше сказать: а теперь хватит!

Но в камере, где жуткая вонь и клопов отпугивала, я вспомнил: на этот раз я не смог оторвать рук от лица. У меня даже не хватило мужества поглядеть внимательно вокруг себя. И особа, которой я обязан самым крутым поворотом в моей судьбе, осталась мне незнакомой. А по внешности она могла быть едва ли не любой женщиной.

Стоп, Нибур, нет, тут ты не прав. Едва ли не любой женщиной — тут ты не прав. Похожа она была на маленькую госпожу Менке, нанесшую поражение директору Хаану? Она же была выше, не так ли? Стало быть: едва ли не все женщины, исключая особо маленьких ростом. Похожа она была на тетюшку Риттер, такая же была прокуренная, такая же изможденная? Нет, ее щеки не посерели в затхлом подвале, их окрасили воздух и солнце. Стало быть: едва ли не все женщины, исключая тех, у кого съезжились легкие, у кого серо-затхлые лица. Похожа она была на твою мать? Нет женщины, похожей на мою мать, и моя мать не отправила бы меня в тюрьму! Стало быть: едва ли не все женщины, исключая очень многих.

Лицо той женщины начало обретать какие-то контуры и хоть оставалось еще смутным, но проступал уже широкий лоб, и карие глаза проступали, и гладкие темные волосы, и нос, ни большой, ни маленький, но как-то странно смещенный влево.

Эту женщину я в жизни не видел; а потому женщиной из той хибары она не была и иск ко мне из-за сала предъявить не могла.

Эту женщину я в жизни не видел, а в известных ситуациях такая уверенность уже много значит.

Однако она не так уж много значит, когда тебя осенит, что не всех ты должен видеть, кто видел тебя.

Но при каких таких обстоятельствах, Нибур? При каких обстоятельствах видела тебя та женщина, чтобы поднять такой крик? Крик, из-за которого к тебе приставляют четырех конвойных и командира, а чуть позже запирают на замки и засовы. При каких же обстоятельствах видела тебя та женщина?

За тумбой, что у почты, с фаустпатроном? Но там не было лиц женского пола, значит, и видеть меня некому было. И если это основание для столь строгого режима, так всем нам здесь место, зачем же меня одного выделять.

Или в другой раз, когда я принес смерть? На залитом солнцем снегу у полевой кухни? Но ведь это в счет не идет, была же война. Солдат против солдата, при этом все действия взаимно уничтожаются иначе и солдат не наберешь.

К тому же как могла женщина очутиться в лесу? Ходила по грибы? Не время для них. Собирала травы? Тот же ответ; вдобавок лес был засыпан снегом.

Но может, она ведьма. Если ведьма, то вполне могла быть там. Женщину со скособоченным носом можно счесть ведьмой, но чтоб ведьма могла оказаться на товарной станции Прага, это все же сомнительно. Немецкие ведьмы наверняка не могли: у них есть свои вполне определенные зоны. У польских, может, все иначе, я готов был к тому, что в этом вопросе имеются различия. Одного я не знал, есть ли вообще в Польше ведьмы, и по каким-то не вполне ясным мотивам я рад был, что рядом не оказалось того шустрого переводчика. Вот бы он всласть поиронизировал над тем, что меня не просветили в вопросах ведьмовства, прежде чем посадить на грузовик.

Да что там ведьмы, что там лес и травы, неужели я свихнулся? И отчего же я не поступаю так, как те дурачки у директорской стены, выдающие ему свои проступки, о которых он без их помощи понятия бы не имел?

А ты придержи язык и не давай воли мыслям, если они пошли не в том направлении; не хватает только, чтобы ты им подал нож, когда они уже держат тебя за горло. Женщина эта никакого отношения к твоей жизни не имеет; так и не расчищай ей в твоей жизни место.

Можешь так долго таращиться на стену, пока женщина со скособоченным носом не обратится в пассажирку вечернего поезда, идущего из Радома в Люблин, и не станет свидетельницей, которая видела и слышала, как ты бесстыдно протянул руку к теплому сердцу юной девушки. И уж точно она слышала, как ты сказал, что ты брат Карузо. Аферист, брачный аферист, а ну, пошел-ка к «шефу», настало время сменить юного пана Херцога.

И вообще что-то уже однажды у тебя было этакое, конечно же, взглядишь попристальной в стену; вот же, видишь, разве это не афера, когда кто-то так все подстроил, что его приняли за артиста, помнишь — *artysta, artysta*.— и смазали ему ноги салом, их последним салом, и уложили на последнюю кучку соломы. Смотри, смотри на стену, и ты увидишь деревенских женщин, что рвут друг у друга из рук фотографии артистов, и разве у одной из них нос не скособочен, разве он посередине, под широким лбом и между карих глаз?

Ну, хватит, отведи-ка поскорей свои серые глаза от стены, Марк Нибур, дело кончится тем, что ты сам себя прижончишь своими взглядами. Будешь продолжать в том же духе, так вдоль твоего пути выстроятся люди, что либо отзываются о тебе дурно, либо знают о тебе дурное. И тогда тебе останется только отрезок пути, точь-в-точь похожий на путь через тюремный двор в Лодзи. И придется тебе шагать по грудам заколоченных трупов, а ты взглядами начертишь на стене: их убил я.

И тогда, возможно...

Стоп, возможно, та женщина и правда была в Лодзи, возможно, она одна из тех, кто стоял у ворот, кто видел меня в конце моего пути через двор, одна из тех, кто забросал меня градом мерзлого шлака, заставляя то и дело притибаться, когда я бежал от мерзлых трупов; она видела меня, она знала то, что я там видел, и с тех пор у нее в голове все сместилось?

Говорят, случается, что в воспоминаниях начало оборачивается концом, одно событие накладывается на другое, хотя в действительности они произошли раздельно. Ошибки подобного рода случаются. Если это одна из таких ошибок, так из всех возможных недоразумений на твою долю досталось самое лихое. Видимо, эта женщина ошибочно считает, что ты на том дворе не на дело чужих рук смотрел, будучи пленным под командой лейтенанта с палкой, а был одним из тех, под чьими выстрелами нагромоздились заколоченные впоследствии груды тел, что ж, тогда и правда прости-прощай, мой конь буланный, тогда меня ждет кровавая расплата.

Надо думать, любые проверки выдерживают только истории, замысел которых хорошо продуман, ведь если возникнет хоть единое сомнение, любой замысел потерпит крах.

Я очень ладно рассчитал, каким образом та женщина допустила ошибку, но случались часы, когда я доходил до мысли, что та женщина моим обвинителям вовсе не понадобилась бы: я знал куда больше, чем она. Однако тогда я решил сам проверить

себя методом, которым овладел совсем недавно: я подверг себя опросу, подобно тому, как подвергло меня опросу жулье, и став собственным прокурором, я сам себе вынес оправдательный приговор. В моей биографии не было места убийствам в Лодэи, иначе говоря, в Липманштадте; я в тот город с меняющимся названием вошел в деревянных башмаках, и за тех мертвецов, которых я не знал, мне уже однажды досталось, тем более я должен настаивать на том, что я тех мертвецов не знаю. И убийц их тоже.

Конечно, я слишком много уделял сам себе внимания, но ведь другие вообще не уделяли мне никакого внимания; вот отчего так получалось.

Под «другими» я подразумеваю тех, кто засадил меня за решетку; но среди тех, кто держал меня за решеткой, кое-кто все же проявлял ко мне интерес. Точнее говоря: надзиратель Шибко проявлял ко мне интерес.

Поначалу я решил, что он задумал для меня ужесточение режима, когда он привел ко мне в камеру переводчика и разъяснил мне с его помощью, что отныне я обязан на утренней и вечерней поверке рапортовать, обязан, как все другие старшие по камере, стоя навтыжку, отчеканивать:

— Пан надзиратель, камера тридцать первая, количество человек — один. Присутствуют все!

А на пожелание спокойной ночи я должен рывкнуть в ответ:

— Спокойной ночи, пан надзиратель!

И все это, само собой разумеется, по-польски. Итак, переводчик остался. Ему я в осторожных выражениях высказал свои соображения об этом новшестве, на что он ответил:

— Ах, пустяки, разве вы так уж заняты? Мои правонарушения еще никогда не доводили меня до одиночной камеры, но, говорят, смена впечатлений весьма желательна.

Мне очень хотелось осведомиться о его правонарушениях, но для него полученное задание было важнее разговоров, и он обучил меня польской формуле рапорта, из которого стоящий передо мной человек должен понять, что я имеюсь в наличии.

— *Panie oddziałowu, starszy celi melduje...* пан надзиратель, старший по камере рапортует...

И еще:

— *Dobranoc, panie oddziałowu!* Спокойной ночи, пан надзиратель!

Я до сих пор помню эту формулу, хотя не хотел бы никогда больше пользоваться ею, а привычка выкрикивать именно пожелание спокойной ночи еще долго давала себя знать в дальнейшем, в моей уже вполне гражданской жизни. Переводчик, ставший теперь моим учителем польского языка, наставлял меня в своей всеобъемлющей манере и не только обучал словам, но и разъяснял, какая сила звука считалась в этом доме подходящей, а также какая выправка и какое выражение лица приличествуют обитателям этого дома.

А поскольку его насмешливый вопрос попал в точку, поскольку мне и правда больше нечего было делать, я очень скоро освоил и приветствие и формулу рапорта, и узнал, что пан Шибко, видимо, хорошо ко мне относится, ибо вечерний рапорт и для меня и для него стал каким-то подобием вечерней беседы, чему другие тюремщики дивились как какому-то чуду.

— Нечего иронизировать, — сказал мне переводчик, когда я поначалу весьма скептически говорил о себе как о собственном старшем по камере, — вы думаете, для вас изобретут особую формулу? Если я до сей поры правильно вас понимал, вы вовсе не горите желанием считаться здесь персоной особенной. А местный ритуал рапорта не намного курьезнее, чем порядки у военных: господин унтер-офицер, рядовой Нибур просит разрешения господина унтер-офицера пройти мимо! Вы что, считали это более разумным?

— Рядовой мотопехоты, — поправил я.

— Это звание выше?

— Нет, но точнее.

— Если точнее, так прекрасно. В вашем положении следует придерживаться точности

— Известно вам что-нибудь о моем положении?—спросил я, страстно желая хоть что-нибудь узнать, и сам удивился, что обращаюсь к кому-то постороннему с вопросами о своей судьбе. Но заметив собственное удивление, я подумал: так значит ты все-таки многолик и почему бы тогда одному из вас не быть старшим? Я уже понял, что подобная многоликость неизбежна, но смутно сознавал ее опасность и потому попытался сосредоточиться на беседе с переводчиком.

— Ну что вы все время рыпаетесь. Судя по камере и по обращению, вас считают важной персоной. Часто ли считали вас таковым, вам это успело надоесть? Думаете, так будет всю жизнь? Другие сидят здесь за то, что разыгрывали из себя важную персону, отнюдь не обладая важностью: их называют аферистами и сажают в тюрьму. Но вы? Вас воспринимают как персону важную, а вы этому противитесь?

— Тоже мне персона, если любой может войти и обсыпать тебе пузо клопным порошком.

— ДДТ — американское чудо-средство, будьте благодарны. Знаете, тот факт, что американцы послали в Польшу судно с этим порошком, дает повод считать, что и сами американцы вот-вот пожалуют. Но это вас, кажется, не интересует?

— Нет, — ответил я, — американцы в данную минуту меня не очень-то интересуют. Я бы хотел знать, что от меня хотят поляки.

— Представитель польских следственных органов, милостивый государь, назовет вам, милостивый государь, в тот день и час, право определять которые эти органы оставляют за собой, мотивы, каковыми они руководствовались, интернируя вас, милостивый государь.

— Вы так свободно это говорите, будто уже не раз слышали подобные обороты.

Он засмеялся, но не без того, чтобы раньше глянуть в сторону глазка, и сказал:

— Поздравляю! Вы, как любит говорить пан Домбровский, вполне созрели для этих стен. Вы уже давно задаетесь вопросом, что я собой представляю, но вы владели собой, пока вам не показалось, что уместно будет задать безобидно звучащий вопрос.

— Но, видимо, он звучал не так безобидно, если вы это сразу уловили.

— Разрешите называть вас Марек? Благодарю! Меня зовут Эугениуш. Так вот, Марек, язык — это моя профессия. Но язык состоит не только из букв, слогов и слов. В языке существует еще обширная сфера интонаций. В пределах этой сферы язык стыкуется с реальностью. Существует сотня способов сказать «доброе утро». Можно сказать это так, что кровь в жилах застынет, или так, что ты преисполнишься восторгом.

— Да, — сказал я, — а «спокойной ночи» можно сказать так, что голосовые связки лопнут и издали покажется, будто тут люди орут: о-о-о! Очень поучительно, но я из всего этого заключаю, что вы ни о моем, ни о своем положении сказать ничего не хотите.

— Как посмотреть, милый Марек. Одно дело — хотеть, другое — мочь. О вас я ничего сказать не могу, ничего, кроме того, что вас подозревают в тяжком преступлении, неизвестно, и еще, пожалуй, вот что, у нас, в нашей камере, после того опроса никто это подозрение не разделяет, а что касается меня, так я человек незначительный. Всего-навсего мелкий аферист.

— Послушаешь вас, так тоже хочется быть всего-навсего аферистом. Но скажите, господин Эугениуш, нельзя ли результаты этого опроса переправить в следственные органы? Может, они только рады будут, у них же благодаря этому работы прибавится.

На этот раз он сначала расхохотался и лишь потом глянул на глазок; прошло какое-то время, прежде чем он сообщил мне, отчего так развеселился.

— Эту шутку я с вашего позволения позднее обнародую в нашей камере. А вы, Марек, если бы вам удалось осуществить вашу идею, стали бы весьма популярным человеком у нас! Мы разгружаем государственные органы и сами себе учиняем допросы. Пан Домбровский допрашивает меня, я допрашиваю пана Домбровского, а результаты допросов мы отправляем прокурору. Бог мой, ему же придется отказать от всех обвинений, и дом сей опустеет. Разумеется, не всегда будет легко подобрать подходящую пару опросчиков, понимаете? Домбровский и я — это подходящая пара, и наш взаимный опрос откроет нам двери этого заведения. Но вот, к примеру, оба телохранителя пана Домбровского; у них — не знаю, вправе ли я говорить так о польских

компатриотах немецкому солдату,— у них так мало мозгов, что как тот, так и другой доложат прокурору, что одного или там другого каждая собака знает как душегуба и что его на сей раз нужно засадить всерьез и надолго. А ну громко: Dobranos, panie oddziałowy!

Я видел, что он не отрывал взгляда от глазка, потому мигом все понял и выкрикнул вечернее приветствие моему тюремщику.

Дверь отворилась, и Эугениуш скомандовал:

— Waszność! (Что значит — внимание!) — И мы вытянулись перед паном Шибко.

— Можно продолжать,— услышал я одновременно и от надзирателя и от переводчика, после чего переводчик и я продемонстрировали пану Шибко, как прекрасно я уже умею желать ему «спокойной ночи».

Прежде чем покинуть нас, пан Шибко дал переводчику дальнейшие инструкции, которые тот выслушал и по-военному отчеканил:

— Tak jest!

Мне он перевел эти инструкции позже:

— Нами, милый Марек, довольны, а в системе строгого подчинения это чаще всего означает одно: начальник дает новые задания. Вам, как рекомендует пан надзиратель, надлежит усвоить еще одно слово, а именно — naczelnik, каковое означает — начальник тюрьмы. В звательном падеже, который следует употреблять в рапорте, это слово звучит naczelniku, panie naczelniku, старший по камере рапортует пану начальнику... и так далее, или: спокойной ночи, пан начальник — как это должно прозвучать? — Dobranos, panie naczelniku,— выкрикнул я, и, хотя произношение мое, как выразился Эугениуш, было скорее промозгло-шипящим, чем, как то требовалось, сухошипящим, он остался мною доволен.

— Дело в том,— сказал Эугениуш,— что пан начальник хочет на рождество совершить обход тюрьмы, и было бы хорошо, считает пан надзиратель, чтобы вы, при условии, что пан начальник зайдет и к вам, Марек, рапорт и приветствие обратили по верному адресу, по адресу соответственно самого высокопоставленного представителя государственных органов, следовательно, по адресу пана начальника. А теперь очень точно и громко: panie naczelniku...

Сквозь рев приветствия я расслышал шаги надзирателя и спросил учителя:

— А если он мне что-нибудь подарит?

— Если кто вам что-нибудь подарит?

— Начальник.

— Но почему, ради всего святого, он станет это делать?

— Но ведь сейчас рождество?

— Боже милостивый, нет, Марек, не ждите в этом доме младенца Христа!

— Я и не жду, но если все-таки, так я бы не хотел стоять столбом. Говорят в таких случаях: dziękuję, panie naczelniku?

— Да, так говорят,— сказал Эугениуш,— но только не с таким китайским акцентом. Не находите ли вы, что произносите польское «спасибо» с китайским проносом, словно рот у вас набит китайской лапшой?

— Я готов выучить верное произношение,— ответил я.

— Ваше счастье,— сказал Эугениуш,— что дуболомов пана Домбровского здесь нет, такой взгляд стоял бы вам копчика... Ах да, нас прервали, когда мы мысленно подвергли испытанию вашу превосходную идею. Кто будет допрашивать кого, задались мы вопросом и ответили так: если пан Домбровский и пан Эугениуш будут допрашивать друг друга, все будет хорошо, но совсем не хорошо будет, если к взаимному допросу приступят кретины пана Домбровского. А кого вы хотели бы в партнеры по допросу, задуманному для разгрузки государственных органов?

— Panie oddziałowy, starszy celi melduje,— заорал я, и на этот раз шустрый переводчик не сразу уразумел, что я желаю выйти из игры, не желаю более быть объектом его издевок, он уже хотел уступить, как вдруг ему пришло в голову, что он же жулик отечественный, а я иностранец, подозреваемый в тяжком преступлении, при такой зависимости он, видимо, счел, что вовсе не обязательно освобождать меня от столь занятой игры.

— Нет, нет,— объявил он, и слова его прозвучали с подобающей строгостью,—

нельзя же, чтобы вы, подав такую великолепную идею, отказались применить ее на практике!

— Но, пан Эугениуш,— выкрикнул я, не думая ни о глазке, ни о тюремщике,— я же предложил это только потому, что вы — поляки, пан Домбровский и вы, и все другие, кто меня спрашивал, и государственные следственные органы тоже польские. Я полагаю, если одни поляки скажут другим полякам, что они думают о немце, так в этих органах скорее к ним прислушаются, чем к немцу, если он сам станет о себе говорить.

Эугениуш, присев на мою койку, поглядел на меня с таким видом, будто тщательно обдумывал, как ему сообщить мне грустное известие; похоже, это был редкий случай, когда он не находил подходящих слов.

— Вас не только не вооружили необходимыми знаниями, послав в Польшу,— сказал он в конце концов,— но, сдается мне, мой бедный Марек, вас пустили в мир вовсе неподготовленным. Неужели вы действительно так думаете: поляки выполняют волю поляков, а немцы полагаются на немцев, англичане всегда в хороших отношениях с англичанами, американцы...

— Ну, не такой уж я неподготовленный,— прервал я его,— я же знаю, что американцы бывают разные.

— И разные немцы тоже?

— Понятно, они бывают разные!

— И разные поляки?

— Наверное, и поляки. Да, поляки бывают разные.

Он со вздохом подвинулся, встал передо мной в первоначальной позе старого учителя и сказал:

— Прежде всего будьте так добры и отдайте рапорт громко и отчетливо по-польски как пану надзирателю, так и пану начальнику, затем дожелайте тому и другому спокойной ночи и под конец от всего сердца поблагодарите того, кто из поименованных господ занимает высшее положение, но постарайтесь отчеканить все это без китайского прононса.

Я выпалил весь свой репертуар, и Эугениуш остался, по-видимому, доволен.

— Хорошо,— сказал он,— но если уж у вас сразу получилось так здорово, давайте-ка повторим все раз за разом. Итак, по моему знаку — одну формулу, какую, решайте сами. Прошу, милый Марек.

Он поднял руку, и я выкрикнул:

— Dobranos, ranie oddziałowy!

— Так я и знал,— сказал он,— что вы начнете с самого простого, и, собственно говоря, не понимаю, почему я именно с вами так долго вожусь. Вы сидите за решеткой в стране, которую знаете примерно так же хорошо, как и ее язык. Еще раз: спокойной ночи!

Он поднял руку, и я выкрикнул польский текст, он кивнул, как кивает учитель, когда ученики повторяют урок, и сказал:

— Вот первое, что вам следует узнать об этой стране: это такая же страна, как любая другая. А вот второе: эта страна и в том смысле такая же, как любая другая, что отличается от любой другой страны... Прошу!

По его знаку я гаркнул благодарность пану начальнику тюрьмы.

— Хорошо,— заметил он,— и прононс уже северокитайский... В Польше все, как везде и всюду: есть поляки и поляки. Старые поляки и молодые поляки. Умные поляки и глупые поляки. Богатые поляки, и бедные, и среднего достатка. И, прошупрошу-прошувас — поляки заключенные и так называемые свободные поляки. Как я уже вначале сказал: в Польше все, как везде и всюду... Прошу вас для начала ограничиться польским словом «благодарю»; вы произносите его все еще с каким-то влажным шипением. Итак!

Я и раз и два повторил слова польской благодарности, пока Эугениуш не опустил руку и не заметил, что мало-помалу я приближаюсь к маньчжурскому произношению.

После чего он продолжил свою лекцию:

— В Польше все, стало быть, как везде и всюду. Попробуем это доказать. Представим себе поляка, находящегося на свободе, ну, скажем, тридцатилетнего; таких

мало, но они все-таки есть. Наш поляк — бухгалтер; сейчас, примерно, одиннадцать; что делает наш молодой поляк в эти часы? Время от времени работает — без всякой охоты, — но если он от этой работы откажется, то ему откажутся платить. С несколько большей заинтересованностью, чем его заинтересованность в работе, ждет он, когда его сотрудница Эльжбета примет ту позу, в какой она сидела вчера. Дело было перед самым концом рабочего дня, и у него еще по дороге домой все ломило... Позвольте просить вас произнести польскую формулу благодарности, но четко, внятно, и, елико возможно, без азиатского акцента.

Я приложил все усилия, и все-таки мне казалось, что нежно-пипящие звуки в моем исполнении опять звучали грубее, чем дозволено, но теперь, похоже, причиной тому были непозволительные картины, возникшие у меня перед глазами вслед за намеками пана Эугениуша.

Положим, намеков, как таковых, вовсе не было; в его словах ничего подобного не содержалось, но у слов существует обширная сфера интонаций, как назвал это пан Эугениуш, от них-то мне и стало теплее. А лицо пана Эугениуша точно заслоняла туманные картины, в которых разыгрывались сюжеты, бросающие меня в жар: вот колено прижалось к милому сердцу колену, тепловой ток потек от ноги к ноге, влажная кожа и влажное дыхание; колено, что прижато к его колену, сверкает белизной, оно мягкое, теплое и чуточку влажное, мысли о нем порождают желания. И желания перекрывают все окружающее. Рука осторожно приземляется у северной границы колена. Позже, придя в себя, пилот поймет, что то был суровый край, прохладный и даже морозный, но он недолго задержится там. Он лишь выждет ту сотню лет, что промелькнет меж мигом прикосновения к найденной цели, досадливым ропотом и поспешным отходом, а может быть — безропотным согласием и длительной стоянкой, слова теперь звучат куда откровеннее, но ты и без того уже слышишь лишь собственное дыхание и сам пугаешься столь многообещающего начала, потому-то рука и укрывается в спасительной впадинке теплого колена, и мысль, что ты добрался туда, прошел такой чертовски длинный путь, мысль эту ты способен вынести лишь потому, что пальцы дают тебе знать о вполне земной находке: ты обнаружил здесь промелькание складки чулка. Но сквозь складки, как и сквозь гладкую ткань, чувствуется дыхание теплой кожи, и тот, у кого сию секунду дух захватывало от одной мысли, что он коснулся этой шелковистой кожи, вот этой самой, тот уже считает себя обделенным и отгороженным этим самым чулком от теплой пульсирующей жизни. И даже рука не мыслит себе иного пути, как путь по скрытой стороне ноги, и открываются умопомрачительные возможности продлить этот путь. Каждая из тысяч петель чулка — это огороженный участок, и каждый участок приходится преодолевать, желая его в то же время познать. Ибо все эти участки разные, и все неизведанные, и все они части фантастического целого. Бесконечного целого, о котором мечтаешь, чтоб оно не имело конца, и от которого требуешь, чтобы в конце-то концов оно исчерпалось. Ведь ты хочешь продвинуться дальше. Ты хочешь, а раз ты хочешь, так ты одолеешь крутой спуск с чулка на шелковистую кожу. И ты отважишься на это, уж если ты храбро действовал, так тебе лишь храбрость поможет совершить гигантский скачок с кромки чулка на ничем не защищенную ногу, и тут, ты это прекрасно знаешь, путь-дорога твоя может самым жутким образом оборваться. Тут-то тебе в праведном гневe дадут понять, что ты, видно, не в своем уме; и ты лишь позже задашься вопросом, чего же ждала она, праведно гневающаяся, в каком, считала она, ты был состоянии, когда ты, вряд ли не замеченный ею, пробирался на кончиках пальцев от колена до отвесных берегов чулка. Но вот — благовестите колокола! — она не интересуется нашим состоянием, неужели ее состояние сходно нашему? Это мы сейчас узнаем, и если так, то *dobranos i dziękuję*.

Я, правда, не выспускал пана Эугениуша ни на долю секунды из поля зрения, но все же я чуть-чуть удивился, обнаружив его в такой непосредственной близости от себя в моей камере, и потому я быстро окинул взглядом его лицо, но он, видимо, не прочел моих мыслей.

— Сдается мне, милый Марек, — сказал он, — вы все еще не освоились с идеей, что можете стать своим собственным старшим. Вы уже совсем по-сибирски выкрикиваете «благодарю» и «спокойной ночи», но ведь, прежде чем вам понадобятся эти фор-

мулы, требуется еще пристойно рапортовать. Итак, будьте добры, господин рядовой мотопехоты, отчеканьте-ка по-военному, у нас за дверью есть зрители.

Я, как и мой учитель, услышал, что задвижка глазка вновь заняла свою естественную позицию, и Эугениуш раз-другой повторил, разыгрывая спектакль перед заинтересованным тюремщиком, слово обеспу, а затем вернулся к своей лекции.

— В Польше все, как везде и всюду, а чтобы вы в это поверили, представьте себе француза или англичанина, или нет, поступим дерзко, но тем самым вполне проясним картину: представьте себе молодого немца, столь же редкого ныне тридцатилетнего возраста. Вообразим, что и он тоже свободен, хотя я задаюсь вопросом, возможно ли это, но мы допустим такое предположение только ради примера, и оно послужит, так сказать, высшей идее. А идея наша такова: в Польше все, как везде и всюду, и дабы доказать сию мысль, мы и этого тридцатилетнего немца сделаем бухгалтером, и в его конторе сейчас тоже около одиннадцати, и он тоже не слишком утруждает себя работой, и он тоже ждет, когда же его сослуживица Элизабет еще раз примет ту позу, в какой она вчера... Будьте добры, Марек, трижды повторите: *wszyscy o wespu*, присутствуют все, и как можно громче, доказывая тем самым, что вы присутствуете, а то у вас появилась манера куда-то от меня ускользать.

Я сделал, что мне было приказано, я почувствовал, что краснею, но Эугениуша мое состояние не интересовало; он вдалбливал мне свою идею, что в Польше все, как везде и всюду, а доказательствами ему служила двойная цепь из поляков и немцев, которых он представлял в одинаковых ситуациях и которые по его воле в данных ситуациях поступали одинаково.

Во всей этой процедуре меня и правда кое-что настораживало, я же понимал, что все в примерах Эугениуша происходило по произволу их изобретателя, но поскольку он хотел только, чтобы я понял не слишком мудреную идею, что и в Польше все не иначе, чем в других местах, я внимательно выслушал пять-шесть его примеров, в которых в сходных ситуациях совершенно сходным образом вели себя поляк и немец.

Можно подумать, что Эугениуш тратил очень много усилий для достижения весьма скромной цели, но так можно подумать, если не представлять себе тогдашнюю ситуацию. Эугениуш, возможно, и был опасным аферистом, но меня он вооружил весьма полезной истиной, а будучи опытным аферистом, он сумел так меня обработать, что я едва ли не сам до этой истины додумался. И поверил, будто сам до нее додумался, как верят жертвы афериста, будто они сами хотели того, что жаждет получить от них аферист.

Эугениуш научил меня, как в польской тюрьме правильно рапортовать, и приветствовать, и благодарить, с его помощью я стал догадываться, что в польских тюрьмах все, как и в других, потому что и в Польше все, как везде и всюду. Он утвердил меня в мнении, что в Польше все, как везде и всюду, утвердив меня в мнении, что в других тюрьмах все так же, как и в моей.

— Вы и представить себе не можете, милый Марек, насколько увереннее будете вы чувствовать себя на жизненных путях-перепутьях, если усвоите правила движения по этим путям,— сказал Эугениуш, и в такт этим словам, а также следующим, он каждый раз подымал руку, а я по его знаку выкрикивал все свои польские познания, при этом я, видимо, делал успехи, ибо мой учитель признал, что мое произношение отличается не только зауральскими, но вскоре и русскими, а в конце концов даже украинскими особенностями.

— Сколько же лет,— спросил я,— нужно повторять *dobranos*, пока это слово не прозвучит для вас по-польски?

— Это вопрос не времени, это вопрос вдумчивости. Это вопрос умственной сферы. Если вы уяснили себе, что польский тюремщик — тюремщик и для польского заключенного, как для немецкого тюремщика немецкий заключенный — заключенный, тогда вы на верном пути.

— Только еще на пути? Когда же я доберусь до цели?

— Когда вы будете в состоянии думать: польские тюремщики — лучшие тюремщики в мире, а польские заключенные — лучшие заключенные в мире.

— *Dziękuję, panie Eugeniusz*,— сказал я.

А он засмеялся и сказал:

— Вполне сносно, милый Марек, и очень своевременно. Шум за дверью я понимаю как напоминание, что подошло обеденное время. Возьмите себя в руки, сейчас я выдам вам большой секрет: сегодня будет капустный суп! Вам, видимо, ничего не сказали, но я уж так и быть скажу: это польский деликатес. А приготовленный в этих стенах, он считается у ценителей поистине пищей богов.

— Вот уж ахнут ценителя, когда вскорости поступит на кухню новая капуста,— сказал я.

Этого Эугениуш не понял, да и не мог понять, и ни к чему ему было это понимать, а потому он вернулся к теме, в которой он был знатоком, а я не слишком разбирался.

— Жаль,— сказал он,— сейчас придет пан надзиратель, а мы даже не сможем сообщить ему, кого же вы с целью разгрузки польских следственных органов желаете взять себе партнером по опросу, а также личным опросчиком.

— Напротив,— ответил я и почувствовал, что мне нужно сделать рывок, чтобы высказать эту мысль, как если бы мне предстояло промчаться по плотине и разбить бочаров у витрины мясника,— напротив, думаю, что, судя по всему, в моем случае речь может идти только о юном пане Херцогe.

### XIII

Мой учитель Эугениуш на это ничего не ответил, но из его затянувшегося молчания ясно следовало, что он считал меня ненормальным.

Каковым я, видимо, и был, ведь насколько я знал жизнь, мы с паном Херцогом ни в каком смысле не подходили друг другу. Уж в такой-то степени все законы жизни имели силу и в этих стенах.

И рождественские традиции тоже имели здесь силу, как я очень скоро узнал, и пан Шибко предоставил мне не один удобный случай поупражняться в его родном языке. Он гораздо чаще, чем обычно, заходил ко мне в камеру и каждый раз с помощью пантомимы требовал от меня строжайшего соблюдения чистоты, но я, видимо, выказывал полное непонимание, тогда он как-то раз встал посреди камеры, сложил молитвенно руки, поднял восторженный взгляд на влажную стену и стал мычать по-гурри из мелодий, славящих рождество.

Я сдержался, не поддавшись искушению присоединиться к благочестивому пению; и без того сцена была достаточно тягостной.

Я был в том возрасте, когда люди отрекаются — на время, правда — от традиций, обязывающих их к действиям, о причинах которых спрашивать не принято. Рождество — это удовольствие, только и всего, но с тех пор как я понял, что бороды фальшивые, я видел фальшь и в поведении. А если и не фальшь, то все же необычность. Поведение такое как бы специально заготавливалось к празднику.

Моя мать была женщина без всякой фальши. Попади ей под горячую руку, она тебя пришибет. Но в спину удара не нанесет. Она была человеком суровым. Думается, без какой-либо нарочитости: просто она была такой. Когда она прочла письмо, в котором нас после гибели отца извещали еще и о гибели брата, она сказала:

— Что ж, будем жить одни.

Когда я вслух прочел то место в письме, где написано было, что мой брат служил примером своим товарищам, она со злостью сказала:

— Посмей мне только!

Иной раз в жуткие воскресные вечера, когда было бы преступлением оставить ее одну, она сидела, выпрямившись как струна, скрестив руки на груди, лицом к окну, но за окном мог бы вспыхнуть фейерверк, мог бы тролль проскакать верхом на ведьме, мать ничего ровным счетом не увидела бы и не услышала.

Прежде я не осмеливался думать о наружности матери, но теперь я смею думать об очень многом, а потому осмеливаюсь сказать и об этом: моя мать долгое время была красавицей. Ее белокурые волосы были редкостного неопределенно-золотистого оттенка; она собирала их в свободный узел на затылке, и, вспоминая о ней, я вижу, как она слухает прядь волос со лба. Лоб у нее был высокий и узкий, а нос длинный и тонкий. Даже слишком длинный, но по мне это изящество только подчеркивало ее красоту.

Слишком большим был у матери рот, а губы слишком пухлыми, и скулы выдавались слишком сильно. Красивая женщина была моя мать. Но когда воскресными вечерами она сидела, уставившись куда-то безжизненным взглядом, недвижимая, словно онемевшая навеки, тогда она казалась чуть ли не безобразной. Смерть редко красит человека, а человек, у которого умерла душа, и вовсе не может быть красивым.

У моей матери умирала душа; иначе я не могу назвать то, что происходило с ней в эти воскресные вечера, но не спрашивайте меня, где сидит у человека душа.

Только спустя много лет я понял: по воскресным вечерам мои родители оставались наконец одни в квартире. Мы с братом получали деньги на кино; а повзрослев, мы не остались бы и за деньги. О гостях в это время и речи быть не могло; кто хоть раз зашел, знал что к чему.

Но никто не приходил и тогда, когда мать оставалась дома уже только со мной. Она сидела на стуле, выпрямившись как струна, с окаменевшим ртом и окаменевшими глазами, а я замирал от страха: ведь помочь ей я был не в силах.

А потом настал тот рождественский вечер. Мы с ней вдвоем. Я считал, что мать и внимания не обратит на этот праздник; она когда-то сказала что-то в этом роде, а меня ее отношение к празднику вполне устраивало. Но этого она, видимо, не знала и ради меня нарядила елку, и ради меня подала жареную рыбу, и надела желтую кофточку, которая нравилась отцу, а узел ее волос лежал так свободно, как иной раз хотелось отцу, и счастье еще, что у нас никогда не пели, мой отец не умел петь.

Мы с ней поужинали, мы сделали друг другу подарки, и матерью овладела какая-то пугающая веселость. Она стала рассказывать давнишние истории о моем детстве, и они казались мне очень ребяческими, мать, рассказывая, смеялась, но для каждого взрыва смеха она словно бы собиралась с силами.

А главное, все это было оттого так непереносимо тяжело, что мать разговаривала со мной на равных. К этому у нее привычки еще не было, и к вольному тону с сыном у нее тоже привычки не было, во всем чувствовалась нарочитость, и вдруг она это поняла; тут я узнал, как горько может рыдать мама. Тут я проклял рождество; земля должна была бы разверзнуться подо мной и поглотить меня.

Но разве она не разверзлась? Следующее рождество воняло водкой и блевотиной рекрутов, а нынешнее воняет клопным порошком и убийственным страхом.

Как же справляется мать с нынешним мучительным вечером? Что осталось от ее суровости, если у нее ни мужа, ни двух сыновей не осталось? Что ей сообщили о моем местонахождении? Насколько я знаю, сообщение о без вести пропавшем никак не приукрашивается; в письме, конечно же, не объявляется, что он служил примером своим товарищам, но благодаря этому у меня было легче на душе, ведь мать же сказала — посмей мне только. А на ее кратком языке это означало: чтобы я во имя всего святого и думать о том не смел.

Я бы очень хотел написать ей, что был послушным сыном. Я бы так написал:

Дорогая мама, я не служил примером своим товарищам, доказательством чему служит то, что я сейчас сижу в тюрьме. Не знаю, имеется ли связь между моими товарищами и моим пребыванием в тюрьме, но полагаю все же, что человек не может быть примером, если он сидит в тюрьме. Как только, дорогая мама, я узнаю, в каком положении находится мое дело, я напишу тебе, но и то, что я жив, уже кое-что. Мы готовим угощение к рождественскому столу: думаю, у нас будет кислая капуста, которую я очень люблю. Шлю тебе привет, твой сын Марк. Шлю тебе привет, твой любящий сын? Шлю тебе с любовью привет, твой сын? Шлю тебе, дорогая мама, привет, твой сын Марк? Шлю тебе привет, Марк? Шлю тебе привет, твой Марк!

Теперь наконец я знаю, чего бы я себе пожелал, если бы кто-нибудь ходил по камерам собирать пожелания, — ведь нынче рождество.

Понятно, прежде всего нужно спросить, сколько желаний можно загадать... Три? Что ж, для начала, пожалуй, приличную еду, фасоль, может, и ожорок, лук-порей, сельдерей, кусок копченого мяса. Или картофельные оладьи во-от такой высоты, во-от такой ширины, сахар и добрую порцию кофе. Или малосольную селедку с отварным картофелем и подливку из сала с луком... Стоп! Ладно, давайте уж, что у вас там есть на кухне, не буду вас затруднять...

Ну вот мы и сыты, теперь второе желание: лист бумаги, карандаш, конверт, марку и обещание, что я могу воспользоваться почтой. Дорогая мама... Ах да, не оставите ли вы меня одного, пока я пишу письмо?

Вот так, и у меня есть еще право на третье желание? Послушайте, есть у меня желание, вам оно ничего не будет стоить, даже экономия будет, знаете что — отпустите-ка меня поскорее на все четыре стороны.

Ага, значит, только одно желание, а не три? Ну тогда что же, бог мой, тогда давайте третье; а чтоб оба других исполнились, я уж сам позабочусь.

Еще какое-то ограничение? Исполнение желаний не должно ничего менять в настоящем положении желающего?

Боже, все-то вам не так! Остается, значит, только еда или письмо? Ну, значит, ничего не выйдет с копченым мясом и окороком, вот уж Марк Нибур никогда бы этого о Марке Нибуре не подумал. Неужели он предпочтет написать мамочке, а не отхватит от золотистой оладьи темно-золотистый край, неужели предпочтет мамочке приветы выводить, а не вопьется селедке в бок! Э, пойми кто хочет этого Марка Нибура.

Словно тут есть что-то непонятное. Я же видел свою мать после извещения об отце и после извещения о брате и могу себе представить, что она уже видела письмо, которое сообщало ей обо мне. Рот — каменный, глаза — каменные, ну а теперь окаменеет и сердце.

Это был тот опасный миг, когда разум едва удерживает человека, готового головой проломить дверь. Такой человек на все способен, он бросится на дверь, воображая, что виновница его терзаний именно эта дверь, и проломит свою неразумную черепушку. Человек редко находит в себе силы броситься на железную дверь, но бывают ситуации, когда он их находит. Прежде, однако, чем броситься, Марк Нибур, вспомни: мать получит третье извещение, и не без оснований.

Мне стоило больших усилий отказаться от мысли совершить над собой насилие. Я разрешил себе, ибо это служило добрым целям, помечтать о чем-нибудь гармонично-слаженном, тепло-лучистом, душегревающим, сердце смягчающем, а удерживать свои мечты, заворачивать их, прежде чем меня скрутит, я уже наловчился. Мне нечего было бояться, если только я был начеку, воспоминаний об уютных рождественских праздниках с папой-мамой-детьками под елочкой густой.

Но из этих попыток тоже ничего не вышло, в памяти хранилось только одно — все праздники были нескончаемой чередой пирушек и сплошной обжираловкой. Подобные представления были хоть и не вовсе ложными, но в какой-то мере односторонними, и кто не верит, что в размышлениях может участвовать весь организм, того я хотел бы спросить, отчего у меня так болели живот и кишки. Я попытался пройти по следу рождественских подарков, что вели в мое детство, но если моя забывчивость была признаком неблагодарности, так значит — я чудовищно неблагодарное существо. Правда, я все-таки припомнил коньки и книги, которые остались у меня на всю жизнь, но в мои воспоминания непрестанно вторгались марципановые свинки, их загромождали фиги и финики. Мне приходилось пробиваться сквозь горы пряников и карабкаться по холмам орехов, и хотя я не очень-то любил печенье, которое у нас зовется коврижкой, я все-таки прорывал себе лаз сквозь теплое взгорье дрожжевого теста, глотая на ходу изюм, кусочки миндаля и цукаты.

Чтобы избавиться от этого безумия, я приказал памяти переключиться на другое упражнение: извлечь из своих глубин стихи, которые вдолбила мне в голову школа, и не в первый уже раз почувствовал к моей школе что-то вроде благодарности. Но сил остановиться на Шиллере и Уланде не хватило; я тут же по причинам, которые легко понять, пошел дальним путем и начал пылко декламировать:

Ах, матушка, что так горит неба край?  
То ангелы божьи пекут каравай,  
Пекут крендельки, коврижки и пышки,  
Одарят гостинцами всех вас, малышей.

Но возмущенный своей слабостью, я стал выискивать в недрах памяти стихи, от которых у меня не текли бы слюнки и которые не внушали бы мне эту смертную тоску по дому и по родной степи, а для этого случая самым пригодным оказался бое-

вой ключ моего отца, который он, когда бывал в настроении, сидя за своим столом в кухне или высунувшись из верхнего окошка своего хлебного склада, мог крикнуть:

Нынче ветер, стужа зла,  
Но настанет день тепла.

И после короткой паузы отец добавлял следующую строку:

Ты ж пребудь вовек собой!

Можно себе, наверное, представить, что должен думать такой городок, как Марне, о человеке, способном среди бела дня, во время работы, выкрикивать из окошка: ты ж пребудь вовек собой!

Чтобы рассеять заблуждения, порожденные подобными выходками, отцу приходилось тратить немало сил умственных и физических, мать всю их супружескую жизнь билась, удерживая его от подобных фортелей.

Когда она начинала его пилить, я каждый раз пугался, что на этот раз ей удастся добиться своего, так сокрушено выслушивать ее, как это делал отец, не сумел бы никто. Но уж на что была мать упорной, отец сохранял свои привычки с еще большим упорством, и я ощущал едва ли не блаженство, когда он в следующий раз вновь выкрикивал таинственное напоминание: ты ж пребудь вовек собой!

Сейчас, в камере, я опять получал удовольствие, отщелкивая:

Нынче ветер, стужа зла,  
Но настанет день тепла...

И я тоже после короткой паузы с нажимом добавлял:

Ты ж пребудь вовек собой!<sup>6</sup>

Зная, впрочем, что даже мне мать сей совет разрешит высказать не без возражений.

А ведь сентенция эта точно для нас была создана; во всяком случае, нынче и ветер был и стужа зла была беспощадно, одно только трудно себе представить — что для моей матери когда-нибудь настанет день тепла. Но «ты ж пребудь вовек собой!» — эти слова относились в равной мере и к ней и ко мне. Вот, пожалуй, подходящая концовка письма, которую я только что искал: ты ж пребудь вовек собой! Шлю тебе привет, твой сын, который тоже пребудет вовек собой!

И который докажет пану Шибко, и пану Эугенюшу, и пану Домбровскому, что он не «ихний». *Panie oddziałowy, starszy celi melduje, я не вам!*

Да, вот как надо приветствовать начальника тюрьмы, в честь которого я надраивал свою чистейшую камеру:

— Пан начальник, старший по камере Нибур рапортует, что он не ваш, и прошу вас нынче мне верить. С рождеством вас сердечно поздравляю и на то же рождество я себе допрос желаю!

Дурацкая строка, я ее не отщелкал, а размазал.

Я в узилище попал,  
И капусты натоптал,  
да крылами помавал!

Эти строки не щелкают, и уж очень они дурацкие. Крылами помавал! Марк Нибур у нас ангелочек. Ах дуралей ты, дуралей, дуралей! Ну когда же ты наберешься ума-разума, когда перестанешь разыгрывать из себя шута, неужели и ты станешь орать, высунувшись из складского окошка?

Ну и что? Мой отец орал, а ведь оставался сам собой. Почему бы и мне не орать, но при этом держаться так, как того требует поэт Флеминг<sup>7</sup>. Отщелкивать рифмованные строчки вовсе не значит потерять себя. Лучше щелкать стихами, чем скрежетать зубами, не так ли?

Соблазнившись сочинением рифм, я удерживаюсь от соблазна мечтать о сале, о лу-

<sup>6</sup> Стихи П. Флеминга здесь и далее в переводе Е. Витковского.

<sup>7</sup> Флеминг Пауль (1609—1640) — один из крупнейших немецких поэтов своего времени. В 1633—1634 годах был в России.

ковой подливке, о яблочном пюре и пудинге. И вот что я вам скажу: лучше уж буду сочинять стихи с капустой и крылами, чем стану думать о письмах, от которых моя мать каменеет.

Вот так, а пожалуйет начальник тюрьмы, он услышит от меня:

Нынче я в твоей темнице,  
Завтра буду вольной птицей!

После чего я сделаю паузу, а потом договорю:

Оставайся ты собой, я ж пребуду сам собой.

Вот так!

Так, это уже неплохо: правда, явное подражание поэту Флемингу, но ведь сочинил все-таки я сам, рифмы щелкают правильно. И по сути своей стихи верные. Оставайся ты собой, я пребуду сам собой! — хорошо сказано, потому что верно, потому что с ходу не каждый эти стихи поймет. Потому что, придерживаясь этих стихов, можно оставаться человеком.

Интересно, как справится с ними Эугениуш, когда будет переводить начальнику, но это уж не моя забота. Я повозился достаточно, сочиняя стихи, теперь пусть другие потрудятся.

— А теперь пусть другие потрудятся,— сказал я и испугался до глубины души, когда услышал, что говорю вслух.

Я говорю вслух, вот оно, начинается, я говорю сам с собой, вот до чего дошло, мне девятнадцать, а не девяносто, но веду я себя как девяностолетний, да и то не всякий, я начинаю говорить сам с собой, я, видимо, свихнулся, а все из-за проклятых стихов.

Я твердо, раз и навсегда, решил не заниматься больше стихоплетством, да и ни к чему мне оно, к моим услугам имеются готовые стихи. Шиллера и Уланда, и Флеминга. И Шторма. И Клауса Грота. И Маттваса Клаудиуса. Зачем же мне самому их сочинять. Начнешь сочинять, так поневоле сбрендишь. Этого еще не хватало. Посмей мне только. Есть люди, способные, как я читал, вообще не думать. Вот кому хорошо живется в нашей каталажке. Они включают свои мозги, только когда приносят суп. Они не слышат вони этого дома. Они не слышат стонов этого дома.

Но я очень хорошо слышал все, что звучало в этом доме. В пении я имел случай участвовать, но признавать его таковым долго не желал. Однако оно имело место, я слышал его. Я слышал, как на разных этажах поют рождественские песни, а вперевивку с ними я слышал «о-о-о» — это в камерах хором отвечали на «спокойной ночи» надзирателя. Или начальника тюрьмы — сегодня.

Начальник был еще в соседнем корпусе, а по моему коридору с ужином проходили надзиратели, и меня бросило в жар, когда я подумал, что вот они войдут ко мне и услышат, как я говорю: а теперь пусть другие потрудятся! — или: ты пребудь вовек собой, я ж пребуду сам собой! Или еще что-нибудь, не имеющее никакого решительного отношения к появлению надзирателей, из чего, однако, всякий надзиратель понимает: он свихнулся.

— Посмей мне только!

Спокойно, кончай фантазировать, сейчас будешь лакомиться капустой, сейчас надобно вспомнить, что начинается рождество; может, и на кухне о том вспомнили и прислали добавку — остатки обеда.

Но что-то, почувствовал я, было не так, что-то было не так, кроме многоэтажного пения, которое тоже было каким-то не таким, что-то надвигалось на меня и было каким-то не таким, а чего-то не доставало. Мой нос подсказал мне, чего именно. Недоставало горячо ненавистной, горячо любимой ароматной вони, проникающей во все щели из коридора, как только появлялись дежурные с едой. Пахло неперебродившей капустой; пахло, бог мой, нет, я действительно свихнулся, пахло рыбой, пахло королевой рыб, пахло сольным и острым, как может пахнуть только селедка в уксусе, пахло так, как пахнет кое-где в уголках моего родного города; если я ошибаюсь, значит, я решился ума.

Дверь растворилась, вошел пан Шибко, сияя как человек, который спешит де-

ставить радость. И верно, его окутывало облако густого селедочного аромата, что поднимался из миски, которую пан Шибко нес собственноручно. За его спиной двое дежурных поставили на порог чай, из него доносился не менее сладостный запах. В этот вечер нам дали картофель; знает ли кто-нибудь, каким он бывает ароматным?

Знает ли кто-нибудь, на кого походят тюремщик, вокзальный вор и скотоложец, когда они приносят картофель с селедкой, к тому же на рождество, и когда из соседнего корпуса, да вот уже и в нашем корпусе, в трогательной разноголосице звучат песни рождественской ночи?

Они, тюремщик, вор и скотоложец, похожи на Каспара, Мельхиора и Валтасара, они — тысячная копия изображения волхвов, и желаннее их приход не был даже в Вифлееме.

Я заметил, что стою в позе, знакомой мне по далекому детству; стоять навывтяжку, как полагалось при появлении в камере надзирателя, я был не в силах; никто не стоит навывтяжку, если богоявление, рождественский пост и сочельник совпадают в том едином мгновении, когда тебе дают картофель с селедкой. Я застыл в позе, в какой ожидают рождественских подарков, стоял в нарочитом смирении, готовый выказать одновременно и радость и благодарность.

— Иди-ка, — сказал пан Шибко, показав ради праздника, что знаком с одним немецким словом, другим, уже не так празднично звучащим, польским словом он приказал скотоложцу отсыпать мне побольше картофеля, а из миски, из которой доносился такой сладостный, такой родной аромат, он выбрал длинную — что с того, что он проделал это просто руками, — он выбрал великолепную, трижды великолепную селедку и положил мне ее в миску к картофелю.

И сказал:

— Smacznego!

Что значит: приятного аппетита! — и что иной раз он желал мне, внося вонючий капустный суп, и что было конечно же в том случае его любимой шуткой, но на сей раз это не было ни шуткой, ни насмешкой, для них не имелось оснований, а имелась вполне серьезно радующая сердце селедка, и я серьезно, с радостью выкрикнул, хотя слюнки у меня уже текли:

— Dziękuję, panie oddziałowy!

При этом я едва удержался, чтобы не добавить из благодарности слова поэта: ты пребудь вовек собой! — или: оставайся ты собой, я ж пребуду сам собой!

Надзиратель Шибко обладал тонким чувством такта — он понимал, что нельзя глядеть на человека в минуту его встречи с селедкой и картошкой; он подал Мельхиору и Валтасару знак к отходу, и они ушли, и мой тюремщик Каспар тоже ушел, тут-то я впился всеми своими зубами в спинку сельди.

Как это было кстати, что вокруг меня звучали благочестивые хоры; теперь уже пели во всех корпусах по эту сторону красной стены, довольно хриплые звуки неслись из большой камеры, где проживали пан Домбровский и его пастухи, и в высшей степени нежные — из женского корпуса, я же набрался дерзости и считал, что все они поют по причине моей встречи с селедкой.

Встреча и поклонение — вот что должно было иметь место в этот вечер, и действительно имело: начальник тюрьмы, который в самом деле по случаю святого дня совершал самоличным обход, нашел, войдя в мою камеру, уж никак не ханжу и не лицемера, он нашел человека, который насытился изысканными блюдами, и был, если можно назвать счастьем состояние, когда страх тебя покинул, в эту минуту счастливым, и в своей счастливой сытости так по-польски отрапортовал, что для самого господина Эугениуша этот рапорт прозвучал бы по-польски.

Надо думать, нижеследующее обстоятельство зависело от положения на служебной лестнице того или иного начальника: чем выше служебное положение, тем довольнее бывают начальники доброй волей нижестоящих. Начальник тюрьмы был чрезвычайно доволен; он кивнул в ответ на мой рапорт, словно сам научил меня так прекрасно говорить по-польски, он кивнул пану Шибко, словно он вычистил мою камеру, и, кивая, обошел вокруг меня, стоящего навывтяжку, и так как теперь дошла очередь до похвалы, он похлопал меня по спине, потом по груди и сказал:

— Хорошо, эсэс.

Точно гром грянул среди ясного рождественского неба и вырвал меня из краткого состояния счастья, страх вновь обуял меня, и я завопил — ах, теперь это было уже все равно! — я завопил опять на весьма дальневосточном польском:

— Пан начальник, старший по камере рапортуе! Я не эсэс, я — солдат!

Пан pascelnik даже не шелохнулся; понятно, человеку его профессии и не такие признания делают; он только еще раз шагнул ко мне, ухватил рукав моего мелкопятнистого маскхалата, поднес мою руку чуть ли не к самым глазам и тут же отпустил ее.

По-видимому, начальник понял, что я собираюсь убеждать его, и, будучи не прокурором, а почетным гостем, перебил меня на полуслове вопросом:

— Так как, солдат, селедка хороша?

А я, подстегнутый обрушившимся на меня счастьем — возвращенным мне родовым именем, — заорал в ответ:

— Так точно, panie pascelniku, селедка хороша!

Начальник кивнул мне, кивнул пану Шибко, и они вышли.

После Каспара, Мельхиора и Валтасара в моем хлеву бывал еще и бог-отец.

#### XIV

Так бесшумно вступить в Новый год мне еще не приходилось, не приходилось прежде, не придется впоследствии. Думаю, виной всему была нищета, а не страх перед пальбой, что напомнила бы о громозвучных временах. Не такие уж люди трусы, и в Варшаве они тоже не трусы. Я уверен, они залили бы яркими огнями развалины своего города, будь у них необходимые средства.

В караулах тюрьмы этих средств было достаточно, но они не предназначались ни для новогоднего веселья, ни для шумного вступления в Новый год, и уж если в подобных заведениях палат с вышек, то вовсе не серебристыми шутихами и золотогенным фейерверком.

В лагерях палили частенько, но редко по серьезному поводу.

В тюрьме же все было тихо-мирно, здесь в «вороньих гнездах» сидели пожилые люди, они не бабахали с места в карьер, если им что померещится, умели мириться со скукой.

Должен признаться, я точно не знаю, что такое скука: редко случалось, чтобы я не знал, как распорядиться своим временем и собой. На первых порах, когда в тюрьме все жаловались на скуку, мне иной раз хотелось сказать, что я не понимаю их, но, зная историю парня, который отправился бродить по свету, чтобы узнать, что же такое страх, я остерегся. Парня этого, не знающего, что такое страх, старательно пичкали советами; и развязка той сказки всегда представлялась мне сомнительной. Когда юная супруга пустила ему в постель живую рыбу, он завопил: вот теперь, мол, ему страшно, — что не очень вяжется с происходящим; мне представляется, что парню просто в один прекрасный день до чертиков надоели слишком уж назойливые советы. Я тоже ничуть не стремился к чужой помощи, чтобы узнать, что такое скука.

Тюрьма вопреки распространенному мнению совсем не то место, где у тебя уйма свободного времени, но вполне может быть, что человек начинает скучать, если ему известна причина ареста, известен приговор и грозящие пятнадцать лет. Если же тебе ничего ровным счетом неизвестно, тогда ты начинаешь психовать. Но я не хотел, чтобы этот психоз завладел мною, и потому заставлял всюю работать свою голову.

Пришлось ей еще раз пропустить сквозь себя все мои школьные познания в той мере, в какой я в силах был их припомнить. Я требовал от нее нанзусть тексты, которыми фиксировал, будучи на службе у старичков Брунсов, общественную жизнь Марне на поздравительных и благодарственных открытках, а также траурных извещениях. И к имени, которое я вспоминал при этом, голова должна была выдать с возможной полнотой имена всех родичей, что к нему относились; я вновь проходил по улицам, что вели к этим людям, считал дома, деревья, тут ждал злой собаки, там надеялся углядеть кругленький задик. Я вновь перечитывал книги и кое-какие только теперь понимал. Я вел в тех рамках, какие были возможны, обращенную вспять мысленную жизнь и жестоко распекал себя, поймав на вопросе о грядущем.

Мечтать о завтрашних радостях было бы не так уж предосудительно, но мне пришлось раз и навсегда запретить себе этот путь, ибо там, где будущее, там я видел только довольно страшные картины. Мне открывались весьма грустные перспективы, когда я представлял себе свои перспективы.

Стало быть: былая жизнь, былое счастье, а также былые усилия, но предпочтительно те, что приносили солидную награду.

Я сочинил себе премилое жизнеописание, если не пытался размышлять о своей дальнейшей жизни, а как-то раз даже громко над собой посмеялся; это случилось, когда, вспомнив об испытанных некогда радостях, я назвал себя счастливым.

За этот смех я придумал себе наказание — решать задачи, решать их от капусты обеденной до капусты вечерней; подобный смех следовало сурово покарать. Громко говорить, всюю хохотать, слышать голоса, которых нет, — да ведь это только начало, а конец известен. Однажды я одним глазком увидел этот конец. В рождественскую ночь, когда псалник уже ушел, а селедку я уже давно проглотил, мне показалось, и не раз, будто в пение, что доносилось из ближних и дальних тюремных коридоров, вплетаются торжественные звуки немецкого мужского хора. Я говорю не об обычной ошибке, когда знакомые звуки словно бы складываются в знакомые слова: это значит просто, что ты ослышался, и ошибка тут же разъясняется. Со мной все было иначе. Я слышал целые строки: ...тихая святая ночь... так пели наши старики... в лесу она росла. Я слышал слова, слышал отрывки мелодий, не очень-то, казалось, подходящих к репертуару моих польских сотоварищей по этому дому; короче говоря, я слышал голоса, а это все равно, что видеть призраки, да, у меня началась слуховая галлюцинация, и это значило, как я твердо знал, что конец мой предопределен.

Но раз уж я был счастливчик, то страх за мое душевное здоровье вытеснил более сильное чувство, вытеснил все более и более явные признаки ужасающей жажды.

Рыба из соленого моря, да еще полежавшая в рассоле, напоминает о себе именно таким манером, дело обычное, обычнее не придумаешь, и там, где жизнь обычная, ты наливаешь себе пива, много пива, или топаешь по темной кухне к крану, и если селедка была пронзительно соленой, то с пронзительно ледяной водой из-под крана никакое пиво не сравнится. Но я жил не в обычной жизни; я жил за семью засовами, за высокими стенами, за решетками, здесь ни пива не было, ни кухни, здесь было темно и жутко.

Я прошел к унитазу, снял крышку с бачка, вытащил деревянную русскую ложку из петли в гимнастерке, чудесную спасительную черпалку, и налил по горло, по самый нос варшавской водой, о которой позже узнал много жуткого; я едва не залебнулся, потому что едва не умер от жажды.

Вот там, стоя на унитазе, чужим, между прочим, с крышкой, но без сиденья, стоя на унитазе и левой рукой держась за стояк, пока правая тянулась, чтобы деревянной ложкой зачерпнуть восхитительную воду из бачка, вот там я — и гектолитры в моей утробе булькали в такт — расхохотался, громко, но на сей раз смехом дозволенным и даже намеренным, я смеялся над нелепой позой, в которой пил восхитительное питье, и над нелепостью самого источника, вдобавок я живо представил себе, каково пришлось бы мне, обладая я не деревянной ложкой, а солдатским столовым прибором или, ведь было рождество, будь у меня одна из тех крошечных ложечек — серебро восьмисотой пробы, — которые тетя Мета рассыпала по столу на праздники.

Я позволил себе этот смех, ибо несомненным признаком безумия было бы, если бы я, спасаясь подобным образом от жажды, не заметил комизма положения.

После этого эпизода у меня какое-то время сохранялась успокоительная уверенность, что я еще не исчерпал своих затей, с этой мыслью я заснул, а когда проснулся, дом наш вонял и гудел как обычно и сохранял эти свои особенности еще очень и очень долгое время.

Продолжу тему комического: однажды я порадовался, что год шел не високосный. Поэтому в феврале было обычных двадцать восемь дней и я без опозданий прибыл в март. Мне казалось очень важным поскорей отчитаться в марте; в марте было больше света. Из этого я мог тоже заключить, что юность со мной распрощалась, ведь

до сих пор я осень любил больше весны, а март вообще считал мерзким месяцем. Ничто так ярко не осветило мне злую судьбу Гудрун, как указание поэта Гейбеля<sup>8</sup>, что на дворе стоял март, когда ей пришлось стирать одежды злобной королевы: «Серел рассвет, дул резкий ветер марта...» Я понимал, что имел в виду поэт: воздух бесцветно-холодный, толстые дороги, промозглая погода, временами снег, который тут же обращается в грязное месиво, брешь меж сезоном коньков и велосипеда, месяц не белый и не зеленый, никакой.

Девчонку, которую я хотел обидеть, я недолго думая обзвал мартовской дурындой. Она тоже не раздумывала долго, она тут же разревелась.

А теперь я ждал, когда настанет март.

В марте солнце уже не такое одеревенелое. Веселый праздник пасхи часто приходится на март, а раз пасха, значит, уже первое весеннее полнолуние минуло. Март — это контраст к февралю, март — это обновленный мир. В марте преисполняешься надеждой. В марте пробуждаешься ото сна и вновь чего-то ждешь.

Теперь, когда я встряхнулся, меня поразило, что в мрачном феврале я даже ничего не ждал. И еще я осознал одно упущение: в январе я не заметил, что наступила первая годовщина моего плена, не вспомнил о ней. Не почувствовал ни ее наступления, ни ее отхода. Отупевшим слепцом прожил я такой важный день. Год минул после той кровати на пути между Коло и Конином, а я о ней и не вспомнил. Какое же помрачение должно быть в голове, в которой не мелькнуло даже воспоминания о дате такого жуткого краха!

Но вот близится март; вновь пробуждается жизнь, начинается новый отсчет времени, я буду опять ждать. Теперь мысль, что меня станут держать здесь, пока я не сгнию, казалось всего лишь пугалом. Февральские мысли. Мысли, смердящие февральской гнилью.

Март грядет, с ним все придет в движение.

Когда мои дела пришли в движение, уже вправду был март, но к тому же была еще глубокая ночь, и я с большим трудом проснулся, оторвавшись от добрых снов.

Чужой тюремщик, холодный, ярко освещенный двор, чужой тюремный корпус, усталый незнакомый человек в незнакомой комнате. Для начала назвать очень знакомые данные: мою биографию. И еще раз повторять. И еще раз. И еще и еще раз одно и то же. Не удивительно, что мой допросчик так устал.

— А вы прокурор? — спросил я.

Вместо ответа он устало поднялся и закатил мне оплеуху. Вскაკивая, я подумал: разве я оскорбил его? Но не успел я еще встать по стойке «смирно» перед письменным столом, как вспомнил знакомого мне по сотням книг следователя, который на всех языках земного шара шипит или рывкает: «Вопросы задаю я!»

Моя биография с каждым повторением звучит все несообразнее. Совсе неправдоподобно звучит, что я родился в Марне. Почему это я родился в Марне? Родился, что это еще за слово? Оно так же не выносит повторений, как не выносит их моя биография. Ни с чем несообразное выражение: я родился.

Моя биография, как и моя жизнь, не претерпела особых изменений; моя жизнь — это законченное изделие. Вполне законченная жизнь — вот моя жизнь. Так почему начинать с рождения? Моя жизнь все равно что шар; а где начало у шара? Чем чаще я повторю свою биографию, тем яснее мне: я к этой истории никакого отношения не имею. Это всего лишь бирка, которую привязали мне на большой палец ноги. Как новорожденным в родильной палате. Как мертвецам в морге. Малейшая небрежность, и вот у меня уже другие данные. И те, что были до нынешнего дня, и те, что еще будут.

Похоже, однако, что такая небрежность имела место. Усталый допросчик увидел и прочел совсем иную бирку на моем пальце. Я всю жизнь считал, что родился в Марне, но почему обязательно в Марне? Он терпеть не может Марне; почему я настаиваю на Марне?

Допросчик терпеть не может меня. Почему я настаиваю, что я это я?

<sup>8</sup> Гейбел ь Эмануэль (1815—1884) — поэт, глава так называемого Мюнхенского кружка поэтов.

Только по недостатку иных данных я настаиваю на том, что я это я. У меня, кроме меня самого, ничего нет. И еще потому, что мне не следует приписывать себе чужую биографию, результатом которой должны быть подобные мартовские ночи.

Меня зовут Марк Нибур, я родился в Марне. Все это слишком примитивно, знаю, все могло быть иначе, но все было именно так, и это моя единственная опора.

Если я откажусь от моих данных, меня тотчас вышвырнет во вселенную; да, случится что-то не менее грандиозное: такие проделки мне уже не по силам.

Я повторял свою биографию, повторял целиком и повторял по частям. Книги, в которых написано было, почему тебе закатывают оплеуху, если ты спрашиваешь допросчика, эти книги предостерегали о двух опасностях при изложении биографии. Первая: будешь постоянно и неизменно придерживаться своего текста, так ко всем подозрениям добавится еще подозрение, что ты задолбил наизусть все данные, а их не нужно было бы учить, будь они твои собственные, подобное подозрение давало мощный толчок всем остальным подозрениям.

Опасность номер два: не желая подпасть под подозрение, возникающее при слишком четком тексте, ты пытаешься чуть вольнее обращаться с данными твоей собственной жизни, называешь одни и те же события по-разному, не придерживаешься со строгостью учителя катехизиса последовательности тех или иных событий, решаешься то тут, то там на мелкую ошибку, которую побыстрее с таким раскаянием исправляешь.

Это путь весьма рискованный: допросчик мог оказаться заправским учителем катехизиса. Или мог подумать, что ты учишь его усталость, а это уже похоже на взятку. Или ты мог распутить язык, заболтаться, и как же так — неуверенность в изложении собственной биографии?

Я придерживался первого метода, я не отступал, я, помня о своих способностях надевать одни и те же предметы разными именами, о своей склонности простые истории расцветивать огнями и цветами, населять их обезьянками и поугайчиками, я не отступал от моей простой истории и внимательно следил, чтобы не загроздить ее, чтобы она оставалась легкообозримой, каковой и была на самом деле.

Сколько раз рассказал я в ту ночь свою биографию — сто? Если и сто, так, видимо, это все равно показалось мало моему усталому допросчику; он дал мне карандаш и бумагу и высказал надежду, что в камере я наконец напишу всю правду.

Серел рассвет, во дворе дул резкий ветер марта.

Пан Шибко, как обнаружилось, усвоил еще одно немецкое слово. Он то и дело заходил в камеру и певуче вопрошал:

— Писать?

При этом он строго поглядывал на бумагу и качал головой.

Но это было лишь комическим прологом к сцене с самим усталым допросчиком, который пришел под вечер в камеру, бросил взгляд на бумагу и раз-раз порвал мое писание. Я посчитал: не раз-раз, а девять раз.

Эта процедура тоже была мне знакома, и на постоянный вопрос словно бы обиженной соседки: зачем это мальчишка столько книг читает? — получен был наконец-то ответ: а чтоб не растерялся, если попадет в переделку!

Прекрасно, я не растерялся, но в переделке мне это не помогло. В одном только смысле мои знания оказали мне помощь — удивление, что со мной могла произойти такая книжная история, словно отгораживало меня от истинного положения вещей; от остатков реальности. Ничто уже не могло огоршить меня своей неожиданностью; большая часть происходящего воспринималась мною только так: «Это мне знакомо!» Или: «Ну что ж это они делают!» Или: «Я так и знал!» Или: «И они не шутят? Нет, кроме шуток? И это, кроме шуток, творится со мной?»

Оттого все, что в меня било, попадало в меня как бы под углом и уже без начальной силы. Я был словно бы мишенью под водой, и хоть лежал на небольшой глубине, но часть направленной против меня энергии расходовалась прежде, чем успева-ла меня прикончить.

Я мог бы иначе сказать: для истории, в которую я влился, я начисто не годился, а потому и она начисто не годилась, чтобы прикончить меня.

В самом деле, кто же годится для подобных историй? Тот, кто в таких историях замешан, тот, возможно, и годится для них. Но моя история только начиналась, в этом втором моем марте.

Случалось, моя биография не двигалась дальше первой фразы, случалось, я доводил ее до часа, когда ее писал, но всякий раз все, что я написал, считали за враки и почти всякий раз рвали написанное в клочки.

Случалось, я просто рассказывал все, случалось, я просто отвечал на вопросы, но мне неизменно давали понять, что не верят ни единому моему слову.

Случалось, что тот или иной утомленный допросчик вступал со мной в контакт, каковой сравнительно с зачаточными формами общения, обычными между нами, можно было считать едва ли не беседой. Он задавал мне вопрос о каком-либо городе или о дате, я называл ему город и дату, а он говорил:

— Откуда я знать?  
 — Так я же говорю.  
 — А ты кто?  
 — Марк Нибур.  
 — Откуда я знать?  
 — Это можно установить.  
 — Кто делает это?  
 — Но есть же у вас люди. Если вы кого-нибудь пошлете, он привезет точный ответ.

— Откуда я знать?  
 — Сейчас с моих слов, но их могут подтвердить другие.  
 — Имена, имена!  
 — Гесснер, может быть, банкир из Франкфурта, он был со мной в одном эшелоне.

— А с какой время знает вас этот банкир?  
 — Со времени прибытия в Пулавы.  
 — С лагеря там? Вы сказал, вы Нибур, а он сказал, он Гесснер? Откуда же я знать?

— Может, отщепется моя солдатская книжка.  
 — Знаете, где ее искать?  
 — Должны же быть документы, может, в Кольберге, а может, в Берлине.  
 — А может, в Канберре или Вальпараисо? А в Люблине вы не были?  
 — Я не был в Люблине.  
 — Откуда я знать?  
 — Сейчас с моих слов, но...

Ну так скажи мне, кто ты, скажи твое имя, дату рождения и место рождения, и как звали твоего отца, и что делает твоя мать, и на каких улицах ты жил; скажи мне все; я буду сидеть здесь, пока ты все мне не скажешь; у меня дежурство до завтрака, и, знаешь, ты мне все скажешь, а потом мы вместе позавтракаем, миска каши для тебя, миска каши для меня, пшенная каша со шкварками, давай, приятель, рассказывай, называй имя, звание, род войск и где ты участвовал в последнем бою, и где в первом, но когда будешь отвечать, помни, я буду каждый раз спрашивать, откуда мне знать, что на сей раз ты говоришь правду. Итак начали, имя...

Не могу сказать, что подобные разговоры были скучными, наоборот, они были увлекательными, от них дух захватывало, и все-таки они были безрадостными, ведь никаких перспектив у нас не было. Не в том же было дело, что я что-то утаивал и что от моих сил, и тем самым от времени, зависело, как долго я сумею сохранять свою тайну. У меня не было тайны, я мог лишь без сил свалиться, но не расколоться, усталые допросчики попусту тратили на меня свои силы.

Порой мне кажется, скажи они мне прямо, за кого они меня принимают, мы избежали бы многих трудностей; я помог бы им ставить мне верные вопросы, и тогда их допрос вскоре дал бы те же результаты, что дал уже однажды опрос в этих стенах.

Но такая мысль предполагает пристрастность у моих партнеров; я же не замечал у них никаких признаков пристрастности. В их облике не было ничего мрачного, мрачной была только круговерть наших бесед.

И я в то время тоже ничем примечательным не отличался. Я был измотан, как изматываются от подобной процедуры. Случалось, я упряился, случалось, умолял, а иной раз пытался как-то аргументировать. Я научился увиливать от вопросов, а иные свои ответы так формулировать, что в их подтексте содержался вопрос. Но у нас не было перспектив, в этом-то заключалась трудность; мне думается, мои допросчики это знали. Они сделали свое дело, провели измерения местности, расчертили поверхность, возвели цоколь и сколотили на нем вышку, повесили буровые штанги, включили мотор, который приводил в движение зонды, стали запускать зонды в самую глубину и поднимать их наверх, до не находили ничего, кроме песка, и знали заранее, что ничего не найдут.

Они и не надеялись напасть на рудоносную жилу в моей истории, это удалось мне заметить по кое-каким признакам: вначале они с профессиональной свирепостью либо угрожали мне, либо кормили меня лакомыми обещаниями, но постепенно отказались от пустых усилий. Я того не стоил, и, чувствуя облегчение, я где-то в глубине души чувствовал обиду.

И отношение ко мне тюремщиков стало более ровным. Поначалу они передавали меня следователям как человека, которого ждали обратно омерзительно преобразившимся, но потом принимали меня, когда я возвращался с допроса, словно обычного спекулянта-рецидивиста.

Это вовсе не значит, что они убедились в моей невинности. Такие люди попадались здесь чрезвычайно редко, к встрече с ними никто даже готов не был. А утвердилось, как мне думается, мнение, что и я, как большинство здешних обитателей, расколуюсь сам.

Один из усталых поручиков что-то в этом роде даже сказал и даже напомнил мне — не знаю, умышленно или по ошибке — об окровавленном мундире, который, как считали они, я некогда носил.

— Вы только осложняете себе жизнь, на что-то надеясь, — сказал он мне. — Считать, что мы не дознаемся, кто вы есть на самом деле, вполне бессмысленно. В настоящее время трудновато разыскать вас в известных списках: в мире царит еще порядочная неразбериха, но скоро все наладится. Зачем нам надрываться? Вы в наших руках, каким-то крупным убийцей вы вряд ли были. А мелких наказать еще успеем.

Нет, он все-таки с умыслом сказал мне это, и целую неделю ни он, ни другие поручики меня не вызывали. Он оставил меня наедине со словом «убийца».

Когда становишься старше, ты понимаешь, сколько у тебя было возможностей, как много из них ты упустил, как мало ты сумел претворить в жизнь. И начинаешь смеяться, что тебе в каком-то смысле повезло, если ты не стал убийцей. Но такой глупый мальчишка, как я, считает, что человеческие роли распределены окончательно и бесповоротно. Убийцы — это же совсем, совсем особые люди. А потому само собой понятно, что я не могу быть убийцей. Убийцы похожи на актера Рудольфа Фернау. Он играл доктора Кришнена и мародера, грабившего жертвы автомобильных катастроф, у него был жуткий пронизывающий взгляд, а голос, нарочито дружелюбный, звучал еще подозрительнее, когда Эрих из Пирны, что в Саксонии, пересказывал нам фильмы, в которых Рудольф Фернау играл убийц.

В Марне об убийцах знали только понаслышке, о них вспоминали, если кто-нибудь из ребятишек долго не возвращался из школы. Тень колбасника Хаармана, убийцы мальчиков, ложилась на темные степные дороги, а из Гамбурга будто бы скрылся сапожник, убивавший шилом детей, какие, как говорили взрослые, ему полюбятся. Как любовь сочеталась с убийством, было для меня еще большей загадкой, чем сама страсть к убийству; во все эти рассказы я не слишком-то верил.

И мне, чтобы увидеть мертвеца, пришлось уйти на войну, попасть на фронт. И первый мертвец выглядел так, что смерть, казалось мне, обошлась со следующими куда мягче. Первый был фельдфебель, который поднес к собственной голове гранату. От головы следа не осталось, а я, нежданно увидев его, разглядел все очень хорошо.

Самоубийство, убийство и я — кому пришло в голову нас связать? Разве не известно им, что я убежал из дому, когда мясник приходил резать свинью? Разве не известно им, что я боялся кладбища и что в кино в двух случаях зажмурировал Глаза: когда па-

лач вскидывал топор и когда герои целовались? Разве не известно им, что я боюсь крови и не меньше боюсь законов?

Бог мой, да я целую весну задарма работал на нашего аптекаря после того, как всучил ему иностранную монетку за пятипфенниговую. Я едва себе шею не сломал, выпрыгнув из трамвая на ходу, так я испугался кондуктора и так мне было стыдно, что я потерял билет. В Марне я слыл парнем смирным, только куда позднее я стал этого стыдиться. Но теперь я был в Польше; тут об этом не знали. Польша была где-то за тридевять земель от нас, известия с трудом доходили сюда.

Но ведь такое-то известие должно сюда пробиться: Марк Нибур никакой не убийца! Эй, дорогу, пришла почта со свежими известиями: Нибур невиновен, выпусти его и отпустите!

Но Польша оставалась равнодушной: она делала вид, что не получала никаких писем. Она заставляла меня писать все снова и снова мою биографию, так что я едва не дошел до грани помешательства и дважды даже переступил эту грань. Один раз я начал свою биографию так: «Я, доктор Криппен...»; а другой раз написал: «Меня зовут Ян Кепура!» К счастью, оба раза я тут же перечел написанное, ведь, получив такие признания, мои поручики стряхнули бы с себя усталость.

Но в один прекрасный день настал все-таки конец моей писанине; быть может, кому-то из поручиков пришло в голову, какую уйму бумаги они на меня извели; они сами заполнили один, последний лист, занесли в него квинтэссенцию из сотни моих писаний, после чего, как обычно, объявили мне: я еще о них услышу.

Однако очередное важное известие я получил от пана Шибко. Я слышал, что он выводит воруя из камеры на работу, и внутренне уже готовился отстоять долгую смену допроса между завтраком и обедом, как вдруг в дверях появился мой надзиратель, кивнул мне и выкрикнул бодро, по-военному:

— Robota, robota!

Ну, работа — это во всяком случае лучше, чем еще один допрос; страх, пережитый мной в капустном подвале, уже выветрился, я горячо поблагодарил пана Шибко и с готовностью исполнил все указания надзирателя, пришедшего за мной. На дворе меня шумно приветствовали соседи-уголовники, но, к моему величайшему удивлению, мой страж дал мне за это здорового пинка. Он следил также, чтобы я, не отставая от них, к ним не присоединялся. А когда мы подошли к горе угля, он поставил меня так, что я с его соотечественниками, у которых нашел однажды приют и подвергся строжайшему опросу, никак не контактировал.

Пан Домбровский, да могло ли быть иначе, и здесь разыгрывал из себя шефа, а оба дуболома и здесь были его прихвостнями. Они раздавали корзины — одну на двоих своих сокамерников, а мне выдали одну на меня одного. Почему уголь сгрузили в двадцати шагах от люков, я не знаю, зато у нас была работа. Мой пот и черная пыль очень скоро вступили в тесную связь, и у меня появилась надежда, что уголь закрасит мой мелкопятнистый маскхалат, а заодно и то жуткое обвинение, которое порождалось его расцветкой.

Но эти мысли вновь разбудили мои страхи, поэтому я целиком отдался работе, стремясь обратить ее в спасительную игру.

Итак, я угольщик в Марне. Начинаю с церковного двора на холме только потому, что у жены пастора весь сад завешан бельем, а я терпеть не могу жену пастора. Она хотела получить для своего племянника место ученика у старичков Брунсов, а племянник был сильнее меня и без конца это мне доказывал.

Так, а теперь перелопатим-ка уголек, чтобы хорошенько пропылить ее белье! Но, как это ни странно, никакого удовольствия от моих злопыхательских фантазий я не получал. Я как наяву видел эту сдобно-пышную женщину, видел, как она нарезает сладкий пирог, который испекла на школьный праздник и раздала по кускам ребятам. И тотчас госпожа пасторша куда-то исчезла, я видел только лист с пирогом, что послужило мне сигналом кончать фантазии, ведь я установил для себя режим, строго настрою воспрещающий вне положенного времени думать о печеном и жареном.

Раз так, то я понес уголь в следующий дом, портному Рерихту, о котором я даже наверняка не знал, ел он когда-нибудь или нет. С ним у нас возникла веселая пики-

ровка, я же был единственным в Марне, кто носил брюки гольф. Отец привез мне их из Франции, хотя прекрасно понимал, что Марне их признать не пожелает, а портной Рерихт стал выразителем взглядов городка и объявил: француз, мол, носит этикие панталоны, чтобы замаскировать свои кривые ноги.

Мне, человеку гутенберговского цеха, и связываться незачем было с тем, что говорили о маскировке, но портной проявлял в споре много хитроумия и его всегда доводил до белого каления мои слова, будто он говорит так потому, что не умеет ни скрывать, ни шпиль брюки гольф; вечерами я частенько прогуливался мимо его дома, стараясь попасться ему на глаза.

Но, как я признался себе в один прекрасный день, не только это было причиной, почему я избирал именно этот маршрут: соседка портного Рерихта — вот кто притягивал меня в сей уголок Марне, что было, вообще-то говоря, весьма странно.

Соседку портного звали госпожа Фемлин, и была она женой бравого солдата, мостильщика улиц и унтер-офицера, награжденного Железными крестами обеих степеней. По всем законам, божеским и человеческим, мне никак не пристало из-за такой женщины делать крюк. Она была лет на десять старше меня, а ее муж наверняка утопил бы меня в каком-нибудь заливчике; но главное, это потому не подобало, что в отлучке он был, чтобы убивать врагов, в том числе и моих.

Верно, но что поделать. Стоишь в очереди у булочника, талонов на этот раз хватит на целый хлеб, а хлеб свежий, тут даже клейкие отруби запахло бы хорошо, вот и расцветают радужные мечты. А в очереди перед тобой стоит молоденькая госпожа Фемлин; волосы она подобрала и заколола, на ней грубошерстный пуловер с широким воротом. Шея от этого кажется длиннее, а на правом плече виден кусочек бретельки, волосы на затылке, кто знает отчего, кажутся только-только вымытыми, а плечи — эх, откуда у тебя этакая удаля! — словно ждут, чтобы на них легли руки.

И вообще весь облик этой женщины выражает ожидание; так недвижно ведь не стоят, а уж тем более так не вертятся, если ждут только хлеба в самом жюсте очереди, думаю я и делаю одно из тех открытий, что переворачивают мир вверх тормашками: женщины и девчонки сработаны из одного материала, иначе с чего это я начинаю икать, видя затылок госпожи Фемлин?

Но, к стати говоря, это едва ли не все, что я видел у госпожи Фемлин; я раз десять выслушал ради нее соображения портного Рерихта, почему француз носит брюки гольф, глаза мои в это время неотрывно глядели на соседний дом, но более близкого знакомства с госпожой Фемлин я так и не свел.

Благодаря ей, однако, я сделал великое открытие, а потому отберу-ка я ей самого лучшего угля.

Надзиратель позаботился, чтобы у меня так ничего и не вышло с женой мостильщика Фемлина. Слишком резким окриком, по которому узнаешь «новую метлу», он отправил меня к кувалде; у этого орудия я и думать позабыл о всяких стыдных мыслях.

Какие мне подносить куски, определял пан Домбровский, при этом он что-то приговаривал, чего я не понимал, молот же с каждым ударом точно удваивался в весе, и потому я очень скоро ничего, кроме стука крови в висках, не слышал.

Вес каждого куска угля, который я разбивал, словно добавлялся к весу молота, и с каждым разом мне все труднее было отрывать его от земли. Древнее поверье индейцев: ты обретаешь силу врага, которого одолел. Мой молот — индеец. А может, все это из-за магнетизма. Глыба чистого железа прилипает к полюсам, к поль-поль-полюсам. К уголькам. В Поль-поль-польше к уголькам.

Нет, с магнетизмом ты что-то путаешь. Ты хочешь сказать — из-за силы тяготения. Молот стремится к центру Земли. Я тоже. Я хочу вместе со своим молотом попасть к господину Ньютону. Молот и я, мы очень торопимся. Еще взмах, еще удар: мы идем, господин Ньютон!

Но то был пан Домбровский, грубовато трепавший меня по щеке, и то были его дуболомы-подручные, посадившие меня неподалеку от люка на корзину, и понадобилось довольно много времени, прежде чем я сумел привести в относительный порядок все, что окружало меня — дуболомистых братьев милосердия и тощего пана

Домбровского, важного тюремщика и красную стену у меня за спиной, и зарешеченный дом. А также пристроить в этом порядке на подобающее место самого себя.

Не слишком-то я обрадовался, что в обморочную минуту выпал из этого порядка, и не слишком обрадовался, когда вновь стал его составной частью. Но я был его частью; это я быстро осознал, едва только услышав собственное тяжелое дыхание, едва уловив запах собственного пота и ощутив на губах угольную пыль; я был составной частью этого порядка, частью некоего дух захватывающего порядка, но лишь малой его частичкой, а не полноценной частью.

Благодаря этому обстоятельству пан Домбровский обошелся со мной милостиво — он послал к молоту этакого уштанного самогонщика и даже, кажется, пытался оберечь меня от того настырного надзирателя, а со мной он, если я правильно понимал его жесты, изволил шутить, и сальные шуточки его касались не только моего свертжения у кувады.

Можно прослыть неблагодарным, если не покажешь в ответ, как тебе смешно, и я предпринял невероятные усилия изысканнейшим мавером показать, что хоть едва держусь на ногах, но юмор пана Домбровского меня покорила.

Себя самого, однако, я себе ясно представил; я увидел себя на корзине, увидел торчащую из пятнистой куртки голову на иссохшей шее, увидел отсвечивающие белки на угольно-черном лице, увидел обригую голову и красный рот с розовым небом, понял, что я весь черный, точно негр в кино, и понял: захоти пан Домбровский услышать сейчас пение, я обернулся бы Элом Джолсоном — преданным сыном<sup>9</sup>. Но пан Домбровский из певцов высоко ставил только Яна Кепуру, а негров, как мне было известно, он ни во что не ставил.

Я сам себе был противен вот такой, на корзине, обычно я приободряюсь, стоит мне самого себя уесть; и тут, только я отдал строжайший приказ моим суставам и связкам, тихая музыка, что доносилась из окна кухни, этакая слабосильная, под стать водянистому запаху кислой капусты, сменилась внезапно весьма своеобразным трубным сигналом.

Не знаю, можно ли о музыке так говорить, но звучал этот сигнал как-то неуклюже; исполнялся он то с какими-то запинками, то временами бурно и громозвучно. Возникали время от времени и паузы, а в паузах слышны были шаги и слышно было, как набирает воздуху трубач; все вместе слушалось не как обычная радиомызыка, из этой музыки словно торчали во все стороны острые края и необрезанные кромки.

Совсем иным стал внезапно и пан Домбровский. Я никогда бы не подумал, что ему присуща восторженность, но он положительно замер от восторга, резкие морщины на его лице разгладились, он поднял руку, вытянув вверх палец и держал ее где-то повыше уха; в этой позе он напомнил мне старинные и такие наивные деревянные статуи.

Только когда смолк последний звук и слышно было, как удалился трубач, пан Домбровский вновь шевельнулся и так долго повторял, обращаясь ко мне: «Kraakow, Kraakow», пока наконец не решил, что я понял его. Затем он что-то добавил, что я хоть и слышал, но не понял, и изобразил, вот уж и вовсе удивительно, какую-то сцену, он изобразил, будто спит и внезапно пробуждается, он в ужасе, он кого-то увидел, кого он назвал *tatary, mongoly*, и это, видимо, послужило причиной его ужаса, далее он вытянул губы трубочкой, поднес к ним кулак, надул щеки и воспроизвел некую искаженную копию только что слышанного сигнала, после чего настойчиво, будто был тревогу, повторил: «*Tatary, mongoly*» — и протрубил свой искаженный сигнал тревоги на весь мир.

Будь я еще наивнее, чем был, я понял бы наконец пана Домбровского, хотя и не видел причины, почему какой-то давно забытый сигнал, поданный, как было ясно, перед лицом наступавших восточных орд и поданный именно в Кракове, почему сигнал этот привел выдавшего вида пана Домбровского в такое возбуждение.

Возбуждение улеглось не скоро. При этом он сделал нечто, чего до сей минуты всегда избегал, — он нагнулся, взял кусок угля и начертил на кирпичной стене дату —

<sup>9</sup> Джолсон Эл — известный американский певец, пел загримированный под негра. В фильме «Певец джаза» он играет пользующегося мировой славой певца, который отказывается от блистательной карьеры, чтобы заменить умирающего отца, кантора.

1241 год, повторив: «Tatary, mongoly», он сопроводил ими написание даты, а в середине прервался, замычав еще раз мотив тревоги.

После чего он написал там же еще одну дату — 1944 — и снова произнес: «Tatary, mongoly». И даже изловчился протрубить ту же мелодию в вопросительном тоне, движением пальца дав понять, что на его вопрос следует отвечать отрицательно, что на сей раз никто не трубил в рог.

Напротив, объяснил мне пан Домбровский скудными жестами, все бурно радовался, и тут на его лице отразилось глубочайшее презрение, такой же презрительный взгляд бросил он в окно, за которым польское радио передавало последние известия.

Пан Домбровский, это я знал еще после первой нашей встречи, всеми силами порывался сбить меня с толку, и я облегченно вздохнул, когда он сделал что-то мне понятное, что подтвердило — да, в конце-то концов он такой же арестант, как и я: он бросил на тюремщиков потаенный взгляд, какой и я умел уже бросать, прислонился к стене, глянул на мартовское солнце и стер ногой обе даты.

Но когда я вернулся в камеру, они еще долго стояли у меня перед глазами.

О моем коротком беспамятстве было, видимо, доложено как о чрезвычайном происшествии, и, когда я мыл руки в унитазе, явился дежурный надзиратель с каким-то человеком, по виду арестантом, по манерам врачом. Следуя его указанию, я разделся, и он, кажется, отнесся весьма неодобрительно к тому, что увидел. Хотя он пытался делать вид, что в отчужденности моих телес повинен я сам и что он подозревает меня в самоубийственном отказе от предлагаемых супов, тем не менее он дал тюремщику указания, которые по тону явно принадлежали не арестанту, а настоящему врачу.

Надзиратель выслушал его, как выслушивают врача. И вечером капусту мне отвалили явно обеденным черпаком. А ломоть хлеба на следующее утро был какой-то непривычной толщины. И когда команды вышли на работу, меня снова взяли. Однако не с паном Домбровским; на этот раз в нашей группе были скотоложец и мой друг Эугениуш.

Правда, Эугениуш, видимо, не желал меня узнавать, но такие желания я всегда уважал. Мне это еще и потому не доставляло трудностей, что в этот день продолжал действовать приказ, строго изолирующий меня от остальных.

Нас было тридцать человек, и нас могли построить в колонну из десяти рядов по три, а построили девять рядов из трех поляков, один ряд из двух поляков и один ряд из меня, сбоку колонны шагали два конвоира, третий шел рядом со мной и всем своим видом давал понять, какую он чувствует ответственность за меня.

Поначалу я считал, что мы опять идем к угольной горе, но мы миновали ее и подошли к внутренним воротам, ведущим в передний двор.

Я уверен, что усатый солдат узнал меня, но это обстоятельство не слишком его взволновало; он ощупал мои карманы, как и карманы всех остальных, и ни у кого ничего не нашел. Он не спускал с нас глаз, пока конвоиры получали в окошечко свое оружие, а я успел внимательнее осмотреть двор, чем в первый раз.

На этот раз я не стоял лицом к стене. На этот раз я был не один при всей изоляции, я все-таки был частью колонны. На этот раз я стоял спиной к стене, на этот раз я выходил из двора, а не входил во двор. На этот раз я был одним из тридцати, которых поделили между собой три конвоира, хотя один из трех изо всех сил фиксировал свое нераздельное внимание на мне. На этот раз меня не окружал вооруженный пятиконечник, стало быть, я и в другом смысле потерял свою значимость. На этот раз я не только увидел куда больше, чем просто стену; я знал, что было за этими стенами.

Я не знал только, почему я должен быть за ними, но что за ними, я теперь знал.

Когда осенью я стоял на этом дворе, раны мои кровоточили, меня силой оторвали от тех, с кем меня связывала общая судьба. Теперь у меня остались лишь рубцы, а они ныли не так уж часто. Я, как ни странно, очутился среди людей, о которых знал когда-то весьма и весьма мало, и среди таких, которых хоть и мало, но все-таки узнал.

Прочную основу жизнь моя имела где-то в дальней дали, и когда мое настоящее представлялось слишком зыбким, я стремительно перелетал назад, на ту планету,

где стояли невысокие теплые дома, жили шумные неосторожные люди, молодые и пожилые женщины и еще девчонки. Где жила в кухне мать. Где были дети. И собаки.

Там, на той звезде, каждый ел понемногу. У каждого был свой ключ, которым он редко пользовался. Там известны были водопроводные краны. А деревянные башмаки надевали, только отправляясь в хлев. Там у тебя был сад. А когда ты ложишься спать, так раздевался. Биографии ты писал там, может, раз десять за всю жизнь.

А главное, главное, там ты был в своей биографии уверен. И там тебя никогда, никогда, никогда не сочли бы убийцей. Никогда.

Здесь же тебе привязали к большому пальцу ноги бирку, на которой значилось: убийца. И здесь тебя называли убийцей и, даже уставая, настаивали на этом. Кто-то подменил мне мою звезду.

Но сейчас я стоял на дворе чужой звезды, и где эта звезда начиналась, там она и кончится.

Откуда мне знать, не ждет ли меня здесь счастье, не выйду ли я сейчас отсюда? Может же случиться, что дверца в воротах, ведущих на улицу, распахнется, передо мной распахнется, и точно так, как все прочие люди, что снуют перед воротами, рассеиваясь по улицам, коль скоро это улицы их родного города, так и конвойный со мной, нет, я и конвойный пойдем, не спеша и тихонько насвистывая, по широкой улице, будем болтать о всякой всячине, может о жратве, может вспомним недавнюю историю, и, держась как друзья-единомышленники, не дадим никому повода бросить в одного из нас камень или, того хуже, забросать его камнями.

Ладно, придется в ближайших к товарной станции Прага улочках поспросить, куда делись остальные, но след их конечно же найдется.

Правда, их было около трехсот, поэтому их труднее вспомнить, чем одного-единственного парня, который ушел в сопровождении четырех конвойных и начальника, но мы наладим контакт с ребятишками. Ребятишки всегда знают, куда отправляются люди под конвоем. Уж я найду дорогу назад, в места, где был в плену.

Если только они позволят мне поискать.

Но они вывели те двадцать девять человек на улицу и на известном расстоянии меня тоже и повели на другую, к горному кряжу из обгорелых камней, где работы было невпроворот.

## XV

Я носил маскхалат вывернутым на зимнюю сторону, хотя это мне было запрещено, теперь он был далеко не белый, скорее цвета талого льда, и никому не колол глаз.

Вначале кое-кто в колонне травил меня, но игра явно не стоила свеч, и все успокоились.

Нам предстояло разгребать развалины. Мы разобрали высоченную грудку камней позади тюрьмы, за ее стеной, и мало-помалу высвободили остов многоэтажного дома. От двух его стен остался только угловой стык — огромный, в шесть этажей высотой сталагмит, и я понял, почему из всех других нам выделили именно эти руины: если бы угловая башенка, крытая черепицей, с переплетением арматуры, рухнула, она упала бы на тюремный двор и кого-нибудь прикончила, а не то пробила бы брешь в тюремной стене.

На работе никто не надрывался — ни мои польские коллеги, ни наши конвоиры; последние только следили, чтобы кто-нибудь не заснул, и если особенно лихо подавали команду, так мы знали: идет какой-нибудь начальник.

Не прошло и нескольких дней, как к нам стали хаживать родственники и приятели заключенных, а то даже их деловые компаньоны; наши стражи получали свою долю табака и водки. Случалось, тот или иной заключенный хвастал перед своей супругой моим обществом; какое-то время это вызывало ко мне не очень-то желательный интерес, и все же тут было лучше, чем в одиночной камере.

Мы все больше и больше освобождали скалы каменной кладки от осыпи, и к нам все чаще наведывались начальники конвойных, чиновники и всякие специалисты, все они не упускали случая дать нам добрый совет. Чтобы понять это, мне не нужно было владеть языком. Знайки составляют особое братство, которое распознается по взгля-

дам, взглядам на увязшее в грязь по втулку колесо или на худенькую женщину, волокшущую домой пьяного мужа, выписывающего вензеля. Кашляешь лишний раз, да еще хрипло, и консилиум знатоков уже собрался. Захочешь побыть в одиночестве, чтобы спокойно найти решение той или иной проблемы, они тут как тут, а не воспользуешься их советом, так они не теряют надежды, что ты потерпишь крах.

И вот они собрались, чтобы обсудить вопрос, как подступиться к бесполезному и угрожающему пилону. Были среди них специалисты-подрывники, и они уже подсчитали потребное количество ящиков с динамитом. Понимать их мне было просто, они обозначили окончание своего плана весьма убедительным звукоподражанием: бум-м и бах-х, при этом они руками и ногами показывали, куда обрушится осыпь, если взрывчатку заложат по их указаниям.

Другие, это уже люди в годах, едва достаявали вышку более чем одним взглядом, во всяком случае на каждое суждение не более чем один взгляд, и давали всем понять: штукавина сия не стоит того, чтобы поднимать вокруг нее столько шума, она никому не мешает и простоит прочно и нерушимо до скончания века; зачем ее трогать, они всю жизнь прожили под такими глыбами, и разве они все еще не полны жизни?

Какой-то знаток предложил воспользоваться танком и движением пальца отчеркнул подъездной путь весьма значительной протяженности, а так как он не только воспроизводил рев мотора, но весьма убедительно изображал лягганье и визг гусениц, то, разыгрывая атаку на каменного врага, довольно долго удерживал вокруг себя публику. Но, думаю я, чтобы дать свободу действий этому транспорту, пришлось бы снести часть тюремной стены, для чего, разъяснили незадачливому знатоку, вряд ли удастся получить разрешение органов юстиции.

Тогда другой знаток предложил гражданское транспортное средство, и не толкать предложил он, а тянуть; и верно, к нам подогнали тяжелый грузовик, скрутили из скольких-то стальных канатов один, и теперь вопрос уперся в то, как укрепить канат на шпиле, но тут кто-то из нашей колонны не удержался, чтобы не обнаружить свои знания, он набросал простой чертеж, из которого было ясно, что при данной высоте стены и данной длине каната грузовик должен стоять в одной определенной точке и тогда низвергающиеся камни попадут ему прямехонько в кузов. Но этого не пожелал водитель. Опять сошлись знатоки, и как полностью сознающий свою ответственность суд присяжных, что раздает право на жизнь или смерть, лишь достаточно долго поразмыслив, так и они заставили нас долго ждать приговора, а когда вынесли его, то их начальник подошел к моему экстраконвойному, поговорил с ним, и тот возгласил, что возражений у него не имеется. Тогда они повесили мне на шею пеньковый канат, сунули за пояс огромное долото и приказали лезть на отвесный склон. На Варшавский Северный склон. На *Piz Polonia*. На Тюремную вершину. На *Monte Oddziałowy*.

Верно, я тут самый младший, но я же не альпинист. Может, считали они, моя жизнь здесь самая ненужная, но я был иного мнения на этот счет. Для подобных воздушных упражнений у меня данных не было; для подвала, набитого капустой, данные у меня были, да, все данные, но для чердаков, которым не хватало большей части стен, и крыши, и пола, у меня данных не было.

Счастье еще, что знатоки и дальше оставались тут, они выкрикивали мне во время восхождения советы — и как хвататься, и как держаться, и как ступать, и, может, мне даже повезло, что я редко их понимал.

«*Uwaga!*» — кричали они, что значит: внимание! Или: «*Ostroznie!*» — кричали они, что значит: осторожно! И как знать, что делал бы я без такого доброго совета, а когда они кричали «*na lewo!*» или «*na prawo!*», что означало «налево!» или «направо!», так мне мешало только одно — они выкрикивали обе команды разом; но я все же понял, что время от времени они бывали единодушны — каждый раз, когда я останавливался оттого ли, что определяя, как лучше обогнуть ближайший уступ, оттого ли, что у меня внезапно все плыло перед глазами, как от слишком тяжелой кувалды, каждый раз до меня доносился компетентный совет: «*Dalej do góru*», что — вот неожиданность! — значило: лезь дальше на гору!

От других знатоков я уже раньше усвоил, что при столь резком вертикальном подъеме не следует смотреть вниз, но подобное указание противоречило моей природе.

Я, видимо, состою в родстве с женой Лота; я тяжело вздыхаю, выполняя подобное поручение, к тому же я не понимаю, как может человек во время восхождения, хоть и требующего от него величайшей осторожности, отказать себе в удовольствии глянуть сверху на землю. Я глянул вниз, и мне не стало от того ни плохо, ни хорошо, но я глянул кругом себя, и вот от этого мне, по правде говоря, стало очень плохо: из всех зданий вокруг едва ли хоть одно сохранилось так же хорошо, как тюрьма, зато стен, подобных той, которую я оседал, было бесчисленное множество.

Но наконец я все-таки достиг вершины и, усевшись на нее верхом, определил, что по толщине и крепости она соответствует листику промокашки, а колебания ее, хорошо мне заметные, по приблизительному расчету намного превосходили предусмотренные физикой.

Однако мои наземные помощники позаботились о том, чтобы я не слишком углублялся в науку; мне приказано было с помощью долота сносить стену камень за камнем. Я бы куда скорее исполнил приказ, будь со мной еще кто-нибудь, дабы поддерживать меня на гребне, но я, куда ни глянь, был один-одинешенек, и руки мне были нужны самому, ибо ветер, видимо, не желал терпеть меня здесь, в поднебесной выси.

С другой стороны, конвоир, мой персональный, собрался было пальнуть из своей винтовки по моим деревяшкам, и хотя толстые деревянные подошвы здорово мешали мне во время подъема, теперь они вовсе не казались мне толстыми. Что ж, я оторвал одну руку от стены и заставил ее ухватить долото, но ведь пустопорожним мой жест остаться не должен был, поэтому я всадил его в ближайший ко мне шов кладки, и — глянь-ка! — что-то дрогнуло, обломок выше меня фута на два и наверняка раз в восемнадцать тяжелее меня распатался и упал из облаков к ногам моих компетентных советчиков.

Они уже раздвинули свой полукруг, отступая подалее, и поначалу сопровождали каждый обломок, который я сбрасывал, удовлетворенными выкриками, потом кое-кто пожелал подавать мне советы, какую именно часть стены отправить вниз следующей, но в конце концов, видя, что вниз грохочут только камни, а я так ни разу и не грохнул, все они куда-то рассеялись. И страх высоты у меня тоже в какой-то мере рассеялся. Правда, я с трудом сопротивлялся мысли о спуске, а когда долото как-то раз едва не выскользнуло у меня из рук, я замер не дыша, но стена вовремя вновь обрела крепость и толщину, и ветер утих, и буря в моем сердце тоже; сбросив первые распатанные ряды кирпича и дважды добравшись до угла стены, я почувствовал себя на ней почти как дома.

Цемент с каждым рядом становился все тверже, и потому я попросил, чтобы мне прислали, привязав к канату, молоток; приложив известные усилия, вернее сказать, приложив даже очень много сил, я наловчился обращаться с инструментами обеими руками. Когда же знакомый запах капустного супа поднялся ко мне с воздушным потоком, я спустил канат, и к нему за дужку привязали кастрюлю, вполне прилично наполнив ее супом, и я был отчасти вознагражден за свой труд, получив удобный случай, пока хлебал жидкую капусту деревянной ложкой, воображать, что мой способ поглощения пищи, по всей видимости, относится к самым редким.

В разных возрастах человек льстится на разное: в очень юном возрасте считает себя личностью неповторимой. И, конечно же, моя неповторимость где-то на верхотуре была для меня еще осязаемее, чем где-то на земле. Поэтому, сидя верхом на стене и орудуя долотом, я ощутил, как у меня необычайно улучшилось настроение, еще немного и я помахал бы часовым на тюремных вышках, что палили на меня глаза из бойниц, да еще чего доброго — молотком. Я был личностью неповторимой, да, да, по-настоящему неповторимой: я выполнял ответственную работу и не щадил себя — все видели меня за работой. И еще одно: не так уж плохо, видно, были мои дела, ведь доктора Криппена они не отпустили бы на такую высотищу, где человек оказывался в непосредственной близости к какой-то несомненной форме свободы; и если они предоставляли мне возможность отсюда драпануть, значит, знали, что я вовсе не отказался ни от надежды, ни от притязаний выйти на свободу совсем иным и никак не столь головокружительным путем.

Мысли, подобные этим, вызывают возражение; вот оно: может, они надеются, что ты сверзишься? Может, ты им просто сэкономишь время и труд? Они отделаются

от тебя, никак тому не содействуя? Ты случайно загремишь, и с твоим случаем будет покончено, и никто не спросит, жил ли ты когда-нибудь на свете. На случай, если ты невиновен, выходит, что до тебя никто не коснулся, а на случай, если все-таки найдется доказательство твоей вины, выходит, что ты просто-напросто чуть раньше все сам уладил.

Довольно долгое время я сидел, боясь шелохнуться, не слышал криков моего персонального конвоира и взглядом, устремленным в строго горизонтальном направлении, крепко-накрепко ухватился за далекую колокольню.

И уж вовсе не подняло мой дух то обстоятельство, что вдобавок к колокольне и моей шаткой позиции на остроконечной верхушке я припомнил жуткую историю, как сверзился плотник в Мельдорфе, историю, которая, подозревал я, случалась в самых разных местах или вообще не случалась, и как раз в самых разных местах.

Плотник, может быть все-таки в Мельдорфе, упал с самого верхнего яруса лесов на колокольню, он летел навстречу верной смерти, и когда он промелькнул мимо своих товарищей, работавших где-то в средней части колокольни, они услышали, как он выкрикнул, хоть и с некоторым недоумением, но очень определенно:

— Вниз, и точка!

Правдивая или не очень, но история эта меня всегда занимала, в ней все было неожиданным. Если бы о падавшем рассказывали, что он кричал благим матом, или, пролетая, просил, чтобы товарищи позаботились о его старушке матери, я бы с ужасом в нее поверил и мало-помалу позабыл бы о ней. Но—вниз, и точка!—звучало, как удар короткой, крепкой и сужой доской; это была неслыханная фантазмагория. Что, в свою очередь, было точным и очень подходящим для меня выражением: меня окружали несслыханные фантазмагии.

Но одно обстоятельство представлялось мне все-таки слишком нелепым: неужели они не раз уже уберегали меня от вызова на тот свет и придавали все больше и больше драматизма моей истории, чтобы топорно закончить ее несчастным случаем? Ведь это, насколько мне знакомы всякие истории, просто негодная концовка.

К тому же еще моему концу оказывает содействие юстиция? Содействие, которое выступает тут в обличье бездействия?

Нет, это уже не просто несслыханная фантазмагория— это несслыханная несправедливость.

Торчащие обломки стены воспринимались людьми как угроза. Угрозу следовало убрать с лица земли. А чтобы убрать ее, нужно было снести стену. Снести, значит в нашем случае отбивать камень за камнем. Для этого кто-то должен был сесть на стену. Но прежде должен был взобраться на нее. И, главное, это должен был быть человек молодой. Я был самый молодой. А чем я был еще, это уже дело десятое.

Они хотели убрать стену, а не меня.

А мне, если я хотел попасть обратно на землю, нужно было отбивать камень за камнем. Мне нужно было выбивать опору из-под собственного зада, если я хотел когда-нибудь вновь обрести опору. Все это вместе взятое было делом самым обыденным, для которого, собственно говоря, очень годился лаконичный возглас: вниз, и точка!

— Вниз, и точка! — сказал я, словно назвал пароль стене, после чего стал очень расчетливо орудовать молотком и долотом. Но вот кто-то из начальников на земле объявил конец рабочего дня, и я спустился на землю с веревкой, которую укрепил за колено газопроводной трубы, подстраховав свой спуск. Когда же внизу мой конвоир подстроился ко мне, у меня на мгновение мелькнула безумная мысль, что он, мой персональный конвоир, чуть-чуть гордится мной.

Стена так и осталась моей стеной. И тем больше становилась моей, чем дальше продвигалась моя работа. А когда я снес стену до безопасной вышины, мне пришлось даже отстаивать свое право на нее. Один из заключенных, этакий откормленный жох, которого поила-кормила куча дам, вознамерился в одно прекрасное утро забраться на обломок моей стены да еще потребовал у меня долото. Однако у меня оказалась жесткая хватка, а за этим жохом я с тех пор притягивал.

Сама же стена очень скоро перестала нагонять на меня страх. Время от времени приходилось, понятно, действовать с тщательно продуманной осторожностью, к при-

меру, при сильном ветре, при дожде, тогда я тщательно продумывал все свои действия, которые и без того выполнял очень и очень осторожно. Я надвигал на лоб капюшон, не спускал глаз со стены, бросив быстрый взгляд туда, куда собирался сбросить отбитые камни, а сердце мое было в тех местах, где никому бы и в голову не пришло, что Марк Нибур когда-нибудь таким манером будет рушить одну из варшавских стен.

Именно так и работала моя мысль: кто бы подумал, что ты когда-нибудь будешь таким манером рушить одну из варшавских стен? Кто бы подумал, что ты когда-нибудь будешь рушить одну из варшавских стен таким манером? Кто бы мог это подумать? Именно таким. Ну а если иным? Да, мысль, что ты мог разрушать стены совсем иным манером, мог разрушать стены Варшавы как один из многих разрушителей, тебе в голову не пришла, но потому только, что тебе и о Варшаве мысль в голову не пришла, однако, что ты разрушитель, эта мысль тебе в голову уже пришла.

Как о разрушителе обо мне можно было сказать в том же смысле, что и об отце, и брате, и мостильщике Фемлине, и обо всех других прочих, кто в Марне носил как немецкие брюки, так и французские гольфы.

Нет, я вовсе не думал: значит, все в порядке, если ты тут на ветру оседлал развалины. Я думал другое: ничего уж такого удивительного в этом нет. Вполне могло быть, что я оказался бы поблизости, когда стены здесь рушились. Вполне могло быть, что я подходил бы к этим стенам, когда они еще стояли. Но я подошел к ним, когда они уже обрушились, так ничего нет удивительного, что меня держат вблизи их обломков. Удивительно было бы, если бы так поступили с кем-нибудь, кто оказался здесь проездом из Канберры в Вальпараисо. Или с эскимосом. Или с швейцарцем.

Я же был здесь хоть и проездом, но куда? Может, проездом на Люблин? Бога ради, только не на Люблин! Судя по тому, в чем меня подозревают, бога ради, не на Люблин!

Вполне, однако, могло быть, что проездом на Люблин. Марк Нибур — проездом, чтобы приложить руку к разрушению Люблина. Чуть раньше — и вполне могло быть. Чуть раньше, и я поспел бы к разрушению Варшавы. Все дело в датах рождения и мобилизационных планах. Я родился недостаточно рано, чтобы прибыть в Варшаву для разрушения, но вовремя, чтобы прибыть в Варшаву. На мою долю остались лишь обломки стен, было бы куда хуже, если бы меня ждали стены, чтобы я их разрушил.

Вместо того чтобы молотком и долотом расковыривать стену в Варшаве, я охотно оказался бы в любой другой точке земного шара, исключая, разумеется, неведомый мне и невиданный мной Люблин, но во мне шевельнулось смутное представление смутного представления, что вовсе не так бессмысленно дать мне, раз уж я находился в Варшаве, именно этим манером потрудиться над последними стенами Варшавы.

Я пользуюсь иной раз грубоватым приемом, чтобы уяснить себе тот или иной вопрос; я либо раздуваю его до гигантских размеров, либо довожу до карликовых и продумываю его в утрированных величинах, хотя на самом деле он довольно обыденный и потому не слишком наглядный. Задавшись однажды вопросом, есть ли справедливое основание для того, чтобы я восседал на обломке стены, я ответил себе: допустим, ты вышел из кухни своей матери, чтобы сходить за хлебом и поглядеть молодой госпоже Фемлин в затылок, но внезапно, словно по мановению волшебной палочки, очутился в поднебесье, с чуждыми тебе инструментами в руках, верхом на чуждых тебе камнях и в непосредственной близости вовсе чуждого тебе автомата — вот тогда, надо думать, такой исход был бы ошибкой.

Ошибка в моем деле и так была, ошибка чудовищная, но все-таки я ведь не за хлебом отправился, когда вышел из дому.

Я пошел не добровольно, но я пошел, а направление, в котором я отправился, направление из Марне через Кольберг и Гезен на Клодаву, привело бы меня, следуй я ему чуть точнее, в Варшаву. Как сейчас нужны усилия, чтобы не выпустить меня из Варшавы, так немалые усилия нужны были раньше, чтобы не впустить меня в Варшаву. Видимо, то и другое как-то между собой связано.

Мысли мои вовсе не означали раскаяния; я только помогал себе разобраться в злобещей ситуации. Все, о чем можно говорить, уже разумно; все, о чем можно говорить здраво, теряет свой злобещий оттенок. Мне хотелось подвести итог хотя бы тому, чему можно подвести итог; все равно оставалось еще немало злобещих обстоятельств.

Нет, мне не по душе были взаимоотношения, сложившиеся между мной и обломком стены; видит бог, мне они были не по душе, во мне кипела досада, но в злобные чары я тоже не верил. Я роптал на судьбу, но попал я в это положение вовсе не потому, что кто-то меня проклял. Существовали приказы, существовала дисциплина; положение, в которое я попал, вытекало из приказов и из дисциплины, а также...

А также? А также что? Что еще ты можешь причислить сюда, Марк Нибур? Стоишь у стены и увязываешь в пучок свои прегрешения? Задаешь работу директору школы и прокурору? Не понимаешь разве, что тебя в любом случае трижды вытянут бамбуковой палкой и три рубца вздуются, как на грешном теле, так и на невинном?

Заткнись, Нибур! Скачи на своей стене, опускайся все ниже и ниже, покажи усердие, где речь идет о работе, но не показывай усердия и вообще не показывайся, когда начинают воздавать за вину.

Я этот город не поджигал, господин директор, я в жизни не был в Люблине, господин прокурор. Прежде всего, господин прокурор, предъявите-ка обвинение.

Вот преимущество, какое давало мое рабочее место: здесь можно додумать свои мысли до конца, выколачивая из пазов камни, сталкивая их куда-то в бездну и провоячая взглядом; нужно только следить, чтобы инструмент не выскользнул из рук, а когда съезжаешь вниз, то голова во всем этом тоже не участвует, поэтому-то здесь можно додумывать свои мысли до конца.

Преимуществом было и то, что я не знал языка страны, ибо мои коллеги, разбирая стену, трепались не закрывая рта. Наверняка делились друг с другом всяческими уголовными историями, и стремись я к неблагоприятной карьере, так пожалел бы, что не в состоянии извлечь пользу из этого обилия специфического опыта, но я воспретил себе размышлять о моем будущем жизненном пути, ведь такие размышления включали бы как радужные планы, так и зловещие предчувствия, поэтому вышеуказанную потерю я воспринимал не так болезненно.

Тем более что получал в безраздельное владение время и пространство, время и пространство для размышлений. Это, однако, совсем не значит, что я не замечал ничего вокруг себя. Думаю, если в подобной ситуации человека постигнет такая беда, то он вдвойне бедолага. В тюрьме нужно хорошо разбираться что к чему, иначе быстро погоряшишь. Соотношение сил там очень шаткое, и кто не составит себе представление о всей картине в целом, тот будет говновозом. Хочешь, к примеру, сохранить свое высокое место на стене, так надо знать, чьи остроты — красное словцо, а чьи — просто дрянцо, что с того, что ты не знаешь языка, ты должен знать, и все тут. Нужно твердо знать, что никому, никому на свете нельзя позволять с... на твои деревяшки. Существуют десятки способов уберечься и больше десятка способов огрызнуться.

Конвоиры — люди важные, но они приходят и уходят. Им повинуются, но знают, они — явление преходящее. Пререкаться с ними неумно, вступать в спор безрассудно. Твои отношения с конвоирами и твои отношения с сотоварищами — это части единой сообщающейся системы: вякнешь погромче в толпе, тебя надзиратель на заметку возьмет, а стакнешься с тюремщиком, твои сотоварищи перестанут тебя замечать.

Познаются все эти премудрости разными путями. До одного доходишь размышлением, другое тебе нещадно вколотят. Нет, кулаки в ход пускают редко: следы легко распознать. Но на лестнице тебя лягут каблуком, это сколько хочешь, а деревяшками затопчут, так стони хоть сто лет. Первейшее орудие — локоть. Кинжал и рыцарское копьё. Короткий бросок — сильное действие. Под прикрытием собственного тела всадить костистый остроугольник в чужое тело, и вот — освободил себе место. Среди заключенных право сильного понимают еще буквально. Мне все это вдолбили, и хоть я надеюсь, что мне в жизни не придется воспользоваться полученной наукой, но забыть я ее не забуду. И я, уж это позвольте мне сказать, быстро усвоил эту науку.

Пример: случилось это, когда я уже спустился вместе со своей стеной на четверть первоначальной высоты, уже не один десяток кирпичей отбил долотом, сбросил в ущелье меж остатком стены и тюремной стеной и, стало быть, наловчился вполне прилично рушить стену. Я уже убрал растрескавшийся зубец стены и теперь храбро восседал на ней верхом, я уже не замирал от страха, как вначале, ибо очень хорошо знал, как прочно сложена стена, и даже вниз я спускался без особых усилий по стыку двух стен, и тут-то я, понятное дело, возомнил о себе. Я был примерно на одном уровне с

часовым на ближайшей вышке, а тот, видимо, был порядочный шутник. Заступая на дежурство, он приветствовал меня чисто по-польски, бросая указательный и средний пальцы почти горизонтально под середину козырька, а потом, погрозив мне указательным, тыкал им в меня и ласково похлопывал по дулу автомата, он очень доволен был своей шуткой, а когда к кому-нибудь из уголовников, работавших внизу, являлась особенно фигуристая супруга, часовым жестами показывал мне, какие у него в этот миг мелькают в голове мысли, для чего он пускал в ход правый кулак и правую руку, а левой крепко ухватывал правую в локте, словно пытался обуздать ее. Шутник, без всякого сомнения, и с моей стороны было бы большой глупостью не заметить этого.

Но я совершил еще большую глупость: я не хотел остаться у него в долгу, и когда в следующий обед трубач по радио подал сигнал, предупреждая о нашествии татар и монголов, я сделал то, что делал пан Домбровский: подсакивая на стене, я на все четыре стороны протрубил сигнал сквозь сжатый кулак.

Часовому моя шутка пришлось по вкусу, но на обратном пути я понял, сколь мало она пришлась по вкусу моим спутникам.

Этих тычков костистыми локтями мне с лихвой хватало на всю дальнейшую жизнь, и я научился впредь обуздывать свое неуместное остроумие. Ученые мне записали на ребрах, а живот у меня разболелся со смеху.

И от смеха. И из-за смеха. Со смеху, да, куда позже, когда я снова в состоянии был смеяться. Снова смел смеяться шуткам моих сотоварищей. И очень, очень сдержанно — моих стражей. А сам я уже не шутил. Я — нет. Когда не бывал наедине со своими стражами, то не шутил.

Но мы, даже когда бывали наедине, редко шутили друг с другом. Я был очень серьезным разрушителем стен, а если что-либо казалось мне комичным, так я ни с кем своей тайной не делился. На верхотуре, на ветру, да еще в огромном капюшоне это было проще простого.

Если бы мне пришлось назвать характерные особенности, приобретенные мною, пока я сидел под замком, так я не забыл бы постоянную недремлющую надежду вот-вот найти что-то ценное, что-то бесценно нужное. Не стыд, как правило, заставляет арестанта опускать очи долу; он шарит глазами по полу, ибо все, что выходит за пределы его жалкого рациона, ему нужно либо красть, либо находить.

Правда, вовсе не нужно быть арестантом, чтобы соблазняться тем, что плохо лежит, — когда на четвертый день я хотел залезть по канату на мое рабочее место, каната на месте не оказалось. Тот, кто им отныне владел, влез, видимо, на стену в полной темноте да еще в непосредственной близости от часовых. Мое почтение!

А может, это кто-нибудь из часовых, тьфу, черт! Во всяком случае, другого мне не выдали, и найти я тоже не нашел никакого. Я сбился с ног, я лишился особого обеда, и это толкнуло меня на риск — я выдрал несколько метров провода из стены.

Мой персональный конвоир был, надо сказать, порядочным скушердям; сделав над собой явное усилие, он оставил мне ровно столько медной проволоки, что мне едва хватило, чтобы скрутить канат, а вечером мне приходилось теперь прятать его в камнях.

Мой конвоир следил также, чтобы я только тогда сбрасывал куски газо- и водопроводных труб, когда он мог их тут же хапнуть. Если он особенно напористо кричал мне: «Blondy!» — прозвище это он мне навесил из-за рыжеватого мерцания щетины на моей голове — значит, напоминал, чтобы я выудил для него металл из стен.

Но не мне говорить о его корысти; у меня аппетит разыгрался похлестче, чем у него. Я, надо сказать, высматривал на своей верхотуре клады. Я ждал, что вот-вот наткнусь на стенной сейф, и, не зная его устройства, очень беспокоился, как же я вскрыю сие хранилище, если уж я его найду. Быть может, эти тайники представляют собой лишь стальные рамы со стальной дверцей, которые вмуровали в стену и обклеили для маскировки обоями, ну, тогда мне бояться нечего. Тогда мне остается только наткнуться на такой закуток и, выполняя, как обычно, свою работу, я получу к нему доступ. Опустошить его труда не составит: мои грязно-белые штаны обладали достаточной вместимостью, чтобы скрыть сокровище, если уж я на него наткнулся; за-

стегнутые на шиколотках, эти штаны удержат все, что я им доверю. К тому же, внутрь можно проникнуть через карманы и дыры в подкладке; мне оставалось только обогатиться, а вместительное хранилище у меня имелось.

Не найду же я в стене как назло пачку акций. Акции меня никак не устраивали. Я не знал в них толку да и в глаза их не видел; я не знал, как распознать их ценность, но знал, что ценность их колеблется. Жуткая мысль: я наткнулся на залежи ценных бумаг, ценности которых я не знаю. Может статься, я рисковую жизнью из-за пая обанкротившейся кондитерской фабрики; может статься, я за кусок хлеба отдам бумаги, которыми мог бы обеспечить себе всю жизнь. Нет, акции меня не устраивают, хотя мать относилась к ним вполне хорошо. Еще когда войны не было, она охотно читала извещения о смерти и, прочитав их, всегда говорила:

— Вот акции Санкт-Аншара надо бы иметь!

Почему и вышло, что гробовщика Шюнке, возглавлявшего наш городской филиал Санкт-Аншара, я долгое время почитал сказочным богачом.

Но в настоящий момент акции меня бы не устроили, ни акции Санкт-Аншара, ни даже металлургических заводов «Добрая надежда». Ведь и то достаточно плохо, что я в них ничего не понимаю, но еще хуже: если я хочу, чтобы мне отдали кусок хлеба за клочок бумаги, мне нужен человек понимающий.

Нет, акции исключаются, я не хотел находить акции. Самое лучшее, если я найду драгоценности и парочку-другую старинных монет, золотых,— тогда важно, какого достоинства. Так думал я, понимая в монетах не больше, чем в акциях. Парочка дукаатов или дублонов, что ж, с ними можно кое-что предпринять. О верном исчислении эквивалента думать нечего, но порядочным-то куском хлеба можно разжиться, если ты в состоянии заплатить золотыми монетами.

Я решил весьма осмотрительно расходовать мои сокровища; с умом пуская их в ход, можно довольно долго жить чуть сытнее. Порой стоило мне дать себе потачку, и я начинал мечтать о несгораемом шкафе, в котором наряду с весьма практичными жемчугами и камнями нашлась бы банка-другая свинины и два-три круга сухой колбасы. В книгах можно прочесть, что люди иной раз прятали любимые кушанья самыми хитроумными способами, так почему бы мне не наткнуться на такой склад? Если я способен отыскать золото и драгоценные камни, так наверняка я тот герой, который найдет клад деликатесов.

Тему эту, однако, я считал недозволенной и потому в дальнейшем возлагал все надежды на иные, несъедобные ценности и размышлял над тем, как укрыть бриллианты и талеры Саксонского курфюршества, не пробуждая интереса моего конвоира.

А еще будет лучше, если я наткнулся на связку секретных документов, которые уже много лет разыскивает вся Польша. На первых порах я оставляю их в тайнике и попрошу приема у *paczelnik'a*, а там, вытянувшись по стойке «смирно», я доложу: «*Papie paczelniku, starszy celi melduje*», я нашел документы, из которых следует, что Соединенные Штаты Америки первоначально были владением польской короны; я счастлив, что могу представить в ваше распоряжение всю документацию!

Сеledку я получил бы наверняка, настолько-то я об этом человеке судить могу, и вполне может быть, что он спросил бы, не пожелаю ли я еще чего-нибудь; он получил бы честный ответ.

«Пан *paczelnik*,— сказал бы я ему,— прежде всего это долг чести, но раз уж мы заговорили о моих пожеланиях, так выскажу вам свою единственную просьбу: откажитесь от дальнейших допросов, выставьте меня за все ваши двери и позвольте мне отправиться восвояси. Я охотно снесу до самого конца ту стену, раз уж я ее начал и раз я самый молодой, но, если говорить начистоту, я никак не привыкну к местному способу брать пробу воды».

Я считал, что начальнику не нужно быть сверхвеликодушным, чтобы исполнить мою просьбу—в конце-то концов благодаря мне у Польши появились виды на Америку.

Но... ни документов я не нашел, ни бриллиантов, ни консервов; в моей стене я вообще не нашел ничего значительного и достойного упоминания, кроме одного предмета, но этот предмет был весьма достоин упоминания и имел величайшее значение.

Я нашел выдвижную крышку от ящичка с грифелями. От непогоды дерево стало

ломким, покрылось трещинами и набухло, но можно было еще различить виньетку из розочек, а на нижней стороне размытую надпись: *Jadwiga Sierp, Wielkanos, 34*.

Видимо, имя и адрес. Имя девочки: Ядвига. Имя это особенное, это имя польских королей. Помню, кто-то целыми днями приставал ко мне, чтобы я в следующий кроссворд вставил имя Ядвига, а вопрос задал о супруге Владислава Ягелло; имя польских королей слишком легко отгадать, а супруга Владислава Ягелло — вот тут они попынтят.

Мне сразу не удалось использовать это имя, а потом Эдвин затоптал наш кроссворд и его самого затоптали, после чего я старался оградить себя от каких-бы то ни было воспоминаний о той страшной игре и припоминал ее только тогда, когда спрашивал себя, почему же именно я сижу в тюрьме, и мне требовалось всегда усилие, чтобы согласиться с собственным объяснением, что убийство Эдвина и мое заключение едва ли связаны друг с другом, ведь в той колонне, из которой меня единственного выудили, было довольно много тех, кто в противоположность мне в самом деле душил и топтал.

Ядвига, супруга Владислава Ягелло, первая польская королева, — легко догадаться, что это имя стояло на многих грифельных ящичках.

Фамилия *Sierp* встречалась, надо думать, реже; мне во всяком случае, такая еще не встречалась. *Jadwiga Sierp, Wielkanos, 34*.

Что значит *Wielkanos, 34*? Главная улица, 34 или что-то в этом роде? Но улица по-польски «*ulica*», и на уличных табличках, которые я видел, стояло «*ul.*», а потом уже название. Мой теперешний адрес, например: Марк Нибур, *Warszawa, ul. Rakowiecka, 37*; и на единственной табличке, которую я с трудом разглядел на дороге от товарной станции Прага до этого моего нового адреса, стояло «*ul. Waszyngtona*», помню, меня удивило, что судьба судила мне идти именно по улице Вашингтона.

Возможно, Ядвига, когда она получила этот ящичек, не знала всего того, что знаю я теперь, ведь ящичком с грифельми пользуются очень маленькие дети.

Но нет, выцветшая надпись сделана не рукой ребенка, и уж тем более не рукой ребенка, который еще писал грифелем. Вероятно, писала мать Ядвиги, а еще вероятнее — бабушка. Бабушки именно так и поступают: они дарят грифельные ящички, украшенные розочками, и тут же надписывают на крышке, кому отныне принадлежит эта красивая коробочка. Моя бабушка дарила мне постоянно рубашки и в левом уголке воротничка вышивала всегда мое имя.

*Wielkanos, 34* — загадки подобного рода мучают меня. Я, значит, спустился со стены — капустный суп и так уже распирал мне живот, у меня даже мелькнула мысль, как бы мне у всех на глазах не изринуть его, подобно тому как я у всех на глазах принял его внутрь, и перед тем, как вновь подняться, я помог Эугениушу взгромоздить очередную глыбу на грузовик. Хоть ему моя близость была не по вкусу, но вежлив он был, как всегда, и, бросив взгляд на крышку, сказал:

— Ядвига Серп, пасха, тридцать четвертый год, давненько дело было, а если тебя зовут Серп, так целую вечность.

— И это значит? \*

— Это значит, что *sierp* — это по-польски серп, *sierp i mlot* — это серп и молот, или молот и серп, как принято говорить по-немецки. Хедвиг Серп, думаете, в Германии кого-нибудь зовут Хедвиг Серп?

— А почему нет? Хозяина молочной лавки у нас зовут Вильгельм Коса.

— Вильгельм Коса это совсем не то, что Хедвиг Серп, а Ядвига Серп в Польше это уж совсем не то и даже совсем что-то другое, если вы понимаете, о чем я говорю.

— Не очень-то я понимаю.

— Ну вы вообще ничего не понимаете. Если у вас какую-нибудь девчонку звали Хедвиг Серп или у нас — Ядвига Серп, так ручаюсь, обе уже витают двумя облачками над Иерусалимом... А посему мой вам совет: не вам разгуливать с предметом, принадлежавшим некоей Ядвиге Серп с пасхи 1934 года и кто знает, до какого времени.

Он ушел, и сдается мне, кто видел, как я карабкался на стену, подумал бы, что я спасаюсь бегством. Два облачка — это мне можно не переводить. Это же строка из Великого Словаря Кричащих Намеков. Не всегда их смысл доходит тотчас, но если ты не только слышишь слова, но видишь выражение лица, а вдобавок к тексту улавливаешь интонацию, так и без переводчика поймешь, что речь идет об убиении и истреблении.

Сдается мне, в старых историях рассказывают бессмыслицу, будто убийц всегда тянет на место преступления, но известная правда все-таки в этом есть. Убийцы не могут не говорить о своем преступлении.

Меня удивляет, когда я вспоминаю разговоры моих соотечественников; действительно, после третьей перевязки кое-кого из них прорывало, они начинали расписывать, кому только из-за них не пришлось лечь на перевязки, на перевязки и в могилы; когда, где, скольким и каким способом. Правда, ни один человек не сказал, что он кого-то убил, даже о том, что кого-то пристукнул, или заколол, или очередью прошил, не было речи. Излюбленным выражением было: ну и трахнул же я его.

А если: ну и трахнул же я ее,— так уж и вовсе не значит, что убил.

Как посидишь в огромной палате, битком набитой солдатами, послушаешь их, перестаешь верить, что человек — существо разумное. Ведь я слышал, как эти разумные существа говорили о своем участии в уничтожении других разумных существ: ни одного переднего зуба не осталось; осколок ребром полоснул меж носом и подбородком; лицо обгорело — точь-в-точь маска из рубчатой кожи; полруки только осталось, а ног нет; резиновую трубку руками подымал, когда ссать бегал; сам на себя не похож, родная б мать не узнала, а дальше: ну и трахнул же я его. Это был первый, кого я как-то трахнул. Ну и трах-тарарахнул же я их! Ну и трахнул же я ее, приятель, ну и трахнул, ох и здорово, дружище, ох и сладко! А потом мы в дом, и там я их всех трах-тарарахнул. И сразу подкатился к бабенке и разок-другой трахнул. Ох, приятель, ох, ох.

— Я трах-тарарахнул его, бах, и точка. Сидит теперь на облачке где-то правее Волхова,— рассказывал мне сосед в лазарете на правом берегу Вислы.

Может, врачаха, что нас лечила, была с берегов Волхова, не знаю. Не много мне о ней известно. Э, нет, она же из Баку, это я знаю. Знаю еще, что она хорошо разбиралась в трудах профессора истории Нибура и в гнилом мясе на моих ногах, и еще знаю, что была она в звании капитана и умела слово «немец» произнести на сотню разных ладов и что она была еврейка. Но даже имени ее я не знаю.

Как ты считаешь, Марк Нибур, как думаешь: возможно ли, что ее звали доктор Серп или фрау доктор Серп? Местожителство Волхов, улица Облаков, 34. Wielkanoc, 34, Пасха, 34. Фрау доктор Серп, вылечившая Марку Нибуру ноги на пасху 1945 года.

Который на пасху 1946 года сносил стену в Варшаве и при этом в уголке между одной стеной и другой стеной нашел крышку от ящичка с грифельями.

Который, по сути, да, можешь корчиться, можешь извиваться, хоть содрогнись, хоть отбивайся, но, по сути, ничуть не лучше своего соседа с правого берега Вислы.

Которого стена дома занимает только как предмет сноса, а во сне как место, где можно найти драгоценности и консервы.

Которому понадобилась целая вечность, а также полусгнившая крышка и услуги острожника-афериста, чтобы наконец-то у него хоть одна мысль шевельнулась в голове — а не жили ли здесь, в этом доме, люди? И какова судьба этих людей?

Ничего не поделаешь, не стану отрицать: до сих пор меня волновал почти исключительно вопрос, что же постигло Марка Нибура и что же еще его постигнет.

Я настаиваю: у меня были причины думать только о себе, но считаю, что продолжай я и дальше так думать, то нанес бы себе немалый ущерб. И еще настаиваю на одном: уже не раз во мне что-то вспыхивало, и из вспышек этих вот-вот готов был родиться вопрос, готово было родиться сомнение, верно ли я поступаю, стенаю и плачу только о своей судьбе. Я помню, что два-три раза робко попытался усомниться, но помню также, что незамедлительно гнал от себя эти мысли, если они подрывали мое убеждение, что большей несправедливости, чем я, не испытывал ни один человек.

Так, Марк Нибур, а теперь давай-ка отбрось свое малодушие: здесь некогда стоял дом, в нем жила некая Ядвига Серп. У нее была бабушка, фамилия ее тоже была Серп, а звали ее... Ах, так она не... Да, она именно... У бабушки тоже есть имена, чаще всего трогательные или курьезные и к тому же вовсе позабытые, но и они многое говорят о человеке. Бабушек Марка Нибура звали Августа и Фридерика, эти имена вписывают их в определенную эпоху, поэтому, чтобы бабушка Ядвиги, та, что с ящичком, обрела приметы времени и личности, у нее должно быть имя.

Мы назовем ее Тереза или Эльжбета. Может быть, лучше даже Эльжбета, ведь

семья, в которой дочерей называют именем первой польской королевы, скорее всего не слишком-то хорошо относилась к Марии-Терезии и первому разделу Польши.

Кто сказал, господин Эугениуш, что меня не обучили истории вашей страны? Раздел Польши, вот же я знаю. Не три ли их было и не включает ли это число тот раздел, к которому мы причастны? Во всяком случае, делить вас делили часто, и в первый раз возглавляла это дело Мария-Терезия. Столько-то мне известно, и еще меня учили, что она весьма сурово относилась к иноверцам, и, как я понимаю, это ей, с одной стороны, следует простить, а с другой, поставить в вину. Ведь Мария-Терезия была католичкой, нас, протестантов, она терпеть не могла и евреев, понятно, тоже. Что нас самым неожиданным образом объединяет с евреями; этого еще не хватало! Но ведь Ядвига Серп...

Нет, об этом сейчас не будем говорить. Я хочу представить себе девочочку с грифельным ящичком; иноверие пока забудем, а то я ничего себе не представляю.

Но почему же, что общего между грифельными ящичками и делами веры?

Ничего, как есть ничего, но вы же должны видеть, как я стараюсь вызвать к жизни Ядвигу Серп — ведь получилось, что я слишком удобно расселся на этих стенах, мысленно расположился во всех целых уголках, а вот теперь, когда я хочу все изменить, когда я как раз напрягаюсь, чтобы представить себе людей, живших здесь, в этих квартирах, с бабушками и грифельными ящичками, так неужели мне еще заниматься делами веры, делами веры и всякими другими делами.

Я хочу сказать, Ядвига Серп, она же была... я хочу сказать, я сам удивлен, что вообще опускаю этот вопрос, ведь когда-то меня учили, что это самое главное, а вот я просто-напросто опускаю этот вопрос.

Просто-напросто — это хорошо сказано, Марк Нибур. Ни один человек ничего не опускает просто-напросто, затратив при этом так много слов. Ни один человек, пользующийся столь изощренными оборотами, не вправе считать себя простым. И вот тебе задается вопрос в духе лавочников и как человеку уровня лавочников в доступной тебе форме: врачу ты уже знаешь, та, о которой мы предположили, что она могла зваться доктор Серп или капитан Хедвиг Серп, врачаха эта ведь с тобой так обошлась, что руки-ноги у тебя нынче целые и, может, чуть яснее стало в голове, так скажи нам (а в скобках заметим: мы беседуем на уровне лавочников), так скажи, много ли ты размышлял о делах веры и разных других делах, много ли усилий приложил, чтобы отделить дела веры от женщины, которая позаботилась, чтобы у тебя не сгнили ноги? Никаких усилий? Так-таки никаких? Усматривал во врачихе врача, а в женщине женщину и дважды воспользовался ее добрым отношением и не подумал о делах веры?

Тогда слушай, Марк Нибур, вот тебе наше предложение, но не в духе лавочников: поступал ты так в отношении одной, поступай так и в отношении другой — будь добр, будь любезен, сообрази, это говорим мы, лавочники, и в девочке Ядвиге видеть всего-навсего человека, видеть ни больше ни меньше — видеть человека.

Маленького человека, девочку, которая на пасху в 1934 году получила от бабушки маленький ящичек с грифелями. Ядвига идет в школу, скоро она научится писать, на первых порах грифелем, затем карандашом, далее ученической ручкой и в конце концов даже авторучкой. На первых порах имя мамы, потом имя папы, затем собственное имя Я-д-в-и-г-а, а потом названия предметов и животных, и улиц, и в конце концов всего-всего на белом свете. На первых порах трудно взять в толк, как можно разом держать грифель в пальцах и двигать им, выводить палочки, прямые, и чтоб они доходили дотуда, докуда им доходить положено, и кончались там, где им кончаться положено. Но вот тут-то и начинается чертовщина: теперь нужно грифелем выводить дуги и петли, а буквам, что ты грифелем царапаешь по доске, положено не только походить друг на друга по форме, но быть одинаковой величины. Кто бы мог подумать, что тебе придется написать одно слово много раз в строку через всю доску слева направо и кончить строку надобно на той же высоте, на какой она начата. Этим искусством нужно овладеть на протяжении одной-единственной жизни дважды: первый раз писать приходится на доске, на которой красные линейки дают тебе еще известную опору, а позже на большой доске, на которой никакой разметки уже нет и которая, как кажется, не имеет ни начала, ни конца. Нужно вывести на доске фразу: я должен сидеть тихо! Тут сразу обнаруживается, что у доски нет конца-края, она растягивается бесконечно,

словно с каждой строчкой, написанной тобой, освобождается место еще для десятка строк. Да, это называется «писать», и учитель рассказывает, что дети учатся писать с помощью доски и грифеля, а взрослые пользуются для этого бумагой и чернилами или даже машинкой, и по этим приметам мы знаем, что детям приходится брать разбег, чтобы прыгнуть в гущу жизни. Поначалу нужно чуть отойти назад, если хочешь далеко прыгнуть. Поначалу все мы еще живем словно бы в каменном веке, говорит учитель и смеется, и говорит, что шутит, ведь грифели и доски делают из шифера, а шифер — это же камень, и почти все грифели получают из городка, который зовется Каменберг.

Стоп, остановись, что это ты рассказываешь? Нет, дети, подумайте только, что это Марк Нибур нам рассказывает! Его просили рассказать историю Ядвиги, а он рассказывает свою собственную. Как только он о Каменберге и каменном веке заговорил, так, конечно, уже рассказывал не о Ядвиге, ведь Ядвига — девочка из Варшавы, верно? а там говорят по-польски, верно? а по-польски игра слов из Каменберга и каменного века не получится: в Польше, дети, все будет по-другому.

В Польше многое было по-другому, это мне пришлось усвоить, но много в Польше было и такого, что было у меня на родине. Может, мне и не поверят, но, сделав такое великое открытие, что у Ядвиги Серп был ящичек с грифелями очень похожий на мой, была бабушка, очень похожая на мою, и что о начале ее жизни можно рассказать теми же словами, что и о начале моей жизни, да, сделав это открытие, я впервые действительно преодолел самого себя; судьбой своей ни на йоту не стал довольным, но на две йоты лучше разобрался в ней.

И я занялся тем, что стал вновь оживлять дом, остатки которого я сносил, но ведь я в польском доме по-настоящему никогда не был и всего-то раз побывал в таком, в котором еще жили люди, пришлось мне взять займы людей для моих воображаемых картин там, где мне все было хорошо знакомо.

В Марне не было ни одного дома в семь этажей, и поначалу это обстоятельство затрудняло работу, полет моей фантазии в подобных делах весьма ограничен, однако напомнив себе, что хоть в Марне и не было никакой Ядвиги Серп, но мне удалось разобраться с ее ящичком, я с успехом справился с возникшими трудностями.

Ядвига жила на четвертом этаже, примерно на этой высоте я нашел за газопроводной трубой полуистлевшую крышечку. У Ядвиги была бабушка, ее звали Эльжбетой, а ее отец был бухгалтер. Он, видимо, был человек изысканного вкуса, недаром Ядвига всегда носила белый воротник, обвязанный по краю, а на дверях у них я видел весьма изысканного вида табличку — овальной формы, медную и сверкающую; на ней черными, изящно изогнутыми буквами, схожими с теми, что чернели на крышке, было написано: Мирон Серп. Я никак не мог объяснить себе, откуда я взял это имя — Мирон. Возможно, я когда-нибудь где-нибудь прочел его, и уж наверняка оно пришлось мне по душе, иначе отец Ядвиги не получил бы его. Высокий и худощавый, он был сильным и подвижным, с темно-рыжей шевелюрой, и у его дочери были такие же волосы. С матерью я так близко знаком не был, но она наверняка хорошо стряпала, в прихожей у Серпов всегда дивно пахло.

В квартире напротив жили две древние старушки-сестры, у них на дверях было три цепочки, ходили слухи, что они, еще будучи молоденькими девушками, унаследовали значительную часть богатств торговой конторы по установке телеграфных столбов и с тех пор жили на доходы со всех телефонов в стране.

Над старушками жило семейство Сикорских; детки, как и отец, любили плеваться. По двору люди ходили, поглядывая на окна Сикорских, и если кто-нибудь из ребятни торчал в окошке, так проходящий потираплевался.

На пятом этаже слева жили пожарник в чине капитана и его жена. Капитан не боялся ни огня, ни воды, однажды он снял ребенка с высоченного дерева без лестницы, но руки ему нужны были, чтобы спускаться, и потому он держал ребенка зубами за воротник курточки. Дома он ходил в фартуке, а сапоги его всегда стояли у дверей.

На шестом жили одни Ковальские, с обеих сторон лестничной площадки. Дедушка и бабушка, отец и мать, дочери, дочери, дочери и один братец, тетка и племянники, и невестки, а также какой-то малый, которого звали вовсе не Ковальский, но он уже многие годы спал у них. Кто его знает с кем, говорили соседи.

На самом верху я тоже не все себе ясно представлял. Жил там кто-то, будто бы скульптор, но никто не видел плодов его искусства. Только однажды, когда дети уже ушли со двора, он забрался в песочницу и что-то там сварганил из сырого песка для кумушек, болтавших во дворе, ох как они завязжали, а одна до самой ночи кричала:

— Это, поди, художественная вольность, господин Штеенбек!

Понятно, она не называла его господином Штеенбеком, ведь господин Штеенбек жил в Марне, и «поди» тоже, может, не говорила, но это все мелочные придирки — либо я заселяю дом людьми, либо нет. Тех людей, какие здесь жили, я не представляю себе, и мне приходится обращаться за помощью к Марне.

Ну, конечно, скульптора звали пан Станичек, а сесдка его пускала в ход польские обороты, когда, увидев смелую скульптуру в детской песочнице, кричала о художественной вольности. И хотя форма пожарника-капитана смахивала у меня на шлезвиг-гольштинскую, и хотя, когда речь шла о наследстве сестер, соседей Серпов, я неизменно представлял себе рекламные щиты на родных телеграфных мачтах, и хотя подозрительный малый у Ковальских очень походил на угольщика Блома, что причесывался на прямой пробор, а по воскресеньям носил белый шелковый шарф на черной даже по воскресеньям шее, и хотя некую Ядвигу иной раз не отличить было от некой директорской дочки, с которой некий Марк Нибур, пылая жаром, стоял на холодной мельнице, — я довел свой замысел до конца, я вновь отстроил дом, последние остатки которого расчленял долотом и молотком, я возвел этаж за этажом вплоть до седьмого, возвел его от подвала до крыши и заселил людьми, а одну девочку в этом доме звали Ядвига.

На этот раз я довел свой замысел до конца, что, однако, не осталось без последствий. Когда я отстроил дом и он стал точно таким, каким был на пасху 1934 года, и когда я наряду с этим на пасху 1946 года ломал остатки этого дома, то в один прекрасный день не мог не задуматься над вопросом, что же произошло в промежутке между этой пасхой и той. Как все произошло. С кем и что именно произошло.

Я понимал, что ответа на сей вопрос не знаю, и это бросало меня в жар и холод. Я громил стены, но не знал, когда их закоптило пламя. Быть может, в первую военную осень, быть может, в последнюю, я этого не знал. Я твердо знал одно: в первую ли осень это случилось или в последнюю, огонь разожгли мы. И все, что сгорело, сожгли мы. И все, кто умер, умерли от нашей руки. Минуточку, если человек умирает от чьей-то руки, говорят не о смерти. Тот, кто своей рукой умерщвляет человека, зовется убийцей. Если это не война: на войне его не называют убийцей.

Да, была война, а я был солдатом. В какой-то миг войны.

Я не был в Люблине. Я не знаю никакой Ядвиги. Это первая стена, которую я разрушаю.

Желая иметь доказательство собственной невинности, я долгое время носил при себе треснувшую дощечку, на которой стояло имя некой девочки и название древнего праздника, носил, несмотря на предостережения Эугениуша, и, может быть, именно из-за этого предостережения, до тех пор носил, пока как-то раз при очередном осмотре у ворот часовой небрежно не отобрал ее.

*Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОВЕРСКАЯ.*

*(Продолжение следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,  
доктор педагогических наук

★

## ДИАЛОГ\*

*Заметки о Бенджамине Споке и о современных  
проблемах воспитания*

### 4. РАНГ УЧИТЕЛЬСКИЙ, РАНГ ПРОРОЧЕСКИЙ

Итак, две линии, обусловившие друг друга, составляют высшую меру признания: неопровержимость нравственного учения и «учительство» в самом широком смысле этого слова. То есть степень влияния на умы, степень свершения в человеческих душах нравственного очищения определяется сила авторитета мыслителя. Если это самая высокая мера, то она больше чем в какой-либо иной отрасли человеческого деяния относится и к педагогике, к тем, кто предлагает народу или народам свою систему воспитания подрастающего поколения. В этом смысле такая мера относится и к Бенджамину Споку. Здесь я готов тысячу раз оговориться относительно того, что книги Спока не философичны, носят исключительно педагогический характер и прочее.

Но бесспорно другое: хотел того Бенджамин Спок или нет, а его книги облетели весь мир в сравнительно короткий срок и завладели умами и сердцами миллионов людей. Подавляющее большинство этих миллионов — женщины, воспитывающие своих детей. И поскольку опыт педагогический в своих основных позициях через новые и новые поколения имеет тенденцию к повторению, то мы фактически имеем дело с миллиардами людей. И если еще учесть, согласившись со Споком, да и не только с ним, а со многими учеными мира, что личность, в том числе и будущего мужчины, складывается в первые три года, когда получают развитие или затормаживаются наследственные данные, можно вывести прямую зависимость между материнским воспитанием и структурой общества, его ценностями и способами их утверждения.

Я не знаю, как насчет пророчества, а вот «учительство», на которое могли претендовать великие мыслители, здесь, в Споке, выразилось достаточно определенно и конкретно. Но ведь подлинного учительствования без пророчества не бывает, точнее оно перестает быть подлинным. Когда мы говорим о пророчестве в том значении, каким представлял его Пушкин, а затем Достоевский, мы имеем в виду, выражаясь современным языком, и реальный прогноз и реальную глубину утверждаемых истин. Мы имеем в виду, что эти прогностические мысли не суждения-однодневки, а та неисчерпаемость мудрости, которая, охватывая всю диалектическую сущность человеческого бытия, не может стать дотмой, потому что в самом развитии идеи заложено бесконечное движение к идеалу и само движение обретает ранг истинности, предусматривающей непременно совершенство, изменение.

Две глобальные мировые идеи смыкаются во всей деятельности Спока, во всем его облике, в каждом движении, в каждом утверждении. Это идея судьбы ребенка, его счастья, его самочувствия. И вторая — это идея человечества, идея спасения жизни. Потому Спок и представляется, выделяя две свои главные должности на этой зем-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

ле: «Я буду исходить из своего опыта детского врача, а также противника войны во Вьетнаме». Именно такими словами начал он свое выступление на пленарном заседании международного фестиваля в Артеке. И Спок развивает эти главные свои, глобальные идеи таким образом.

— Я согласен со всеми здесь, — говорил он на конференции в Артеке, — что самой насущной проблемой для всех сейчас является необходимость избежать войны, которая может полностью уничтожить человечество. Но этого нельзя достичь одними желаниями и словами. Эта задача потребует большой преданности и разносторонней деятельности на протяжении многих лет. Основная потребность всех детей — быть окруженными теплом и любовью своих родителей или других воспитателей. В США постыдно мало внимания уделяется обеспечению хорошим уходом в дневное время тех детей, чьи отцы и матери работают вне дома. Если детей воспитывают холодные и подозревающие всех и все люди, то и в детях, в свою очередь, разовьются такие качества. Став гражданами своих стран или их руководителями, они будут бояться и ненавидеть другие народы. Школа может играть решающую роль в формировании у детей дружеского или недружеского подхода. Учителя должны относиться к детям с теплотой и доверием. В мои школьные годы меня учили, что Америка всегда побеждала в войнах потому, что была всегда права (это было задолго до трагедии во Вьетнаме!). Я думаю, что, когда мы даем детям уроки истории, мы должны учить их умению самостоятельного суждения, умению приветствовать те прошлые действия своих стран, которые в ходе истории подтвердили свою справедливость, и критиковать другие. Обобщая все сказанное, я считаю, что школа должна поощрять самостоятельность мышления, инициативность и творческие устремления во всех учебных предметах. Дети, воспитанные в таком духе, вырастут гражданами, которые внесут наибольший вклад в дело прогресса своей страны и всего мира — в области науки, техники и культуры. Я знаю, что школы могут быть могучим средством в воспитании понимания и любви ко всем народам и расам. Школы должны воспитывать отвращение к войне и всем формам насилия. Этим аспектом обычно пренебрегают в Соединенных Штатах частично потому, что у нас не было сражений (или бомбежек) на нашей территории уже больше двухсот лет; в противном случае ужас войны был бы свеж в памяти народа. Другая причина заключается в том, что в США приняты другие виды насилия со времен еще первых поселенцев: насилие против коренного населения Америки — индейцев, а также негров. А в более недавние годы — насыщенные насилием телевизионные программы и кинофильмы, которые изготавливаются по заказу промышленных кругов, заинтересованных в сбыте своих товаров. Исследования четко показывают, что насилие на экране стимулирует в некоторых зрителях стремление совершить реальное насилие, а также понижает всеобщий моральный уровень. Американские промышленные круги поощряли и потворствовали появлению определенных тенденций — например, грубый индивидуализм, жестокая конкуренция в ущерб гуманным ценностям. Это в значительной степени привело к высокому уровню преступности и той легкости, с которой руководители нашей страны втягивают ее в войны и другие менее трагические формы вмешательства...

Мне кажется, что Спок и стал большим педагогом в том числе и потому, что его частная педагогическая и медицинская деятельность сомкнулась с масштабами мировых проблем. Ведь педагогика неотделима от политики. А вопрос, для чего и как мы растим детей, неизбежно выводит и на проблемы государственного устройства и на проблемы взаимоотношений между народами. Но как специфическая область деятельности педагогика имеет дело с предельной конкретностью человеческого бытия: возрастные границы, учение, игра, рост, становление характера маленького человека. Здесь крайне важно восприятие детской целостности, целостности синкретической, которая еще под влиянием опыта, рациональности и распалась на отдельные функциональные звенья. Целостности как гармонии, которая выступает больше чем где-либо как единство различного, где различное обнаруживает себя в детской образности, в детском характере, в детской яркости, в детской самобытности, в детской неиссякаемой энергии.

Книги Спока стали педагогическими бестселлерами, потому что Спок, даже когда говорит об отношении ребенка к еде, сну, одежде, даже когда говорит об особенностях питания, о жирах, крахмалах, сахаре, не утрачивает специфики понимания детскости.

Это не просто доступность изложения, это и та целостность видения, которая через конкретность образа передает необходимый характер отношения к растущему человеку, где всегда присутствуют доброта, смех, игра, поощрение.

Правда, уровень понимания детей, как мне показалось, несколько снижается, когда Спок говорит о детях более старшего возраста. Правда, он и не оценивает, скажем, движение хиппи как абсолютно прогрессивное движение. Но некоторая конъюнктурность (непрененно угнаться за молодежью) так или иначе проскальзывала в его словах. Я не знаю, как для Спока, а для меня многое, что связано с хиппи, олицетворяет противоречие всего устройства жизни и, главное, разобщенность взрослых и детей; догматам поднаторевшей в различных жизненных манипуляциях опытности противостоит полная неопытность, единственным средством борьбы которой становится своя беззащитность, своя безысходность, своя беспомощность.

Нужна поистине вселенская боль, чтобы понять трагизм сэлинджеровского подростка, его одиночество, возможные пути его спасения. А именно для этого и только для этого нужны те высшие человеческие ценности, способные спасти мир, каждую большую душу ребенка. Нужна фолкнеровская гениальность, чтобы услышать детское столкновение с миром, когда одна, всего-навсего одна деталь при взгляде на ребенка вдруг рождает желание писать целый роман. Роман «Шум и ярость» вырос, по рассказам самого писателя, из одной навязчивой картины, которая застряла в его сознании: «...запачканные на пошке штанишки маленькой девочки, которая, забравшись на грушевое дерево, смотрит через окно, как начинаются похороны ее бабки, и рассказывает обо всем, что происходит, своим братьям на земле». Как у большого художника «нравственное» видение влечет за собой картину целую цепь картин, образов, так и у большого педагога синтез одной целостности не является частью чего-то общего, механически сцепленного с другой частью, а неразрывно связан с целыми новыми мирами целостностей, выражающих одну общую, главную доминантную идею личности.

Самая суть писателя, мыслителя или педагога — практика или теоретика состоит в разных способах видения, обнаружения противоречий, источников их зарождения, понимания их как движущей силы, постижения способов предотвращения человеческих трагедий как маленьких («одна детская слезинка»), так и глобальных, когда на краю пропасти оказываются целые человеческие общности. Противоречивый мир подростка обнаруживает себя, казалось бы, в нелепых противоположностях, в раздвоении, выраженном по-детски, детскими способами, которые по нашим взрослым меркам звучат иной раз и не то чтобы как парадоксы, а как пресловутые случайности, которые так и норовишь поправить: вытащить руку ребенка из кармана (а для него это открытие — способ утверждения); сделать замечание: «Ну что ты нарисовал сердце в таком месте?» (а для него это символ, свое самовыражение — как меня воспримут, как я отвечаю? это мой знак «зорро», это мое проявление); сказать как бы походя: «Ну зачем такие обобщения?» (а для него это мера и способ отслоения себя от пошлости, фальши, к которой он еще вчера был припаян намертво, а сегодня взбунтовалось его подсознание, он еще не осмыслил все до конца, но ему так хочется сделать решительный шаг, ему он необходим, иначе конец, иначе нет выхода).

В сэлинджеровском подростковом действительно две лейтмотивные детали, фразы, два начала, которые образуют его двойственность, его нравственный идеализм, его искания. Первая — «нельзя было (ее, его, их) не пожалеть». И вторая — когда он надел знаменитую охотничью шапку задом наперед и крикнул что-нибудь в таком роде: «Спокойной ночи, кретины!» — или: «Сними с меня свои вонючие коленки!» — или: «Все равно ты кретин, слабоумный идиот, сукин сын!» И повсюду эта шапка, этот, как заметил американский критик Макссуэлл Гайсмар, талисман мятежа и созидательности. Эта шапка натягивается на голову и когда мальчишка плачет, и когда надо писать сочинение, и когда он задумывается о несправедливом устройстве жизни. Эта шапка предельно приближает нас к детской взволнованности, объясняет особый мир детского раздвоения, как бы подчеркивает удивительность чистоты и возможность падения, норму и ненормальность, взлет и крушение. Как в одном из романов Мориака хрустнувшая веточка под ногами подростка превращается в тот запоминающийся образ, за которым стоит все (нравственные проблемы, несправедливое устройство мира, гибель-

ность звериной бесчеловечности), превращается и становится объяснением раздвоенности мира,— так и названные детали становятся символами-образами, объясняющими трагичность детского бытия.

У литературы, как и у педагогики, предмет один — человек, его мир, его противоречия, его радости и тревоги. Кроме того, педагогика нынешняя, как наша, так и зарубежная, допускает порой одну и ту же ошибку; не использует в качестве метода анализа детской жизни художественное обобщение, в котором целостно, нерасчлененно передается типичность тех или иных состояний детства. Грустно, что слово «эмпирическое» в значении педагогической конкретности стало чуть ли не ругательным, а проблема влияния личности воспитателя на душу ребенка считается некой второстепенной прибавкой на том основании, что наука будто бы исследует не личностные влияния, а «работу голых методов, средств» и прочее. Это пренебрежение к подлинно человековедческим проблемам воспитательного процесса лишает педагогику полноты жизни, яркости и образности передачи подлинных процессов, которые совершаются в общении взрослых и детей. И объясняется это двумя причинами. Первая — невежество, нежелание и неумение разобраться в природе детства. И вторая — увлеченность схемами, неизбежно превращающаяся в наукообразие и схоластику.

В педагогике органично соединено масштабное и то малое, которое составляет суть жизни человека. И близкое — то, что непосредственно формирует. И далекое — то, что является гарантией тех или иных условий жизни — политических, экономических, трудовых, эстетических. И эта масштабность непременно проходит через тончайшие капилляры «малого», через зауженность близкого, через психологические механизмы развития личности.

Я обратился к элинджеровскому герою не как к удобной пропагандистской схеме, а как к типичному психологическому состоянию подростка. Подростковый максимализм не вообще характерная черта детей старшего возраста, а скорее тот рубеж, через который по разным причинам проходит процесс взросления человека. Ребенок, оказавшись на этом рубеже, ведет себя по-разному, и педагогу необходимо угадывать появление этих опасных состояний. Конечно, эти состояния в разных социальных условиях проявляются специфично и могут приводить либо к полнейшему краху личности, либо к нравственно-эмоционально-эстетическому подъему всех сил растущего человека. Как бы то ни было, а психологическая закономерность эта подмечена и психологами, и педагогами, и литераторами. Таким образом, обращаясь к литературным героям, педагог оказывается более вооруженным и психологически и эмоционально.

Я давно обратил внимание, что воспитатель как личность нередко правильно воспринимает литературного мальчонку, проникается его заботами, тревогами, радостями. Но видя такого же ребенка в жизни, относится к нему по-иному. Кто из преподавателей литературы не сочувствовал, скажем, дубовскому беглецу, у которого и двойки, и конфликты в семье, и бродяжничество? И сколько в жизни таких ребят стояло в учительских и как те же педагоги-словесники отчитывали детей, не верили их искренним доводам, ибо один вид не внушал доверия, пугал, отталкивал: пуговицы оборваны, брюки в грязи, ссадины на руках... И весь он, этот мальчуган, полон злобы, нетерпения — ах, как это все раздражает порой педагогическое «я». Я не помню класса и школы, где бы не было такого максималистски настроенного мальчишки. Точнее, там, где их не было, жизнь детского коллектива превращалась в тошнотворную скуку, а дисциплина вырождалась в отвратительно смиренное послушание, когда любая несправедливость принималась как должное, замалчивалась, утопала в безразличии. Я недавно встретился со своим воспитанником Леней Сомовым. Как его несло в свое время на вершины максималистских рубежей, как он стал обвинять ребят, педагогов, родителей — все не по правилам, все нечестно, все кретины, идиоты, полудурки. И девочки такие хитрые бестии, и товарищи такие ничтожества, и педагоги — им палец в рот не клади: обманут, предадут, используют в своих личных шкрабовских целях!

В эти мгновения бушующего подросткового отрицания будто взрывается вся энергия человека, накал страстности появляется такой, что готов уничтожить и других и себя. Как снять это состояние? Как помочь? Как прийти на помощь ребенку? Загонять энергию внутрь — все равно что пытаться приостановить пулю из выстрелившего ружья! И эта же энергия, только что казавшаяся губительной и разрушительной, варует,

если ее направить вовремя, становится созидательной силой, тем единственным скрепляющим материалом, без которого не может быть становления ни коллектива, ни личности.

Я бы таких ребят, как элинджеровский Холден, как Леня Сомов, назвал бы деясками — это они были стражами справедливости, они добивались хороших результатов в учении, спорте, в организации детской жизни. Благодаря их энергии, вспышкам их подросткового максимализма жизнь превращалась в ликование, в систему нежных прикосновений, снимающих любую боль. Если всего этого педагогу не понять, не почувствовать, то палитра педагогического искусства неизбежно превратится в нагромождение шлака, ее шершавость затруднит «производство» чистых, звенящих тонов, оттенков, переходов, нюансов.

Почему я, собственно, завел речь об этом? Ведь Бенджамин Спок, детский врач, преимущественно занимается дошкольным воспитанием, связанным с медицинским уходом за ребенком. И можно было бы ограничиться именно его установками в русле этой его специфической и, не побоюсь этого слова, технологической проблемы ухода за ребенком. Почему я непременно должен был увидеть в этом здоровом гиганте некоторую надломленность хрупкой и нежной души Корчака? Тонкость прикосновений Песталоцци или Руссо, бережность и трепетно-нежное отношение к душевной гармонии Сухомлинского? При чем здесь Спок? Я уже уяснил для себя, что он совсем другой. И его надо принимать таким, каков он есть. Зачем я ищу и непременно жажду увидеть то, что мне лично больше всего импонирует? Кому нужен этот субъективистский мой произвол? Может, меня задела его этакие реплики, которые жестко очерчивали своеобразный водораздел между нами, между моей психологией и его, между его счастливостью и моей уверенностью в том, что обретение этой счастливости есть тот предел, который рано или поздно обозначит разрушение человека, духовную смерть?

Нет, я совсем не хотел обидеть Бенджамин Спoка, когда стал говорить, точнее подчеркивать, то, что природа доброты определяется и классовой структурой общества и характером распределения благ. Вообще я старался как бы наводящими вопросами говорить в унисон с человеком, который открыто выступает против той системы, в которой живет.

— Я не знаю, как вы себе представляете капиталистов? — несколько с раздражением спросил Спок. — Я тоже принадлежу в какой-то мере к этому миру. Когда говорят о жестокости капиталистов, допускают некоторые искажения. В личной жизни капиталисты не жестоки. Они любят своих детей, семью. Дают детям уроки музыки, помогают лечить зубы. Глава династии Дюпонов был большим другом матери моей первой жены. И он постоянно искренне говорил о любви к своему шоферу. Но в то же время вел яростную борьбу с профсоюзами, которые боролись за улучшение положения рабочих «Дженерал моторс». Эти люди относились к рабочим как к пиявкам. И это представление о рабочих как о пиявках сложилось потому, что они очень далеки от них. Многие социологические исследования подтверждают то, что у людей легко вырабатывается чувство страха по отношению к тем, кого они плохо знают.

Мне трудно определить, что Спок имел в виду, когда заметил, что это очень хорошо, что Артек пригласил к себе в гости и его, Спока, и многих других. Но его заключительная фраза: «Мы такие же, как они, как все» — прозвучала для меня так: «Многие капиталисты не едят наши враги».

И Спок пояснил:

— Если бы приехали несколько миллионов американцев в Советский Союз, не стал бы развиваться в США такой предрассудок, как антисоветизм. А что касается капиталистов, то их ценят по той прибыли, которой они добиваются. И эта погоня за прибылью заслоняет им возможность видеть народ, улучшать его жизнь, медицинское обслуживание, образование.

Почему для меня важно было разобраться в идейных позициях Спока? Да, я писал и раньше о противоречиях Спока, чья добрая система вошла в противоречие с существующей системой жизни. Но это же и так понятно вроде бы. Тогда в чем же дело? Почему я так мучительно стараюсь докопаться до тех глубин, которые мне не могут быть понятны в силу самых разных причин? Я это четко осознаю и все-таки лезу за своим, за тем, что меня больше всего тревожит, — за философским нутром этого чело-

века, который как педагог мне в чем-то очень и очень импонирует и в котором все же есть те издержки всего прагматического уклада его страны и те недочеты, истоками которых являются его философские и психологические установки. Сила Спока в оригинальности его противоречий. Он всем ходом своих суждений утверждает коллективизм как главное звено в воспитании (я ниже поясню, почему вопреки Споку я сделал такой вывод). И он выступает против коллективизма по исключительно политическим соображениям. Он за развитие личности всестороннее и гармоническое. И отлично понимает, что оно невозможно в обществе неравенства. Он ратует за процветание сознательности и ориентируется на фрейдовское подсознание. Он ратует за воспитание уважения к учителям и родителям, и он же призывает, когда это необходимо, сопротивляться установкам учителей и родителей. Он борется за самостоятельность детей, за полную самостоятельность. И он апеллирует к твердому руководству, без которого не может быть воспитания.

Все это чистая философия. Сложная и противоречивая. И о ней я намерен рассказать в следующей главе.

### 5. ВОСПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Перечень противоречий Спока можно было продолжить. Собственно, своими противоположностями он и интересен, ибо они то единство, где одна грань как бы высвечивает лучшие достоинства другой грани, где как бы два взгляда на одно и то же явление образуют ту целостность, без которой не может существовать человеческая мудрость. В нем сочетается уважение к старым добрым традициям народа с пониманием молодежи, ее ценностей, юнисекс (равенство полов) — с пуританством, жестко разделяющим границу между полами. Авторитетами для него являются, казалось бы, разные мыслители — Джон Дьюи, выдвинувший формулу «воспитание в государстве, через государство, для государства», и Зигмунд Фрейд, пытавшийся через глубинные потоки подсознания приблизиться к решению в том числе и социологических проблем личности. Его педагогические интересы замыкаются масштабами страны, мировых проблем и самыми микроскопическими повседневными заботами типа — как научить детей пользоваться горшком, чтобы это «учение» воспитывало личность. Постоянное его обращение к образному и логическому делает его доступным, интересным, увлекательным. Его примеры рельефны, трогательны, обаятельны. Новорожденный, который в первые дни не решается взять грудь, прозван им «волокитчиком»; не настаивайте, советует он матерям, у волокитчика своя манера: ребенок ждет, когда придет молоко. Если вы его будете подгонять, он заупрямится. Подождите спокойно — и он возьмет свое. И другой тип ребенка — «лакомка». О, этот сосет первую каплю, будто дегустируя, наслаждается, причмокивает, смакует; не надо его торопить! И третий — «впечатлительный»: неистов в своем возбуждении от соприкосновения с грудью, он будет все время отпускать сосок и плакать, переживая утрату.

С первых дней формируется характер человека. А что потом? Когда образуются вдруг те отношения, которые могут привести к дисциплине «в наручниках», к тирании взрослых и детей, к взаимной вражде? Спок с последовательностью терпеливого методиста учит тому, какой должна быть настоящая дисциплинированность. Нет, если отец умывает руки, сваливая заботы о дисциплине на мать, это неверно. Практика ясно показывает, замечает Спок, — если отец спускает сыну любые проступки, не вмешиваясь в его воспитание, то сын боится отца гораздо больше, чем тот ребенок, чей отец не колеблясь останавливает плохое поведение ребенка и не боится показать свое возмущение, если оно оправданно. В последнем случае ребенок расплачивается за свои плохие поступки. Это хоть и неприятно, но не трагично. Сыну, как и дочери, нужен отец, со своей мудрой строгостью, силой, обаянием.

Нет, Спок не «божий одуванчик», каким его представляли некоторые публицисты Запада. Его «позволительность» и терпимость рационалистически взвешаны. Иногда разрешайте ребенку повозиться с грязью, замечает Спок, и это занятие может стать источником познания мира: дети обожают копаться в песке, плескаться в воде, сжимать в руках грязь. Эти воспитательные вещи обогащают душу, согревают, делают их добрее, так же как музыка или любовь делают добрее и взрослого человека.

Музыка и грязь — вот какой неожиданный поворот. Через прикосновение к теплоте предмета, даже если эта грязь испачкает одежду, к образованию и накоплению комфорта душевного. И не беда, если ребенок испачкает новые штанишки, — то удовольствие, которое он испытал, важнее для роста. Не будет таких минут, не будет счастья. Будет изломанная психика. И снова оговорки: «Не думайте, что я призывал вас к тому, чтобы вы смотрели сквозь пальцы на любое занятие, которое придет ребенку в голову. Но если вы должны его остановить, то не пугайте его и не вызывайте отворачивания. Если он хочет делать куличики из песка, когда он нарядно одет, заставьте его переодеться в старую одежду. Если он нашел старую кисть и хочет красить стены, дайте ему вместо краски ведро воды и попросите «выкрасить» стены в ванной. Поощрение и деятельность, самостоятельность и радость, труда и увлеченность, коллективизм и доброта — вот что противостоит дисциплине «в наручниках», дисциплине авторитарной.

Конечно, если бы Спок проповедовал только твердость или поставил бы своей целью возвести в абсолют ту жесткую бескомпромиссность требований своей матери, вряд ли он был интересен миллионам читателей всего мира. Успех Спока, на мой взгляд, как раз и состоит в соединении принципа доброго отношения к детям с мудрым и точным руководством.

Я еще и еще раз просматриваю его знаменитую книгу, дважды изданную у нас в стране, и убеждаюсь в том, что идея дисциплинирования, идея твердого, мудрого, основанного на знании психологии, медицины, педагогики руководства, действительно соединена и с глубоким уважением к самостоятельности детей, и с разумным предостережением свободы ребенка с самых ранних лет.

В моей голове вертится мысль сказать Споку, что я готов внести некоторые уточнения для советских читателей в трактовку его педагогической линии. Я боюсь напрямую задавать вопрос Споку, уступал он или не уступал жестоким обстоятельствам, по двум причинам. Во-первых, Спок уже неоднократно мне и другим подчеркивал, что ни на какие компромиссы с педагогами-авторитаристами не шел. А во-вторых, после того как я воочию увидел прямолинейность Спока (он мог резко сказать кому-нибудь: «Это нелепый вопрос!» — или: «Это банальная постановка проблемы!»), мне нарваться на такого рода ответы просто не хотелось. Я заметил и другое: Споку нравились те вопросы, которые исподволь вели к раскрытию внутренних пружин педагогического творчества. И если это случалось, то он сиял и скрупулезно и бережно подхватывал линию собеседника и не жалел своего, в общем-то, очень и очень регламентированного времени для разъяснений. Поэтому я и приступил к выяснению мучившего меня вопроса не то чтобы совсем издалека, а как бы избрав несколько нейтральный маневр.

— А что это за термин «пермиссивизм» появился в американской педагогике? Откуда он взялся? Что он означает?

Спок, конечно, понял мой ход и, как мне показалось, оценил.

— Этот термин употребляют в двух значениях, — сказал он. — В значении предостережения детям свободы для раскрытия их данных, то есть фактически для обозначения свободного воспитания. И второе значение, уже с отрицательным оттенком, — вседозволенность.

Со Споком легко говорить, потому что он излагает не только самого себя; он слушает собеседника, старается его понять. Он всматривается в твои глаза, и ты ощущаешь, что он понимает тебя, знает, чего ты ждешь от него. Вот и теперь во время этой последней нашей беседы он, в общем-то схвативший мою линию разговора, отвечает мне напрямую на тот вопрос, который вертелся в моей голове, но который я не решался задать.

— Я никакого отношения к пермиссивизму не имею и иметь не хочу. Я никогда не был сторонником пермиссивизма. В течение двадцати лет я доказывал то же, что доказываю и сейчас, и ни разу никому и в голову не пришло обвинять меня в проповеди вседозволенности. Но стоило мне выступить против войны во Вьетнаме, как меня тут же обвинили в том, что мои книги испортили молодежь. Им нужен был козел отпущения, чтобы, обвинив кого-то, прикрыть себя, объяснить людям причины социального кризиса. Во время избирательной кампании мэру города Чикаго Ричарду Дейли был задан вопрос, почему не создано достаточных условий для развития народного образова-

ния. Сегодняшняя американская школа плохо учит детей. «Дело не в школе,— ответил Ричард Дейли.— В том, что школа плохо воспитывает, виноват Спок».

Особую неприязнь у Спока вызывает известный политический мракобес Спиро Агну, в свое время возглавлявший «охоту на ведьм» в Америке.

— Во время избирательной кампании одним из своих пунктов борьбы со мной,— рассказывает Спок,— он выдвинул обвинение меня в пермиссивизме, в том, что я испортил все молодое поколение Соединенных Штатов. Слава богу, что меня еще никто не обвинил в том, что я своей книгой испортил самого Спиро Агну: он достаточно стар, чтобы воспитываться в духе моих принципов.

Противники Спока, не находя психолого-педагогических аргументов, с чисто демагогических позиций пытаются перевести компрометацию Спока и его педагогику в русло идеологии, обвиняя Спока в политических просчетах, в антиамериканской деятельности. Ратуя за твердый порядок, американские педагогические авторитаристы стремятся дискредитировать великие гуманистические идеалы: воспитание добротой, развитие детской самостоятельности, инициативы и творчества, социалистическую направленность воспитания и образования в условиях капитализма.

Примечательно, что утверждение авторитарных принципов (больше бездумных требований, наказаний, безоговорочное послушание, управление и манипуляция душами в интересах хищнического государства) связано, как правило, с антисоветизмом, с критикой коллективистской природы формирования личности.

Мне важно разобраться в исходных философских позициях Бенджамина Спока не только для того, чтобы прояснить для себя природу его педагогических взглядов, но еще для того, чтобы определить более широкие проблемы и пути подхода к их разрешению. Здесь, хотим мы этого или не хотим, мы вступаем в область идеологическую, в область перехода педагогики в политику.

Мое отношение к Споку, как и многих советских людей, определено теми интернациональными установками, которые бескомпромиссно диктуют только один, безальтернативный вывод: солидаризоваться со всеми прогрессивными силами мира, выступающими открыто за социализм, за утверждение коммунистических идеалов. Если мы не со Споком, то с кем мы, против чего, за что мы? если Спок с нами, то каким оптимальным образом мы должны поддержать его? — это вопросы политической позиции в такой идеологической науке, как педагогика.

Вряд ли в усложнившихся формах идеологической борьбы можно огульно, оптом, как это делают некоторые педагогические теоретики, клеймить всех западных мыслителей на том основании, что они территориально проживают там, где правит капитал, или по той лишь причине, что ведут иной образ жизни: пользуются благами буржуазной, а не социалистической цивилизации.

## 6. ВОСПИТАНИЕ И НРАВСТВЕННЫЙ ДЕСПОТИЗМ

Спок — прагматик. Но его прагматизм, основанный на здравом смысле и на человеческой мудрости трудовой Америки, разумен. И поскольку вся антиавторитарная направленность Спока связана с отрицанием и существующей системы эксплуатации, и политической лжи, и экономической структуры американского общества, то общая гуманистическая позиция четко просматривается в любом, казалось бы, прагматическом объяснении метода или приема.

Спок — ниспровергатель тех «ценностей», которые против человека. Поэтому его гуманизм действен. Гуманизм — его идеал, его вероисповедание. Конечно же, я много не узнал о Споке, но, зная общую направленность прогрессивной, гуманистической педагогики Запада, склонен был сделать вывод, что у нас есть и должны быть точки соприкосновения в трактовке в особенности частных приемов воспитания. Я заговорил со Споком о Сухомлинском, о его идеях. Спок заметно оживился.

Я не берусь сравнивать идеи Сухомлинского и Спока, это во многом разные педагоги. И разные аспекты у них, разное поле деятельности. Один — директор школы, другой — детский врач. Но у них много общего, поскольку и Сухомлинский и Спок вобрали в себя те прогрессивные ценности, которые всегда были дороги человечеству в борьбе против различных форм дегуманизации воспитания. Общее у них в том, что

оба создали хорошие педагогики. И, конечно, сам факт, что в Соединенных Штатах Америки оказался такой прогрессивный мыслитель, как Спок, примечателен еще и тем, что политические взгляды Спока как бы перекрещиваются с его педагогическими установками. Он любит нашу страну, наших детей, наши принципы воспитания. Он постоянно подчеркивает, что сожалеет о том, что в Артек — для него это маленький социалистический лагерь — приехали не 32 миллиона американских школьников, а всего лишь 32 подростка. Спока невозможно было оторвать от детей: он всматривался в их лица, играл с ними, спрашивал, отвечал на вопросы, трогал руками. Он органично вписался в это удивительное королевство детской радости. Его мажорная педагогическая линия как бы нашла для себя благодатную почву в среде общительных, доверчивых и открытых ребят из нашей страны и социалистических стран, стран Африки и Азии. И, как и следовало ожидать, его тянуло к вьетнамским детям: высокое интернациональное чувство Бенджамина Спока сливалось с его добрым пониманием детства. Я невольно для себя сравниваю педагогические интонации Спока и Сухомлянского. Мне особенно дорога грустная глубинно-нравственная позиция последнего (научить ребенка видеть в чужих глазах не только радость, но и горе, одиночество, безысходность, научить ребенка любить детей, маму, папу, бабушку, дедушку, свой родной дом, свою родную землю), его ориентация на воспитание таких качеств, как сочувствие, сострадание, соучастие, сотрудничество, его постоянные апелляции к человеческой совести, к индивидуальным ее границам, к бескомпромиссности нравственных норм.

Рассказывая о своем эксперименте в Риге и в селе Прелестном, говорю об этом Споку.

Он переспрашивает:

— Как? Научить любить? Разве это возможно?

— А разве нельзя научить?

— Конечно, нельзя научить, потому что ребенок сам через свой опыт должен приобрести эти свойства.

— Правильно. Главную марксистскую формулу можно было бы сформулировать так: «Человек является творцом и своего собственного воспитания и самого себя».

— Это марксистская формула? — спрашивает Спок: ему очень пришлось по душе это положение.

— Педагогическая авторитарность как раз и начинается там, где на этом отправном принципе ставится крест. Все реакционеры всех времен и народов были сторонниками авторитарного воспитания. Что думает по этому поводу мистер Спок?

— Похоже, что так.

И Спок рассказывает, как он прочел одному своему противнику слова о том, что нельзя судить о воспитанности по тому, как ребенок ест или сидит за столом, на что этот сторонник жесткого воспитания подметил: «Вот с этого как раз и начинается распушенность и безнравственность». Спок смеется и продолжает:

— Тогда я сказал, что эти слова принадлежат Сократу. Но для него Сократ не авторитет.

— Сократа ведь тоже в свое время обвиняли в перmissивизме, в том, что он испортил молодое поколение.

Спок доволен случившейся аналогией.

Мне очень хочется поделиться со Споком тем, что психологические корни авторитарности таятся в чрезмерном честолюбии взрослых, в абсолютизации своей власти, в непонимании прекрасной природы детства. Но Спок будто почувствовал мое намерение, сам заговорил примерно об этом.

— Эти люди (имеет в виду авторитаристов) сами в чем-то неполноценны. Ведь этот Спиро Агню, как выяснилось потом, оказался аморальным, бесчестным человеком. Для таких людей, как Агню, беспринципность — норма поведения. Они видят в каждом ребенке потенциального преступника, потому что сами являются сформировавшимися преступниками. Они подсознательно завидуют молодежи. И этот мотив зависти приводит их к агрессивным выступлениям против любых честных действий молодого поколения.

Меня поразила эта мысль о зависти авторитаристов к молодому поколению. Это интересное, хотя совсем не новое объяснение причин и источников авторитарности.

Аналогичную мысль высказывал и Лев Толстой, подвергая критике существующие в царской России методы воздействия на детей.

«Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму,— писал он,— воспитание есть я не скажу — выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли и потому не могущее быть положенным основанием разумной человеческой деятельности — науки.

Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам (стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость,— чувство зависти, возведенное в принцип и теорию). Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным».

Стремясь как-то подытожить беседу, я задал Споку вопрос в несколько развернутой форме:

— Гуманистическое воспитание противоречит капиталистической системе. Реакционеры всех видов — фашисты и неофашисты, милитаристы и эксплуататоры — заинтересованы в воспитании частичного человека, функционера, всесторонним образом приспособленного к системе. Это, в общем-то, вы показали довольно обстоятельно. Но есть еще и другая сторона — психолого-педагогическая. Как воспитывать сильную личность, практического, целеустремленного человека, способного противостоять злу, обеспечить свою семью и воспитание детей? Как преодолеть авторитарность в поведении воспитателя?

Я узнаю о том, что Бенджамин Спок интересуется проблемами преодоления авторитарности не только в семейном воспитании, но и в условиях школы и, если можно так сказать, во внешкольной работе. Его старший сын Джон (ему сорок четыре года) — директор уникального детского музея игр в Бостоне.

— Это такой замечательный музей, где на детей никто не кричит, где ребяташки могут все трогать руками, скажем залезть в вигвам и смолоть муку из кукурузы, как это делали аборигены,— поясняет Спок.— Вот этот антиавторитарный принцип должен пронизывать все воспитание и в школе и вне ее.

И мы начинаем говорить о некоторых нюансах преодоления авторитарности, не все же объясняется структурой общества, есть еще и общие психологические правила, основанные на законах развития детства.

Порой действия педагога-авторитариста, замечая я, внешне нелегко отличить от подлинного мастерства, гуманного в своих целях, результатах, способах их достижения. Эта трудность кроется не только в изощренности почерка авторитариста и даже не в блистательной манере исполнения педагогических приемов. Трудно распознать авторитарную технологию еще и потому, что авторитарист-виртуоз все усилия направляет не на демонстрацию своей силы, а на то, чтобы скрыть ее. Там, где подлинное мастерство мучительно ищет ответа на вопрос, какое действие лучше применять, чтобы поднять человека, авторитарист решает просто и быстро. Ведь куда легче разрушить, смять, принизить. Для педагога-авторитариста система отношений подобна тонкой и прочной сети, которую даже не он, а сами дети набрасывают на себя. Он руководит этим процессом самозапутывания. Если подлинный мастер все время думает над тем, чтобы система отношений способствовала развитию задатков и способностей ребят, творческих созидательных сил в детском коллективе, утверждению высших форм жизни в нем, то педагог-авторитарист до предела сужает сферу самостоятельной деятельности, поощряя лишь ту, которая способствует утверждению авторитаризма, бессловесному послушанию, разобщению в среде детей.

Если активность и самостоятельность ребят развиваются с авторитарных позиций, то это «развитие» очень скоро приведет их к тому, что они или откажутся от общественной активности, утратят веру в высшие ценности — в солидарность, подлинный коллективизм, в коммунистические идеалы,— или будут использовать эту активность в самых низменных целях. Авторитаризм — смертельный враг детской самостоятельности.

Преодоление авторитарности — одно из главных условий научного, подлинно авторитетного педагогического руководства. И здесь главное — высокая культура педа-

гога, его способность выработать в себе четкое, не допускающее никаких отклонений, примесей, опозлений, искажений научное педагогическое мировоззрение, и в частности позицию в подходе к детской самостоятельности и своей роли как педагога в этом процессе. Суть этой позиция в том, чтобы всегда уметь различать передовые идейные и нравственные силы, пятать их, делать все для их утверждения и развития (и эти силы всегда есть в детском коллективе, в педагогическом коллективе, в нас самих, в окружающей школу социальной среде). В том, чтобы неустанно обогащать самыми прогрессивными социальными элементами содержание жизни детей, находить, стимулировать самые высокие формы отношений. Таким образом, заключаю я, единственный способ преодоления авторитарных элементов — это широкое развитие демократических начал, воспитание гражданственности и человечности. Только при таких условиях может вырасти хороший семьянин и хороший гражданин.

Бенджамин Спок соглашается с моими доводами и приводит пример в пользу гуманистического воспитания:

— Я служил во время войны в морском флоте в качестве доктора-психиатра. Наши главные усилия направлены были не на избавление людей от страха, а на выявление людей, подходящих к службе в этом трудном роде войск. Два года у нас ушло на то, что мы выявляли мелких преступников, которые всегда были и плохими солдатами. У них не было ответственности ни перед флотом, ни перед родиной. Хорошими солдатами оказывались те, что были и хорошими гражданами, семьянинами, добрыми людьми, которые приобрели ранее опыт уважения и к своим учителям и к своим родителям.

Сильная личность, по Спок,— это те парни, которые и сейчас выступают против войны, которые и сейчас борются против дискриминации цветного населения, борются против любой социальной несправедливости.

Конечно, эта борьба сложна, поскольку молодежи надо выступать и против своих близких, родных, знакомых: очень многие родители были возмущены своими детьми, отказавшимися служить в армии, чем испортили себе карьеру.

— Какой же выход? — спрашиваю я.

— Менять надо всю систему,— отвечает Бенджамин Спок.



---

# В МИРЕ НАУКИ

А. МАЛИНОВ

★

## 160 МИНУТ И... ВСЯ ЖИЗНЬ

«**У**ченые больше не знают, почему светит Солнце. Советские и британские астрономы, а в Америке — физики, разными путями пришли к одному и тому же заключению: существующее представление о том, что в ядре Солнца миллиарды лет идет термоядерная реакция, возможно, неверно». Примерно так года два назад писал не только западногерманский «Шпигель», но и многие другие газеты и журналы мира, сообщая читателям об одной из самых неожиданных научных сенсаций наших дней. Постепенно в орбиту споров и догадок втянулись не только признанные авторитеты — астрофизики и физики разных стран, но и люди, далекие от научных забот, что, впрочем, объяснимо. Любой кризис в любой сфере деятельности никогда не оставлял человека равнодушным.

Эта история примечательна не только как пример бесконечного разнообразия загадок природы, о чем она в очередной раз напомнила нам, но и как пример ее скрытого могущества и величия. Происшедшее, признаем это, в значительной степени приободрило всех сомневавшихся в непогрешимости теории «термояда».

### «НИЧЕГО НЕТ БОЛЕЕ ПРОСТОГО...»

Одним из признанных авторитетов в области теоретической астрономии в 20—30-х годах считался англичанин Артур Эддингтон, ученый энциклопедических знаний, громадной трудоспособности. Многое ему удалось совершить впервые. Это ему принадлежит честь открытия определяющего для звезд закона «масса — яркость». Это его мысль, что в недрах звезд атомы в большинстве случаев ионизированы. Это ему удалось предложить одну из оригинальных гипотез, объясняющих феномен разбегания галактик. Все это — из разряда истин — и многое другое, теоретически надежно обоснованное и экспериментально подтвержденное, позволяет назвать его классиком астрофизики. И ему же принадлежит сакральная фраза, ныне ставшая дежурным афоризмом и в серьезных монографиях и в популярных журнальных и газетных статьях: «Ничего нет более простого, чем звезда». Популяризаторы с удовольствием обыгрывают легкость написания этой фразы. И значительно реже пытаются ответить на вопрос: а были ли основания в то время написать иначе?

Древние мыслили о Солнце просто, а потому поэтически прекрасно. Солнце — оно живое, сродни дракону, дышит огнем, и ежедневно это существо борется с немислимыми чудищами, но выбирается из своих подземных галерей, чтобы принести людям светлый миг восхода.

Первую попытку представить Солнце физическим объектом сделал Анаксагор. Еще две с половиной тысячи лет назад он утверждал, что Солнце не бог, не что-то живое, а просто... раскаленный камень величиною с Грецию.

За свою многовековую историю астрономия накопила немало гипотез о природе Солнца, но ни одна из них не выдерживала сравнения с элементарными измерениями поступающей на Землю энергии. Были отвергнуты химические реакции горения —

смесь даже высокооктанового бензина и чистого кислорода сгорела бы за сотню лет. Гипотеза о выделении энергии за счет падения метеоритов требовала такого прироста массы нашего светила, что каждый следующий земной год укорачивался бы на две секунды. Многовато, мягко говоря, чтобы не быть замеченным даже астрономами прошлых веков. В середине XIX века Гельмгольц и Кельвин предположили, что звездные газовые шары, сжимаясь под действием гравитационных сил, нагреваются. В принципе это возможно, но такой источник иссяк бы через несколько десятков миллионов лет. И это при условии, что когда-то Солнце было «раздуто» до диаметра с орбиту Земли и «сжалось» за эти миллионы лет до своего нынешнего размера. Уже тогда было ясно, что Солнце живет неизмеримо дольше — миллиарды лет. Об этом надежно свидетельствовали данные геологии и палеонтологии. Не могут же, в самом деле, звезды, эти гигантские сгустки материи, прожить меньше, чем Альпы, Кавказ, другие молодые горы.

Особое место в эволюции представлений об энергетике Солнца принадлежит гипотезе Джинса о радиоактивном распаде внутри нашей звезды неких сверхтяжелых элементов. В итоге и эта идея оказалась несостоятельной, не выдержала сравнения с расчетами. Но то была первая мысль, что источник энергии звезд надо искать в глубокой структуре материи.

Начинался XX век. Время глубоких перемен в науке вообще и особенно кардинальных в физике. Ревизовались, казалось, намертво доказанные положения. Классическая картина мира была заменена более общей — квантово-релятивистской. Структуру и поведение материи удалось понять с помощью квантовой теории, а физические свойства пространства — времени объяснила общая теория относительности.

Многочисленные исследования по физике ядер и элементарных частиц дали немало плодотворных идей и для построения энергетических моделей Солнца. Разрыв между расчетами и наблюдениями становился все менее заметным. Когда же было экспериментально установлено, что главные «строительные кирпичики» Солнца почти на все сто процентов — водород и гелий, до представлений о солнечном термоядерном котле остался один шаг. Уже тогда было известно, что при слиянии ядер водорода (протонов) образуются ядра гелия. При этом должна освобождаться так называемая энергия связи протонов вроде бы вполне достаточная, чтобы закрыть энергетические бреши в расчетах теоретиков.

Одним из первых идею о термоядерной природе источников звездной энергии выдвинул А. Эддингтон, но пойти дальше он не мог: теоретическая физика еще не знала всех возможных реакций синтеза, не представляла хотя бы приблизительно конкретных условий — величин давлений и температур, достаточных для реализации термоядерного цикла. Честь выполнить эту работу, трудоемкую и безусловно новаторскую, принадлежала немецкому физико-теоретику Хансу Бете. «Выделение энергии внутри звезд» — так называлось его исследование, замысел которого возник у Бете на узкой теоретической конференции, созданной Георгием Гамовым и Эдвардом Теллером весной 1938 года в университете Дж. Вашингтона. Сам автор этого столь знаменательного в истории астрофизики исследования вспоминает: «Это была одна из самых увлекательных проблем, над которыми я работал. В Вашингтоне происходила маленькая конференция, организованная департаментом земного магнетизма. На этой конференции астрофизики рассказывали нам, физикам, что такое звезды, как они устроены, каковы распределения плотности и давления в них и т. д. А кончили вопросом, откуда же берется энергия. Все, конечно, были согласны, что энергия берется из ядерных реакций, но из каких?»

Нелегкую задачу в действительности поставил перед собой Бете. Дело в том, что гелий может образоваться при слиянии протонов не вдруг, а лишь в результате долгих и сложных промежуточных превращений. Несколько месяцев кряду Бете прочитывал все мыслимые реакции, пока не остановился на двух циклах — углеродном и водородном.

Это исследование принесло заметное успокоение в ряды физиков. Прекрасный математический аппарат, огромное количество разобранных вариантов, бесспорный авторитет самого автора (в разные годы этот большой труженик квантовой механики и ядерной физики был удостоен четырех международных премий, которые в 1967 году

увенчала Нобелевская — по физике) — все это придавало его теории завидную основательность и надежность.

Знакомство советских специалистов с теорией Бете состоялось в Московском доме ученых вскоре после опубликования его статьи «Выделение энергии внутри звезд». Обсуждение вел маститый физик. На вопрос из зала, откуда известно об условиях внутри Солнца, он ответил, как и его уже тогда знаменитый коллега физик Бете, что это известно астрономам. Руку вскинул худощавый высокий юноша и, весь кипя несогласием, волнуясь и боясь, что его перебьют, почти крикнул: «Астрономы не знают этого!» В президиуме сочувственно улыбнулись такой юношеской горячности. Тем не менее у Андрея Северного, а это был он, нынешний академик «по Солнцу», уже тогда имелись достаточные основания для собственных суждений. Диплом Московского университета с отличием по теме «Обзор теории внутреннего строения звезд и вычисление модели звезды с массивным источником энергии». (Кстати, последняя строка этой излишне объемной для дипломанта, с использованием 81 источника, работы стала, по сути, неосознанным лейтмотивом творчества будущего академика — «...существенная интерпретация ее (модели) невозможна без знания источника звездной энергии».) Кандидатская диссертация Северного также была посвящена вопросу образования звезд. А вскоре после описываемых событий он защитил и докторскую в развитие тех же проблем.

Спустя десятилетия не без удивления узнаешь, что идею солнечного термояда даже в первые годы ее существования, оказывается, приняли далеко не все исследователи. Северный был не одинок в своих сомнениях. «Известия Крымской астрофизической обсерватории» опубликовали в 1948 году работу Н. А. Козырева, точнее целый трактат под заголовком «Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезды». Поясним предварительно, что солнечные циклы Бете требовали для своей реализации как одного из неперемных условий минимум 15—20 миллионов градусов температуры в центре Солнца. Оценки Козырева привели же лишь к величине порядка 6 миллионов. Это позволило автору заключить свою работу такой фразой: «При таких температурах вряд ли возможно объяснение происхождения звездной энергии термоядерными реакциями». Годом позже известный норвежский теоретик С. Росселанд написал еще решительнее: «Необходим, по-видимому, основательный пересмотр всей проблемы на новых принципах».

Все острее вставала проблема экспериментального изучения физических условий внутри Солнца. Но как достоверно узнать, что же творится в его ядре? В 1946 году физик-теоретик Б. Понтекорво предложил для этой цели фиксировать солнечные нейтрино, возникающие согласно теории при термоядерных реакциях.

Жизнь этим иллюзорным частицам, не имеющим электрического заряда и массы, а несущим лишь энергию, как образно говорят, на кончике пера подарил Вольфганг Паули еще в 1933 году. Каждую секунду согласно теории мириады нейтрино проскакивают сквозь Землю, каждого из нас, как теннисные мячи сквозь футбольную сетку. Как же в таком случае их предлагал «ловить» Б. Понтекорво? Ведь и сам Паули, «отец нейтрино», утверждал, что никто не сможет экспериментально подтвердить существование этих частиц в силу их особой, уникальной способности быть вездесущими и всегда сущими.

Идея предлагалась оригинальная — фиксировать не сами частицы, а результаты их взаимодействия с каким-либо веществом. Такие науке известны. Например, теоретически возможна ситуация, когда нейтрино при встрече с атомом хлора превращает его в нестабильный атом аргона, распад которого, собственно, и можно экспериментально зафиксировать.

Хлораргоновый метод фиксации солнечных нейтрино на десятилетия захватил воображение американского физика Рэя Дэвиса. Чтобы вдохнуть в метод жизнь, ему пришлось организовать и проделать гигантскую работу. Детектор нейтрино — бак, наполненный 610 тоннами хлорсодержащей жидкости, — пришлось упрятать глубоко под землю, тем самым практически исключалось влияние галактического космического излучения. Нужно было достичь неслышанной ранее точности — и Дэвис научился извлекать атомы аргона буквально поштучно, по одному! (Напомним — через каждый

квадратный сантиметр поверхности Земли за секунду проскакивает порядка 60 миллиардов нейтрино!)

И настойчивый Дэвис создал установку действительно уникальную по точности и... несостоятельную для подтверждения главного — есть ли термояд на Солнце! Спустя пятнадцать лет после начала работ в заброшенной, некогда золотоносной шахте в Южной Дакоте Дэвис вынужден был признать, что требуемого теорией потока нейтрино обнаружить не удалось.

Исследование Дэвиса-ученого, несомненно, в ряду первоклассных достижений экспериментального естествознания. Захватывающая дух проблема, стойкий многолетний труд, но его же работа перечеркнула его замысел — подтвердить термояд. Печеловечески можно понять его огорчение. Искренне, от сердца утешали Дэвиса рабочие рудников, далекие от понимания всех тонкостей этой мудреной физики: «Не огорчайтесь, доктор Дэвис, ведь нынешнее лето было такое облачное!»

Другим возмутителем спокойствия на Солнце стал советский академик Андрей Борисович Северный. Если научный мир в некотором роде был подготовлен благодаря публикациям к возрастающим сомнениям Дэвиса, то весть о результатах экспериментов Северного и его сотрудников оказалась совершенно неожиданной. С того упомянутого выступления по поводу гипотезы Бете в Московском доме ученых Северный, по крайней мере в своих публикациях, не касался этой проблемы более тридцати лет, и вдруг в 1975 году открыто, в печати он заявляет о своих сомнениях, но вытекающих не из теоретических соображений, а из реальных, и что принципиально — собственных, экспериментов. Идея его опытов совершенно иная, нежели в работах Дэвиса, — Северный экспериментально подошел к той же проблеме, которую как теоретик изучал еще в 30—40-е годы.

Третью часть века ученый шел к главному эксперименту в своей жизни! Пожалуй, это самое сильное впечатление от знакомства с творческой биографией академика, Героя Социалистического Труда Андрея Борисовича Северного. Еще в 1943 году, за несколько месяцев до защиты своей докторской, он начисто разочаровался в существовавших тогда теориях строения звезд — порой легковесных и слишком вольных в трактовке физических процессов — и твердо решил учиться заново, учиться искусству эксперимента.

### «ПРЕЦИЗИОННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ»

Работая над очерком, автор столкнулся с фактом несказанно удивительным: оказывается, главную цель научных усилий академика Северного, по сути, не знали даже его ученики и коллеги. Да и сейчас, когда удалось получить так взволновавшие всех результаты, Андрей Борисович не признается, что идея подобного эксперимента овладела им много десятилетий назад. Впрочем, и не отрицает этого.

...В ночь перед защитой докторской Андрей Борисович читал «Паровой дом» Ж. Верна. «По-моему, — вспоминает он, — читал раз в пятнадцатый. За точность не ручаюсь. Но то было в последний». Смеею предположить, в последний раз потому, что именно в ту ночь и после блестящей защиты закончились его раздумья о своем месте в науке...

Книги великого фантаста вообще сыграли особую роль в жизни Андрея Борисовича. Будучи пятиклассником, он заболел воспалением среднего уха. А томик Ж. Верна «Из пушки на Луну» оказался на полке у скукающего во время болезни школьника. Впрочем, книга эта могла бы остаться и незамеченной, если бы глаза мальчишки не желали ее увидеть. Уже в то время он мечтал о благородном, интересном и долгом деле в науке, каким увлеченно владели герои книг Ж. Верна.

Книги любил очень. Богатая библиотека деда Николая Емельяновича, инспектора народных училищ и почитателя Толстого, всегда была открыта для детей и внуков. Бабушка Андрея Мария Карловна вообще была одержимой «писательницей» и даже сочинила несколько собственных пьес «а-ля Островский». Некоторые из них были изданы, заинтересовали Вл. И. Немировича-Данченко и шли на сцене. С этой ненасытной тягой читать, спорить, обсуждать прожили жизнь и родители мальчика — Екате-

рина Кузьминична, прирожденный педагог, в добрых традициях русского просвещения беззаветно влюбленная в родную литературу и своих учеников, и Борис Николаевич, много и интересно работавший по психологии мышления, творческого процесса.

Понятия знания и труд, долг и справедливость были знакомы Андрею не по лозунгам, а по поступкам родителей. Смысл жизни они видели в постоянном стремлении делиться знаниями с окружающими — сыном, школьниками, студентами, сотрудниками. Равенство в знаниях, культуре, возможность учиться каждому — пожалуй, ради этих основных социальных идеалов и вышел студент Московского университета Борис Николаевич Северный на улицы родной Тулы в революционном 1905 году. Затем тюремное заключение.

Главным учителем и воспитателем будущего академика всегда оставался его отец, человек редкого обаяния, жизнелюбия, культуры, ученый и экспериментатор предельной корректности, аккуратности и тщательности. Известная научная щепетильность нынешнего академика Северного, вероятно, начинается от его отца.

Факультет выбран давно — еще в пятом классе. Несколько лет увлеченной, со спорами до хрипоты работы в кружке при Московском обществе любителей астрономии укрепили тот выбор. Тогдашние кружковцы, ныне известные астрономы Муфель, Паренаго, Северный, любили свое небо без страха перед его тайнами и величием. Модную в те годы квантовую механику они разбирали в рефератах, еще будучи восьмиклассниками. Их фантазию не сковывали авторитеты, а самые фантастические проекты старался не осуждать руководитель кружка, ныне известный астроном Всехсвятский, уже тогда зарекомендовавший себя вполне зрелым исследователем и педагогом. Разумеется, не сковать фантазию можно лишь у того, кто обладает ею. Замечание хотя и очевидное, но с точки зрения педагогики имеющее особый смысл. Для становления личности только знаний недостаточно.

Андрею Северному везло на встречи с людьми, умевшими и, что немаловажно, любившими думать и мечтать. И при этом доверявшими ему. «Особо дорого для меня, — это слова академика Северного, — имя школьного учителя Николая Николаевича Волкова. Преподавал он русский язык и литературу, но делал несравненно большее — прививал нам культуру, любовь к знаниям. Энциклопедически образованный человек — впоследствии читал институтский курс высшей математики, стал доктором философии. И при этом он был личностью, мыслил свежо, ярко, всегда неожиданно. Имя Волкова осталось не только в сердцах его учеников. Николай Николаевич был прекрасным художником, считался крупным теоретиком искусства, специалистом по проблемам психологии и творчества. Под влиянием Николая Николаевича, его обаяния, убеждений и я, грешен, начал рисовать еще школьником. Дело, однако, не в самом этом факте. Я, таким образом, открыл для себя еще одно окошко видения мира. Обсуждение отображенного с каждым разом становилось все более глубоким и содержательным. В конце концов Николай Николаевич привил мне настоящую любовь к... философии. Это обстоятельство сыграло в моей последующей научной жизни исключительную роль, вооружило, пожалуй, самым действенным и надежным инструментом осмысления своих же научных результатов».

Увидев истоки главной черты характера исследователя, проследив хронологически ее проявления, начинаешь понимать не только преемственность научных результатов ученого, разделенных порой десятилетиями, но и догадываться о грядущих свершениях. Для академика Северного компасом каждого нового шага в науке было и остается воспитанное и впитанное с детства свойство всегда и во всем сомневаться. В первую очередь в сделанном самим собой. Ныне оно выработалось в подобие своеобразного условного рефлекса. Поэтому, вероятно, Андрей Борисович любит и частенько в беседах с учениками, сотрудниками употребляет выражение «прецизионность исполнения». Понять же главное в характере этого исследователя тем более важно, что выводы из экспериментов Северного касаются принципиальных мировоззренческих проблем, и, так сказать, степень «прецизионности исполнения» самих экспериментов приобретает особый нравственный смысл.

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов десятки и сотни других обстоятельств, формировавших научный характер академика Северного. Речь идет о человеке высоконравственном и высококультурном, громадной работоспособности и отточенной са-

модисциплины, общественно острой ответственности за результаты не только собственных исследований, но и работ, проводимых в руководимом им коллективе — Крымской астрофизической обсерватории. «Самое ценное «приобретение» в моей научной жизни, — настойчиво внушает каждому собеседнику Андрей Борисович, — это работающие со мной сотрудники. И не так уж важно, являются они моими учениками или нет. Без коллектива единомышленников не мыслима была бы ни одна из работ, в которых я участвовал. В экспериментальных науках время «героев-одиночек» безвозвратно миновало. И я более всего счастлив, что наша Крымская обсерватория, на создание которой я отдал столько сил, являет собой пример коллектива именно единомышленников».

Первое же экспериментальное задание для бывшего теоретика-астрофизика Андрея Северного оказалось поручением особой важности. В мае 1945 года Комитет Обороны и Советское правительство предписывают А. Северному в составе группы советских специалистов отбыть в поверженную Германию для розыска и отправки на родину награбленного фашистами научного оборудования и, в частности, астрономической аппаратуры из Симеизской обсерватории. После нескорох поисков в дымящихся еще развалинах Потсдама на дворе и в подвалах местной обсерватории удалось обнаружить то, что до войны называлось оборудованием нашей прекрасной обсерватории на южном берегу Крыма.

Все уничтожить! — таков был последний приказ гитлеровских «специалистов от науки». Искорезить металлоконструкции (остовы телескопов), превратить в порошок все бьющееся (оптические элементы разнообразных приборов) оказалось делом нехитрым. «Незадача» вышла с гордостью Симеиза, одним из самых больших в мире в то время сорокадюймовым рефлектором. Стекло мощное, толстое, ухоженное — чем его разобьешь? Воистину говорят, гений зла не менее изобретателен, конечно же в «своей» области, чем гений добра. Автоматной очередью по нему, как просто! Так перестало служить людям их творение, которое они создавали и холили (пылинке не давали опуститься) долгие годы. Впрочем, не совсем так. Именно тот симеизский рефлектор, изрешеченный автоматной очередью, но уже в новом качестве, еще послужил людям. Как документ вандализма он демонстрировался участникам одной из первых международных конференций, организованной в Крымской астрофизической обсерватории в 1955 году.

Немногое из награбленного фашистами удалось вернуть на родину. Создавать же заново пропавшие и исковерканные уникальные приборы не имело смысла. За годы войны заметно шагнуло вперед научное приборостроение в Соединенных Штатах. Было решено детальнейшим образом изучить американский опыт. Выдающийся астроном академик Шайн как руководитель группы советских специалистов приглашает в поездку и доктора Северного. «То был важный этап в становлении моих экспериментальных навыков, — вспоминает Андрей Борисович. — Я понимал, что за полгода пребывания в США должен не только обрести мастерство экспериментирования, но и понять секреты создания капризной и часто уникальной астрофизической аппаратуры». Участник той же поездки доктор физико-математических наук Владимир Борисович Никонов рассказывал о том, с каким неистовством, урывая буквально считанные часы для сна, учился, как школьник, искусству научного приборостроения у заокеанских коллег доктор физико-математических наук А. Северный. «Он был и остается человеком неистощимой любознательности, ему до сих пор неведомо чувство смущения при многочисленных вопросах о непонятном для него, вопросов, обращенных к самым различным людям — от рабочего мастерской до маститого ученого из совсем другой области знания».

За прошедшие с той поры три десятилетия Андрей Борисович создал десятки самых разнообразных астрофизических приборов. Но тот первый прибор, сделанный собственными руками, памятен не только ему как символ первых творческих сомнений и радостей, но и многим в Крымской обсерватории. То была дерзкая задумка создать один из лучших в мире интерференционно-поляризационных фильтров. Впрочем, особенно сопоставлять было не с чем. Существовало три-четыре прибора такого класса и назначения — все они были уникальными, делались ювелирно-кропотливо,

годами. Но именно так можно было вывести солнечные исследования в Крыму в точнейшие и авторитетные в мире.

Фильтр!.. Понятие это для науки вообще имеет особый смысл. Выделить, расчлениить и тем самым облегчить изучение каждого пятнышка в грандиозном мозаичном панно-картине окружающего мира — в конечном счете именно в этом главная суть любого научного поиска, а в области экспериментальной астрофизики эта процедура остается пока одной из наиболее эффективных. Объекты ее изучения — Солнце и звезды, планеты и межзвездная среда рассказывают о своих тайнах щедрыми потоками корпускулярного и электромагнитного излучений. Беда одна — слишком щедрыми. Порой во всем диапазоне спектра — от самого коротковолнового гамма-излучения до самых длинных радиоволн, от самых легких альфа-частиц до тяжелых протонов. Из путаного мотка, как известно, ничего не свяжешь. Не отделив один вид излучения от другого, не разложив по полочкам типы корпускулярных потоков, не понять смысла космического явления или объекта. Фильтр позволяет ученым заглянуть в глубь явления, за плотную вуаль многочисленных скрывающих его помех.

Первый фильтр Андрей Борисович создавал вместе с прекрасным инженером-оптиком, сотрудником Института кристаллографии А. Б. Гильваргом. Идея прибора внешне проста. Набор из тончайших кварцевых пластин, разделенных пленками так называемого поляроида, должен быть прозрачным только для лучей строго определенной длины волны. И чем уже эта полоса пропускания, тем точнее прибор, тем в более чистом виде излучаемое вещество предстанет перед исследователем.

Расчеты велись на ширину окошка в два ангстрема, в два с лишним раза более узкого, чем у лучших зарубежных аналогов того времени. Всего два ангстрема, десятиллиардные доли метра! Впрочем, такие масштабы уже не в состоянии разбудить наше воображение, они для нас, привыкших к земным меркам, чужие. Пожалуй, ближе окажется такая характеристика проделанной работы: целый год по десять — двенадцать часов кряду, до рези в глазах, сменяя друг друга, приходилось всматриваться в окуляры микроскопов, добиваясь нужной толщины кварцевых пластин. Ради того, чтобы в истинном свете увидеть лучи, испускаемые раскаленными в солнечной топке водородом и кальцием.

«Прецизионно» сработанный первый прибор Северного с лихвой платит исследователю верной службой до сего дня. Фильтр трижды побывал в космосе и в последнем своем полете позволял П. Климуку и В. Севастьянову получить прекрасные спектры Солнца. Этот феномен долгожительства и работоспособности кварцевого фильтра образца 1947 года показывает, пожалуй, самое замечательное качество принципа «прецизионности исполнения», исповедуемого академиком Северным, его учениками и сотрудниками.

Тот первый фильтр Северного от уникальной аппаратуры по измерению пульсаций разделяют десятки самых разнообразных приборов, все более точных, более «прецизионных» и потому позволявших шагать в глубь физических процессов на Солнце. На этом пути ученого ждали по-настоящему значительные удачи — к примеру, знаменитый цикл работ по исследованию хромосферных вспышек на Солнце, за который, кстати, Северный совместно с давним другом и коллегой Эвальдом Рудольфовичем Мустелем, ныне членом-корреспондентом АН СССР, в 1952 году был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Принципиальным для Андрея Борисовича и всего коллектива обсерватории явилось создание в 1954 году башенного солнечного телескопа. Замысел этого уникального сооружения (само здание является футляром, внешней оболочкой телескопа) родился еще во время поездки в США в 1946—1947 годах. Любопытно, что необычное архитектурное решение Андрею Борисовичу предложил самый близкий ему человек, его жена Кира Сергеевна, архитектор по специальности. Она разработала и первоначальный «форпроект» здания. Телескоп удался на славу — единственный столь крупного калибра в стране и один из лучших в мире по точности.

Но в широком смысле все исследования Северного были промежуточными, лишь шагами к главному эксперименту по пульсациям.

Возможность исследовать тонкие солнечные структуры, предоставленная Андрею Борисовичу его же собственной аппаратурой, в особенности башенным солнечным телескопом, подвела вначале к изучению энергетики отдельных элементов, затем более крупных деталей и, наконец, явлений, во многом загадочных и по сей день, — солнечных вспышек. Из всех космических феноменов этот, пожалуй, без преувеличения самый чувствительный для нас. «Солнце — активно!» — при этом известии корабли и самолеты стремятся не выходить в открытое пространство, врачи становятся особенно внимательны к сердечно-сосудистым больным, эпидемиологи пристальнее следят за развитием мельчайших вирусов. Долго пришлось накапливать разноречивые факты, прежде чем их частокол указал на единственного и совершенно неожиданного виновника многих неприятностей, с которыми сталкивается все живое на Земле, — Солнце. Точнее, на изменчивость его активности, или, в более привычном выражении, его излучительной способности.

Вспышки лишь одно из проявлений солнечной активности. Но они, несомненно, ее апофеоз. Например, вспышка 23 февраля 1956 года, ничтожная доля энергии которой могла бы испарить земные океаны (произойди она на поверхности Земли), по просту замедлила вращение нашей планеты. Некоторое время сутки были на миллионные доли секунды длиннее. И все же Солнце не буй, от которого в любой момент можно ожидать сюрприза. Его активные процессы происходят в строгой цикличности, хотя периодов активности насчитывается и немало — от двух до миллиона лет.

С поверхности Солнца миллиарды лет выметаются «отслужившее» электромагнитное излучение и потоки заряженных частиц — корпускул. Уже потом на трассе Солнце — Земля этот солнечный «мусор» назовут более поэтично — солнечным ветром. Так наша звезда устанавливает магнитное влияние в межпланетном пространстве.

Земля также имеет свою собственную магнитосферу (естественно, несравненно меньше солнечной), которая вместе с воздушным океаном подобна стеклам оранже-рей, охраняющим нежные цветы зимой. Все живое на Земле своим совершенством обязано этим надежным барьерам. Их ежедневно пытаются пробить потоки метеоритов, грозных для жизни космических лучей. Но, если и достигают они Земли, то обес-силенными и практически безвредными. Вместе с тем нельзя представлять магнито-сферу Земли как нечто жесткое, неизменяющееся. Она более похожа на надувной воздушный шарик под струей воды. Сильнее струя — и шарик расплывается.

Сильный порыв солнечного ветра иногда сминает магнитную оболочку Земли — и тяжелые заряженные частицы просачиваются в атмосферу. Струйки частиц превращаются в настоящий ливень при солнечных вспышках. Треск и хаос в радиоприем-никах, повисшая на полюсах кисея полярных сияний — наиболее заметные геофизи-ческие проявления вспышки. Потому вопрос, когда произойдет очередная вспышка, совсем не академический. Это вопрос исключительной практической важности для людей. Но ответить «когда?» нельзя, не зная «как?». По мнению многих крупнейших специалистов в мире, лучше всех знает это советский астроном Северный. «И помогло нам понять ход вспышки, характер ее течения, — это строки из недавнего интервью с Андреем Борисовичем, — изучение магнитных полей в активных областях Солнца. Дело в том, что существует тесная связь положения вспышки с местами значитель-ных перепадов магнитного поля. Это принципиально, и привело нас к достаточно на-дежному способу прогноза вспышек. Регулярно следя за магнитной обстановкой на Солнце, мы прогнозируем начало вспышек с оправдываемостью до 85 процентов».

Что означает точный прогноз солнечной активности, с полным основанием могли бы сказать буквально все советские космонавты, побывавшие в космосе начиная с Юрия Гагарина. Они первые из людей планеты Земля, которые могли непосредствен-но встретиться с этим довольно неприятным явлением. И то, что этого не случилось ни разу, громадная заслуга лично академика Северного, всего коллектива Крымской обсерватории, безупречно возглавляющей вот уже не один десяток лет отечествен-ную «службу Солнца». Сегодня в Крыму служба эта, по существу, стала делом тех-ническим, информационным — наблюдение, анализ, выдача прогноза заинтересованным.

Вот несколько неожиданный для меня, но будничней для Северного случай про-

гноза. В одну из встреч с ученым я показал ему сообщения в газетах «Известия» и «Социалистическая индустрия» о «петрозаводском феномене» — некоем объекте непонятной природы, зависшем тогда над городом. Пробежав заметку, Андрей Борисович спросил, как долго я намерен пробыть в обсерватории. Полагая, что он хочет наметить наиболее удобное время специально для разговора об этом, отвечаю: с неделю, не меньше. «В таком случае вам удастся застать здесь и второе сообщение... такого же рода. Не знаю точно, из какого места, но, вероятнее всего, широты будут высокие. Недавно произошла мощная протонная вспышка на Солнце и то, что наблюдалось в Петрозаводске,— результат взаимодействия дошедшего до Земли вспышечного излучения с нашей ионосферой. Возможно, это некое подобие шаровой молнии. Почему высокие широты — надеюсь, понятно. Слабее магнитные и ионосферные барьеры. А через неделю ждем следующей вспышки. Приблизительно такой же мощности». Так и было.

От дробного к целому, от частного к общему — именно на этот философский стержень последовательно нанизывались работы Андрея Борисовича, темы и области научных интересов. Много времени и сил потратил он на изучение магнетизма различных солнечных деталей, структур, отдельных явлений — флокулл, протуберанцев, вспышек, выбросов. И лишь когда магнитная картина отдельных деталей стала относительно ясна, лишь тогда — отметим, уже логично, оправданно — перешел Андрей Борисович к изучению Солнца как магнита в целом. В научном смысле «магнитный» период оказался удивительно интересным, над открывшимися сюрпризами до сих пор ломают голову многие теоретики. Основной из них — что же такое Солнце как магнит в целом? Диполь или монополь? Альтернатива, так выразился однажды Андрей Борисович, невысказанная, но ведь действительно непонятно, почему у нашей звезды поток одной полярности, с одного полюса, зачастую не равен магнитному потоку с другой. Подобные сюрпризы в очередной раз заставили колдовать над приборами, совершенствовать их, повышать и без того удивительную точность, вернее — разрешение. «А вдруг,— это уже предположение Северного,— общий дефицит потока «прячется» в тонких, структурных элементах Солнца и не фиксируется нашей аппаратурой!»

Пример этот интересен в первую очередь тем, что наглядно поясняет логику прихода академика Северного к экспериментам по пульсациям. «После того,— вспоминает Андрей Борисович,— как мы оказались в состоянии измерять магнитные поля на Солнце в целом, мы логически подошли к измерению движения Солнца также в целом, к измерению пульсаций его центральной области по отношению к периферии».

Остальное, как говорится, стало делом техники, то бишь теории, которую, разумеется, Северный знал превосходно и не думал забывать. Уже к 30-м годам трудами многих выдающихся математиков и механиков — Чандрасекхара в первую очередь — была подробно разработана теория состояния газовой сферы при пульсационных движениях. И зная характеристики пульсаций (период, амплитуду), вполне корректно можно вычислить условия в центре такой сферы — температуру, давление... Если бы это удалось сделать для Солнца в те 40-е годы, по крайней мере гипотезы о природе его энергетики получили бы очень важную, отправную, в цифрах информацию. Не раз автор хотел услышать от Андрея Борисовича: так, дескать, и так, идея эксперимента еще того времени... Откровенного признания не последовало, равно как и решительного отрицания. Андрей Борисович лишь обронил: «Я всегда хотел померить пульсации Солнца. Чего я ожидал? Признаюсь — того, с чем встретился. Пульсаций Солнца как целого». Что означало — Солнце должно периодически сжиматься и раздуваться, как при надуве обычный воздушный шарик отслеживает наши вдох — выдох. В самом этом факте ничего физически необычного нет. Необычное могло выявиться лишь на конечной стадии последующего анализа результатов.

Первые 122 часа наблюдений в 1974 году выявили период в 2 часа 40 минут и амплитуду «вдоха — выдоха» солнечной поверхности в 10... километров. Чуть выше самых высоких земных гор! Неслыханная в экспериментальном естествознании точность! Уверенно разглядеть земной Эверест на расстоянии в 150 миллионов (!) километров?! (Впрочем, любое сравнение при таких масштабах, мягко говоря, нелепо.

К примеру, никто же всерьез не станет определять достоинство обычной монеты с расстояния в сотни километров.)

Главное, разумеется, было не в точности. Поразило соотношение величин периода и амплитуды — так мог колебаться лишь однородный газовый шар с плотностью вещества в центре порядка плотности воды и температурой не более 6,5 миллиона градусов. Снова наметилась та пресловутая цифра 6 миллионов градусов, за которой вставал, как помните, много лет раньше частокोल вопросов о солнечном термояде.

Публиковать полученные результаты Андрей Борисович не спешил. Сказав «а», сообщив про характеристики пульсаций, странно умалчивать о возможных следствиях из них, а они-то касались на этот раз не только коллег солнечника Северного, а несравненно большей аудитории, к слову сказать, давненько не получавшей на обсуждение такой «сумасшедшей» идеи, да еще и от признанного в мире авторитета.

Многие часы Андрей Борисович в одиночку колдовал, как говорят о нем в обсерватории, у телескопа — перепроверял возможные и невозможные изъяны. «Терзал нас, — признался один из его ближайших сотрудников, — вьедливо, дотошно». Последователю отказались от идеи, что вздымается не сам шар в целом, а фиксируется лишь местная какая-нибудь супергранула. В этом случае период вздутия не мог превышать 40—60 минут. Затем отвергли и предположение, что наблюдаемый феномен — это своеобразное цунами, гигантская волна, периодически обтекающая солнечную поверхность. Слишком велика должна быть скорость такой волны — более 100 километров в час. Главные трудности прекрасно видел сам академик Северный. Ведь могли существовать и другого вида и периода пульсации. Тогда зафиксированные 2 часа 40 минут необязательно характеризовали чисто радиальную пульсацию, а, допустим, пульсацию с изменением формы. «То репа, то огурец», — помнится, пояснил тогда Андрей Борисович. Но если зафиксирована не радиальность, тогда неправомерно считать Солнце «почти однородной сферой». Словом, никаких далеко идущих выводов, поскольку никакой теории для таких наисложных конфигураций пока не существует... (Уместно заметить: существующие теории внутреннего строения звезд не вяжутся даже с допущениями каких бы то ни было колебаний.)

Понимая особую важность поиска всех возможных видов колебаний, академик Северный приглашает принять участие в наблюдениях своих... американских коллег в обсерваториях Сакраменто Пик и Станфорда. В первой серии измерений американские астрономы вообще не обнаруживают никаких осцилляций. Андрей Борисович посылает в США своих сотрудников, приглашает в Крым американских ученых. Он верит и сомневается. Сомневается, но верит. С еще большей настойчивостью он и его ближайшие сотрудники и соавторы (не упустит случая Андрей Борисович именно так назвать своих молодых коллег В. А. Котова и Т. Т. Цапа) вплоть до последнего времени получают все новые, подтверждающие самые ранние результаты. Письмо, пришедшее в Крым в конце прошлого года из США, было немногословным: «...мы нашли свидетельство осцилляций как в ранних, так и в более поздних измерениях. Поздравляем».

### ПУСТО СВЯТО МЕСТО?..

Итак, с общепризнанной теорией впервые вступили в противоречие экспериментальные результаты. Причем сразу от двух принципиально отличных по идее исследований, проведенных к тому же с исключительным упорством и точностью. Знает ли это, что на Солнце нет термояда? И если да, то... что?

Альтернатив термояду сразу же было предложено немало, включая самые «экзотические» модели — «внутри Солнца... черная мини-дыра», «энергия... из вакуума», «работают кварки».

«Большинство из этих гипотез вообще не должно было быть опубликовано, если бы научный кризис не был таким сильным» — так по просьбе автора прокомментировал ситуацию американский теоретик Д. Баккал. С понятных позиций трудно согласиться с категоричностью утверждения активного сторонника идеи термояда и... непереманного участника экспериментов Р. Дэвиса. Главное, думается, в другом. А именно: в общем согласии — кризис преодолит критикой.

Все новые предположения о природе солнечной энергии роднит один недостаток. Их невозможно экспериментально проверить. По крайней мере пока. С другой стороны, отрицательные результаты экспериментов Дэвиса и Северного еще не означают полную ревизию самой идеи. С точки зрения физиков-термоядерщиков, эти результаты в первую очередь обнаружили слабости теории, но никак не идеи.

Уместно заметить, теория всегда была не в чести у популяризаторов науки — дело хлопотное. Куда проще да и интереснее поискать понятные широкой публике «земные» образы для объяснения выводов и результатов эксперимента. Потому так неподдельно удивление даже читающей публики от «новости», что человечество овладело ядерной энергией, не имея, по существу, теории ядра — его структура, природа ядерных сил известна лишь приблизительно. В теории солнечного термояда можно насчитать немало подобных сюрпризов.

...Ядерные реакции, входящие в циклы Бете, экспериментально никогда не изучались, более того, вряд ли и в ближайшем будущем ученым представится такая возможность. Попробуйся они на Земле смоделировать в полной мере ядерные солнечные процессы, эксперимент пришлось бы проводить миллионы лет — столь мала кинетическая энергия взаимодействия ядер в недрах Солнца. Физики могут лишь экстраполировать данные с мощных земных ускорителей (парадокс экспериментального естествознания) на мизерные энергии взаимодействия солнечных частиц.

...Реакции обычно изучаются в ядерных мишенях. Солнце же — это бурлящий плазменный котел, условий перемешивания в котором наука не знает.

...Циклы Бете — простейшие из возможных. Почему же исключается возможность взаимодействия трех, четырех частиц и более?

...Наконец, эксперименты Дэвиса и Северного задали уйму вопросов самим нейтрино, их свойствам, характеру поведения. Пока на многие из них нет ответа, лишь гипотезы. От слишком смелых до вполне корректных, но, что привлекательно, подающихся экспериментальной проверке. Согласно одной из них в настоящее время в недрах Солнца термоядерные процессы идут заметно ослабленными, потому и не фиксируются нейтрино или же их поток очень незначителен. Причина падения энергетической мощи Солнца в интенсивном внутреннем перемешивании солнечного вещества, внешним проявлением которого и являются зарегистрированные пульсации.

Более же всего надежд связывается с постройкой детекторов специально для фиксации солнечных нейтрино. Дело в том, что предполагается существование двух видов этих удивительных частиц — мюонного, вестника, как правило, грандиозных вспышечных процессов во Вселенной, и более слабого, электронного, в основном солнечного происхождения. Эти два вида нейтрино суть два состояния одной и той же частицы. На пути от Солнца, по гипотезе академика Б. Понтекорво, нейтрино могут осциллировать, переходить из одного состояния в другое, из электронного в мюонное, которое хлораргоновый детектор просто не замечает. Так ли это, ответят создаваемые с более «чувствительной начинкой» из галлия и лития нейтринные телескопы, эти колоссы современной науки, спрятанные в горах, скалах, океанской толще. Недавно сдан в эксплуатацию самый мощный в мире — баксанский Институт ядерных исследований Академии наук. В недрах горы Андырчи 3200 детекторов уже ловят мюонные нейтрино. Вторая очередь для измерения именно солнечных нейтрино близится к завершению.

«Если бы эксперимент не обнаружил потока солнечных нейтрино низких энергий, возникающих в основном термоядерном цикле энерговыделения, — писал в «Правде» видный советский физик академик А. Логунов, — то это могло бы свидетельствовать даже о крушении всей современной концепции энерговыделения звезд». Пока такой эксперимент не проведен, и готовятся к нему физики как никогда тщательно — столь велика для науки во всех смыслах цена этого исторического исследования. Работает над повышением (!) точности своего эксперимента и академик Северный. Сделан лишь первый шаг — поставлен вопросительный знак у сакраментальной фразы «Почему светит Солнце?». Шаг второй, значительно более трудный, — ответить на этот вопрос.

Академик В. А. АМБАРИЦУМЯН,  
двукратный Герой Социалистического Труда.

## НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Исследованием явлений природы сейчас на земном шаре занимаются сотни тысяч людей. Среди них встречаются и такие, которым мир представляется не таким уж сложным. Им кажется, что мы уже знаем почти все законы природы. Еще несколько удачных обобщений — и все будет объяснено. Если поверить этим людям, то следует сделать вывод, что при теперешних темпах развития науки работы для нее осталось не более чем на сто лет. Скоро все станет ясно и для исследований фундаментального характера уже не будет никакого поприща.

Другие исследователи (их, может быть, больше всего) заняты терпеливым собиранием фактов. Они надеются, что их работа даст пищу для новых обобщений, хотя и в большинстве своем верят оптимистам, предсказывающим скорое окончание строительства здания фундаментальной науки.

Наконец, есть настоящие ученые, которые за огромной совокупностью данных и закономерностей, добытых современной наукой, видят необычайную сложность природных явлений, а в связи с этим и возможность выявления новых, совершенно неожиданных явлений и связей, ищут эти явления там, где другие давно потеряли надежду найти что-либо новое, и благодаря своему упорству и большой интуиции находят их.

Именно к ученым последнего типа следует отнести нашего выдающегося астрофизика академика Андрея Борисовича Северного. Именно к таким неожиданным открытиям следует отнести открытие им с сотрудниками пульсаций поверхности Солнца. Будучи крупнейшим знатоком теории внутреннего строения звезд, Андрей Борисович в последние годы отдал все свои силы исследованиям и поискам наблюдательного характера, вооружившись наиболее тонкими и точными методами исследования.

Уже давно было обращено внимание на то, что существующая теория внутреннего строения звезд не столько указывает пути для новых направлений наблюдательной работы, не столько занимается предсказыванием новых явлений, сколько, узнавая о новых открытиях, «перестраивается на ходу», чтобы на основе добавочных предположений и модификаций эти явления объяснить. С другой стороны, ей это все же большей частью удавалось делать, не принося в жертву основных допущений теории. Поэтому можно было думать, что эта теория построена, в общем, правильно, хотя требует серьезного улучшения. Но работа Андрея Борисовича явилась, пожалуй, самым серьезным и весьма неожиданным ударом для нее.

Учитывая создавшееся положение, следует думать, что мы нуждаемся в построении новой теории внутреннего строения звезд и происхождения энергии излучения звезд и Солнца. Вряд ли можно будет вовсе отказаться от термоядерных реакций в недрах этих светил. Но остается вопросом, окажутся ли в новой теории они основным источником звездной энергии.

В печатающемся в настоящем номере «Нового мира» очерке А. Малинова дается представление об изумительной тонкости наблюдений, выполненных в Крымской обсерватории, об удивительном упорстве ее талантливых сотрудников, руководимых Андреем Борисовичем, и об огромном принципиальном значении полученных ими результатов. Со своей стороны я хочу выразить свое восхищение их работой и пожелать им новых успехов.

Астрономия — наука прежде всего наблюдательная. Одно наблюдательное открытие такого рода, какое выполнено в Крыму, стоит больше тысячи неудачных теоретических работ, не имеющих под собой точной количественной основы. Будучи сам теоретиком, я решаюсь высказать это мнение откровенно.

Одно можно утверждать уверенно: если все наши исследователи Вселенной будут подходить к решению научных вопросов с глубиной и серьезностью, характерными для академика Северного, то развитие советской астрономии пойдет вперед еще более ускоренным темпом.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. ГУСЕВ



## ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

*Из наблюдений над жизнью классической традиции*

1

**Д**ля начала несколько общих соображений, связанных с предлагаемой темой. Как известно, уважение к художественной классике — одна из традиций советского общества. Когда литературные группы футуристов, лефов, увлеченные пафосом грандиозной общественной ломки, требовали разгромить «пассеистов», «литературных консерваторов», «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности», Луначарский и другие видные деятели нашего государства решительно воспротивились этому культурному нигилизму. В те же годы прозвучали ленинские слова: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма...»<sup>1</sup>.

По-особому дороги нам традиции русской классики XIX века — золотого века отечественной литературы. Это главное, что дала наша художественно-гуманитарная культура всему миру.

Это был век, когда в контексте мирового искусства наша русская литература с большей полнотой выявила свои особые акценты в интерпретации человеческого, социального материала. За все время ее существования так и не получил сколько-нибудь существенного развития эстетизм, то есть признание формально-самоценной роли искусства. Нашей литературе всегда была присущ пророческий пафос. Она искала то целое, которое являет собой духовная и материальная жизнь человека; она искала

исходные точки в этом целом, те принципы, которые составляют основу высокого человеческого поведения. Было давно замечено, что русскую литературу отличает особо требовательный нравственный пафос, притом именно в социальном контексте этого слова.

Соотношение чисто художественного и нравственного начал — один из напряженнейших вопросов всей вообще философии и собственно эстетики. Расхожее мнение, по которому все тут чрезвычайно просто и искусство на то и создано, чтобы в образной форме исправлять нравы, наталкивается на чрезвычайно жесткие законы самого искусства и духовной жизни как целого, законы, по которым как голое морализаторство в творчестве, так и «чистый эстетизм» неизменно терпят крах. Все в искусстве выступает в его объеме, в его общедуховной и социальной детерминированности. Эта проблема волновала еще Платона; в новейшие времена ею занимался Кант.

Историческая заслуга русской классической литературы, ее золотого века состоит, в частности, в том, что она сумела решить эту традиционную трагическую дилемму искусства (мораль или красота) настолько, насколько это вообще может быть решено в искусстве. Нет слов, много драм и трагедий знала в связи с этой проблемой сама наша классика, решение рождалось в «надрывах» (любимое слово Достоевского) и не без грозных потерь. Одни классики шли ввысь через самые черные бездны и «преисподние» (прежде всего Гоголь, Щедрин, во многом Достоевский), другие искали непосредственно светлое и высокое в самой бездне и серой текучке жизни (во многом Пушкин, Лермонтов, Белинский, Толстой,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 462.

Чехов); но все это смыкалось в одну смяфонию высокого и глубокого нравственно-художественного поиска. Тем прославилась русская литература, тем она ныне вызывает благодарность во всем мире. Могла ли большая советская литература пройти и мимо этого кардинального свойства национальной художественной традиции? Нет, конечно. Блок, Горький, Маяковский, Платонов, Есенин, Леонов, Булгаков, А. Толстой, Федин, Фадеев прямо ссылаются на опыт классики как вместилища великого социально-духовного поиска. Современные советские писатели, естественно, наследуют всем им. Вот один лишь пример — отношение современных советских писателей к традиции Л. Толстого.

При словах «нравственное начало в литературе» образ, имя Л. Толстого возникают первыми. Великий старец славен на весь мир не только как гениальный художник, но и как величайший моралист, как писатель и мыслитель небывалого пророческого заряда. Известны высказывания самого Толстого на эти темы. Как мы знаем, Толстой, будучи решительным и духовно последовательным человеком, не раз пытался «отменить» самое искусство как такое в пользу нравственности. Следы этой жестокой и трагической борьбы простым глазом видны и по текстам его знаменитых произведений. Однако же великим итогом этого была не отмена искусства, а именно напряженное наполнение толстовских художественных образов нравственным пафосом. Этот пафос реализуется во всей атмосфере, во всем стиле и стилистике, в самой интонации Толстого: «Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, лпы надували лопавшиеся почки; галки, воробы и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети...»

Современная советская проза пристальнейшим образом учитывает эту традицию толстовского отношения к жизни. Прежде всего это замечание относится к представителям так называемой деревенской прозы. Лучшие из них органически наследовали ту атмосферу четкого и «совестливого» сочетания социального, художественного и нравственного начал, которая характерна

для Толстого — особенно в «чисто народных» произведениях, сценах его. В связи с этим можно говорить о В. Астафьеве, В. Распутине, Г. Троепольском, Ф. Абрамове, Ч. Айтматове и других.

Возьмем произведения Василия Белова, одного из ярких представителей нынешней «деревенской прозы». Со времен публикации повести «Привычное дело» (1966) произведения В. Белова неизменно привлекают внимание вдумчивой читающей публики и критики.

В. Белов пишет о современных крестьянах и о природе, о проблемах социального устройства и переустройства деревни, о драмах и победах новейшего социального развития в ней. В. Белова прежде всего волнует, чем же прочен, чем жив человек в нынешнем сложном мире. Для Белова он жив любовью и человечностью — по-прежнему любовью и человечностью, связанными с трудом, с близостью к родной и вечной природе, с отношениями людей в процессе этого труда и контактами с этой природой и всем мирозданием. Крестьянин В. Белова не так уж абстрактен и внесоциален, как иногда казалось иным его критикам; он вынес на своих плечах революцию, коллективизацию и огромную войну, он ныне борется за благо новой деревни; в то же время он наследует то нравственно высокое, что традиционно было свойственно русским крестьянам с их коллективизмом (мир, роевое начало), уважением к труду на земле и к природе, с их совестливостью и цельностью чувств. В этом пафосе Белов и писатели, близкие ему по складу художественного мышления, открываются смыкаются с пафосом и заветами Толстого.

Как стилист В. Белов идет не только, и далеко не только, от Л. Толстого; он широко учитывает нашу «деревенскую» и «провинциальную» литературу «второго ряда» XIX века, он прочел и писателей XX века — Б. Шергина, С. Писахова, А. Платонова и других. Талантливый писатель, которого отличает живое чувство истории, тонкое понимание связи человек — природа, даже при тяготении к одной из традиций тем не менее вбирает в свою систему сложную диалектику, напряжение многих вообще традиций; так выкристаллизовывается его собственный пафос, его манера. Что касается именно толстовского социально-нравственного пафоса, то он у В. Белова ощущим очень явственно. Даже «перегибы» тут сходные. Белов, как и Толстой, так любит

своих главных героев, что порою «пишет в них» не то, что есть, а то, что хотел бы видеть. Но это издержки самой любви и пафоса. А вообще В. Белов чрезвычайно убедителен в своем толстовском порыве к социально-нравственному совершенствованию человечества через труд и любовь: «Иван Африканович заплакал, уткнувшись носом в промокшие свои колени. Пальцы сами вплелись в холодный мох и сжались в кулаки, и он вскочил на слабеющие ноги... Лесной шум затихал вдали, в сером небе намечались кое-где медленно светлеющие отдушины... Сквозь широкую, бесконечную, отрадную дремоту он вдруг услышал дальний тракторный гул и всеми силами заставил себя открыть глаза. В глазах стыло на солнце пятнистое сиренево-оранжевое облако. Осина стояла недалеко, застывшая, светлая. Та самая осина, которую он искал... Он глядел на свою осину, такую красавицу, глядел и вспоминал, какая связь между ней и тем дальним тракторным гулом. Вспомнил и, дрожа мускулами, собрав последнее упрямство, опять встал на четвереньки, пополз... От этой осины он знал, как выползти сперва на тропу, потом на дорогу». В каждой клеточке стиля и образа тут видны толстовская интонация приобщения к живым сокам и свету мира, пафос живого чувства и человечности, трудового начала, спасающие героя от тьмы и беды...

## 2

Герой нашего времени — сама эта проблема была поставлена именно большой русской классикой на заре ее. Русская классика, обладая нравственной и социальной действительностью, свежестью и благородством взгляда и мысли, сразу же при своем возникновении ставила вопрос, на кого равняться; кто в обществе в том или ином качестве несет в себе живые человеческие идеалы — наш неразменный нравственный фонд.

Русская классика с первых же шагов не пошла по пути схем и тезисов — не дала вымученных героев, поднятых на ходули или нарочито приниженных; не пошла по пути ложного романтизма. Она задалась целью дать человека как он есть, в его реальном земном бытии, и при этом обозначить идеал как тайное свойство, тайное электричество самой жизни. Эта задача одна из труднейших вообще в искусстве. Русская литература с ее исконным благородством,

стремлением к непререкаемой правде жизни («Герой же моей повести... правда», — писал Л. Толстой) и при этом интенсивнейшим нравственным тоном вышла на поле боя с открытым забралом. Каждое великое произведение классической русской литературы — это не плод свободной и безответственной фантазии, а смертельный эксперимент художника на самом себе, плод предельнейшей искренности, духовного и просто житейского бесстрашия и последовательности. Сами жизненные судьбы писателей-классиков сплошь и рядом свидетельствуют об этом. Можно сколько угодно толковать о разнице между бытовым поведением и духовным сознанием художника, и разница эта действительно существует; но, с другой стороны, вспомнив о жизненно-бытовых судьбах Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Беллинского, того же Толстого (осколок задел висок в севастопольских окопах), Достоевского, Блока и других, мы вынуждены будем согласиться, что фактор «творческого поведения» (Пришвин), то есть поведения в жизни, соответствующего главным основам самого творчества, существует. Именно русская литература опять-таки с особой силой доказала это. Отсюда обилие в классической русской литературе «автогенных», то есть близких самому автору героев, столь напряженно связанных с поиском идеальных основ человеческой жизни.

Итак, от самого своего возникновения великая русская классика билась над вопросом, каков же он, герой нашего времени. Это был один из тех традиционных «проклятых вопросов», которые прошли через всю большую (да и «среднюю» и «малую») русскую литературу. Вне этого вопроса она неммыслима.

На материале жизни своих героев она поставила проблему, исследованием которой потом и прославилась на весь мир. Проблема эта — личность и народ. Уточним: «народ» расшифровывается здесь как широкие, исходные, органические слои нации и страны, ее природный и трудовой фундамент (понятия «среда» и «общество» в буржуазном значении слов и уже, и камерней, и намного вторичней). Что же касается понятия «личность», то для русской литературы, философии и вообще духовного сознания личность — это прежде всего степень духовности, напряжение порыва, степень близости к идеальному началу. Если не учитывать этой специфики, могут возникнуть

различные недоразумения; так, с точки зрения традиционно буржуазной, растиньяковской, допустим, Рудин ведет себя совершенно глупо и «не по-мужски» — бросает женщину, которую любит и которая любит его, в тот самый момент, когда как раз узнает, что она его любит, ездит туда-сюда «без всякой цели», гибнет на чужих баррикадах. Казалось бы, чего проще? Забирай Наталью Ласунскую, кати в родное поместье, «приводи его в порядок» и здравствуй во славе, среди чады и внуки; а теща смиритса, не в ней дело. Но нет.

Или Обломов. Он, конечно, не годится в герои. Его доброта, нравственность и иные прекрасные качества не спроецированы на жизнь как таковую; в нем разрыв между нравственным самосознанием и линией поступков еще резче, чем в Рудине, тем он и типичней Рудина... А ведь герой — это прежде всего единство духа и действия; за полный разлад в нем этих начал Обломова много и чрезвычайно справедливо «ругала» наша чуткая и напряженная критика XIX века; «ругали» и позже. Однако же идеальное начало в душе у Рудина и Обломова — искреннейший, пусть и беспомощный порыв к идеалу — нам никак не следует упускать из виду. Иначе мы ничего не поймем в русской литературе.

Современная советская проза, решая задачу изображения героя, героев времени, заново присматривается к опыту большой классики. В этом смысле полезно взглянуть на опыт некоторых писателей военного поколения. Их работа по освоению опыта классики, в частности ее подхода к проблеме героя, особенно наглядна.

Перед нами романы последнего времени Юрия Бондарева.

В своих первых вещах Ю. Бондарев, как и его товарищи, использует художественно-стилевые решения таких писателей, как Ремарк, Хемингуэй, отчасти Олдингтон и другие. Именно они умели мастерски изображать предельное напряжение и одновременность «дробности» жизни, взятой через войну.

Но иные времена — иные песни; иные и традиции, соответственно.

В полном согласии со своей нынешней художественной задачей Ю. Бондарев зовет на помощь великую русскую классику XIX века. Конечно, она и прежде была отнюдь не чужда ему; имя Толстого было произнесено критикой тут же по появлении «Батальонов...» и «Последних залпов». Но ра-

нее эта традиция не просматривалась так отчетливо, как теперь.

В самом деле, ныне Ю. Бондарева особенно волнуют проблемы — война и народ, война и личность, личность и народ на войне, война за родину как воплощение народного действия; волнуют объективные законы самой войны и жизни народа в ней; объективные законы соотношений индивидуального и «общего» на войне. Нет нужды напоминать о том, что все это как раз проблемы, традиционно занимавшие русскую классику. Мучаясь над сложнейшим соотношением «народ — личность», Пушкин пишет свои «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачева», Лермонтов — «Песню про купца Калашникова», «Бородино», «Родину» и иное, Гоголь — «Мертвые души», Некрасов — свои эпические стихи и поэмы, Островский — все свои пьесы, Гончаров — «Обломов», Тургенев — «Записки охотника», Достоевский — «Записки из мертвого дома», «Братьев Карамазовых», Чехов — «Степь», «Мужиков» и еще многое на ту же тему. И это я называю лишь первые имена, так сказать, да и то не все.

Что же касается Ю. Бондарева и его товарищей по военной прозе, то им, конечно же, ближе всего Толстой, но не весь и не тот, что «деревенским» авторам, а именно в военном — и военно-народном и военно-личностном его варианте. Толстой с его «Севастопольскими рассказами» и «Войной и миром». Не требуется долго листать военную прозу К. Симонова, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Курочкина, К. Воробьева, чтобы понять, чья грандиозная тень и традиция витали над писавшими. Живой, патетический и трагический материал спроецирован на индивидуальность и на высокую традицию; в зависимости от качества, уровня и специфики самой этой индивидуальности традиция то выступает на первый план и даже довлеет — затеняет манеру и стиль современного художника, — то воплощена более органически, воплощена именно как традиция, духовная линия, а не подражание или реминисценция.

В романе «Берег» Ю. Бондарев выводит нескольких персонажей, прямо связанных с великой классической линией «личность и народ», «личность и народ на войне». В первых, это, конечно, собственно народные типы; их много. Зыкин, Таткин, Перлин...

При изображении народа Ю. Бондарев несомненно оглядывается на классиков; любопытно при этом, что, соответственно

классической традиции, он видит в народе исходную могучую силу бытия и не фетишизирует ее. Образ Меженина, напоминающий о некоторых пушкинских героях, тому пример. Ю. Бондарев бесстрашно живописует, как мощная биологическая и жизненная «конституция» сержанта Меженина порою приходит в столкновение с исходными гуманистическими нормами нравственности; при этом Ю. Бондарев не закрывает глаза и на то, что сама «безнравственность» Меженина для дела порой полезней, чем благородные, но пустые порывы какого-либо краснобая-белоручки... Бондарев не закрывает глаза на правду, а пишет живой персонаж, а уж наше дело подумать о том, как быть с Межениным.

Традиция изображения народных характеров у наших классиков получила сильнейшее и подробнейшее развитие в творчестве советских прозаиков, в том числе современных. Бондарев тут не одинок, а идет в общем русле. Особенно любопытно, например, отметить, что эта традиция развита не только у русских, но и у талантливых писателей из национальных республик. Творчество Ч. Айтматова, И. Друцэ, Й. Авижюса и многих-многих тому пример.

Не менее важное, а может быть, в данном случае и важнейшее, значение имеет вторая, личностно-народная сторона проблемы. Как другой военный писатель, В. Богомолов, описывая своего капитана Алехина («В августе сорок четвертого...»), заставляет нас вспомнить о Максиме Максимише, о капитанах Тушине и Тимохине и других, так Ю. Бондарев, рисуя своего лейтенанта Княжко («Берег»), оживляет в нашей памяти знакомые, дорогие образы из классической литературы — образы правдоискателей, интеллигентов<sup>2</sup> в высшем смысле этого слова. Тут и бесприютный Печорин, и резкий Базаров, и тот же Рудин, и Бельтов, и Гриша Добросклонов. Прямая и откровенная параллель — Андрей Болконский. Есть переключки во внешности, в манере держаться, есть прямые «образные перезвоны»; самая фамилия строгого лейтенанта — Княжко — намекает на знаменитого князя Андрея. И зовут лейтенанта Андреем.

<sup>2</sup> Не раз было отмечено, что слово «интеллигент» — слово русское в отличие от западного «интеллектуал». В нем выражен пафос нравственности, совести, отсутствующий в западном синониме. На своем приоритете литератора, который ввел в оборот это слово в данном его значении, настаивал П. Д. Воборыкин.

Чем же силен лейтенант Княжко? В чем тут традиция классики и в чем обаяние современности? Княжко — образцовый военный; и в этих словах закреплено не только, не столько профессиональное, сколько нравственное состояние. Лучшая часть русского офицерства традиционно сочетала в себе духовное и действенное начала. На этом даже была основана одна из философско-публицистических теорий XIX века... В гвардии, да и в армии наряду с ревностными, верноподанными исполнителями служили люди мыслящие, близко знакомые с народом и с его нуждами (крестьяне, солдаты), люди, действительно мечтавшие о переустройстве общества и о благе человечества. Некоторые из декабристов, Д. Давыдов, Лермонтов, Полежаев, Толстой и иные представляли в армии большую литературу XIX века; но и кроме них было множество офицеров и рядовых, оставивших заметный след в истории русского просвещения, культуры и революции, хотя и не столь знаменитых. Герой-военный (как персонаж) проходит через всю нашу литературу. Давыдовские гусары, Гринев, Печорин, Болконский, Тузенбах, Рощин, Телегин, Мелехов, Вася Теркин... Современная советская литература не исключение в этом плане.

Разумеется, лейтенант Княжко явственно несет в себе черты и новейшего советского офицерства. Он воспитан в духе строгости, мужества и сурового гуманизма, свойственных подлинным современным военным. Но все его нравственные ипостаси являются и прямой проекцией на гуманистический опыт высокой русской литературы прошлого века: «Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Княжко, невысокий, узкий в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку ко рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать. И видно было, как в нависшей звонкой сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды, визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко полоснул белым на солнце опущенный из окна мансарды лоскуток.

— Ну! Все! Молодец ваш ангел! — зады-

шал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин...»

Он аскет, он сух, он отказывается от личной любви в годину бурь и лишений века, народа; он следует принципам сурового и четкого гуманизма даже и в той ситуации, когда эти принципы наиболее трудны для исполнения: в самом конце войны, на излете, в исходе всей трагедии, он жертвует собой, пытаясь спасти — и кого же? — даже не своих, а группу обезумевших юнцов немцев, боящихся сдаться в плен, пытается спасти, ибо лишних жертв не должно быть, ибо высокая правда честного воина превыше всего.

Эпизоды, изображающие все это, порою прямо перекликаются с некоторыми из военных сцен эпопеи Толстого — сцен с участием князя Андрея. Но дело даже и не в прямых, «заявленных» традициях, параллелях, а в общем пафосе образа.

В полном соответствии с установкой на изображение широты, философии войны и, соответственно, активного героя, героя-правдоискателя в действии, Ю. Бондарев решает и другие художественные проблемы; таким образом, все это подтверждает одно другое. Ю. Бондарев вводит напряженный ретроспективный прием (план прошлого — план настоящего), перебрасывает действие из страны в страну, вводит споры на философско-публицистические темы и т. п. Так, в «Горячем снеге» вводил он образы полководцев — Жукова и его сподвижников, говорил о природе войны. Все это дыхание мысли, стремящейся к простору и глубинному освоению жизни; все это в духе нашей классики.

### 3

Было время, когда некоторые из нас немного забыли, что русская классика образительно чрезвычайно разнообразна. Критика в основном пропагандировала три-четыре классических стиля, да и то взятых лишь с некоторых из их сторон — не в объеме, не в истинной жизни их. Лет десять — пятнадцать назад ситуация стала меняться. Новое и могучее приобщение к большой русской классике — приобщение, причины которого сложны, сейчас мы лишь констатируем факт, — породило и новую потребность в осмыслении ее чисто художественного опыта, обострило внимание к живой и реальной диалектике классических стилей.

Наша классика всегда бесстрашно подни-

жала к художественной жизни все важнейшие пласты бытия и духа, не боялась никакой правды, имеющей отношение к высокой и глубокой сущности природного человеческого существования.

Живая жизнь мало считается с людскими пристрастиями, градациями, доводами логизирующего рассудка или односторонней эмоции; в ней все «несовместное» совместно; равнодушно взирает она на то, как догматические и схоластические умы непрестанно предписывают ей, жизни, чему в ней быть, а чему не быть; она сама по себе, человек влияет на нее своей деятельностью, но лишь в том случае, если эта деятельность уважает глубинные законы самой жизни и следует им, то есть является истинно творческой, органической деятельностью; в то же время во всей этой толще жизни есть стержневое, что постигается изнутри жизни.

Наша классическая культура с самого своего зарождения то интуитивно, то сознательно понимала все это; так складывалась ее традиция. На заре ее главной эпохи встает неповторимая фигура Пушкина — гения, основным предикатом которого всегда была идея гармонии в высоком и диалектическом смысле этого слова, идея воплощения всей полноты жизни. Вся наша последующая литературная культура неизменно ссылается на Пушкина; самые «несовместные» деятели нашей литературы сходятся на одном — на Пушкине. Оттого при всей «несовместности» у них есть ощущение общего источника, общего целого, общего главного... Пушкин — символ этого.

Классика смело подступала к заветным пластам и свершениям жизни и, помня о «стержнях» и непрерывно ощущая именно единство целого, породила неизмеримо резкие, жестко очерченные, предельно индивидуальные и свежие духовные сферы и, соответственно, художественные и собственно-мыслительные взгляды и стили, спорящие между собой, иногда отрицающие друг друга или, что и того острее, как бы лежащие в совершенно разных плоскостях, рядах жизни и при этом все же неуловимо единые в своем духовном бытии, в своей исходнейшей проблематике. Ныне достаточно назвать лишь некоторые пары «несовместных» имен, чтобы вновь убедиться в этом: тексты и «взгляды» хорошо известны, ассоциации развиты... Герцен и Лермонтов, Державин и Тургенев, Белинский и Фет, Гоголь и Толстой, Достоевский и Щедрин,

Некрасов и Тютчев, Чехов и Блок, Розанов и Островский, Григорович и Бесгужев-Марлинский, Анненский и Глеб Успенский, Бунин и Маяковский, Есенин и Вяч. Иванов, Брюсов и Златовратский... Трудно представить пусть и самого «хитрого» из литературоведов, который сумел бы на чисто стилистическом, то есть собственно-художественном, языковом уровне полностью доказать родство, положим, «Страшной мести» Гоголя и «Войны и мира» Толстого. Все разное: атмосфера, подход к миру, поэтика, стилистика... Все не только разное, но существующее именно как бы в разных мирах, в разных измерениях, плоскостях жизни. Эмоциональные взрывы Гоголя, озабоченного подспудным бредом и высшим «страхом» жизни, его «барочные», экспрессивно-погусторонние образы (колдун, мертвец), смещение реальных пластов жизни, кровь, грозный сон, «тощие, сухие руки с длинными когтями», поднявшиеся из-за леса, ощущение ужаса и возмездия жизни и смерти, подземная и «ночная» стилистика — ритмическая проза, исполненная по законам поэзии и одновременно самого хаоса (слово «страшный» пять раз на полстранице!), надрывные прилагательные, не обозначающие ничего, кроме предельной стихии и раскола жизни («дикий», «неслыханный», «погибший», «святой», «пугливо», «бешеный», «лютая», «так о й грешник»). И светлый, торжественный и величественный Толстой, полный разума и свободного, сильного, стройного чувства; его эпические картины, сочетающие в себе всю силу дневного и наглядного зрения, слуха, всю мощь анализа, знания души и реальных пружин реального человеческого поведения; Толстой ведаёт о безднах жизни, но смотрит на них со стороны гармонии, разума и дневного цельного чувства; сама природа для него не взрыв подземных черно-багровых сил, как у Гоголя, а великая, спокойная и мощная вечная стихия, призванная умиротворить мятущегося, несчастного человека; распутившийся старый дуб, ночь в Отравном, небо Аустерлица... Сама фраза Толстого отражает это настроение, несёт эту интонацию; она медлительна, она утвердительно и «развесиста» в своем вольном, суровом синтаксисе: «Как ни старались люди... весна была весною даже и в городе».

Так что же — и верно, ничего общего? Острота вопроса усиливается и тем, что Толстой, как это он вообще любил применительно к искусству, высказался о Гоголе

и снисходительно и скептически («О Гоголе»)... И все-таки простым глазом видно, что Толстой потому и высказывается, что Гоголь его интересует, а не безразличен ему, что он ощущает общие исходные начала.

И Гоголя и Толстого предельно волнует духовная, нравственная подоснова мира, волнует соотношение в мире гармонии и стихии, силы и разума, воли и вдохновения, по сути — соотношение Света (именно с большой буквы) и мрачных сил мира.

Оба, Толстой и Гоголь, по русской традиции (и тут единство!) идут прямо и бесстрашно к самым «последним» (Бахтин), к самым «проклятым» вопросам бытия, идут с разных концов, может быть, в разных плоскостях, сферах, «туннелях», но к одной сердцевине. Тем самым уже ощущается четкое единство и некая общая специфика, отличная, например, от буржуазно-западной традиции. Всякое искусство, всякая литература занимаются духовными проблемами, соотношением света и тьмы и т. д., но русскую литературу в этом всегда отличали напряжение и прямота, порыв непосредственно к главному, а новейшая западная традиция за теми или иными исключениями любит выходить на те же вопросы более косвенно, более профессионально (в узком смысле), более специализированно и дифференцированно... Золя в «Лурде» пишет о «проклятых вопросах», но нигде не ставит их прямо, он как бы окружает крепость, а не идет на штурм.

...Тут не место, подробностям — важно обозначить самые контуры; в той и другой манере подхода к миру — русской и западной<sup>3</sup> — есть свои преимущества, — тут дело не в оценках; но сейчас важно лишь очертить специфику. Самый подход, например, к фразе, к художественному слову у Толстого и Гоголя при всей разнице вдруг обнаруживает поразительную общность, стоит сравнить их фразы, вместе взятые, с фразой, положим, Флобера. Флобер — стилист, он замкнут, строг, строен, отточен; фраза как у Гоголя, так и у Толстого внешне «не упорядочена», она подчинена лишь тайному ритму и не подчинена законам внешней, «тонкой» стилистики;

<sup>3</sup> Слова «русский» и «западный» тоже несколько условны; разумеется, и там и там встречаются художники разного типа. Но характерно, что художники русского типа в литературе новейшего Запада сплошь и рядом появляются под влиянием именно русской традиции (Т. Манн и другие).

она идет прямо к главному, минуя внешне-словесные преимущества: «Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу» (Гоголь). «Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священо и важно не это весеннее утро...» (Толстой). Такова разница при единстве, единство при разнице.

Это ощущение величайшего разнообразия и величайшего внутреннего единства русской классической литературы заметно обострилось в атмосфере нашей, советской литературы последних десятилетий и давно уж воспринимается как властный импульс, как стилеобразующий фактор в границах сегодняшней литературы. Такое ощущение настолько сильно, что невольно идет уж как бы незаявленное, но острое обсуждение самого этого ощущения; одни склонны выпячивать момент единства за счет многообразия, другие — многообразие за счет единства, но буква диалектики, как представляется, в данном случае побеждает.

Наиболее заметная и признанная волна современной русской литературы открыто и недвусмысленно идет в русле так называемого строгого реализма. Реализм — опорное слово применительно к специфике русской литературы. Русский реализм давно уже славен как у нас, так и за рубежом...

Все было бы просто, если бы само понятие реализма, и притом именно в «русском» его контексте, не было бы так сложно и многослойно. Когда на зарубежных форумах обсуждаются проблемы нашей литературы, недоразумения сплошь и рядом возникают именно в связи с этим. Многие западные теоретики слово «реализм» трактуют «специализированно», почти как синоним натурализма. Но ведь наш реализм — это и Толстой и Гоголь. Это и Лермонтов, и Щедрин, и Успенский, и Бунин. Ввиду традиционно широкого понимания у нас реализма мы и должны, говоря о современном состоянии литературы, конкретизировать сам термин, уточняя, что имеем в виду, говоря «строгий реализм».

Не будучи натуралистической, а, наоборот, достигнув крупных успехов и на боковом для себя пути и лиризма, и символа, и аллегории, и синтеза, собирательности, эта литература, однако, в основном своем духе и поэтике четко следует именно чисто реалистическому принципу — принци-

пу живописания жизни как она есть, в ее реальном окружающем нас бытии, в ее практической и «дневной» модели. «Быт» в применении к такой прозе не является ругательным словом — он почтен и выдвинут на передний план, но при этом проникнут (конечно, в лучших образцах прозы) мыслью и светом. Большинство произведений деревенской, военной прозы, упомянутой выше, исполнено именно в этой манере... Здесь традиция толстовского реализма, взятого с одной из его сторон; здесь традиция русской классики «второго ряда», давшей образцы последовательно-реалистического стиля как раз на деревенском в основном материале: «Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозвищу Босых» (Г. Успенский). Кроме таких писателей, как Г. Успенский, Короленко, вспомним Мельникова-Печерского, Златовратского, Каронина, Мамина-Сибиряка, Скитальца и других. Не забудем и о том, что многие отдельные произведения нашей большой классики имели в дальнейшей литературе как бы самостоятельную жизнь — влияли как бы помимо всего остального творчества авторов; такова, например, судьба «Записок охотника» Тургенева, народных рассказов Толстого, деревенских повестей Бунина. Коли помню произведений В. Белова привлечь к рассмотрению творчество С. Зальгины, Е. Носова, Ф. Абрамова, В. Бубниса, Г. Семенова, А. Ткаченко, М. Карима, В. Санги, С. Шуртакова, то нетрудно убедиться в справедливости тезиса.

Если военная проза художественно тяготеет к близкой ей стороне наследия Толстого, если деревенская проза сложно тяготеет и к нему же (с другой его стороны!) и к названным писателям, то иная и явная, очень «видная» ныне ветвь нашего «строгого реализма» совершенно откровенно ориентируется на стилевую традицию Чехова.

Сама традиция Чехова тоже понятие сложное и неоднозначное. Условно и приблизительно говоря, есть, во-первых, Чехов ранний и Чехов поздний, в стилевом отношении чрезвычайно разный внутри себя (хотя, в свою очередь, есть, конечно, и исходное единство индивидуального стиля во всей его диалектике).

На линию раннего Чехова из современных

наших писателей выходил, к примеру, Шукшин. Непонимание и забвение законов этого письма породило в критике различные недоразумения и не слишком справедливые претензии к Шукшину как стилисту, художнику. Вопрос в том, что та изобразительно-аналитическая, психологическая, «экстенсивная» (в сюжетном плане), «центробежная» манера письма, которая возобладала в русской прозе ко второй половине XIX века, которая породила «русские жанры» (повесть и рассказ в противовес динамичной новелле и сюжетному роману), которая затем влияла и на западную прозу и которой четко следовал и поздний Чехов — эта манера распространилась как общепринятая и в нашей деревенской и иной прозе 50—60-х годов и породила свою инерцию (разумеется, речь идет не о какой-то общей всем целостной манере, а об общих чертах тех или иных манер). А поскольку Шукшин долгое время воспринимался как чисто деревенский писатель, то от него и требовали соответственного антуража.. Лишь потом поняли, что писатель он в стилевом плане неоднозначный. Когда осваивают наследие любого значительного таланта, к таким «открытиям» рано или поздно приходят.

Немного вспомним раннего Чехова. Вот известная «Смерть чиновника». Это типичная новелла. В отличие от рассказа, который более центробежен и описателен, новелла, подчиняясь своим внутренним жанровым принципам, центростремительна, резкосюжетна («конспект романа»); она непрерывно тяготеет к разному рода динамическим обострениям. В ней огромно значение казуса — некоего «грубого», утрированного случая, который предельно эффективно проявляет сюжетный материал изнутри его. При этом талант писателя как новеллиста состоит в том, чтобы в самой этой сжатости, динамизме и казусе сохранить естественность, убедительность; повышенная условность сюжетного хода не должна восприниматься как нарочитость.

Все это имеем в новелле Чехова. На двух-трех страницах он в анекдотической и «небрежной» форме внешнего изложения решает сложную художественную задачу. Казус? Да, казус, но он приводит к смерти.. «...не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер». Концовка проведена хотя и резко, казусно, но психологично и, значит, по-своему логически. В этом сила Чехова. Даже блестящие концовки такого типичного

и искусственного новеллиста, как О'Генри, сравнительно с чеховскими выглядят трюковыми.

Шукшин как мастер «малой прозаической формы», несомненно, тоже новеллист по самому складу таланта; он идет от казуса, от сюжетной условности (теща в уборной за дверью, забитой гвоздями; поп, танцующий вприсядку; неграмотный человек, написавший «раскас»); он несомненно учитывает опыт Чехова как именно Чехова, а не просто опыт новеллы: об этом говорят типы сюжетных ходов, образные решения, порою сама интонация, сам ход образа:

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно малахольный.

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку... Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеевич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца...»

В то же время Шукшин и чрезвычайно свеж и неповторим, он идет от живого народного быта и говора современного района, райцентра — места, в речевом и бытовом отношении ушедшего от первозданной кондовости и еще не пришедшего к стандартам и эталонам крупного города; у него сказовая интонация, характерная не для Чехова раннего или позднего, а для Лескова или Андрея Платонова — писателя, тоже близкого Шукшину; и, словом, осуществляется живой контакт с жизнью и с разными традициями, неизбежный для всякого художника ранга Шукшина. Ранний новеллистический стиль Чехова здесь лишь доминанта, исходный принцип в традиции... Но это и важно в данном случае.

Стиль Чехова времен «Палаты № 6», «Дуэли», «Скудной истории» хорошо изучен многими нашими авторами рассказов и повестей. Вообще советская проза очень многим обязана Чехову как стилисту. Практически все без исключения наши рассказчики ссылались на Чехова, говорили о его влиянии на них. Ни одно писательское ступление, интервью, статья, книга и т. д. о мастерстве прозы как рассказа и рассказа как прозы не обходится без имени Чехова. Так длится уже многие десятилетия. В последние годы достаточно раскрыть теоретические работы С. Антонова, С. Залыгина, И. Друцэ, Н. Евдокимова, Ю. Нагибина и других, чтобы вновь убедиться в том, что художественный опыт Чехова в центре вни-

мания. Этот теоретический интерес отражает реальное положение дел в прозаическом творчестве.

Сошлюсь на Юрия Трифонова. Все его повести из московского «интеллигентского» быта, ныне получившие известность, как бы веером, все вместе вышли из «Скучной истории» и сопутствующих ей произведений Чехова. Ориентация тут сознательна и очевидна. Описывая псевдоинтеллигентов и дремоту их бездуховного, косного быта, Ю. Трифонов выступает с позиций нового гуманиста и борца за чистоту человеческой морали, но остается при этом сугубым реалистом, объективным писателем социально-аналитического типа, в чем ему помогает Чехов. Хотя, надо сказать, Ю. Трифонов «использует» лишь одну грань внутренне рельефного, напряженного и многообразного мастерства зрелого Чехова. Например, у того огромную роль играет тайное обращение к великой и вечной природе — к ее нетленным и безусловным ценностям, олицетворяющим высокие ценности духовные («воробьиная ночь» в «Скучной истории», описание места дуэли и другие страницы в «Дуэли», стадо красивых оленей в тусклом воображении умирающего Рагина); у Ю. Трифонова в его московских повестях мотив природы вообще почти отсутствует, что резко меняет саму атмосферу повествования: всякому опытному читателю известно, насколько существен для подлинной прозы тот фактор, который называют пейзаж... Но в целом Ю. Трифонов очень живо и адекватно воспринял традицию Чехова, борющегося с обывательским началом в человеке. Как опытный и зрелый прозаик, Ю. Трифонов, конечно, нигде не подражает Чехову прямо и нетворчески, но атмосфера, интонация, сам способ подхода к материалу, наконец, сам материал, как он предстает у Ю. Трифонова, есть развитие именно чеховской манеры: «Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время... Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу...» (Чехов). «В начале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стесняюсь в груди и страхом смерти, к утру смалодуш-

ничал и позвонил в Москву» (Ю. Трифонов).

Есть у нас и более молодые писатели, работающие в той же манере или, во всяком случае, весьма не безразличные к традиции позднего Чехова. Это В. Маканин, А. Ткаченко, Г. Корнилова и другие.

#### 4

Однако, как было сказано, «строгий реализм» в разных его сферах и формах не исчерпывал большого реализма классической русской литературы, знавшей и Гоголя, и Достоевского, и Щедрина, и великих поэтов-романтиков — Тютчева, Фета, Блока, — и Бестужева-Марлинского, и В. Ф. Одоевского, и драмы Кюхельбекера... «Субъективный», повышенно условный, романтический и т. п. (термины тут не устоялись) стиль вторым планом прошел через весь наш XIX век, колоссальнейшим образом исподволь и изнутри литературы влияя и на самый эталонный реализм (следы его влияния можно без всякого труда обнаружить у Толстого и даже у Г. Успенского), то там, то здесь выходил на первый план — и наконец, как мы выражаемся, на заре XX века породил великую фигуру Блока как поэта, драматурга и прозаика-критика и вообще создал мощную волну романтического искусства во всех сферах и жанрах творчества в 10—20-е годы нового века.

Практика и теория нашего романтизма развивались неровно и несколько упрощаются в нашей новейшей критике. Как известно, сам Пушкин не употреблял слово «реализм», он говорил «истинный романтизм». Считается, что под этими словами и подразумевается реализм; но все-таки слово Пушкина — «романтизм», а не иное. Достоевский, много размышляя над истоками и теорией своего метода, употребил ныне известное свое выражение «реализм в высшем смысле» и вообще искал уточнения для слова «реализм»; связь же творчества Достоевского с традициями большого романтизма, вообще говоря, несомненна. Гоголь, по сути, непрерывно думал над теорией и обоснованием романтического творчества. Сам Белинский, которому принадлежит наиболее ранняя и резкая критика романтизма ложного, при внимательном взгляде обнаруживает явное приятие романтизма истинного (статьи о Мочалове в роли Гамлета, о Лермонтове и многие иные). Кроме того, говоря о теории и практике романтиз-

ма, мы обыкновенно упускаем из виду деятельность таких писателей, как А. А. Бестужев-Марлинский или В. Ф. Одоевский...

Все это к тому, что романтическое искусство на нашей почве имеет очень богатые традиции. Классики советской литературы, Горький, Маяковский, Фадеев, Есенин, Заболоцкий и еще многие, напряженно размышляли над опытом романтического творчества и впитывали его. Развитию этого плодотворного процесса нередко мешали ложноромантические тенденции в работе тех или иных писателей, а также теория и практика той поверхностной и несерьезной «романтики», которая не имеет ничего общего с традициями большого и крупного романтизма, но которая активно давала о себе знать в литературе.

«Истинный романтизм» — это выдвигание на первый план духовного начала как такового, «опрокинутого», однако, в действие и огромное многообразие, многоцветность жизни; это, соответственно, стремление «проверить» человека, природу, жизнь на высших регистрах — на пределах их проявления, на пределах коллизий; это, соответственно, напряжение «музыки» (Блок), ритма, всего многомерного изобразительно-экспрессивного арсенала творчества. Отсюда внимание к истории, к дальним странам, к высоким проблемам родины, любви и фольклора, к единению разума и стихии жизни, к резким и крупным характерам, к бытию личности как именно личности во всей ее и духовности, и психологизме, и «биографизме», к «музыке и поэзии» слова в высших, напряженнейших их проявлениях.

Большая советская проза дала образцы высокого романтизма — достаточно сослаться на Горького, Шолохова, Андрея Платонова, Пришвина; я не говорю уж о других талантливых писателях 20—30-х годов.

Стилевые искания нашей прозы последнего десятилетия заметны поощрены появлением противоречивого, но необыкновенно значительного романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Произведение это, по моему убеждению, выполнено в традициях крупного романтизма. Гоголевское, гофмановское, «фаустовское» и т. п. начала видны простым глазом. Если же оглянуться на тех же А. Бестужева, В. Одоевского, то все еще ясней. Тем не менее, а может быть поэтому, критика наша несколько растерялась при появлении «Мастера...»; привыкшая в то время к канонам «строгого ре-

лизма», она не сразу восприняла именно художественно-стилевую неслучайность такого произведения в плане отечественной традиции.

Интересные образцы романтического («субъективного» и т. п.) творчества в прозе мы сегодня находим в произведениях прежде всего талантливых писателей из национальных республик, живо и плодотворно использующих традиции русской классики и в этом ключе тоже, — Р. Гамзатова, М. Карима, Г. Матевосяна, И. Драча, В. Дрозда, Н. Думбадзе, О. Чиладзе, В. Василаке, Т. Пулатова, О. Сулейменова, Э. Ветемаа, Ю. Шесталова, Р. Шавялиса и других. В русской литературе нашего времени романтические тенденции отчетливы в прозе Л. Леонова («Evgenia Ivanovna»), Ё. Солоухина, В. Шефнера, В. Конецкого, К. Воробьева, Ю. Куранова, В. Катаева, Б. Окуджавы, а также и более молодых — В. Личутина, А. Кима, А. Проханова и иных.

Возьму один, с моей точки зрения, показательный пример, в связи с которым могут встать достаточно острые, подчас спорные вопросы развития в нашей прозе романтической традиции.

Б. Окуджава пишет свою прозу на материале русской истории XIX века. При очевидной изначальной условно-романтической ориентации, при всех исходных и всегдашних для него проблемах стилизации, интеллектуального сказа и орнаментализма Б. Окуджава уже прошел в своей прозе известное стиливое развитие — «претерпел эволюцию». Повесть «Глоток свободы» («Бедный Авросимов») написана в манере, хорошо известной у нас в 20-е годы. Условно и коротко говоря, это манера интеллектуального сказа и отчасти орнаментализма, манера, на материале исторического романа четко разработанная Ю. Тыняновым. Он, в свою очередь, откровенно опирался на художественный опыт Андрея Белого как прозаика. Поскольку последующий наш исторический роман пошел в основном иными изобразительно-интонационными путями — путями, быть может, как раз более близкими дороге высокого романтизма, чем романы Ю. Тынянова («Петр Первый», А. Толстого, произведения С. Бородина и др.), и опыт 20-х годов в этой сфере был основательно забыт, — то проза Б. Окуджавы при своем появлении также вызвала некоторую «смуту» в критике; однако тут дело не в том, что какая-то часть нашей критики вечно к че-

му-нибудь не готова и перед чем-нибудь растеряна, а в самом факте наличия такой-то и такой-то традиции.

Сказовый стиль, сказовая интонация, сказовая традиция бурно обсуждались в нашей текущей и академической критике и в кругах прозаиков на протяжении всех 10—20-х годов; обсуждаются и сейчас применительно к тому времени. На первом плане мелькали имена Гоголя, Лескова в приложении к практике прозы нового века. Развитие этого стиля шло чрезвычайно сложно и неоднозначно. Он приходил на ум в связи с потребностью в приобщении прозы к стихии устной, «низовой» речи, в связи с нарастающей необходимостью изобразить массового героя изнутри его, с его собственной позиции. Гоголь (в первую очередь в «Вечерах...» — во всем, что касается самого рассказчика Рудого Панька и его интонации и позиции) и особенно Лесков («Левша») действовали именно таким образом.

Стиль Гоголя и Лескова был резкоинтеллектуалистически и «орнаментально» переосмыслен Андреем Белым — прозаиком (прежде всего «Петербург», а также «Котик Летаев», «Серебряный голубь» и др.). А. Белый подходит к материалу не изнутри, а сверху, со стороны, от ума, от рационалистической, аналитической культуры; здесь сказались как противоречия и сложность эпохи начала века и самого состояния культуры этого времени, так и собственные противоречия и дисгармония в художественном и общем мировоззрении А. Белого. Отсюда дисгармонизм самой прозы Белого. Народная, сказовая интонация — и рафинированный интеллектуализм в подходе к материалу и самому слову; установка на устное звучание — и книжность самого исполнения; мысль о массовом сознании и герое — и предельная ненародность и даже немассовость самого реального героя (Аблеухов и другие); забота о естественности и непринужденности — и фактическое писание изобразительными эссенциями, далекими от норм действительно естественного, действительно реального движения речи: «И позднонько же ангел Пери извоил открыть из подушек невинные глазки; но глазки слипались; извоил он долго еще пребывать в дремоте, под кудрями роились невинности, беспокойства, полуднамеки...» Такого рода стилистика не дает ощущения массовости и устности. Виден излом, стремление к принижению в согла-

нии с запросами тогдашнего «интеллигентского» сознания.

Б. Окуджава в своем первом историческом романе многое воспринял от этой стилистической традиции. Его герой Пестель — типичный романтический герой; вся атмосфера повествования — атмосфера интеллектуального, стилизованного романтизма; сама расстановка персонажей, отправная антитеза (бедный ничтожный писарь Авросимов — герой Пестель — страшный Следственный комитет как фон) — исходно-романтическая; интонация и весь способ изложения оживляют в памяти «Кюхлю» или «Смерть Вазир-Мухтара».

Но с первых фраз приходит мысль и о том «дисгармонизме» (употребляю этот термин не в оценочном значении), печатью которого отмечен стиль «Кюхли». Стоит сравнить, положим, реальные дневники Кюхельбекера или материалы Грибоедова с тыняновскими текстами, как становится ощутимой вся разительность разницы. Образы совершенно не похожи, мало того, они лежат в разных плоскостях, в разных измерениях. Кюхельбекер дневников — умный, трезвый, резко и четко мыслящий человек, интеллигент, литератор: «Странно бы было говорить, что Крылова басни прекрасны: это все равно что рассказывать за новостью о белизне снега или о свете дневном. Но и в прекрасном есть степени...»; Кюхельбекер («Кюхля») Ю. Н. Тынянова — изломанный, «ненатуральный» чужак, образ которого идет скорее от известных пушкинских и иных эпиграмм, чем от сути дела. Пушкин эпиграммы-то писал, но вообще относился к «Виле» всерьез и, когда доходило именно до дела, полемизировал с ним всерьез, на пределе мысли («О вдохновении и восторге»), а не на уровне шуток; реальные признаки отношений Пушкина и Кюхельбекера хрестоматийно известны («Троих из вас; друзей моей души...», встреча на постоялом дворе, когда Кюхельбекера отправляют в Сибирь, и др.). Но Пушкин Пушкиным, а высокие и умные записи Кюхельбекера наиболее трагических лет его жизни — лет ссылки — говорят сами за себя. Кстати, дневник Кюхельбекера вышел в 1929 году с предисловием самого Тынянова и был весь «на свежем взгляде»; мы знаем: Тынянов специально занимался Кюхельбекером как литературовед; и все же как прозаик он пошел путем не внутренне-его постижения, а внешнего пародирования образа Кюхельбекера. Его к тому толка-

ла не только его собственная индивидуальность, но и уже сложившаяся традиция стиля. Исконное противоречие между нарочито «массовым» характером этого стиля, этой интонации и характером самого материала, реального объекта, сказалось в полной мере.

Точно та же ситуация в романе Б. Окуджавы. Бедный Авросимов есть бедный Авросимов; тут мы вспоминаем «Шинель» Гоголя, Антона-Горемыку и иное, и сама сказовая стилизация выглядит уместно. Но Пестель? А ведь он именно главный герой; он — Герой.

Относительно Пестеля, как мы его представляем по его поведению, чувствам, мыслям, внешности и, наконец, просто по ситуации, в которой он находится, неестественным выглядит у Б. Окуджавы пассаж вроде: «Самый крупный и упрямый прусачок медленно и достойно танцевал на столе в свете лампы. «Ежели он испугается,— подумал Павел Иванович о танцоре,— стало быть, царь проявит великодушие»,— и протянул к прусачку ладонь. Насекомое продолжало танец. Полковник пощелкал пальцами — таракан метнулся в тень. Это несколько приободрило Павла Ивановича. Тем временем, куда Пестель пребывал в невеселых своих раздумьях, наш герой разрывался на части...» Эти закругленные фразы, явно выдуманная и несколько мучительно раскрученная метонимическая деталь крупным планом в духе Белого и Тынянова (этот таракан), все эти «прусачок», «покуда», «несколько приободрило», «в свете лампы» — совсем не тот стилиевой «алгоритм», который связан в нашем сознании с Пестелем — умным, четким, интеллигентным и суховатым.

Вероятно, чувствуя просчеты принятого им стиля, традиции, Б. Окуджава в последних произведениях, в частности, в романе «Путешествие дилетантов», более стремится стилизовать под «большую классику» в некоторых ее «вторых» стилях и стилиевых чертах; впрочем, и упомянутая традиция начала века здесь видна простым глазом, хотя видна уже, так сказать, не столько в интонации и собственно в стиле, сколько в общей «фантазмагорической» атмосфере, в настрое.

Романтизм Б. Окуджавы несколько вторичен, в нем есть элементы того, что можно назвать романтизмом ложным и что идет не столько от понимания дисгармонизма изображаемой им жизни, на что то и дело нацелен автор, сколько от дисгармо-

нического понимания самих факторов традиции, поэтики и стилистики. Со всем тем прозаические опыты талантливого певца-поэта Б. Окуджавы по-своему весьма интересны; все это походит на лабораторию, в которой ставится эксперимент на «оживление романтического приема» в новом контексте литературы.

Что такая потребность в плане литературного процесса давно существует, видно и по нынешнему творчеству многих других писателей, причем совершенно разных художественных пристрастий. Некоторые из этих писателей названы выше. Примеры можно умножить. Слов нет, потребность еще не вызрела полностью; «лабораторный» момент, весьма заметный в прозе Б. Окуджавы, вполне типичен. Однако важно видеть не только сиюминутное положение дел, но и ближайшую перспективу. «Никакого романтизма в русской прозе сегодня нет», — может сказать кто-то. «Нет, так будет», — можно ответить... Но только ли о «будет» идет речь? Мы в свое время за разговорами о «строгом реализме», о «правде быта» просмотрели столь крупное и органическое явление, как Михаил Пришвин, явление, так и прошедшее «вторым планом» в течение многих десятков лет... Мы просмотрели «Джан» и «Фро» Платонова, мы просмотрели Шергина и иных; будем же извлекать уроки из этих просмотров.

Трудно переходить от конкретных проблем поэтики и стилистики к общим, значительнейшим проблемам. Трудно, но снова необходимо... Да и нет ныне пропасти между проблемами живого искусства и глобального существования человечества.

Ибо человечество живо именно всем живым, социально-гуманистическим и духовным, что существует в нем, в человечестве, и во всем мире; патетический опыт века, патетический опыт самых последних десятилетий, лет, даже месяцев в человеческой «земной жизни» вновь и вновь подтверждает это.

Маюисты, «левые» разных рангов, калибров все громче трубят, что надо забыть все, что требуется отсечь память. В этой ситуации то там, то здесь порой начинается паника; то те, то иные вскакивают с мест — ищут полей потише, ищут все того же физиологического «цивилизованного» покоя ценой отсечения духа родного, мысли и памяти. Нет — отвечает духовная история человечества; нет — отвечает сама история;

человек должен сохранять достоинство и устойчивость «в духе»; человек должен помнить, где он и что он.

Что такое ныне для нас наша великая, наша неисчерпаемая художественная классика? Откуда эта, не побоимся слов, всенародная любовь, умиление перед ней? Откуда ночные ее ноты, ожидающие записи на собрание сочинений того-то, того-то — собрание, выходящее миллионным тиражом?

Что это?

Это — «позтика»?

Это — «стилистика»?

Чем дорога нам классика?

Откуда ее новое, небывалое и в высшей степени благотворное влияние на современную советскую литературу?

Все это, конечно, вопросы, которые легче ставить, чем разрешать; но самые общие ответы уже и ныне возможны.

«Большая русская классика» — это в основном устоявшиеся, устойчивые ценности литературы XIX века, золотого века русской литературы, начиная с Пушкина.

Чем же он привлек человечество и нас ныне, наш XIX век?

В чем его сила?

В чем суть его влияния на нас ныне?

В центре исканий русской литературы всегда находились величайшие нравственные категории, и в силу своей исторической и духовной специфики с самого начала (Пушкин!) она сумела соединить в себе живое бытие этих категорий, ум и гармоническую художественную силу; сумела в высшей степени естественно, артистически сочетать колоссальное разнообразие и пронзительное духовное единство в освоении жизни; сумела, что особенно трудно и примечательно, вплести весь духовный, мыслительный художественный опыт человечества, при этом оставаясь сугубо русской, патристической, национальной даже в самых

невыгодных и «сомнительных» ситуациях, в самые черные эпохи, в самых «критических» и «мизантропических» своих проявлениях; сумела сохранить живой и действенный гуманизм как основное знамя русской литературы, всегда заменявшей частные или плоские идеалы идеалами более свежими, полными и действенными; сам пророческий пафос русской литературы, ее извечное стремление воплотить в себе не узкие и специальные сферы, а всю «зелень живую» жизни, ее неизменное и фанатическое стремление идти к главному и затем к главному в жизни, минуя частности и все случайное, — эти черты были с благодарностью отмечены всем миром в нашей классической литературе при самом ее появлении. Русская классика неизменно высоко несла знамя искусства как духовной полноты и правды. Она создала благородные, живо-стихийные, естественные, внутренне свободные и гармоничные стилевые формы, которые питают нас живой водой до сих пор. Она, наконец, четко напоминает нам, что духовный опыт человечества един, что он непрерывен, и этим напоминанием укрепляет духовный оптимизм человечества.

И теперь, когда прошла пора крутой социальной ломки, когда прошли трагические минуты защиты самой жизни страны, народа, самого права его на существование, когда воочию встают новые грозы и новые зори, мы с особой внутренней готовностью и силой самоотдачи обращаемся к тому духовно нетленному, чем жив народ не только в эпохи бури и натиска, но и во все эпохи...

Наша советская литература занялась этой трудной и благодарной задачей.

Великая классика XIX века, как и иных веков, с готовностью и радостью помогла ей в этом.



# ЖИЗНИ И ЖИЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ахмед Шамов.** Личная жизнь делового человека.— **Алла Марченко.** Сад и дом Визмы Белшевиц.— **Григорий Бакланов.** Меридианы.— **С. Белов.** О людях и машинах, или Канарейка Курта Воннегута.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Владимир Ломейко.** Уроки Кампучии.— **Д. Биленкин.** НТР, человек и мышление.

## Литература и искусство

### ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

**Валерий Гейдеко.** Личная жизнь директора. Роман. «Октябрь», 1979, №№ 1—2.

Э то заметки экономиста о недавно прочитанном романе. Называется он «Личная жизнь директора».

И никакой, как говорится, личной жизни: рушится давняя дружба, расшатались и стали зыбкими основы семейной жизни, надо навсегда расставаться с той женщиной, с которой хотелось бы «прожить жизнь и встретить старость», нет времени даже на то, чтобы перевести дух, забыть обо всем на минуту... И, как назло, все неладно и на производстве: ядовитые сбросы попали в реку, в результате чего погиб косяк рыбы, дело будет разбираться в горькоме и спрос с него, директора комбината, будет самый строгий и взыскательный, недовольны им и в министерстве (не согласился повысить план «любой ценой»), ругают в печати (медленно строится Дом культуры)...

В такой ситуации оказался директор Таежного целлюлозно-бумажного комбината Игорь Сергеевич Новиков, главный герой романа «Личная жизнь директора», принадлежащего перу Валерия Гейдеко, прозаика и критика, безвременно ушедшего от нас.

Художественное осмысление производственной тематики — одна из важнейших забот современной прозы. Причем многих писателей остро волнуют такие экономические проблемы, как планирование, производительность труда, совершенствование управления и т. д. Развитие этой важной линии в широком художественном осмыслении действительности объясняется, очевидно, тем, что для советских людей подобные проблемы стали поистине всеобщими — это наша жизнь, наши заботы, тревоги и радости каждого дня.

Роман Валерия Гейдеко привлекает внимание тем, что сугубо производственные проблемы преломлены здесь сквозь призму личного, нравственного. Это преломление словно бы «утадывает» некую примечательную тенденцию в организации хозяйственного руководства наших дней.

Известно, что организация управления экономикой при социализме предполагает тончайший учет не только экономических, но и нравственных, духовных отношений, оказывающих обратное воздействие на хозяйственную практику. Чем более развито общество экономически, тем выше роль механизма этого обратного воздействия — по мере удовлетворения материальных потребностей возрастает значение духовных факторов, стирается различие между личным и общественным, а нравственно-этические ценности во все большей степени включаются в механизм общественного регулирования. Соответственно усложняется, становится более тонким и чувствительным весь механизм управления экономикой. Он улавливает не только действие материальных интересов членов общества, но и движение их идейных убеждений, принимает в расчет эмоциональную настроенность и нравственные качества работников. Эта тенденция, которая особенно отчетливо проявляется на передовых предприятиях и объединениях страны, отмечена в наши дни специалистами в области организации производства. И именно она нашла свое художественное воплощение в романе.

Разумеется, автор нигде прямо не говорит о механизме регулирования производственных процессов. Названная тен-

денция здесь проявляется через столкновение различных нравственно-этических воззрений, через борьбу между носителями этих тенденций, через изображение реальных условий жизни, в которых эта борьба протекает.

Внешне конфликт разворачивается вокруг вопроса: кто же виноват в том, что ядовитые стоки хлынули в Алгунь? Но по существу за этим конфликтом стоят другие, более важные вопросы: какова нравственная подоплека поступков и рассуждений тех, кто в той или иной степени причастен к отравлению воды в реке? Почему те, кто искренне предан своему делу и несет на себе все тяготы нелегкого труда, попадают порой в ситуации, аналогичные той, в которой оказался Новиков? Как определить ту грань, за которой твои поступки, имевшие, казалось бы, значение только для тебя, приобретают общественный вес?

Нелегкие вопросы, на которые трудно дать логически законченные ответы даже самому себе. И Валерий Гейдеко намеренно уходит от дидактических заключений. В один из напряженных моментов Новиков с горечью спрашивает себя: разве «личная жизнь и жизнь общественная — разные ипостаси и путать их никак не полагается?». Исподволь, самой логикой художественных образов автор романа утверждает мысль о том, что для человека, по-настоящему преданного своему делу, нет глухого барьера между личной и деловой жизнью и что каждый советский человек, и особенно руководитель, должен быть лично причастен ко всему главному, что происходит в жизни коллектива и страны в целом. Автор романа подводит читателя к выводу о том, что именно активностью жизненной позиции определяется реальная ценность человека, его моральная сущность и его место в коммунистическом строительстве.

Правда, этические нормы и правила мы не заучиваем на память. Они не могут быть исчерпывающим образом сформулированы и закреплены в специальных документах, обладающих законодательной силой; отсюда обманчивое впечатление эфемерности этих «незафиксированных» норм и негласных установлений. Но теория марксизма давно доказала, что «люди, сознательно или бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических отношений... т. е.

из экономических отношений, в которых совершаются производство и обмен»<sup>1</sup>. А реальная хозяйственная практика знает немало случаев, когда моральные стимулы выступают решающим фактором развития производства.

Особенно отчетливо это проявляется тогда, когда в общественном производстве совершаются крупные динамические сдвиги: значительно растет объем производства, преобразуется его структура, ускоряются темпы развития и т. д. Эти сдвиги не успевают, как правило, отразиться в принятых нормах хозяйствования. В результате возникает конфликт между живой практической необходимостью и тем, что предписывают уже устаревшие организационные нормы. По существу, в такой конфликтной ситуации оказался Новиков. Авария на станции биологической очистки произошла потому, что ее начальник Плешаков и главный инженер комбината Черепанов формально отнеслись к очень важному делу, не учли новых требований к организации современного производства. Министерство требует повышения плана «любой ценой», так как не знает реальных условий работы комбината. «Любой ценой — этот лозунг уже не раз выходил нам боком, пора бы и поостыть немножко», — думает Новиков. И в своих действиях он опирается прежде всего на гражданскую убежденность, чувство личной ответственности за доверенное дело. Общественное и личное для него неразрывны: «Когда я еду к заводууправлению, то жилые кварталы отсчитывают в памяти отрезки моей жизни в Таежном, куски моей биографии». Он твердо помнит о том, что погоня за ближайшей выгодой грозит обернуться невозполнимыми потерями. А ведь «и детям, и внукам, и правнукам нашим ходить по этой земле, дышать этим воздухом».

Вместе с тем главный герой не собрание идеальных черт. Он имеет свои человеческие слабости, в ряде случаев его поведение не безупречно, он импульсивен, нередко совершает необдуманные поступки. Образ живой, эмоционально ощутимый. Он помогает нам понять еще и такую истину. Сегодня мы в большей или меньшей мере знаем, как построить механизм экономического стимулирования, как сформулировать различные административные правила или

<sup>1</sup> Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 95).

Другие нормативные установки организационной производственной деятельности. Но моральные нормы не имеют институционального характера, а те из них, которые отражены в принятых «заповедях», носят обобщенный характер. В этой сфере действуют методы «саморегулирования», основанные на внутреннем убеждении каждого человека в необходимости данного действия. Если механизм экономического стимулирования больше основан на расчете, логике поведения, то процессы «морального регулирования» протекают в сфере человеческих эмоций, симпатий и антипатий, сердечных привязанностей — всего того, что составляет неповторимое своеобразие человека и не поддается ни какому-либо расчету, ни воздействию посредством трафаретных норм. Честность, принципиальность, преданность своему делу и другие нравственно-этические качества работников нельзя учесть, скажем, в росте прибыли, рентабельности или объема реализованной прибыли. Результаты действия моральных факторов проявляются в улучшении социально-психологического климата в коллективе, что в конечном счете сказывается и на улучшении экономических показателей посредством понижения текучести кадров, повышения дисциплины труда, ритмичности производства и т. д. Кроме того, в процессе формирования благоприятных социально-психологических условий хозяйственной деятельности создается возможность наиболее эффективно использовать этические критерии в оценке каждого работника.

В романе наглядно показано, какие духовные резервы открываются в работнике, когда производственная коллизия требует от него решения важных нравственно-этических проблем. Мямля и неудачник главный технолог Чантурия постепенно предстают перед нами как человек творчески мыслящий и отнюдь не лишенный мужества; робкий и посредственный председатель профкома Стеблянко оказывается решительным и незаурядным человеком; «синий чулок» председатель горисполкома Авдошина обнаруживает чуткость и задушевность; в конфликтной ситуации резче обычного проявляются лучшие черты талантливого рационализатора Авдеева и начальника смены Печенкиной. И наоборот, с виду деловой, организованный Черепанов на поверку оказывается демагогом и лентяем;

управляющий трестом Барвинский, всегда демонстрировавший служебную озабоченность, на деле показывает себя как сибарит и позер. Динамика развития этих характеров приводит нас к выводу, что нравственность советского человека находит конкретное выражение в его высокой идейной убежденности, организованности, сознательности.

Экономисты иногда сравнивают управление производством с острым мечом, который надо суметь взять за рукоятку, а не хватать за отточенный клинок. Руководителю необходимы глубокий ум, тонкое понимание человеческой природы и высокая идейная убежденность, чтобы использовать власть, которой он наделен, в интересах всего общества и каждого его члена. «Каждый из нас,— размышляет Новиков,— обладает только частицей магической силы: я — деньгами, Авдошина — административной властью, Фомич — авторитетом и влиянием, но, чтобы сила эта сработала, нужно соединить все вместе, словно разрозненные кусочки волшебного талисмана, которые в сказках попадают в руки законного владельца». Такое «сложение» происходит, как это хорошо показано в романе, в процессе осуществления партийного руководства экономикой. Секретарь парткома комбината Ермолаев и секретарь горкома Колобаев, умело объединяя усилия всех работников, находят те управленческие решения, которые позволяют повысить организованность производства, чувство ответственности и дисциплинированность работников.

Наша художественная проза все пристальнее рассматривает нравственные аспекты тех ситуаций (экономических, хозяйственных), в которые вовлечен участник современного производства. Деловая и этическая стороны производственных процессов предстают, таким образом, перед читателем как диалектическое единство. Постигание этой диалектики поможет ему лучше ориентироваться в системе сегодняшних многосложных отношений, увереннее подходить к проблемам деловой и общественной жизни, становясь еще более сознательным и активным участником коммунистического строительства. В решение этих проблем вносит свой вклад и роман Валерия Гейдеко.

**Ахмед ШАМОВ,**  
кандидат экономических наук.

## САД И ДОМ ВИЗМЫ БЕЛШЕВИЦ

Визма Белшевиц. Апрельский дождь. Избранное. Перевод с латышского. М. «Художественная литература». 1978. 332 стр.

«Апрельский дождь», несмотря на «вредные помехи» и стилистический разноречивый, неизбежные при коллективном переводе, практически первая русская книга известной латышской поэтессы Визмы Белшевиц, дающая хотя бы приблизительное представление о масштабе ее дарования. Впрочем, когда имеешь дело с таким сложным явлением, как поэзия Белшевиц, сложным и по психологическому наполнению и по эстетическим параметрам, этот самый метод коллективного перевода далеко не самый худший вариант, поскольку предлагает внимательному читателю сразу несколько — целую связку! — ключей к вратам ее поэтического мира. Выражение мира поэта стало в последнее время расхожим, превратившись в уклончиво-служебный критический оборот. Однако в случае с Визмой Белшевиц это как раз то самое важное понятие, которое надо бы «снять с заставки заново». Она из тех поэтов, что не просто пишут стихи и книги, а действительно создают свои миры...

Первое, что обращает на себя внимание в поэзии Белшевиц, — почти музыкальная торжественность (если слегка перефразировать Есенина), с которой переплетаются здесь цветы и травы, деревья и птицы: «...чтоб от цветов, как от музыки, плакать, плакать от музыки, как от цветов». Верба, вся в золотых веснушках, сбросила узкие туфельки и танцует «под звуки капли». Ручьи — «как регистры органов», поползень вторит на свирели, настроивает виолончель ночная фиалка, звенят заведенные на весну подснежники, пересылая звон «смехом зелено-белым», поганки и те превращаются в «звездных путешественниц» — здесь властвует закон преображения всего во все:

Ночь напролет летали при луне,  
Наутро сном забылась стая лилий.

Здесь оживают фольклорные мифы, и им вторят новые:

Где ночевали звонкие трели,  
Ведает море одно:  
Взяв колокольчик, солнце скользнуло  
Прямо на синее дно.

Спал колокольчик в морской колыбели  
Ласковых волн — до утра,  
Только вода, чуть звеня, отливала  
Белым огнем серебра...

А с каким вкусом и грацией и в то же время с какой «лирической дерзостью» в узорочье это, словно в живую раму, вставлены (а хочется сказать — вживлены) три классических латышских ландшафта: белоствольно-березовый, прозрачный, сквозной, словно взмывающий «на синих крыльях далей» — это Видземе («Слова любви к Видземе»); золотисто-пшеничный — это Земгалия: «...божий караван, крутящийся под самым небосвод, столь пышный, и душистый, и крутой, что сердце веселит и нежит рот» («Ода Земгалии»); серебристо-озерный, «где буйство и мощь неразбуженной терпкой листвы, подобно спирали тугой», — это Латгалия («Глаза Латгалии»).

Постоянные смены ракурсов и планов, широкий диапазон поэтического зрения (и умения и чувствования) — все это, конечно, требует от читателя и постоянного внимания и душевного труда. Протулки по чудо-саду Визмы Белшевиц не из числа увеселительных — слишком многое стоит за упорством, с каким героиня «Апрельского дождя» отвоевывает свой сад у «пустыря», у камня, у дикого поля. Переживанием становится все — от простой и понятной всем «тоски по земле» («...день ото дня все больше руки стонут, тоскуя по земле») до ответственности за жизнь как «вселенскую категорию», когда жизнь, как пишет в предисловии к сборнику латышский критик Улдис Берзиньш, «оказывается синонимичной самому существованию вселенной».

Больше того, как только глаза насытятся разноотравьем и разноцветьем и начнут различать еще и скрываемое, тайное, начинаешь понимать, что сад, который мы чуть было не приняли за рай земной, больше похож на прибежище судьбы, отнюдь не безмятежной и далеко не счастливой. Сам стих Визмы Белшевиц, который на первый взгляд кажется произрастающим свободно и раскидисто, словно древо, если присмотреться внимательней, более сложен по своему составу.

...как хмель, повисший в пустоте,  
За воздух, за ничто держаться больно  
мне,  
Нельзя, не знаю почему, припасть  
к земле.  
Пронзает призрачная ось под стать  
ножу,  
Я петли вокруг нее день изо дня вяжу.



ви. И притом отрицание с весьма определенной позиции — с позиции «мудрости женщины настоящей, той же, что у земли, и ромашки, и почвы, зеленые всходы родящей».

Однако подключите к этому почти манифесту в защиту простой ромашково-почвенной жизни иные стихи (и не по собственному читательскому произволу, но лишь накинув соответствующие петельки на оставленные автором крючки), хотя бы то стихотворение, где Визма Белшевиц поэтически осмысляет свое имя (Визма — свечение, сияние) и где, в частности, есть строки: «Всею ты отдаешь свой свет, но — ничья. Твое свечение, не подвластное течению, — одинокий белый след, — окажется: тот же самый текст можно истолковать по-другому — как утверждение мудрости Сольвейг через отрицание... Уж очень много общего у героини только что процитированного произведения с неразумной Сольвейг, у которой одна радость — «звездой быть, такие лучи ледяные лить», одно жизненное назначение — «на дорогу глядеть», одна надежда — «да, Пер Гюнт возвратится»...

В этом стихотворении наглядно воплощено характерное для Визмы Белшевиц противоборство двух конфликтующих устремлений — из дома и в дом, двух стихий — печного уютного огня и лунного, не подвластного течению обыденной жизни свечения, верности семейным узам и свободы от них. Больше того, выбор в пользу Сольвейг, а не ромашково-почвенной мудрости — в разрез, в разлад с общепринятыми настроениями и устремлениями — подтверждает, что тот поворот души и сюжета, уже обративший наше внимание в стихах о Риге, не минутный порыв. Нет, я далека от намерения именно в этом месте «остановить» Визму Белшевиц. Но свою рецензию на «Апрельский дождь» мне хочется задержать именно на этом повороте, ибо он мне кажется знаменательным, тем более что на защиту города встает не убежденный урбанист, а хозяйка, может быть, самого обиженого, богатого по числу сохранных от исчезновения «мельчайших пылинок любого живого», такого красивого поэтического сада.

Алла МАРЧЕНКО.



## МЕРИДИАНЫ

Сильва Капутикян. Меридианы карты и души. Авторизованный перевод с армянского Т. Смолянской. М. «Советский писатель». 1978, 336 стр.

Позже, когда были произнесены приветственные речи, прочитаны адреса и посвящения, юбиляр, Сильва Капутикян, вышла с ответным словом. То, что сказала она, было умно и проникновенно, и все-таки сильней взволновали меня ее стихи. Особенно вот это, известное — «Слово сыну».

Едва забормотал ручей,  
Едва над зеленью долин  
Запела птица меж ветвей —  
Заговорил и ты, мой сын.  
Ты слово первое сказал  
На древнем нашем языке,  
Губами детскими припал  
К бессмертным струям в роднике.  
Мой сын, тебе я отдаю  
Наследство, обещаю беречь,  
Как ценный клад, как жизнь свою,  
Армянскую родную речь.

В Лос-Анджелесе армянский поэт Завен Сурмелян, который в 20-х годах оказался в Америке («... один из тех сирот, чьих родителей убили на глазах детей, чьи братья и сестры затерялись в урагане на дорогах изгнания») и который давно уже пишет на английском языке, сказал Сильве Капутикян: «Это ваше счастье... Я преклоняюсь перед теми, кто пишет тут по-армянски. Но на этой земле это заранее проигранная битва...»

А их там все меньше и меньше становится — тех, кто армянской речи не забывает. И закрываются газеты, начавшие выходить в конце прошлого века, и «все чаще и чаще на стол к редакторам таких изданий ложатся коротенькие письма: «Просим больше не высылать вашу газету, наш отец скончался...» И даже «Арагат», журнал,

выходящий в Нью-Йорке, издается на английском: «Aragat».

В сущности, вся книга Сильвы Капутикян, названная «Меридианы карты и души», это рассказ о встречах в Канаде и Соединенных Штатах Америки с теми, кто помнит или забыл родную речь, а иногда уже и с теми, кто забыл и мать свою. В Калифорнии, где такая мягкая, благодатная земля, где удивительный климат, во Фресно, куда в свое время армяне, по преданию, первыми привезли абрикосовые косточки и посадили здесь первые абрикосовые деревья, почти уже ничего не осталось от старой колонии: только «несколько стариков, сухощавых, горбоносых, говорящих по-армянски на сугубо деревенском диалекте, стариков, которым так не подходило название «фермеры», хотя именно фермерами они и были».

Здесь, во Фресно, жил и писал Уильям Сароян, жил Ваге-Гайк. А в Нью-Джерси, в Доме для престарелых, в «доме покоя», в комнате № 23 провела свои последние дни армянская писательница Заруи Галамкерян. Дочь ее и зять-миллионер тщеславно укрепили на двери памятную доску, извещавшую всех, что комната обставлена на их пожертвования. Что-то очень существенное непоправимо и уродливо изменилось в этих людях, если они даже не понимают, что доска эта — свидетельство их жестокости и позора.

В книге Сильвы Капутикян много размышлений о своем народе. И это всегда размышления о человечестве, живущем на разных материках, говорящем на разных языках, разорванном, разделенном, разделяемом сознательно и все же — едином. И вновь и вновь писательница возвращается мыслями к трагедии армянского народа, к тем страшным годам геноцида, о которых в свое время писал Максим Горький: «Память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX и начала XX веков, резню в Константинополе, Сасунскую резню, гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они отнеслись к истреблению их «братьев во Христе», ужасы турецких нашествий последних лет,— трудно перечислить все трагедии, пережитые этим энергичным народом».

И вот развезены по миру миллионы армян. «В одном месте — дорогие люди, в другом — дорогие могилы, в третьем — дорогие воспоминания; все они разбросаны, рассеяны, ждут тебя, входят в твое сердце, тре-

буют от него свою частицу... До чего же разветвлены, до чего же неохватны меридианы нашей души!.. — пишет Сильва Капутикян. — Если раньше соседям, чтобы встретиться друг с другом, достаточно было... неторопливо перебирая четки, дойти до околицы, а уж в крайнем случае на лошади доскакать до ближней деревушки, то теперь эти люди, чтобы повидаться, плывут на кораблях, на самолетах перелетают океан, с одного полушария добираются до другого».

Своих земляков она встречала повсюду. И не всегда эти встречи были радостны, но за каждой такой встречей — история целой человеческой жизни. В Лос-Анджелесе встретила она поэтессу, пишущую на испанском языке, — Алисию Киракосян. При определенном знании иностранного языка человек может приучить себя думать на языке другого народа. Но в минуты волнения человек непроизвольно говорит на родном языке. И поэт, сколькими языками он бы ни владел, пишет только на родном языке. Алисия Киракосян родилась в Аргентине, родным ее языком стал испанский.

«Кто она, эта девушка, пишущая по-испански?.. Откуда она? Из каких веков, с какой планеты посылает нам сигналы о себе? Да, она из неизвестных веков, с другой планеты, ибо иной язык — это другая планета, другое небесное тело, хоть и вращаются они вокруг одного и того же светила. Но так настойчивы были сигналы, посланные этой девушкой, так требовательны. Пусть услышат ее, пусть узнают, что она есть на свете, что вот-вот появится, приедет!».

И Сильва Капутикян рассказывает о том, как эта девушка приехала в Армению, как состоялась ее «встреча со своей планетой». Рассказывает, приводя стихи Алисии Киракосян, в которых «душа получает крещение»:

Я узнала тебя.  
И ты отпечаток следов,  
Что веками  
Сама же на мне оставляла...  
И, узнав тебя,  
Я узнала себя...

Прозаическая книга Сильвы Капутикян — это дневник поэта. Дело не в том, что автор сознательно придал ей вид дневника: вместо глав даты, указывается всякий раз место, где сделана запись... Читатель, конечно, понимает, что все это художественный прием, не более. Гораздо важнее дру-

гое: свободная манера изложения, та внешняя безыскусственность, которая и есть искусство. В одном абзаце, в одной фразе тут смешиваются нередко и времена и материи, но все это не хаотично, а подчинено мысли и чувству, которые нераздельны. И всякий раз, как только это представляется возможным, автор с прозаического переходит на родной ей поэтический язык. Она говорит своими стихами, стихами других поэтов, и видно, насколько в этом от природы данному ей языку она естественна и свободна. Всякий раз, когда мысль ее взволнованна и остра, она переходит на язык поэзии. А если пишет прозой, то и проза ее в такие моменты поэтична, и перевод Татьяны Смольянской хорошо передает это.

Писалась книга в селе Евгард неподалеку от Еревана. И есть свой смысл в том, что книга о спюрке, о части армянского народа, которая разбросана по свету, написана в армянском селе.

«Человек может жить где угодно, может странствовать по свету, но у него должен быть город, село, поселок, который был бы с ним всегда и всюду, на любых дорогах,— пишет Сильва Капутякян.— Должен быть святой кусочек земли, чтобы человек ежедневно мог чувствовать ее тепло под своей стопой... где бы он ни находился».

Вот этот кусочек родной земли, чувство родины, огромной многонациональной родины, сопровождало Сильву Капутякян на всех дорогах на протяжении ее четырехмесячных странствий. Мне хочется привести еще одно ее рассуждение, подводящее итог многим встречам и судьбам:

«На протяжении веков человечество складывалось из пестрой мозаики больших и малых наций и рас. На протяжении веков в этих нациях и расах утверждались отношения покорителя и покоренного, угнетателя и угнетенного, в лучшем случае—спасителя и спасенного. Это все вызвало в душах людей, с одной стороны, национальный эгоизм, надменность, порочное чувство расового превосходства, с другой—рабство, страх, затаенную злобу угнетенного. Так было веками, и «великие мира сего» в великих книгах, полотнах, скульптурах, памятниках и симфониях пытались уравновесить полярность, умерить эти столкновения в человеческой душе, вселяя в нее чувства любви, понимания, братства...

Если каждый из нас попробует нарисовать карту своих друзей, то увидит, что невольно день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки... Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отликает новый духовный сплав. Я это особенно чувствую, когда и дома и за границей встречаюсь со своими зарубежными «сокровниками», с людьми искусства.

Разговаривая обо всем, вновь переживаем прошлые беды нашего народа, невзгоды спюрка, радость возрождения Армении. Но наступает момент — и я чувствую, как между нами образуется какой-то водораздел. Мои сородичи остаются на берегах Аракса, у подножия Арарата, у стен Эчмиадзина. А у меня в душе кроме этого еще другие, им непонятные, ими не воспринимаемые краски и оттенки. В моей душе живет Москва с ее исполинским дыханием и в то же время такая домашняя, привычная. Живет мой друг поэт Мария Петровых, которая для меня не только переводчик моих стихов, но и мерило честности, человечности; я радуюсь новой книге Кайсына Кулиева... я рада, что белорусские зодчие сумели создать такой поразительный памятник народной трагедии, как Хатыньский мемориал; словом, кроме того, что я частица Армении, я — частица нашего могучего сообщества.

Становится ли меньше от этого во мне «армянская доля»? Расчленяется ли моя душа, раздваивается? Нет, она становится еще более целостной. В то время как в спюрке констатация факта, что тот или иной человек «не скрывает, что он армянин», вменяется ему в заслугу, для советских армян наша национальная гордость — естественное состояние. С детства воспитываясь в постоянном общении с другими нациями и культурами, душа приучается воспринимать и другие культуры как родственные...

Так рушатся ограды, разделяющие людей, и создается эмоциональная общность сердец. Создается... Еще долгий путь должен пройти человек, чтобы окончательно победить в себе века и полностью принадлежать новому веку».

Григорий БАКЛАНОВ.



## О ЛЮДЯХ И МАШИНАХ, ИЛИ КАНАРЕЙКА КУРТА ВОННЕГУТА

Курт Воннегут. *Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Колыбель для ношни. Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями. Романы. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. Вступительная статья А. Зверева. М. «Художественная литература». 1978. 727 стр.*

Жителям планеты Тральфамадор, куда попадает Билли Пилигрим, «отключившийся от времени» герой «Бойни номер пять», известна замечательная истина. Ими установлено, что «все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами». Для тральфамадорцев в этом нет ничего зазорного. Напротив, машинный статус сулит сплошные удобства: ни страданий, ни разочарований, ни потрясений. Ведь механизмам не положено размышлять, пытаться понять, почему бывают кризисы, бедствия, войны и как их избежать. Согласно «научной» точке зрения, принятой на Тральфамадоре, мир надлежит принимать таким, каков он есть. Все застыло для прагматиков-тральфамадорцев в жестком детерминизме. «Такова структура данного момента», — терпеливо отвечают они на все «почему» инопланетного гостя Билли.

Планета Тральфамадор являет собой торжество научно-технического знания, царство «логарифмов». Ее обитатели давным-давно расшифровали все загадки Вселенной, известно им, как и когда она погибнет. Они сами взорвут ее, испытывая новое горючее для своих летающих блюд, когда создастся подходящая «структура момента». Но грядущие катаклизмы не в силах испортить настроение жителям этой рациональнейшей из планет, живущих по принципу: «Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах».

Билли Пилигрим и рад бы следовать их мудрым советам, да вот беда — он больше не может быть механизмом. Впервые автомат в нем забарахлил после второй мировой войны. Побывав в плену у немцев, став (как и его создатель экс-военнопленный Воннегут) свидетелем бомбардировки Дрездена англо-американскими ВВС, при которой погибло 130 тысяч жителей, он заболевает нервным расстройством. Его быстро приводят в порядок, и исцелившийся, «сосредоточенный на хорошем» герой поступает на курсы оптиков. Женится на дочке владельца курсов. Не по любви — машины не влюбляются. Тесть — крупный бизнесмен и член общества Джона Берча, объединения американских нацистов, —

пристраивает его на доходное место. Все идет как по маслу. Рождается сын. Поначалу, правда, юный механизм Роберт лоботрясничает и носит двойки, но и лоботрясы нужны в целесообразно устроенном обществе. Не беда, что они пороха не выдумают, на то есть отличники-умники, а дело лоботрясов действовать, как укажет начальство. И Роберт — убивающий механизм — отстаивает интересы нации (то бишь властей) во Вьетнаме в частях особого назначения, печально знаменитых «зеленых беретах».

Преуспевающего оптика Билли не волнует Вьетнам, забыл он и про Дрезден. До поры до времени. Пока не разбивается самолет, в котором он летел на международный конгресс. Уцелеть герой уцелел, но с ним начинают твориться странности. Он получает способность свободно перемещаться во времени и пространстве. Билли курсирует между Тральфамадором и Землей. Из супружеской спальни он попадает в барак военнопленных, а из Германии 1944 года — в Америку 1967-го. Роскошный кадиллак везет его через негритянское гетто, где совсем недавно танки национальной гвардии «вразумляли» местное население, посмевавшее заявить о своих гражданских правах. А торопится Билли на завтрак в Клуб львов, где некий майор будет требовать усиления бомбежек Северного Вьетнама.

В скитаниях Билли Пилигрима беспорядочность только кажущаяся, его маршрут четко выверен логикой мысли Воннегута. Тральфамадор, Дрезден, США 60-х — три планеты художественной галактики «Бойня номер пять» — вращаются по схожим орбитам и управляются одними и теми же законами, законами практицизма и утилитаризма, где цели всегда оправдывают средства и в расчет принимаются не живые люди, а безликие человеко-единицы. Отключившись от времени, герой Воннегута обретает дар памяти. Памяти исторической, удерживающей в сознании Билли Пилигрима моменты пересечения частной судьбы с судьбой страны или — еще шире — с судьбами человечества. Куцая память — печальное в глазах писателя свойство увязших в потоке будничного существования соотечественни-

ков Билли. Забвение уроков истории обрекает людей на опасное «повторение пройденного». Помнить о трагедиях прошлого, не забывать про зло в современности, думать самостоятельно — с этим обращается к читателям К. Воннегут.

Крупный американский социолог Д. Рисмен в книге «Толпа одиноких», посвященной проблеме личности в буржуазном обществе, указывает на коренные различия между типом личности, доминировавшим в эпоху «свободного предпринимательства», и массовым человеком современного потребительского общества. В «героический» период развития капитализма котировался тот, кто умел ставить цели и добиваться их осуществления. Чтобы преуспеть, этот, по терминологии Рисмена, «управляемый изнутри» человек должен был обладать волей, мужеством, самостоятельностью. В «массовом» же обществе сильные качества скорее мешают, чем помогают. От современного «управляемого извне» человека требуется искусство ладить, подчинять свои вкусы и желания интересам той организации или общественной группы, к которой он приписан.

Герой нового времени — заядлый конформист, и приверженность раз и навсегда избранному кодексу (религиозному, нравственному, деловому) выглядит анахронизмом. Чтобы успешно функционировать, этот винтик новейшей конструкции, исполнитель чужой воли и потребитель навязываемой модой, рекламой, соображениями престижа продукции (в том числе и идеологической) должен уметь быстро развивать в себе качества и потребности, которые «рекомендует» ему сложившаяся ситуация, и вместе с тем в случае необходимости оперативно перестроиться — заменить «устаревшие» качества, потребности, убеждения новыми.

Об этом процессе исчезновения целостной личности, бесстрастно констатируемом социологами, К. Воннегут говорит темпераментно и негодуя. Очень многое тревожит писателя в буржуазной современности — беды экологии, проблема демографического взрыва, термоядерная угроза, — но главной опасностью остается для него роботизация человека. Писателя пугает та готовность, с которой его современники отказываются от своих мнений, убеждений, личной ответственности за происходящее (что, мол, от нас зависит?). Отказываются и ждут, чтобы за них думали, снаб-

жали их готовыми истинами, чтобы ими распоряжались те, кому это по службе положено.

Парадокс ситуации Билли Пилигрима в том, что человек в нем пробуждается тогда, когда его родные убеждены, что он повредился умом. Рехнулся, по мнению близких, и Элиот Розуотер из романа «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер». Бывший капитан пехоты, а в мирное время миллионер, он — мыслимое ли дело! — возлюбил человечество и намерен всерьез заняться «искусством любить... выкинутых из жизни американцев. Хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные». Он носится с нищими, неудачниками, одинокими, со всеми, кого «организованное общество» отринуло за ненадобностью.

Возлюбил человечество — стало быть, не в себе. Но никому не пришло в голову сказать, что Элиот спятил, когда на войне он убил троих мирных жителей, стгоряча приняв их за эсэсовцев. Никто не ужаснулся: лес рубят... Ужаснулся сам Элиот, попавший в госпиталь, как и Билли Пилигрим, с психическим потрясением. Для Воннегута «психи» Пилигрим и Розуотер — нормальные люди. Зато их психически полноценные, с точки зрения медиков, родные и близкие часто оказываются душевнобольными, по Воннегуту, в том смысле, что у них отсутствует душа — недуг, о котором помалкивает медицинская литература и твердит художественная.

«Эй! Знаешь что? Ты — единственное существо со свободной волей! Как тебе это нравится?» — прочитал герой «Завтрака для чемпионов» Двейн Гувер в книге рожденного воображением Воннегута писателя-фантаста Килгора Траута. Слова эти торговцу автомобилями безусловно понравились, и он принял их на свой счет. Выходит, он человек, а прочие машины. А раз так, то ему, царю природы, все позволено. Что церемониться с машинами? В конце романа Гувер устраивает настоящее побоище. Новоиспеченный «разрушитель машин» отправляет 11 «роботов» в больницу, а попавшемуся под горячую руку своему вдохновителю Килгору Трауту откусывает пальца. И попадает в сумасшедший дом. Безумие Гувера не следует путать с чудачествами Пилигрима и Розуотера. Те неожиданно для самих себя «заболели» ответственностью за человечество. Гувер же человечество возненавидел и стал жертвой эгоцентризма. Быть человекообразной ма-

шиной плохо, об этом Воннегут говорил и раньше, но — существенное дополнение «Завтрак для чемпионов» — одной свободной воли мало, чтобы стать человеком. Разлученная с нравственным началом, воля превращается в своеволие, становится источником действий разрушительных и безответственных.

За бунтом автомобильного коммерсанта проступают злободневные проблемы взаимоотношений общества и личности на Западе. «Маленький человек» отчаянно старается преодолеть убогую механистичность своего бытия. То он ищет спасения в эротической раскованности и наркотическом «просветлении», якобы оберегающих личность от подавления «репрессивным» обществом. То, замороженный ультралевацкими и террористическими лозунгами, порывается «наказать» опротивевший строй. Но все эти выходы на поверку оказываются тупиками, истинные причины плачевного положения людей остаются непонятыми, мистифицируются. В результате страхи и отчаяние рядового буржуа только усиливаются, мир объявляется хаосом и абсурдом.

Хаотическим может показаться на первый взгляд и художественный мир Воннегута. Писатель искривляет действительность в зеркале гротеска, ломает привычные отношения, нарушает пропорции. Его книги словно бы скроены из разномастных лоскутков и обрезков реальности, а связи между фрагментами возникающего коллажа порой выглядят необязательными. Научная фантастика соседствует у Воннегута с сатирой, роман идей перебивается лирическими пассажами, дневник писателя, проникнутый исповедально-задушевными интонациями, внезапно переходит в капустник. Так выстроены все четыре романа, встретившиеся под одной обложкой в томе, выпущенном издательством «Художественная литература». Они читаются как главы одной большой книги, той — если воспользоваться определением А. Зверева, интересно и подробно рассказавшего о Воннегута в своем предисловии — «субъективной эпопеи», над которой писатель не прекращает работать и сейчас. Жанровая всеядность Воннегута объясняется стремлением уловить мир в движении, в сложном сплетении всех составляющих его мгновений, радостных и печальных, фарсовых и драматических, и тут же словно бы передразнить этот мир, а заодно и традиционные формы его отражения литературой. Воннегуту ничего не стоит,

например, на первых страницах разболтать, что приключится с героями в конце и как именно завершится книга. Наскучило живописать словами — и Воннегут (точь-в-точь школьник в надоевшем учебнике) старательно выводит «пояснительные картинки»: корову, курицу, надгробье Килгора Траута (1907—1981) в «Завтраке для чемпионов».

Килгор Траут активно помогает Воннегуту в трех из четырех романов сборника (в «Колыбели для кошки» его сменяет философ Боконон). В опусах Траута (общим числом 209) описываются далекие планеты, где творятся ужасы и кошмары, при ближайшем рассмотрении подозрительно смахивающие на земные неурядицы. Творческая деятельность Траута создает псевдонаучно-фантастический контекст, важную пружину воннегутовского механизма отчуждения. Воннегуту необходимо заставить читателя взглянуть на обыденное остренно, увидеть примелькавшееся словно впервые, еще раз напомнить, что видимость не стоит путать с сущностью, а привычное с истинным. Недаром «Завтрак для чемпионов» изобилует «лексикографическими» отступлениями, где прекрасно знакомые американцам имена, события, понятия (открытие Америки, Т. Джефферсон, война между Севером и Югом, фашизм, Вьетнам) иронически переопределяются с точки зрения их реального содержания, в духе «Словаря сатаны» Бирса и «Лексикона прописных истин» Флобера.

Такое «пособие» должно, по Воннегуту, сослужить неплохую службу: людям, увы; свойственно забывать самое важное и необходимое. В «Колыбели для кошки» кто-то заметил на испытаниях атомной бомбы: «Теперь наука познала грех». На что Феликс Хонникер, один из отцов бомбы, спросил: «Что такое грех?» Не знал великий ученый и что такое любовь. Все это не интересовало корифея науки. «Человеческий элемент» был ему безразличен. Единственной реальностью для Хонникера была научная истина, ей он служил верой и правдой. «Новые знания — самое ценное на свете, — провозгласил его соратник доктор Брид. — Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся».

Чем же, кроме бомбы, обогатил мир Хонникер?

Однажды один американский генерал пожаловался ему на болотную грязь, где вязнут солдаты, тонет техника, и попросил его помочь. Хонникеру было наплевать на

генеральские заботы, но задача показалась ему, обожавшему всяческие ребусы, занятой. Так появилась на свет дьявольская игрушка — лед-девять, ничтожного количества которого хватит, чтобы заморозить жизнь на Земле. От льда-девять погибнет многострадальный остров Сан-Лоренцо. Не ошибаясь, выходит, философ Боконон, четырнадцатый том сочинений которого состоит из одного лишь слова «нет». Так коротко ответил он на поставленный им же вопрос: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»

Для Боконона мир плох и его никакими преобразованиями не исправить. В молодости он попробовал учредить утопию на Сан-Лоренцо — и неудачно. Разочаровавшись в социальных и экономических реформах, Боконон придумал теорию динамического напряжения. Согласно этой теории зло искоренить невозможно, но возможно и, более того, необходимо противопоставлять злу добро. Спасать человека. Душеспасительные меры Боконона весьма оригинальны. Он считал, что реальность Сан-Лоренцо слишком тяжела для обитателей острова, но поскольку ее все равно не изменить, выход в том, чтобы оберегать их от горькой правды, преподнося им «ложь, приукрашивая ее все больше и больше». Так возникла религия надежды — боконизм, а чтобы придать ей больше силы, основоположник объявил себя и свое учение вне закона (исповедовать боконизм запрещено под страхом смерти) и, передав бразды правления приятелю, скрылся в джунглях.

В художественной системе романа Боконон с его лозунгом облегчить жизнь человеку в бесчеловечном мире (любими средствами, в том числе и утешительной ложью) задуман как оппонент бездушного технократа Хонникера с его апологией истины. Этот «диспут» весьма показателен для западной культурной ситуации и длится не одно десятилетие. Безличному знанию Хонникера о вещах противостоят догадки Боконона о человеке с его капризами, недостатками, нежеланием укладываться в придуманные теоретиками-человековедами узкие рамки. Для Хонникера главное — понять мир, для Боконона — рассмотреть способы существования в нем. И выбрать оптимальный. Боконизм по душе всем на Сан-Лоренцо. Простой люд утешается мыслью о существовании опального заступника, «по-

терпевшего» за народ. Правители ловко объясняют полный развал экономики страны происками международного боконизма, а сам Боконон от души потешается разыгравшейся по его воле комедией. Шутник-парадоксалист в нем по мере развития сюжета как-то вытесняет утешителя. Афоризмы Боконона, щедро рассыпанные на страницах «Колыбели для кошки», складываются в философию насмешливого нигилизма, издевающегося и над «глупой» действительностью, и над наивностью тех, кто, принимая ее всерьез, надеется улучшить мир.

Хонникер расколдовывает мир, разгадывает его тайны. Боконон тоже вроде бы расколдовывает мифы — идеологические и мировоззренческие, но в то же время создает новые. Одни для толпы, совсем другие для тех, кто поискуснее. Народу он сбывает веру, элите — безверие, смех как лекарство от всего на свете. В конечном итоге оппоненты стоят друг друга. Хонникер хоть и не призывал покончить с цивилизацией, но вдохновенно мастерил оружие для ее уничтожения. Не жаждет конца света и Боконон, но его «ироническая» продукция не менее взрывоопасна. Тотальная ирония в каком-то смысле заинтересована в неблагоприятии действительности, черпая в ее бедах дополнительный материал для своих убийственных вердиктов, она — чем не лед-девять — замораживает всякое положительное устремление, ничего не предлагая взамен.

Воннегут в непростых отношениях с Бокононом. С одной стороны, бокононовская «игра в мир» для него средство снять хоть ненадолго болезненное напряжение между миром и художником. Но Воннегут видит и опасность боконизма, которой подвержен писатель, «работающий» с кризисной действительностью, которая давно растеряла вдохновляющие идеи и ориентиры. Опасность превратиться в иронизирующую машину. С безверием и равнодушием приходится бороться в самом себе. Временами, скажем, хотя бы в «Завтраке для чемпионов», кажется, что Воннегутом овладевают усталость и отчаяние. Но нет, снова и снова американский писатель находит силы поддерживать «динамическое напряжение». Противопоставляет злу добро, эгоцентризму — сострадание, холодному интеллекту — ум сердца, мудрость души.

Вглядываясь в современность, Воннегут наталкивается на противоречия, ставит множество вопросов, но прямых ответов не дает. Очень хорошо, что сложные жизненные

явления и процессы рассматриваются им под знаком нравственности, но в его трактовке моральные категории нередко абсолютизируются, исчезает четкость социальных мотивировок, а вместе с ней и желанная ясность. И при всем этом отчетлив гуманистический пафос творчества писателя. Размышляя о назначении искусства, Воннегут — эти слова цитируются в предисловии — сравнивает художника с канарейкой

в шахте: «Посмотрите, как она мечется в клетке, едва почует запах газа, а люди со своим грубым побоянием еще и не подозревают, что грядет опасность». Не забавлять читателя и не запугивать его, а предупреждать. Провоцировать на самостоятельные суждения о том, что к чему в мире. В этом — Курт Воннегут.

С. БЕЛОВ.



### Политика и наука

#### УРОКИ КАМПУЧИИ

**Кампучия: от трагедии к возрождению. М. Политиздат. 1979. 255 стр.**

То, что происходило в Кампучии с апреля 1975 по конец 1978 года, еще не успело в полном смысле слова стать историей. Слишком мало времени прошло с момента освобождения страны в январе этого года от кровавого режима Пол Пота — Иенг Сари, и еще не зарубцевались глубокие раны, нанесенные кампучийскому народу ставленниками маоистов. Но трагедия Кампучии уже стала уроком мировой истории, уроком и предупреждением для ныне живущих и будущих поколений. И долг современников собрать и помнить все факты о чудовищных злодеяниях, совершавшихся на древней земле кхмеров, злодеяниях, за которые Пол Пот и Иенг Сари были заочно приговорены к смертной казни Народно-революционным трибуналом Кампучии. Этой цели служит книга «Кампучия: от трагедии к возрождению». В нее включены публикации 1978—1979 годов в советской и зарубежной печати, содержащие неопровержимые данные о преступных действиях полпотовского режима.

Кампучия, страна многовековой культуры, родина одного из чудес света — неповторимых храмов Ангкора, на протяжении более трех с половиной лет была превращена в огромный концентрационный лагерь, где физически истреблялось не только всякое инакомыслие, но любая форма жизни, если она хоть на йоту отклонялась от изуверских распоряжений. Из восьмимиллионного населения страны в результате правления клики Пол Пота — Иенг Сари в живых осталось всего лишь немногим больше половины. Стоит вдуматься в эту цифру — погиб почти каждый второй! — чтобы ощутить масштабы трагедии. Страшнее всего то, что это не было результатом бездумной жесто-

кости или неуправляемых действий безумцев. Как бы чудовищно и невероятно это ни выглядело, но неопровержимые факты свидетельствуют: кампучийская трагедия была запрограммированной резней целого народа во имя великодержавного экспансионистского курса маоистов. Все, что творилось в Кампучии, делалось с ведома и по указке Пекина, под контролем его многочисленных советников. Все, что провозглашалось и осуществлялось кликой Пол Пота — Иенг Сари, естественно вытекало из установок маоизма.

В соответствии с маоистским постулатом об окружении города деревней полпотовцы ликвидировали города и переселили всех в деревню. По образцу пресловутой «культурной революции» они упразднили и ликвидировали старую интеллигенцию, а заодно и студенчество. Они насаждали «казарменный коммунизм», насильственно отменяли товарно-денежные отношения и семейные связи.

Уже позже, после победы кампучийских патриотов, когда масштабы трагедии стали известны всему миру, в Пекине попытались откреститься от кровавых злодеяний Пол Пота — Иенг Сари под предлогом, что им не было об этом известно. Но кого может обмануть эта уловка, если Пол Пот и его ближайшие приспешники были прямыми ставленниками маоистов, если последние содействовали их приходу к власти и направляли все их действия и если Пекин попытался взять их под защиту после свержения и даже организовать международную кампанию поддержки.

Когда познакомишься с историей прихода к власти клики Пол Пота — Иенг Сари, яснее понимаешь всю опасность маоистской

тактики насаждения своих ставленников в национально-освободительное движение соседних народов, с тем чтобы предательскими руками пособников делать свое черное дело. В политической биографии Пол Пота есть красноречивые пробелы. В 50-х годах он вместе с Иенг Сари учился во Франции, а затем на несколько лет исчез и, по некоторым источникам, находился в Китае, где прошел специальную подготовку. Вынырнул он уже в 60-е годы в джунглях Кампучии, где с помощью Пекина создал новую организацию Национальный единый фронт Камбоджи и Королевское правительство национального единства Камбоджи во главе с Сиануком.

Свое пребывание в джунглях Пол Пот использовал для того, чтобы расправиться с ветеранами национально-освободительного движения. Для этого он наускивал молодых бойцов против ветеранов, заставляя молодежь критиковать старших за увлечение вьетнамскими идеями. Раскритикованных отправляли затем на «политические курсы», после которых их никто больше не видел. Окружающим говорили, что закончившие курсы получали назначение в новую провинцию. На самом же деле они пропадали навсегда, чтобы не помешать Пол Поту. Пользуясь поддержкой извне, Пол Пот уничтожил самые опытные и боевые кадры, которые могли разоблачить его антинародный курс, и заодно убрал со своего пути потенциальных противников на всех уровнях партийного руководства. Когда в апреле 1975 года кампучийцы приветствовали победу Национального единого фронта над американским марионеточным режимом, они не знали, что вскоре окажутся в руках самых страшных изуверов, предавших дело революции.

Какие цели осуществлял Пекин руками полпотовцев? Во-первых, в Кампучии проводился эксперимент по претворению в жизнь маоистских установок, строился социализм по-пекинскому рецепту. Во-вторых, Пекин привязывал Кампучию к себе, используя ее как оружие в борьбе против Вьетнама. Буквально с первых дней прихода Пол Пота к власти начались провокации на границе с Вьетнамом, которые не прекращались до падения режима. В-третьих, руками полпотовских изуверов началась невиданная по масштабам кампания «перевоспитания» и уничтожения кампучийского народа. Пол Пот не случайно заявлял: «Из восьми миллионов жителей Кампучии нам

нужен только один». Он выполнял поставленную перед ним маоистами задачу: искоренить всех, кто выражает малейшее недовольство казарменным режимом, истребить большую часть населения, причем наиболее сознательную и грамотную, а оставшихся превратить в послушный рабочий скот, который будет гнать шею на новых колонизаторов. Согласно стратегическому плану маоистов, на место истребленного народа кхмеров предполагалось переселить 10 миллионов китайцев. Так одним махом хотели решить две задачи — получить новое плодородное жизненное пространство для доведенных до голода китайцев и окружить Вьетнам, не желавший становиться на колени.

Выбор не случайно был остановлен на Пол Поте и Иенг Сари. Сам Пол Пот неохотно признавал, что его настоящее имя Салот Сар и что его мать китайка. У Иенг Сари мать тоже была китайкой, а отец наполовину китаец. Здесь также проявилась традиционная политика использования лиц китайского происхождения в странах Юго-Восточной Азии.

Кампучийская трагедия показательна и еще с одной точки зрения — как она освещалась буржуазной прессой. Нельзя сказать, чтобы на Западе печать не писала о зверствах полпотовского режима. Но нота возмущения в этих сообщениях, как правило, заглушалась злорадством: смотрите, мол, чем может обернуться строительство социализма. Возмущаясь геноцидом в Кампучии, эти господа, как бы парадоксально это ни звучало, готовы были мириться с ним как можно больше. Именно потому, что он устраивал их как идеологическое пугало для своих народов. Только этим можно объяснить ту злобную кампанию клеветы, которую буржуазная пресса многих стран в конце 1978—начале этого года подняла против социалистического Вьетнама, вставшего на сторону Единого фронта национального спасения Кампучии. Тут западная пресса вдруг начала разглагольствовать о «попранном суверенитете», как будто клика Пол Пота — Иенг Сари не узурпировала суверенитет Кампучии и не поставила себя своей политикой уничтожения собственного народа вне всех норм международного права. Цель этой шумихи — обмануть мировую общественность, выдать взрыв народного гнева в Кампучии за «агрессию» Вьетнама, а затем использовать эту злостную выдумку для подрыва авторитета социалистических стран.

Реакционную буржуазную пропаганду как нельзя лучше устраивала злобная полпотовская карикатура на социализм. Ведь в Кампучии была отменена не только частная собственность, но и личная. Была не только запрещена торговля, но и вообще отменены деньги. Были закрыты учебные заведения, библиотеки, школы, больницы, более того — были закрыты города, а горожане выселены в деревни, где занимались принудительным крестьянским трудом с шести часов утра до одиннадцати часов вечера с перерывами только для приема пищи. За весь этот каторжный труд не полагалось никакого вознаграждения — деньги-то отменены! Люди получали лишь небольшие порции риса и один комплект одежды (рубашка и штаны) в год. Мужчины и женщины жили в отдельных бараках. Жениться можно было только с разрешения властей. Детей отбирали у матерей, заметьте, не у родителей, а у матерей, потому что еще до этого у беременных женщин отнимали мужей. Всех грамотных уничтожали, как, впрочем, и тех, кто выражал любое несогласие режиму. Причем людей убивали не просто выстрелом, а изуверским способом — ударами мотыги по голове, вспарывая живот, забывая гвозди в затылок, закапывая живьем...

Кампучийский народ сам покончил с ненавистным режимом. Созданный в декабре 1978 года в освобожденных районах Единый фронт национального спасения Кампучии возглавил борьбу всех патриотических сил против полпотовской тирании. В конце декабря 1978 года революционные вооруженные силы развернули генеральное наступление по всей стране. 7 января этого года они освободили Пномпень. 11 января была провозглашена Народная Республика Кампучия.

Победа Единого фронта национального

спасения Кампучии обеспечила возможность строительства миролюбивой, независимой, демократической, нейтральной, не-присоединившейся Кампучии на пути к подлинному социализму. Все антинародные законы прежнего режима были отменены. Народно-революционный совет гарантировал все демократические свободы. Свержение полпотовской клики привело к возрождению Кампучии, покончило со средневековой изоляцией этой страны от внешнего мира. Это оздоровило также политический климат в Юго-Восточной Азии. Граница между Кампучией и Вьетнамом вновь стала границей мира и дружбы, что внесло свой вклад в дело мира и безопасности в южной части азиатского континента.

Народно-революционный совет, взявший на себя функции правительства новой Кампучии, сумел объединить все патриотические силы страны на решение трудных хозяйственных задач. Ведь начинать приходилось с того, чтобы снабдить людей простыми плошками для еды: в полпотовских казармах даже этого не было. Нужно было обеспечить людей едой и самой необходимой одеждой, помочь сотням тысяч людей вернуться в города, восстановить водоснабжение и энергоснабжение, открыть школы, оказать медицинскую помощь больным и изувеченным людям, забывшим, что такое врач и лекарство. Нужно было пустить в ход заводы и мастерские, наладить торговлю.

И тот факт, что это удалось сделать, что парализованная страна, начав с отметки «ниже нуля», возрождается к жизни, говорит о том, что кампучийский народ отдал свой энтузиазм и свои силы на восстановление родины, потому что новая власть принесла жизнь и свободу людям. И это тоже один из главных уроков Кампучии.

Владимир ЛОМЕЙКО.



## НТР, ЧЕЛОВЕК И МЫШЛЕНИЕ

Н. Моисеев. Слово о научно-технической революции. М. «Молодая гвардия». 1978. 222 стр.

А. Сухотин. Парадоксы науки. М. «Молодая гвардия». 1978. 239 стр.

Наше время требует мудрости. Эта мысль невольно приходит на ум при чтении книг Н. Моисеева и А. Сухотина, хотя они на первый взгляд и несхожи: специалист в области математизации социального и экономического планирования, член-корреспондент АН СССР Н. Моисеев пишет о глобальных проблемах НТР, тогда

как в центре внимания доктора философских наук А. Сухотина оказываются парадоксы познания, что вроде бы перемещает ее в другой тематический ряд. На деле одно неожиданно дополняет другое. Но об этом позже.

Представление о широте и актуальности замысла «Слова о научно-технической ре-

волюции» Н. Моисеева может дать уже одно перечисление разделов произведения: «Научно-техническая революция — что это значит?», «Основа научного управления», «Программа «Учитель», «Человек, окружающая среда и НТР». В книге велико напряжение умной, глубоко ищущей, часто по-литически заостренной мысли. Автор, к примеру, не только согласен с теми, кто главным действующим лицом НТР считает электронно-вычислительные машины, что уже не бесспорно, но и идет гораздо дальше, утверждая, что лишь компьютеры третьего поколения «оказались секретным словом («Сезам, откройся!»), распахнувшим перед человечеством двери в новую эпоху, которая сейчас начинается». Однако — прекрасная поправка! — он тут же замечает: «Может быть, такая оценка несколько гипертрофирована? Может быть! Даже так оно и есть, наверное!»

Словом, перед нами книга того самого типа, о которых нередко пишут: «Автор высказывает интересные, хотя порой и спорные мысли». Нужны ли такие извинительные оговорки? Перепевам цена невелика, а все новое, оригинальное, личностное чаще всего, особенно в первый момент, спорно. Н. Моисеев же, как мы могли заметить, избегает категоричности и поучительства. Правда, случаются и осечки. Ученый, например, не единожды бросает прессе упрек в поверхностном освещении проблем экологии; невольно ждешь открытий самого автора, однако в книге мы не находим ничего принципиально нового даже по сравнению с некоторыми журналистскими публикациями. То же самое, когда автор обещает показать скрытые пружины НТР; столь внушительная заявка реализуется, в общем-то, ликбезом для людей, мало осведомленных в проблеме. Но таких вызывающих досаду огрехов в книге немного.

Научно-техническая революция стремительно вносит в нашу жизнь качественные изменения. Эта красной нитью пронизывающая книгу Н. Моисеева мысль сама по себе не нова. Однако автор подходит к проблеме системно, так что за мельчайшей многих как будто разрозненных и случайных событий взгляду открывается закономерная и стройная, хотя и неполная, панорама причинно-следственных взаимосвязей. Иными словами, книга Н. Моисеева позволяет лучше понять современность. Не останавливаясь на этом, автор также стремится по-

казать, какими научными методами нужно решать возбуждаемые НТР проблемы, какие новые требования в связи с этим жизнь предъявляет к человеку и обществу.

НТР настолько усложняет все социально-экономические структуры, что наше время можно назвать еще и временем сверхсложных систем. В этих условиях стихийная рыночная экономика настолько изживает себя как фактор саморегуляции, что общегосударственное планирование или, по крайней мере, надстройка производства с неизбежностью встают на повестку дня даже там, где эти понятия еще недавно считались атрибутами «крамольного социализма». НТР не оставляет иных путей, что Н. Моисеев убедительно и показывает.

Но в этом могучем потоке современности таятся свои подводные камни, поскольку с усложнением и динамизацией социально-экономических структур традиционные, основанные главным образом на опыте и здравом смысле методы управления становятся все более недостаточными. Дело в том, как поясняет Н. Моисеев, что сложный общественный, производственный организм относится к числу так называемых нерелекторных систем, то есть таких, чья реакция на команды управления может оказаться парадоксальной с точки зрения «здравого смысла». В этом принципиальное отличие той же экономики от простой нерелекторной системы, допустим, самолета, который в исправном состоянии ведет себя строго однозначно. Кстати, тем же свойством парадоксальности, судя по всему, обладают и сложные природные системы, чье управление НТР уже ставит в повестку дня.

Слово за научными разработками, предвидениями и рекомендациями. Между тем, замечает Н. Моисеев, теория управления до сих пор занималась преимущественно релекторными системами. «И вот теперь НТР ставит перед теорией управления качественно иные, более сложные проблемы — создание методов анализа и синтеза нерелекторных систем... На первый взгляд подобная проблема является трансцендентно трудной». Но разрешимой и, как показывает автор, уже разрешаемой на путях синтеза естественнонаучной и гуманитарных культур. Одновременно ученый дает читателю представление, сколь жгуче исследователей торопит время, сколь многое зависит от того, упреждает ли теория стремительный надвиг неотложных проблем. И, разумеется,

не только теория, но и практика. «Дальнейшее поступательное движение,— пишет Н. Моисеев,— будет зависеть в первую очередь от совершенства тех механизмов управления, которые будут созданы, от уровня той теории, которая будет в их основе, от смелости и энергии практиков, которые будут их внедрять в жизнь. Пионерами этого движения являются социалистические страны, Советский Союз».

К смелости и энергии стоит добавить еще компетентность. Войдут ли достижения науки своевременно в плоть и кровь деятельности уже многочисленной массы управленцев? Но и этого мало. Неотложные проблемы экологии также нельзя решать без успехов теории, с одной стороны, и без массового подъема культуры, научного мышления, с другой стороны, поскольку сами эти проблемы возбуждаются деятельностью всех членов общества. Задача неизмеримой важности! Меж тем, отмечает автор, даже экономисты «обычно не задают вопросов специалистам по теории управления. Возможно, они даже и не знают, что такая теория существует и может быть с пользой применена...». Даже если это полемический переклест, то все равно свидетельство Н. Моисеева многозначительно.

Не приходится удивляться тому, что едва ли не самой заглавной проблемой из всех, поставленных НТР, автор считает проблему коренного изменения средств, задач обучения и воспитания. «Мир стоит на пороге больших трудностей, а возможно, и потрясений. Готов ли человек, который сегодня вступает в жизнь, принять на себя бремя всех последствий НТР и обеспечить дальнейшее процветание рода человеческого? Какими качествами должен обладать этот человек, чтобы встретить возможные изменения климата, восстановить устойчивость биосферы, преодолеть страсть потребительства, экономические трудности и, конечно, изменения социальной организации мира?»

Эти и им подобные вопросы ставит сама жизнь. Вся громада традиций воспитания и обучения, порожденная относительно стабильной некогда обстановкой и настроенная на воспроизведение, в лучшем случае видоизменение прежнего опыта, все менее эффективна в теперешнем быстроизменяемом мире. Н. Моисеев не просто констатирует этот факт; он пытается наметить контур позитивной программы. Прежде всего необходимо не распылять, а строго научное, макси-

мально полное знание человека, его природы, свойств и возможностей, без этого любое воспитание легко может соскользнуть в маниловщину или ноздревщину. На основе объективного знания, руководствуясь целями движения к коммунизму, надо разработать всеохватывающую системную «Программу «Учитель», которая «должна носить адаптивный характер, не должна быть догмой и могла бы изменяться по мере расширения наших знаний об окружающем мире, по мере изменения условий существования».

В книге даны узловые моменты такой программы. Она (автор не строит иллюзий) требует больших научных и организационных усилий, она связана с крупными материальными затратами, которые с развитием НТР будут, по мнению Н. Моисеева, расти быстрее, чем что-либо другое. Но, во-первых, без чего-то подобного «Программе «Учитель» уже не обойтись, а во-вторых, «если возникнет нужное понимание, если внимание людей будет обращено к «Программе «Учитель», если престиж лиц, посвятивших себя этой деятельности, делается столь же высоким, как и престиж лиц, работающих над проблемой управляемой термоядерной реакции, то найдутся силы и таланты, которые преодолечат все трудности». При этом автор не без основания считает, что поскольку поведение человека, характер его мышления и структура воспитания весьма консервативны, то «Программа «Учитель» становится срочной задачей.

С отдельными соображениями автора, очевидно, можно поспорить, но в основном, думается, он прав. Или рефлекторная, неизбежно запаздывающая реакция на влекомые НТР изменения, что чревато большими неприятностями, или прогностическое предвидение, своевременная целевая перестройка всех общественных систем — третьего, похоже, не дано. Трудно не согласиться и с тем, что «такая целенаправленная деятельность требует совершенно иного уровня мышления людей».

Действительно, мышление — фундамент любого дела. Слаб он — рухнут целевые программы, о значении и неотложности которых столь убедительно пишет автор. Сам Н. Моисеев, впрочем, сосредоточивает внимание на особой роли компьютеров, этих усилителей интеллекта, раскрывает внушительные возможности системного подхода и целевого программирования. Чрезвычайно интересны и значительны соображения автора насчет моделирования экологических

проблем и ситуаций в их тесной взаимосвязи с проблемами экономики, социально-политического состояния мира и движения научно-технического прогресса. Однако звено мышления оказывается во всей этой цепи наиболее притененным. Вот тут крайне необходимым дополнением становится ценная и сама по себе книга А. Сухотина.

Уже сейчас повсеместно требуемое научное мышление часто ассоциируется с фактологической фундаментальностью, строгостью построений, проверок и выводов, мощностью знаний и логики, причем многие убеждены, что так воспитанный ум готов к схватке с любыми проблемами настоящего и будущего. Книга А. Сухотина позволяет испытать это мнение на прочность. Составим на основе ее глав небольшой, для самопроверки, вопросник. Верно ли, что многознание — кратчайший путь к истине? (Да, нет, ненужное зачеркнуть.) Что частную проблему одолеть легче, чем общую? Что у специалиста все преимущества перед дилетантом? Что чем логичней и строже мышление, тем оно сильнее?

Тут любое решительное «да» уже сигнал недостаточности мышления. «Нет» ближе подводит к истине, но только подводит (многознание, конечно, лучше незнания). Значит, истина лежит где-то посередине? Нет, она просто может оказаться в другой плоскости, вне координат однозначных ответов. Рассматривая историю познания, А. Сухотин на огромном и интереснейшем фактическом материале показывает, что действительность в своей глубинной основе всегда парадоксальна. Не для мышления как такового, а для им же выработанных стереотипов. Здесь, как и везде, властвует диалектика. Само собой, мы стремимся прояснить все и вся, создать целостную и стройную картину действительности — без этого затруднительна, а то и невозможна всякая деятельность. Парадокс, то есть странный, неожиданный, ни в какие рамки не укладывающийся результат, тут часто подобен брошенному в зеркало камню. Этого наше мышление стремится избежать (здесь типичны частые в научно-популярных статьях фразы: «Парадокс? Нисколько», «Казалось, ученые столкнулись с парадоксом, но вскоре выяснилось...» и т. д.). Меж тем еще К. Маркс отметил, что «на-

учные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей».

Это обстоятельство не раз подводило и исследователей. Так, повседневный опыт твердил, и научные размышления это закрепили, что Солнце вращается вокруг Земли. Обратное, парадоксальное в свое время допущение вызвало революционный сдвиг в естествознании. Позже более двух веков подряд физики спорили: свет — это волна или поток частиц? Или — или! Эксперимент как будто одинаково подтверждал обе точки зрения. Лишь в XX веке выяснилось: верно третье! — в излучении диковинно сочетаются свойства волн и частиц.

Думается, что книга А. Сухотина полезна и поучительна как просто для любознательного читателя, так и для исследователя. Она убедительно и ярко показывает, что научное мышление отнюдь не сводится к одной лишь логике, научной эрудиции и тому подобному. Оно малоплодотворно вне общей культуры, которая воспитывает широту и интуицию, эту всеозаряющую молнию разума. Оно подслеповато без диалектики, которая, в частности, учит прозревать движущие познание парадоксы; оно узко без системного анализа, который помогает охватить всю панораму причинно-следственных взаимосвязей. Подлинно научное мышление включает все это в себя, поэтому оно не существует в отрыве как от конкретной практики, так и от диалектико-материалистической философии, искусства, общей культуры.

Остается вспомнить, что стремительное как никогда движение познания, вообще жизни, требует все более быстрого и основательного пересмотра стереотипов. Что сверхсложным нерелефторным системам, с которыми мы имеем дело, свойственны парадоксальные реакции. Всякая книга, которая нам это показывает, помогает понять обстановку, вооружает наше мышление, подсказывает средства разрешения тех или иных проблем, полезна и актуальна. Интересные, хорошо написанные книги «Слово о научно-технической революции» Н. Моисеева и «Парадоксы науки» А. Сухотина обладают этими достоинствами.

**Д. БИЛЕНКИН.**

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН.** Избранное. М. «Московский рабочий». 1978. 464 стр.

Повествуя о своих героях, Лазарь Карелин сосредоточивает особое внимание на тех моментах, когда душа у них как бы на распутье, когда им важно прямо и честно отчитаться перед собственной совестью. Настойчивая, ищущая, беспокойная мысль составляет дорогое качество героев Карелина.

Ответ перед совестью держит и герой «Золотого льва» сценарист Васин. Он прилетает в Алма-Ату, где учился в военную пору. Поначалу город кажется ему непривычным и чужим. Но исподволь открываются взгляду знакомые приметы, картины прошлого встают перед ним, и на фоне воспоминаний особенно ясно видится ему нынешняя его жизнь, сумбурная, пустая и суматошная. Встреча с женщиной, которую он покинул в юности, обостряет в нем чувство неудовлетворенности собой и в то же время рождает тягу к жизни полнокровной, осмысленной. Писатель намеренно оставляет сюжетную линию незавершенной, прощаясь с героем «в минуту, злую для него».

Л. Карелина, однако, привлекают не одни лишь противоречивые натуры, но и характеры гармонически цельные. Таков «подснежник» из одноименной повести — человек пронзительный, сердечный, располагающий к себе деликатностью, душевностью и умом. Такие люди, как «подснежник» или старый врач Осип Иванович (повесть «Что за стенами?»), олицетворяют у Карелина твердые начала человечности и доброты, верности долгу.

Становление человеческой личности — такова тема романа «Стажер». Главный его герой Трофимов-младший приезжает к дяде, который пыгается преподавать ему уроки «житейской мудрости», а говоря конкретной — карьеризма и стяжательства. Однако моральные понятия, привитые Трофимову всем стилем окружающей жизни, в решительный момент не дают ему «сойти с круга». Нам трудно судить, чем закончится его профессиональное стажерство (на поприще художественной фотографии), но его стажерство в жизни должно увенчаться победой.

Лазарь Карелин умеет одушевлять неодушевленное. Даже автомашину он обращает в живое, «человекоподобное» существо. Живой предстает в карелинской прозе и любимый город писателя — Моск-

ва. Она также один из героев, и притом далеко не последний, в одноименнике Карелина. Каждый московский дом, будь он приметен или неказист, для него всегда частица необъятного города: «Окно его комнаты смотрело на Москву широко, вбирая в свой огляд обширный полукруг от далеких кремлевских куполов до близкой, со сбитым крестом церквушки за Самотечной площадью. Великолепное окно-фонарь, такое, что сядь перед ним, да и пиши про Москву, про самую что ни на есть исконную». Тема Москвы образует эмоциональный лейтмотив книги, цементируя ее состав. А в том, что книга цельна и являет собой не свод разрозненных повестей и особняком стоящего романа, а, напротив, некий художественный сплав, убеждает нас прежде всего сквозной для всех четырех произведений, собранных в ней, образ Москвы. Книга эта о столице. Именно московская тема сообщает произведениям Лазаря Карелина тонкую поэтичность, свежесть художественного первооткрытия.

А. Яснев.



**ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЧ.** Венок Петрии. Перевод с сербскохорватского. М. «Прогресс». 1978. 287 стр.

Имя Драгослава Михайловича пока не так уж много говорит советским читателям. Рецензируемый роман, насколько мне известно, первая книга писателя, вышедшая на русском (прежде он печатался только в сборниках). А между тем вещь эта, написанная в лучших традициях реалистической прозы, пользуется большим читательским признанием в Югославии и получила премию имени Иво Андрича.

Героиня романа «Венок Петрии», пожилая одинокая женщина, рассказывает о своей жизни, о жизни родных, соседей. Рассказывает какому-то неведомому слушателю, ей и не важно, кто он. Важно выговориться, вспомнить, как и что было, отвлечься от однообразной, бедной на события сегодняшней ее повседневности...

Жизнь Петрии Джержевич своим укладом и внешними приметам нам почти незнакома. Перед читателем сербское заочное недавних 40—60-х годов, маленькие не то поселки, не то деревушки вокруг угольных шахт. Живут в поселках шахтеры, вчерашние крестьяне. Объединяются и укрупняются мелкие шахты и рудники этой сербской провинции, что вызывает

сложный процесс ломки старой, привычной жизни. Быстро растут, превращаясь в современные процветающие города, одни поселки, пустеют и ветшают другие. В заброшенных деревушках остаются лишь старики и старухи, которые не хотят уезжать и которым не по силам, поздно начинать все заново. Доживают свой век...

Сделав главным действующим лицом женщину умную, доброго, сильного и справедливого характера, но неученную, одержимую тьмой суеверий и предрассудков, всей жизнью, всеми обстоятельствами замкнутую в тесноватом окружающем мире, писатель хочет привлечь внимание именно к такой жизни, вызвать сострадание и сочувствие к своей героине. Надо сказать, исповедь Петрии отзывается в сердце, все время ощущаешь, что перед тобой живая, настоящая жизнь. Говорит героиня буднично, сдержанно. Но это внешнее спокойствие лишь усиливает остроту впечатления от ее рассказа, сдобренного многочисленными выразительными подробностями. За этими подробностями угадывается интуитивное желание героини хоть след оставить в чьей-то памяти. Ведь целая жизнь прошла, столько мучений было принято, такие разные люди рядом жили, а вот вроде бы ничего и не останется после них. И она вспоминает, вспоминает...

Горька была жизнь Петрии: и муж любимый из дому выгнал, и двоих детей похоронила, и свекровь ее травила, со свету сживала; второй муж хоть и славный человек, а тоже разные времена случались, бывало, злился неведомо за что и поколачивал даже. Но и он умер безвременно. Теперь вот и деньги какие-то есть, и дом собственный в хорошем месте, дачники как на курорт приезжают. А счастья нет. Какая ни была прежняя жизнь, но требовала она от женщины и участия и заботы и любить всегда было кого. А теперь совсем одна осталась. И это оказалось особенно трудно.

Петрия держит на себе весь роман: она и рассказчик, и главное действующее лицо, и судьба всему происходящему. Причем судит она часто запальчиво, а ее самоуверенная непросвещенность иной раз оборачивается злом. И все-таки читатель ни в чем не станет винить героиню. Это ведь беда ее, что не могла она учиться, что предрассудки и суеверия, бытующие вокруг, вошли в нее вместе с молоком матери. Петрию можно судить только по законам той жизни, которая ей выпала.

В пристальном добром внимании к простым людям, людям, жизнь которых «не удалась», в сочувливом сочувствии к их судьбе большой гуманный смысл романа Драгослава Михайловича.

Хочет сказать добрые слова и по поводу перевода, сделанного О. Кутасовой, потому что на русском роман кажется удивительно цельным и органичным, стилистически выразительным, интонационно многообразным.

Г. Петрова.



**КИМ СЕЛИХОВ.** Всегда в строю. М. «Правда». 1976. (Библиотека «Огонек») 48 стр.

**КИМ СЕЛИХОВ.** Это случилось у моря. Приключенческая повесть. М. «Детская литература». 1978. 61 стр.

Как многое может вынести человек, через какие пройти испытания и остаться при этом человеком в самом высоком значении слова? Иными словами: каков запас душевных сил человека?

Кима Селихова интересуется тип сильной личности, способной противостоять сложным жизненным обстоятельствам, устремленной на победу, готовой скорее погибнуть, чем сдаться. Это и объединяет его две, казалось бы, совсем не похожие друг на друга книжки.

У книги «Всегда в строю» есть подзаголовок «Раздумья о поэзии Михаила Луконина». Мне кажется, автор с полным правом мог бы написать также «Раздумья о личности». Именно личность поэта привлекает внимание К. Селихова прежде всего. Как правило, творческая судьба неотделима от судьбы человеческой. Яркий пример тому Михаил Луконин. И не удивительно, что, размышляя о его творческом пути, автор так много внимания уделяет личности поэта.

Биография Луконина типична для людей его поколения: завод, институт, война... В этой типичности и кроются истоки луколинской поэзии. Быть вместе со своим поколением, быть там, где труднее всего, где родина больше всего в тебе нуждается,— таково гражданское и творческое кредо Луконина. К. Селихову удалось показать именно эту особенность личности поэта, натуры незаурядной, цельной.

Наиболее запоминающиеся страницы книги посвящены военной луколинской лирике. Поэт в первые же дни Великой Отечественной войны уходит добровольцем на фронт. Прошедший через бой еще на Карельском перешейке (тоже добровольцем!), он хорошо понимал, какая поэзия нужна народу в час сурового испытания, какими словами поднимать в атаку своих товарищей по оружию.

Уже в предгрозовые военные годы, пишет К. Селихов, советская поэзия готовила к подвигу Зою Космодемьянскую и Александра Матросова, солдат Брестской крепости и Сталинграда. Воспитывая в советских воинах стойкость, самоотверженность, мужество, она была грозным оружием в годы второй мировой войны. Достаточно вспомнить хрестоматийное—луколинское—«лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой», чтобы почувствовать это.

Кому как не старому солдату, провоевавшему четыре долгих страшных года, знать цену миру. В небольшой книжке К. Селихова немало страниц отведено общественной деятельности Луконина—неутомимого борца за мир. В послевоенные годы он изездил множество стран с миссией доброй воли и дружбы между народами, несколько месяцев провел в сражающемся Вьетнаме,

живя одной жизнью с вьетнамскими патриотами. Появившиеся в результате этой поездки стихи гневно обличали преступления американской военщины.

Мир и свобода. Наверное, нет понятий более священных для каждого человека. Из опыта всей своей небольшой еще жизни это убеждение вынес и Хуан, герой приключенческой повести для детей «Это случилось у моря». Хуан — сын руководителя революционного комитета в одной из латиноамериканских стран, какой именно — автором не указано, да это и не столь важно. Чили, где ныне правит хунта Пиночета, Никарагуа, где совсем недавно свергнут кровавый режим Сомосы, — в каждой из этих стран могло произойти все, что пережил маленький Хуан, мать которого погибла от рук карателей, а отец томится в застенке. Да и за самим мальчиком ведется настоящая охота, которая не прекратилась даже после того, как он по решению революционного комитета был конспиративно переправлен в Советский Союз.

Детективная история — охота за Хуаном опытной разведчицы, к счастью закончившаяся провалом, — несомненно, привлечет внимание маленького читателя, заставит его сопереживать судьбе героя. Но за занимательностью сюжета стоит серьезная проблема противоборства силам неонацизма, еще и сегодня бесчинствующим в некоторых странах.

Народ в конце концов победит — в это твердо верят и автор и герои повести. Иначе и быть не может. Потому что лучше погибнуть за свободу, чем жить в рабстве, потому что лучше «прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой».

И. Лапин.



**З. С. ШЕЙНИС.** Солдаты революции (Девять портретов). М. «Советская Россия». 1978. 304 стр.

Славным и трудным дням подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции, защиты ее завоеваний от внешних и внутренних врагов посвящена эта книга. Солдатами революции автор назвал людей, о героической жизни и деятельности которых он повествует: Ф. А. Артема, А. Д. Цюрупу, Я. А. Берзина, М. М. Литвинова, А. К. Чумака, М. Ю. Козловского, С. М. Мирного, Е. Н. Жданович, В. А. Кутушева. Предельно скромные, кристально чистые, беззаветно преданные общему делу, готовые выполнить любое задание партии, они не останавливались ни перед какими лишениями и жертвами. Именно о таких людях, которые встают перед читателями на страницах книги, Владимир Ильич Ленин говорил: «...эти образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поколений борцов».

Легендарный товарищ Артем — Федор Андреевич Сергеев. Да, его прекрасная жизнь действительно стала для нас образцом героической революционной борьбы,

верности делу революции. В ленинских томах мы находим множество писем, телеграмм, заметок и статей, в которых фигурирует Артем. Владимир Ильич писал о нем в связи с его деятельностью в Харькове, Донбассе, Башкирии, Москве. Трагический случай — железнодорожная катастрофа — оборвал жизнь председателя Всероссийского союза горнорабочих, члена ЦК РКП(б) Федора Андреевича Артема в июле 1921 года. Опубликованные в газетах некрологи известили о смерти старого большевика. «Известия», в частности, писали: «Погиб Артем. Ушел молодой, как юноша, полный кипучей энергии боец с веселыми, вечно улыбающимися глазами, с жизнерадостной верой в свой класс и в лучезарное будущее коммунизма». Старому большевику Артему, члену партии с 1901 года, было в то время тридцать восемь лет...

Александр Дмитриевич Цюрупа в феврале 1918 года решением Совета Народных Комиссаров был назначен народным комиссаром по продовольствию. Перед новым наркомом встали задачи невероятной сложности. Страшные враги угрожали в те дни существованию молодой Советской республики — внутренняя контрреволюция и интервенция, разруха и голод... О катастрофическом положении с продовольствием в стране свидетельствуют приведенные в книге цифры: до первой мировой войны Россия производила ежегодно в среднем 1 200 миллионов пудов хлеба, в период же с 1 августа 1917 года по 1 августа 1918 года было заготовлено всего 30 миллионов пудов. В районах страны, не подвергшихся оккупации, хлеб был, но он осел в тайниках деревенских богатеев и кулаков. Его нужно было взять во что бы то ни стало, чтобы спасти голодающий рабочий класс, революцию.

Наряду с доставкой скудных запасов продовольствия наркому А. Д. Цюрупе приходилось решать еще одну не менее сложную проблему — его справедливого распределения. Однажды из Вологды в Москву пришли четыре вагона масла. Целое богатство! Как поступить с ним? Масло необходимо раненым красноармейцам, в нем нуждаются голодающие рабочие московских заводов. «Но есть и другие претенденты, — размышляет нарком. — Эти никогда не попросят, не накричат, не потребуют... Эти только молчат и смотрят широко раскрытыми глазами». И Цюрупа пишет короткую записку: «Все четыре вагона масла до последней унции — детским приютам и госпиталям».

Одна из глав книги знакомит читателей с эпизодом предоктябрьского периода революции — занятием большевиками особняка Кшесинской, размещением в нем Петроградского комитета и судебным процессом, который по этому поводу возбудила бывшая царская фаворитка, поддерживаемая самим Керенским. Интересы большевиков на процессе защищал Мечислав Юльевич Козловский, впоследствии председатель Малого Совнаркома, где он работал под непосредственным руководством В. И.

Ленина, один из теоретиков и строителей советской юстиции.

В книге много эпизодов, воссоздающих яркие образы бойцов ленинской гвардии. Автор использовал новые материалы, полученные из различных архивов страны, имеющие научную ценность и представляющие интерес для широких кругов читателей.

Ю. Рытов.



**ТЕХНИКА ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ОБМАНА.** М. «Мысль». 1978. 246 стр.

Французская кухня издавна славится разнообразием блюд и утонченными способами их приготовления. Но наряду с этим, как свидетельствует авторитетный справочник Лярусса, изданный в Париже в 1867 году, изобретательные французы преподнесли к столу человечества и такую весьма сомнительную дичь, как утка газетная. Встав на крыло в начале XIX века, она быстро вошла в силу, и в наши дни ее многочисленное крикливое и чаще всего лживое потомство задает тон в средствах массовой информации и пропаганды буржуазного мира.

В рецензируемой книге, подготовленной научными сотрудниками кафедры истории зарубежной печати и литературы факультета журналистики МГУ, раскрываются методы, которые печать, радио и телевидение капиталистических стран используют для манипулирования общественным мнением, сознанием населения в интересах господствующего класса. Особое внимание авторы уделяют буржуазным теориям стереотипизации, аргументации, тенденциозным методам статистики.

Стереотипизация, то есть психологическое воздействие, направленное на выработку упрощенных, стереотипных представлений — стандартов поведения, социальных мифов, политических иллюзий, — призвана внедрять в сознание миллионов людей «ценности» буржуазного образа жизни. Стереотипы, как отмечается в книге, выполняют охранительные функции и применяются в качестве ярлыков по принципу «черное — белое» для обозначения противоположающихся социальных сил. Так, для апологетики капитализма ее адвокатами не случайно выбраны привлекательные ярлыки «общество потребления», «народный капитализм», «свободный мир», рождающие ложные, иллюзорные представления о «равенстве» в буржуазном обществе. В то же время западная пропаганда всегда широко фабриковала антикоммунистические стереотипы, клеветнические представления о политике Советского Союза, долженствующие вызвать страх, неприязнь, — «советская угроза», «железный занавес», «рука Москвы» и прочее. С целью подрыва жизненно важной для всех народов политики мира и разрядки ее врагами ныне пущена в ход выдумка: «Разрядка — улица с односторонним движением».

Излюбленным приемом буржуазной пропаганды являются манипуляции вокруг

всвозможных статистических сведений. Как отмечал еще в начале XX века американский статистик Блисс, «наиболее эффективное средство скрыть истину — это спрятать ее под статистической таблицей, употребить статистический способ и основать лживые доводы на бесчисленных и путанных рядах статистических цифр, претендующих на авторитетность и бесспорность». Ссылаясь на внешне объективные и строгие цифры (полученные от аппарата буржуазной статистики и не поддающиеся никакой проверке), средства массовой пропаганды препарируют их в соответствии с социальным заказом своих хозяев, рисуют ложную картину социально-экономической структуры общества. Особенно часто к этим методам прибегают с целью затушевать наиболее обнаженные классовые антагонизмы буржуазного общества (безработицу, прибыли монополий, распределение доходов, уровень жизни и т. п.).

Для повышения действенности пропаганды на Западе рекомендуют целую систему приемов так называемой аргументации, рассчитанных на эмоциональное, но отнюдь не на логическое воздействие. Применяемая «игра на человеческих чувствах», указывается в книге, продиктована стремлением скрыть истину или дать фактам тенденциозную трактовку.

Буржуазная пропаганда всегда и в полной мере пользовалась всем набором диверсионно-клеветнических методов против общественного строя, государственной и социальной системы Советского Союза, других социалистических стран. Из книги со всей очевидностью следует, что нынешние специалисты-дезинформаторы опираются на изощренную технику воздействия на иностранную аудиторию, во многом заимствованную из арсенала германских фашистов. Поэтому понятие «большая ложь», сформулированное Гитлером в «Майн кампф», и связанная с ней практика «большой прессы» Запада отнюдь не стали достоянием только прошлого.

Несомненно, каждый, кто прочитает эту нужную и актуальную книгу, научится еще более точно распознавать пресловутых уток буржуазной пропаганды, начиненных фаршем из дезинформации и обмана, зачастую потягивающих душком с нацистских пропагандистских прилавков.

А. Иглицкий.



**Л. РОЙЗМАН. Орган в истории русской музыкальной культуры.** М. «Музыка». 1979. 376 стр.

Откроем «Изборник» (БВЛ) — собрание древнерусских текстов. На странице 132 найдем такой рассказ из «Жития Феодосия»: однажды Феодосий приехал к князю и увидел у него музыкантов «овы гусльныя гласы испущающем, другыя же оръганьныя гласы поющемъ, и инѣмъ замарьныя пискы гласящемъ». На следующей странице читаем перевод на современный русский язык: «... одни бречали на гуслях, другие тремели в органы, а иные свистели в зам-

ры». Орган из инструмента поющего превратился в инструмент гремящий! И не случайно. В комментариях к этому месту читаем: «Органы — металлические ударные инструменты». А как известно, ударные инструменты петть не могут. Это насилие над оригиналом было вызвано, очевидно, убежденностью переводчика, что органов в нашем понимании этого слова на Руси в то время не было. Между тем орган, духовой клавишный инструмент, не только существовал на Руси с XI века, но и имел, как доказал профессор Л. Ройзман, свою богатую и чрезвычайно своеобразную историю.

Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с данным исследованием, — огромный объем привлеченного материала, значительная часть которого вообще впервые вводится в научный оборот. В составленной автором библиографии более 1600 источников! Здесь и печатные издания на русском и иностранных языках, и масса архивных рукописных документов. Ни одно ранее известное свидетельство или мнение Л. Ройзмана не принимает просто на веру — все тщательно проверено по первоисточникам.

В распределении материала по главам исследователь придерживается хронологического принципа. Так, первая глава посвящена судьбе органа на Руси в XI—XVI веках. Вторая охватывает историю инструмента в XVII веке; характеризуется его роль в первых театральных постановках. В третьей главе рассматриваются вопросы бытования инструмента в петровскую эпоху, рассказывается о начале публичных органных концертов. Четвертая глава посвящена органной культуре России первой половины XIX века, здесь подробно освещена деятельность В. Ф. Одоевского и многих других музыкантов, в творчестве которых орган занимал значительное место. Заключение, пятая глава повествует об органе как в первую очередь концертном инструменте, об открытии органных классов в Петербургской и Московской консерваториях, о работе профессоров этих классов.

Уже из этого схематичного обзора книги по разделам ясно, что орган занимал в нашей музыкальной истории (и — шире —

в общей культуре нашей страны), гораздо более значительное место, нежели принято было считать. Сам по себе факт публикации целой главы, посвященной истории инструмента на Руси в XI—XVI веках, весьма примечателен, если учесть, что даже в таком солидном новейшем академическом издании, как «Словарь русского языка XI—XVII вв.», слово «варган» в значении «орган» иллюстрируется цитатой (самой ранней, по мнению составителей), относящейся лишь к 1601 году! Таким образом, научное и познавательное значение этого раздела книги Л. Ройзмана трудно переоценить.

Не менее содержательны и следующие главы книги. Из второй главы читатель узнает много нового об органе в искусстве скоморохов, о деятельности русских органистов в Потешной палате. Чрезвычайно интересны сведения об иностранных органах и органистах при московском дворе XVII века. Здесь Л. Ройзман создает яркие портреты голландских органостроителей братьев Луи, польского органиста Симона Гувовского.

Чем ближе исследователь подходит к нашему времени, чем с большим материалом из истории органа в России XVIII—XIX веков знакомимся, тем ясней и отчетливей становится одна из главных мыслей автора: орган и органная культура на Руси и в России имели особую судьбу, принципиально отличавшуюся от судьбы этого инструмента в западных странах. С момента появления в Киевской Руси и на протяжении всей истории своего развития это был светский инструмент и формы его использования в России — это формы концертного музицирования в отличие от положения органа на Западе, где он всецело был связан с церковью. Весь материал книги красноречиво говорит о своеобразии русской органной культуры.

Нет сомнения, что книга эта, раскрывающая совершенно неизвестные стороны музыкального быта, будет с пользой прочитана всеми, кто стремится глубже заглянуть в историю отечественной культуры.

**А. Майкапар.**



---

---

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## «ПОЛИТИЗДАТ»

- В. И. Ленин.** Апрельские тезисы. 16 стр. Цена 3 к.  
**В. И. Ленин, КПСС о работе Советов.** Сборник. 744 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Ф. Энгельс.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 71 стр. Цена 10 к.  
**И. Брутенц.** Освободившиеся страны в 70-е годы. 159 стр. Цена 35 к.  
**История Коммунистической партии Советского Союза.** 800 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Об охране окружающей среды.** Сборник документов партии и правительства. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- П. Антокольский.** Театр. Драматические поэмы. 272 стр. Цена 1 р. 10 к.  
**А. Вергелис.** 16 стран, включая Монако. Путевые очерки. Перевод с еврейского. 415 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Мирмухсин.** Умид.— Сын литейщика. Романы. Перевод с узбекского. 704 стр. Цена 3 р. 40 к.  
**И. Фоянков.** Ткань. Стихотворения. 95 стр. Цена 25 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Х. Алимджан.** Избранное. Стихотворения, баллады и поэмы. Перевод с узбекского. 445 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**П. Гведозлав.** Стихи. Перевод со словацкого. 222 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**В. Короткевич.** Колосья под серпом твоим. Роман. Кн. 1—2. 758 стр. Цена 3 р.  
**Б. Лавренев.** Повести и рассказы. («Классики и современники») 541 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Д. О'Хара.** Свидание в Самаре.— Дело Локвудов. Романы. Перевод с английского. 716 стр. Цена 4 р. 40 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

- И. Евсеенко.** До конца жизни. Рассказы. («Новинки «Современника») 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

- О. Леонове.** Редактор-составитель В. Чивилихин. 272 стр. Цена 85 к.  
**А. Ткаченко.** Четвертая скорость. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 384 стр. Цена 1 р. 60 к.

## ВОЕНИЗДАТ

- А. Авдеенко.** Граница. Повести. 351 стр. Цена 1 р.  
**Н. Крылов.** Сталинградский рубеж. («Военные мемуары») 380 стр. Цена 1 р. 70 к.  
**А. Хижняк.** Даниил Галицкий. Исторический роман. Перевод с украинского. 576 стр. Цена 2 р. 20 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Г. Виеру.** Веселая азбука. Пересказал с молдавского В. Берестов. 71 стр. Цена 1 р. 10 к.  
**М. Дудин.** Звезды счастья. Избранные переводы из поэзии народов СССР. 159 стр. Цена 45 к.  
**А. Кузнецова.** Земной поклон.— Честное комсомольское. Повести. 352 стр. Цена 75 к.  
**Наби Хазри.** Солнечный дождь. Стихи и поэма. 191 стр. Цена 50 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- К. Булычев.** Летнее утро. Повести и рассказы. «Московский рабочий». 254 стр. Цена 95 к.  
**Героический эпос народов СССР.** Составитель Л. А. Плотнокова. Лениздат. 750 стр. Цена 3 р. 70 к.  
**И. Давыдов.** От весны до весны. Роман. («Новинки прозы») Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 415 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**К. Ковальджи.** Лиманские истории. Роман.— Пять точек на карте. Повесть. Кишинев. «Литература артистикэ». 388 стр. Цена 1 р. 40 к.  
**К. Симонов, И. Эренбург.** В одной газете... Репортажи и статьи. 1941—1945. Составитель Л. Лазарев. Издательство АПН. 286 стр. Цена 1 р. 65 к.

---

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

---

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пр., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

---

Сдано в набор 27/VII 1979г. Объем 18 л. Подписано к печати 19/IX 1979 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 14244. Тираж 271.000 экз. Заказ 2660.

---

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04431.

Цена 70 коп.

70636